M604

БИБЛІОТЕКА
ИМПЕРАТОРСКАГО
АЛЕКСАНДРОВСКАГО ЛИЦЕЯ.
КОМНАТА С | ШКАФЪ XXXIII
ПОЛКА 2 | № ИНВЕНТАРЯ 0670

~~109739~~ 4089

Уральская Областная
БИБЛИОТЕКА
Фундаментальная

ПУБЛИЧНЫЯ ЛЕКЦІИ

ОРЕСТА МИЛЛЕРА.

ф 27055

ПУБЛИЧНЫЯ ЛЕКЦІИ

Ореста Миллера.

Уральская Областная
Библіотека
Фундаментальная

ИЗДАНІЕ ВТОРОЕ,

ДОПОЛНЕННОЕ ШЕСТЬЮ ЛЕКЦІЯМИ, НЕ ВОШЕДШИМИ ВЪ ПЕРВОЕ ИЗДАНІЕ.

Тургеневъ, гр. Л. Н. Толстой,
Гончаровъ, Достоевскій, Писемскій, Некрасовъ,
Щедринъ и др.

Проверено 1936 г.
Фундаментальная
Научной
библіотеки

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Типографія М. И. Попова, Поварской пер., д. № 2.
1873.

8р

Уральский индустриальный Ин-тут
имени С. М. КИРОВА
ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ

Пр. 2010

Пр. 1940

ОГЛАВЛЕНІЕ.

стр.

Отъ автора . . . . . VII.

Объ общественныхъ типахъ въ повѣстяхъ И. С. Тургенева.

Лекція 1-я: «Записки Охотника» и «Рудинъ» . . . . 1.
Лекція 2-я: «Дворянское Гнѣздо» и «Наканунѣ» . . . 30.
Лекція 3-я: «Отцы и Дѣти» и «Дымъ» . . . . . 51.

О Хроникѣ гр. Л. Н. Толстого „Война и Миръ".

Лекція 1-я: Общій взглядъ на построеніе хроники.—Мужскіе типы Ростовыхъ и Болконскихъ. . . . . 86.
Лекція 2-я: Пьеръ и женскіе типы . . . . . 110.
Лекція 3-я: Часть историческая и «роевая сила» . . . 134.

Русская Литература послѣ Гоголя.

(За исключеніемъ драматической).

Предисловіе. . . . . 161.
Лекція 1-я: Сущность Гоголевскаго направленія.—Критика сороковыхъ годовъ. — Первыя произведенія Григоровича, Тургенева и др.—«Обыкновенная Исторія» Гончарова . . . . . 163.
Лекція 2-я: *Гончаровъ.*—«Обломовъ»—«Обрывъ». . . 185.
Лекція 3-я: *Достоевскій.*—«Бѣдные люди» и проч.» «Неточка Незванова»—«Униженные и Оскорбленные»—«Записки изъ Мертваго Дома» . . . . . 204.

стр.

Лекція 4-я: *Достоевскій.*—«Преступленіе и Наказаніе»—«Идіотъ».—«Бѣсы» . . . . . 229.

Лекція 5-я: *Писемскій.* . . . . . 252.

Лекція 6-я: Романы докладывающаго направленія. — Бурсацкіе типы у Стебницкаго, Помяловскаго и Рѣшетникова—Простонародные типы у Рѣшетникова, Писемскаго, гр. Л. Н. Толстого и др. — Значеніе хроники «Война и Миръ».—«Въ Лѣсахъ» А. Печерскаго . . 271.

Лекція 7-я: *Некрасовъ.*—Произведенія Перваго періода (до 1861). . . . . 293.

Лекція 8-я: *Некрасовъ.* — Произведенія второго періода. (съ 1861 г). . . . . 324.

Лекція 9-я: *Щедринъ.*—«Губернскіе очерки»—«Сатиры, въ Прозѣ».—«Невинные Разсказы». . . . . 351.

Лекція 10-я: *Щедринъ.*—«Признаки Времени».—«Письма о Провинціи». — «Дневникъ Провинціала въ Петербургѣ».—«Ташкентцы». — «Исторія одного Города». Общіе выводы . . . . . 371.

Приложеніе.

«Послѣднія пѣсни Некрасова» . . . . . 398.

ОТЪ АВТОРА.

Въ этомъ 2-мъ изданіи моихъ публичныхъ лекцій я не ограничиваюсь однимъ нѣсколько исправленнымъ воспроизведеніемъ тѣхъ десяти, которыя были читаны мною въ 1874 г. въ Клубѣ Художниковъ и посвящены по преимуществу Гончарову, Достоевскому, Писемскому, Некрасову и Щедрину. Во главѣ настоящаго изданія помѣстилъ я три лекціи о Тургеневскихъ типахъ, читанныя въ 1871 г. въ залѣ Городской Думы и напечатанныя въ томъ же году въ журналѣ «Бесѣда», вслѣдъ же за ними читатель найдетъ три лекціи о «Войнѣ и Мирѣ» гр. Л. Н. Толстого, остававшіяся не написанными и воспроизведенныя для настоящаго изданія по сохранившемуся конспекту.

Въ видѣ приложенія я включилъ наконецъ сюда и мою небольшую замѣтку (изъ «Свѣта» прошлаго года) о «Послѣднихъ пѣсняхъ Некрасова» — объ этихъ прекрасныхъ пѣсняхъ, которыя оказались на самомъ дѣлѣ *послѣдними*, изданными при его жизни. Теперь остается лишь съ нетерпѣніемъ ожидать *посмертнаго* изданія всего, когда либо имъ написаннаго.

Изъ замѣтки моей исключены послѣднія строки, въ которыхъ заявлялась не угасавшая еще тогда надежда на выздоровленье того, кто опущенъ въ землю въ предпослѣдній день прошедшаго года.

Ор. Миллеръ.

20 января 1878 г.

ОПЕЧАТКИ.

Стр.	*Строка.*	*Напечатано:*	*Должно быть:*
35	4 (снизу)	Рувернера	гувернера
39	11 (снизу)	въ классѣ	въ классъ
89	6 (снизу)	въ хроникѣ эти	въ хроники эти
135	5	попытка Англіи	политика Англіи
148	2	пополняетъ	исполняетъ
155	11	словолюбиваго	славолюбиваго
165	25	службу	дружбу
197	20	его влеченіемъ	его влеченіямъ
216	21	оскорбительнымъ	оскорбленнымъ
296	11	сильно впечатлѣніе	сильное впечатлѣніе

ОБЪ ОБЩЕСТВЕННЫХЪ ТИПАХЪ

ВЪ ПОВѢСТЯХЪ И. С. ТУРГЕНЕВА.

ЛЕКЦІЯ 1-я.

„ЗАПИСКИ ОХОТНИКА“ И „РУДИНЪ“.

Рѣшаясь подвергнуть разбору цѣлый, годами слагавшійся, рядъ созданій писателя, котораго мы еще имѣемъ счастіе считать своимъ современникомъ, я вполнѣ сознаю затруднительность моего положенія. Если и вообще подведеніе итоговъ дѣятельности, происходившей у насъ на глазахъ и еще не вполнѣ закончившейся, является дѣломъ весьма щекотливымъ, то тѣмъ болѣе щекотливо оно въ томъ случаѣ, когда дѣятельность эта подвергалась уже различнымъ, болѣе или менѣе пристрастнымъ толкамъ, раздававшимся съ противоположныхъ сторонъ. Но вѣдь именно такъ оно и случилось, какъ всѣмъ извѣстно, съ дѣятельностью г. Тургенева, и тѣмъ живѣе лишь долженъ я сознавать за собою обязанность — отнестись къ нему трезво и сдержанно и не дать проникнуть въ мою оцѣнку страстному голосу какой бы то ни было партіи. Вотъ почему я и берусь говорить—не столько о самомъ писателѣ, объ его міросозерцаніи или даже о пріемахъ его творчества и степени присущей ему силы, сколько о тѣхъ явленіяхъ общественной нашей среды, которыя отразились въ его главнѣйшихъ типахъ. Нашъ писатель, къ тому же, и самъ облегчаетъ такую постановку задачи, выдвигая передъ нами въ своихъ повѣстяхъ за цѣлую четверть вѣка цѣлый послѣдовательный рядъ такихъ типовъ, изуче-

ніе которыхъ даетъ намъ возможность прослѣдить главнѣйшія перемѣны, происходившія въ нашей общественной жизни за все это время. Если замѣчательная чуткость И. С. Тургенева ко всякому, вновь слагающемуся направленію, если эта неоспоримая отзывчивость его живой художнической природы и навлекала на него, на первыхъ порахъ, нападки представителей того или другого, по мнѣнію ихъ, невѣрно имъ истолкованнаго направленія, то тоже свойство его дарованія даетъ возможность, говоря о немъ, какъ о литературномъ представителѣ цѣлой эпохи, находить чрезвычайно богатую почву и совершенно помимо его собственной личности.

Являясь въ нашей литературѣ однимъ изъ довольно многочисленныхъ представителей *нравоописательной повѣсти*—литературнаго рода, какъ-то особенно намъ удающагося—г. Тургеневъ оказывается едва ли не самымъ многообъемлющимъ—по крайней мѣрѣ изъ живыхъ писателей нашихъ въ этомъ родѣ. Обозрѣть, хотя бы и бѣгло, содержаніе всей его общественно-литературной дѣятельности въ какія нибудь три лекціи, было бы рѣшительно невозможно, а потому и приходится ограничиться только самыми выдающимися, самыми *жизненными* изъ его произведеній. Выборъ въ этомъ отношеніи не труденъ, такъ какъ нельзя не сознаться, что изъ подъ пера нашего писателя выходили нерѣдко и вещи, лишенныя особенно дѣльнаго содержанія; у него даже были цѣлыя полосы не особенно содержательныя, какъ бы служившія роздыхомъ для его творческой силы.

Думаю, что я могу, не подвергаясь упрекамъ, совершенно обойти все, предшествовавшее «Запискамъ Охотника», хотя уже и первые опыты г. Тургенева въ свое время заслужили самый сочувственный отзывъ со стороны нашего высоко даровитаго Бѣлинскаго. Что касается «Записокъ Охотника», которыя еще при жизни незабвеннаго критика стали печататься отдѣльными очерками въ «Современникѣ», то о нихъ, еслибы онѣ и вышли при немъ всѣ сполна, Бѣлинскій едва ли бы могъ отозваться такъ.

какъ бы ему, конечно, хотѣлось. Извѣстно, какія были тогда времена, и какой переполохъ возбудилъ общій смыслъ «Записокъ Охотника», когда онѣ вышли отдѣльнымъ изданіемъ. Этотъ роковой общій смыслъ, повидимому, совершенно разрозненныхъ и неумышленно-правдивыхъ разсказовъ заключался, какъ всѣмъ извѣстно, въ обнаруженіи всѣхъ непривлекательныхъ сторонъ положенія нашего простого народа подъ крѣпостною властью помѣщиковъ, вмѣстѣ же съ тѣмъ весьма многихъ, вполнѣ привлекательныхъ сторонъ нрава простого русскаго человѣка умѣвшаго оставаться *человѣкомъ* и при самомъ нечеловѣческомъ положеніи. Умѣніе указать на все это въ сороковыхъ годахъ составляетъ со стороны И. С. Тургенева (вмѣстѣ съ г. Григоровичемъ) тѣмъ болѣе неоцѣнимую заслугу, что до того наша литература текущаго вѣка въ лицѣ именно крупныхъ своихъ представителей, умѣла какъ-то оставаться почти безучастною ко всему этому. Извѣстно, что и Пушкинъ почти не подходилъ къ народу съ этой стороны. Даже у Гоголя онъ затрогивался преимущественно во внѣшнихъ комическихъ своихъ проявленіяхъ, на язву же крѣпостнаго права указывалось только косвеннымъ образомъ—тѣмъ, что выводилась во всей ея отвратительной наготѣ нечеловѣческая пошлость нашего помѣщичьяго быта,—пошлость, зависѣвшая, главнымъ образомъ, отъ возможности пользоваться всѣми благами, не прилагая и малѣйшей капли труда. Въ лицѣ самыхъ передовыхъ своихъ представителей наша литература XIX вѣка какъ-бы совершенно забыла тѣ доблестныя преданія, представителями которыхъ являлись въ XVIII в. съ одной стороны наши комики, съ другой публицисты въ родѣ Полѣнова, Новикова и Радищева. Но XIX вѣку даже мало было забыть объ нихъ: онъ осмѣлился, въ лицѣ Пушкина, самымъ легкомысленнымъ образомъ осмѣять Радищева, преданья котораго, впрочемъ, оставались живы у Пнина, Арсеньева, Анастасевича и особенно у Н. И. Тургенева. Нашъ вѣкъ опозорилъ себя сладкогласнымъ ратованьемъ за отсрочку рѣшенія крѣпостного вопроса — въ лицѣ Ка-

рамзина, который, отвернувшись отъ Новиковскаго мистицизма, не задумавшись отвернулся и отъ самыхъ человѣчныхъ стремленій этого — хотя бы притомъ и мистика. И не только одни умозрѣнія, но и живые пріемы повѣсти послужили позорному дѣлу такой отсрочки, создавая изъ нашей народной жизни пріятно-убаюкивающую идиллію. И отголоски такой идилліи сохранялись у насъ до временъ ближайшихъ къ Тургеневу, между тѣмъ какъ, съ другой стороны, обнаруживались и зародыши противоположной крайности — выставленія народа совсѣмъ уже отупѣлымъ, почти низведеннымъ на степень животнаго. Какъ же послѣ этого не превознесть въ «Запискахъ Охотника» именно то, что, правдиво обнаруживая всю бѣдственность положенія народа, онѣ столько же правдиво, не убѣляя и не черня, представляютъ намъ въ простомъ народѣ—людей.

Въ нѣкоторыхъ разсказахъ своихъ охотникъ, т. е. нашъ писатель, даже не затрогиваетъ крѣпостного вопроса, а просто рисуетъ намъ такіе типы крѣпостныхъ людей, въ которыхъ оказывается гораздо болѣе человѣческаго, чѣмъ во многихъ типахъ помѣщичьихъ. Вотъ передъ нами дѣтскій крестьянскій міръ въ «Бѣжиномъ Лугѣ», со всею налегшею на него съ колыбели непроглядною тьмой суевѣрій, но и со всею бодростью и находчивостью существъ, тоже почти съ колыбели выведенныхъ на открытое поле жизни и предоставленныхъ почти совершенно самимъ себѣ. Есть, однако, и между ними болѣе приголубленные судьбою въ лицѣ болѣе зажиточныхъ родителей, но нѣтъ между ними такихъ, которыхъ бы она приголубила до того, чтобы довесть до состоянія комнатнаго растенія. А вспомните этотъ яркій, поразительный образъ Павлуши, такъ спокойно готовящагося встрѣтить волка,—и согласитесь, что въ эту минуту далеко до него какому нибудь изнѣжившемуся барчуку, хотя бы и вовсе не суевѣрному! А вотъ передъ вами простой народный кабакъ со всею его неприглядною обстановкой и со всѣми его, болѣе или менѣе сбившимися съ пути, посѣтителями («Пѣвцы»). И что же,

на этой совершенно низкой ступени тѣхъ чувственныхъ наслажденій, до какихъ въ состояніи ниспасть человѣкъ, разомъ сказываются во всѣхъ этихъ забулдыгахъ порывы къ высшему—въ этой внезапной жаждѣ упиться пѣснею, въ этомъ, приковывающемъ всѣхъ, состязаніи двухъ пѣвцовъ и обаятельномъ дѣйствіи ихъ, всѣмъ давно извѣстныхъ, но всегда отвѣчающихъ на запросы народа, пѣсень. И согласитесь, что въ эту минуту кабакъ представляетъ намъ болѣе признаковъ человѣческой жизни, чѣмъ тотъ барскій покой Ивана Никифоровича, среди котораго онъ лежалъ въ натурѣ, или даже чѣмъ тотъ, поэтически выставленный Гоголемъ, уголокъ «Старосвѣтскихъ помѣщиковъ», въ которомъ почти исключительно раздавалась нескончаемая бесѣда о томъ, «чего бы такого покушать?»— А вотъ передъ вами одинъ изъ тѣхъ характерныхъ представителей въ своемъ родѣ поэтическаго начала народной жизни, которые носятъ названіе «юродивыхъ» или «блаженныхъ».—(«Касьянъ съ Красивой Мечи»). Природа, не давъ ему вырости выше дѣтскаго роста, и по внутреннимъ качествамъ оставила его какъ будто бы навсегда ребенкомъ—съ чисто-дѣтской способностью не думать о завтрашнемъ днѣ, съ чисто-дѣтской сердечной привязанностью ко всѣмъ тварямъ. Но вглядитесь, и вы замѣтите въ немъ при этомъ уже вовсе не дѣтскую способность къ широкохватающимъ обобщеніямъ. У него не только сжимается сердце при мысли о тѣхъ бѣдныхъ пташкахъ, которымъ придется стать жертвой забавы охотника, но онъ и разсуждаетъ объ этомъ такимъ образомъ: «кровь—святое дѣло кровь! Кровь солнышка Божія не видитъ, кровь отъ свѣту прячется.... великій грѣхъ показать свѣту кровь—охъ, великій!» И въ этомъ «юродивцѣ», конечно, гораздо живѣе сказывается *человѣкъ*, чѣмъ въ свѣтски натертыхъ, элегантныхъ представителяхъ нашего благороднаго класса въ родѣ Пѣночкина, приказывающаго выпороть своего слугу за ненагрѣтое вино за завтракомъ («Бурмистръ»), или же Мардарія Аполлоныча Стегунова, съ добрѣйшей улыбкой вторящаго ударамъ исправительныхъ розогъ: «чюки-чюки-

чюкъ! чюки-чюки-чюкъ!» («Два Помѣщика»).—Но и другимъ еще образомъ сказывается въ Касьянѣ та особаго рода разумность, которую такъ любитъ скрывать самъ народъ въ своихъ сказкахъ подъ кажущеюся глупостью любимаго ихъ лица—Иванушки. Повидимому, до совершеннѣйшей безотвѣтности выносливъ Касьянъ, и даже готовъ признать, что опека, конечно, совершенно справедливо разсудила, переселивъ его вмѣстѣ съ другими съ привольной Красивой Мечи на новое, непривольное мѣсто. А между тѣмъ, такъ и рвется его поэтическая душа изъ этой «тѣсноты, сухменя» на широкій и вольный просторъ—«и туда, и сюда, вплоть до теплыхъ морей съ сладкогласными птицами, съ золотыми яблоками на серебряныхъ вѣткахъ и довольствомъ и справедливостью для каждаго человѣка.» И, что̀ особенно замѣчательно, сейчасъ же при этомъ переносится его ужъ ни мало несебялюбивая мысль къ другимъ, такимъ же какъ онъ, горемыкамъ...: «Много, тужитъ онъ, другихъ крестьянъ въ лаптяхъ ходятъ, по міру бродятъ, правды ищутъ... да! А то что̀ дома-то, а? Справедливости въ человѣкѣ нѣтъ, вотъ оно что̀...» И, конечно, въ это время юродивецъ Касьянъ несравненно разумнѣе тѣхъ нашихъ литературныхъ умниковъ, которые такъ, бывало, любили васъ занимать чисто *личными*, и притомъ еще большею частію напускными «страданіями поэта», эгоистически забывающаго за тѣмъ весь міръ, или даже тупоумно увѣряющаго и себя, и васъ, будто, сравнительно съ его участью, и участь какого нибудь бѣдняка завидна!

«Справедливости въ человѣкѣ нѣтъ»—вотъ чѣмъ оканчиваетъ Касьянъ; и въ этомъ слышится уже затаенный и кроткій, по самой своей обобщенности, жизненный выводъ народа изъ явленій крѣпостного права. Но юродивецъ Касьянъ гораздо живѣе чувствуетъ неправду его, чѣмъ другія, столько же поэтическія личности въ самомъ народѣ, только не отмѣченныя печатью «юродства». (И въ этомъ случаѣ нашъ писатель совершенно вѣрно понялъ значеніе этого психологическаго явленія народной жизни:

кому неизвѣстны въ своемъ родѣ смѣлые, далеко хватающіе взгляды нашихъ историческихъ юродивыхъ?). Вполнѣ безотвѣтнымъ, любовно-благоговѣющимъ передъ своимъ господиномъ является въ «Запискахъ Охотника» народный романтикъ Калинычъ. «Ужъ ты его у меня не трогай», говоритъ онъ про помѣщика Полутыкина другу своему, народному реалисту Хорю; и на возраженье послѣдняго: «а что-жь онъ тебѣ сапоговъ не сошьетъ?» спокойнѣйшимъ образомъ отвѣчаетъ: «Эка, сапоги! на что мнѣ сапоги? я мужикъ». Но при такой незлобивой готовности примиряться съ существующимъ порядкомъ вещей, тѣмъ болѣе васъ отталкиваетъ нравственный кругозоръ помѣщика Полутыкина: вспомните безчувственно откровенное признанье его про Калиныча: «Усердный и услужливый мужикъ; хозяйство въ исправности одначе содержать не можетъ: я его все оттягиваю. Каждый день со мною на охоту ходитъ... Какое ужъ тутъ хозяйство, посудите сами». Въ лицѣ Калиныча г. Тургеневъ развернулъ передъ нами ту сторону природы русскаго человѣка, которая сказывалась, между прочимъ, и въ знаменитыхъ, уже совсѣмъ отживающихъ, типахъ нашихъ дядекъ и нянекъ крѣпостной поры. Наши наблюдатели нравовъ изъ «благороднаго» лагеря любятъ объяснять эти типы преобладаніемъ человѣчности въ отношеніяхъ помѣщиковъ къ крѣпостнымъ; но едва ли не вѣрнѣе его объяснять добродушіемъ самого народа. Было бы однако-же странно, еслибъ подобныя *сердечныя* отношенія къ господамъ являлись въ немъ сплошь и къ ряду. И вотъ въ народѣ оказывались и совершенно другія личности—съ рѣшительнымъ перевѣсомъ разсудка, замѣчательно развитого жизнію; личности *себѣ на умѣ*, умѣвшія достигать довольно выгоднаго положенія не смотря на крѣпостное право, а иногда и благодаря ему. Такимъ-то является Хорь, насквозь видѣвшій своего помѣщика, и потому-то именно не только умѣвшій нажить себѣ и дѣтямъ своимъ сапоги, но даже находившій совершенно излишнимъ (хотя и могъ бы) выкупиться на волю. То же практическое направленіе доведено уже до самыхъ

крайнихъ предѣловъ въ лицѣ бурмистра помѣщика Пѣночкина. Вспомните его холопскіе панегирики помѣщичьей власти, которые представлялись помѣщику чрезвычайно touchants, а панегиристъ между тѣмъ довелъ имѣніе его до того, что оно только числилось за Пѣночкинымъ, на самомъ же дѣлѣ владѣлъ имъ бурмистръ,—владѣлъ, забравъ къ себѣ въ кабалу всѣхъ крестьянъ, въ чьихъ жалобахъ Пѣночкинъ если и видѣлъ le mauvais côté de la médaille, то слишкомъ оберегалъ свой покой, чтобъ вступать въ разбирательство. Извѣстно, что это было однимъ изъ не особенно рѣдкихъ явленій нашего крѣпостничества, причемъ неограниченный властелинъ, какъ оно бываетъ и не въ однихъ крѣпостныхъ владѣніяхъ, незамѣтнымъ образомъ обращался въ игрушку своего холопа: совершенно законная кара, но отъ которой, къ несчастію, становилось не лучше, а хуже для всѣхъ,—т. е. для той же *мелкой четы, для тѣхъ же униженныхъ* и *оскорбленныхъ*. Вспомните также и конторщика г-жи Лосняковой («Контора»), къ тому-же столкнувшагося съ ея «вѣдьмой» ключницей. Особый оттѣнокъ въ немъ составляетъ расположеніе къ сердечнымъ дѣламъ, и способность изъ мести настроить г-жу Лоснякову—не давать разрѣшенія на бракъ съ ея дѣвкой ея человѣку, конторщикову сопернику. «Ея господская воля», неотразимо ссылается при этомъ конторщикъ, подобно какому нибудь администратору, ссылающемуся на законъ. Но барская воля, какъ неумолимый законъ и въ самомъ вопросѣ о бракѣ, неоднократно сказывается въ «Запискахъ Охотника» во всей своей страшной, и, какъ всѣмъ намъ хорошо памятно, заурядной силѣ. Едва ли не съ самой разительной стороны представлено это въ разсказѣ «Ермолай и Мельничиха», который еслибы даже совершенно одинъ уцѣлѣлъ для потомства, то и тогда бы могъ служить вполнѣ удовлетворительною поэтическою характеристикою крѣпостной поры. Можно сказать, что даже одинъ разсказъ г. Звѣркова о «черной неблагодарности» дѣвки Арины достаточно ярко передаетъ всю глубину безнравственности, всю непробужденность

чего-либо человѣческаго въ заурядныхъ понятіяхъ многихъ изъ нашего благороднаго класса этой еще недавней поры. Дѣвка должна быть благодарна барынѣ за то, что еще съ дѣтства вырвали ее изъ родной семьи и пожаловали въ горничныя. Неблагодарность ея заключается въ томъ, что она просится замужъ. Г-жа Звѣркова могла бы при этомъ, подражая г-жѣ Простаковой, сказать: «любитъ, бестія, точно благородная!» Но не даромъ же наши помѣщичьи нравы смягчились со временъ фонъ-Визина (должно быть, подъ вліяніемъ Карамзинской сентиментальности и т. п.). Г. Звѣрковъ считаетъ нужнымъ отвѣтить на просьбу Дарьи цѣлымъ доводомъ: «у барыни другой горничной нѣтъ, а замужнихъ она не держитъ...» (Кому не извѣстно, что это послѣднее правило и до сихъ поръ еще сохраняетъ у многихъ всю свою силу при наймѣ, конечно, уже не крѣпостной прислуги; но развѣ нужда не является и теперь своего рода крѣпостною зависимостью?). Другимъ признакомъ усовершенствованія понятій служитъ, какъ извѣстно, со стороны г. Звѣркова то, что онъ не позволяетъ Аринѣ валяться у него въ ногахъ, потому что «человѣкъ никогда не долженъ забывать свое достоинство». Во имя того же, конечно, приходитъ въ негодованіе и г-жа Звѣркова, когда не выноситъ естественныхъ послѣдствій запрета, истекшаго изъ ея барской воли... Дѣйствительно, важный успѣхъ: при фонъ-Визинѣ гг. Звѣрковы не стыдились бы прямо показываться *звѣрями*, тогда какъ Тургеневу уже пришлось ихъ представить разыгрывающими *людей*. Но нашъ авторъ умѣлъ показать, что причиною барскихъ запретовъ того же рода бывала даже и не забота о своихъ выгодахъ и привычкахъ, а просто капризный припадокъ барскаго самодурства. Глядя на Петра Петровича Каратаева, Марьѣ Ильинишнѣ вдругъ пришло въ голову женить его на зеленой своей компаньонкѣ,—и отъ этого-то, главнымъ образомъ, она такъ и разозлилась, когда онъ ей предложилъ выкупъ за полюбившуюся ему дѣвку ея Матрену. Конечно, съ другой стороны въ Марьѣ Ильинишнѣ заговорило при этомъ и чувство человѣческа-

го—виноватъ, помѣщичьяго достоинства—при возмутительной мысли о женидьбѣ дворянина на крѣпостной!

Вспомнимъ затѣмъ и о другихъ, столько же заурядныхъ явленіяхъ крѣпостной поры, столь же вѣрно воспроизведенныхъ г. Тургеневымъ: о графской метрескѣ, забривающей слугѣ лобъ за шоколадъ, пролитый ей на платье, о барскихъ привычкахъ самого графа Петра Ильича, который, по разсказу стараго дворецкаго Тумана, душа былъ добрая: «побьетъ, бывало, тебя,—смотришь, ужъ и позабылъ» («Малиновая Вода»); о рыбакѣ Сучкѣ, попавшемъ въ это званіе изъ кучеровъ, въ кучера изъ поваровъ, въ повара изъ актеровъ—все по барской волѣ (напоминающей въ этомъ отношеніи пріемы и не однихъ только баръ) («Льговъ») и т. д. Но особенно важно то, что г. Тургеневъ и выставлялъ почти исключительно именно такія заурядныя явленія крѣпостной поры, ни мало не изыскивая и не подбирая такихъ, про которыя можно бы было сказать, что это лишь исключенія—хотя и такихъ такъ называемыхъ *исключеній*, отъ которыхъ бы волосы у читателей поднялись дыбомъ, оказывалось на Руси не мало. Но въ томъ именно и заключалась неотразимая сила этихъ, какъ бы лишенныхъ всякой умышленности, просто-правдивыхъ записокъ, что онѣ не только не преувеличивали дѣйствительности, не приправляли воспроизведенія ея никакими возгласами и не выкапывали различныхъ ужасовъ изъ уголовныхъ архивовъ, но, можно сказать, съ совершенно эпическою невозмутимостью отражали все то, что встрѣчалось само собою на каждомъ шагу, и что уже само по себѣ, сведенное въ одинъ сборникъ, подавало достаточный поводъ къ тяжелымъ думамъ. А между тѣмъ вѣдь разсказы этого сборника связаны между собою чисто-внѣшнею связью,—случайною послѣдовательностію охотничьихъ впечатлѣній и наблюденій, однородность которыхъ зависитъ исключительно отъ того, что охотникъ постоянно сталкивается съ помѣщиками и крестьянами. Во многихъ мѣстахъ, при разсказахъ о прошломъ, онъ обнаруживаетъ готовность думать, что многаго уже теперь не дѣлается,

и получаетъ при этомъ въ отвѣтъ: «теперь, вѣстимо, лучше». И опять-таки тѣмъ лишь сильнѣе дѣйствуютъ при этомъ разсказы, изъ которыхъ оказывается, что на самомъ то дѣлѣ оно—не лучше. Такимъ образомъ отъ стараго графа Петра Ильича вовсе не далеко ушелъ его сынъ Валеріанъ Петровичъ, отказывающій въ сбавкѣ оброка крестьянину, лишившемуся своего кормильца сына. «Да мнѣ съ полугоря, говоритъ крестьянинъ: взять-то съ меня нечего... Ужъ, братъ, какъ ты тамъ не хитри—шалишь; безотвѣтная моя голова». При этомъ мужикъ разсмѣялся... («Малиновая Вода»). И невольно коробитъ васъ, какъ подумаете, что этимъ же горемычнымъ смѣхомъ и теперь еще нерѣдко смѣется мужикъ, когда съ него взыскиваютъ недоимку!—А между тѣмъ вѣдь и самъ, довольно близко стоящій къ народу, однодворецъ Овсянниковъ еще въ то время увѣрялъ нашего охотника, что «теперь лучше: а вашимъ дѣткамъ еще лучше будетъ». По словамъ его, «много воды утекло» съ тѣхъ поръ, какъ дѣдъ охотника, присвоивъ себѣ землю отца Овсянникова, вдобавокъ его же и высѣкъ у себя подъ окнами, да еще поглядывалъ при этомъ съ балкона вмѣстѣ съ женой. «Много воды утекло, времена подошли другія», продолжаетъ Овсянниковъ. И въ дворянахъ видитъ онъ перемѣну большую,— а все же на повѣрку выходитъ изъ собственныхъ его словъ, что на самомъ-то дѣлѣ перемѣна лишь кажущаяся. «Вы, можетъ, знаете Королева?» обращается онъ къ охотнику. «Въ ниверситетахъ обучался, кажись и за границей побывалъ, говоритъ плавно, скромно, всѣмъ намъ руки жметъ... Какъ дошло дѣло до размежеванія, заговорилъ, что отъ этого крестьянину будетъ легче, что помѣщику грѣшно не заботиться о благосостояніи крестьянъ .. Дворяне-то всѣ носы повѣсили; я самъ, ей-ей, чуть не прослезился... А чѣмъ кончилось? Самъ четырехъ десятинъ мохового болота не уступилъ и продать не захотѣлъ». Показывая подобнаго рода примѣрами, что и въ ближайшее время къ намъ даже самое высшее образованіе не было въ силахъ, путемъ нравственнаго улучшенія дворянъ, до-

биться того, чего идиллически ожидалъ сладкорѣчивый Карамзинъ (не только во время «Записокъ Охотника». но еще и очень недавно имѣвшій у насъ въ этомъ отношеніи единомышленниковъ);—нашъ трезвый, неумолимо правдивый писатель показываетъ вслѣдъ затѣмъ, многаго ли можно было дождаться также и отъ тѣхъ хлыщей народнаго направленія, полагавшихъ его исключительно въ однѣхъ фразахъ, отъ тѣхъ, какъ онъ прозвалъ ихъ, Пустозвоновыхъ, которые дѣйствительно только звонили себѣ о народѣ и вовсе не умѣли, или даже не хотѣли, справить службу ему на самомъ дѣлѣ. «Смотрятъ мужики: что за диво! Ходитъ баринъ въ плисовой поддевкѣ, словно кучеръ... Я-де русскій, и вы русскіе... я русское все люблю... ну, дѣтки, спойте-ка русскую народственную пѣсню... А самъ, словно красныя дѣвушки, все книги читаетъ, али пишетъ... Прежній-то прикащикъ на первыхъ порахъ вовсе перетрусился... А вмѣсто того вышло... самъ Господь не разберетъ, что̀ такое вышло. Позвалъ его къ себѣ Василій Николаевичъ (Пустозвоновъ) и говоритъ, а самъ краснѣетъ: «будь справедливъ у меня—не притѣсняй никого». Да съ тѣхъ поръ его къ своей особѣ и не требовалъ»... Продолжалъ себѣ сидѣть, уткнувъ носъ въ свои книжки, и предаваться отвлеченнымъ соображеніямъ о народности, а жизни вокругъ себя предоставилъ итти своимъ старымъ ходомъ, благо, облекшись въ одежду простонародную, ни мало не отвѣдалъ чрезъ это крестьянской доли. Такимъ образомъ посредствомъ примѣровъ, приводимыхъ тѣмъ же Овсянниковымъ, нашъ охотникъ въ корнѣ опровергалъ его мнѣніе, будто бы «теперь лучше, а нашимъ дѣткамъ и еще лучше будетъ». Нѣтъ, какъ бы хотѣлъ своей книгой сказать охотникъ, пока будетъ стоять крѣпостное право, ни намъ, ни нашимъ потомкамъ лучше не будетъ!

Нарисовавъ съ поразительной правдой нѣсколько совершенно обыкновенныхъ картинъ изъ жизни простого русскаго человѣка, нашъ охотникъ срисовалъ вмѣстѣ съ тѣмъ съ натуры и нѣсколько чудныхъ картинъ его смерти.

«Удивительно умираетъ русскій мужикъ! восклицаетъ онъ. Состоянье его передъ кончиной нельзя назвать ни равнодушіемъ, ни тупостью; онъ умираетъ, словно обрядъ совершаетъ: холодно и просто». И эта совершенно покойная встрѣча смерти вполнѣ понятна послѣ жизни русскаго мужика, какою обрисовалъ ее г. Тургеневъ, жизни, въ которой терять было нечего и которая точно также просто и холодно выполнялась имъ до конца, какъ заданный скучный, но неизбѣжный урокъ! Но и тутъ, какъ вездѣ у нашего писателя, подъ этою холодностью теплится то тихое любовное чувство, безъ котораго бы рѣшительно невыносимою сдѣлалась жизнь, и которое тутъ сказывается—то въ насущной заботѣ объ оставляемой семьѣ, то въ потребности попрощаться, т. е., по русскому смыслу слова, попросить прощенья у окружающихъ.—Но совершенно также, какъ русскій мужикъ, умираетъ, по поэтическому свидѣтельству г. Тургенева, и всякій русскій человѣкъ, въ отношеньи къ которому, по народному выраженію, судьба явилась злою мачихой. Вспомните смерть недоучившагося студента Авенира Сорокоумова, для котораго безотрадная доля домашняго наставника въ домѣ малоразвитыхъ людей оказалась, какъ и оказывается для многихъ, своего рода закрѣпощеніемъ. Вспомните, наконецъ, и смерть старушки помѣщицы, которая собиралась сама заплатить за свою отходную, заплатить, съ давнихъ поръ, можетъ быть, припасеннымъ на этотъ случай рублемъ. Очевидно, что это одна изъ тѣхъ мелкопомѣстныхъ, къ которымъ относится въ «Запискахъ Охотника» и мать больной дѣвушки, влюбляющейся въ «Уѣзднаго Лѣкаря».

Выводя передъ нами такіе, въ свою очередь возбуждающіе жалость, типы бѣдныхъ помѣщицъ, нашъ писатель доказываетъ этимъ, какъ далекъ онъ былъ отъ того, чтобы выставлять помѣщиковъ исключительно со стороны ихъ отношеній къ крестьянамъ и исключительно въ невыгодномъ свѣтѣ. Напротивъ, даже участіе возбуждаютъ у него не только такія, уже самой своею бѣдностью располагающія въ свою пользу личности, но и живущая въ

полномъ довольствѣ, добродушная со здравымъ умомъ, Татьяна Борисовна, или даже безгласная мать Радилова, да и самъ Радиловъ, котораго охотнику такъ и хотѣлось бы «получше узнать и полюбить, хотя въ немъ иногда и сказывался помѣщикъ» (между прочимъ и въ чисто-барскихъ его отношеніяхъ къ прожившемуся и проживающему у него Ѳедору Михѣичу). А вспомните Чертопханова-сына, являющагося такимъ же преемникомъ своего взбалмошно-грознаго отца, какими являлись въ исторіи многіе добродушные государи, смѣнявшіе суровыхъ предшественниковъ. «Несправедливости, притѣсненія онъ въ чужѣ не выносилъ; за мужиковъ своихъ стоялъ горою... Какъ, мопхъ трогать? Да не будь я Чертопхановъ!..» Вспомните и его заступничество за Недопюскина, и въ своемъ родѣ трогательную, хотя и не безъ юмористическаго оттѣнка, дружбу обоихъ.

При такой способности г. Тургенева подмѣчать и выказывать человѣческія черты и въ самыхъ помѣщикахъ, его «Записки Охотника» не могли представляться направленными съ огульной враждой противъ нихъ, и указывающими только на тѣ стороны общественнаго ихъ положенія, которыми неизбѣжнымъ образомъ искажались и самыя сочувственныя между ними натуры. Но и это опять-таки лишь придавало «Запискамъ Охотника» новую, неотразимую силу, наглядно указывая на то, что тутъ дѣло было не въ звѣрской грубости нашихъ помѣщиковъ (которой, пожалуй, могло бы оказываться и больше при всѣхъ соблазнахъ неограниченнаго права), не въ недостаткѣ между помѣщиками тѣхъ добродушныхъ личностей, которыя могутъ являться и независимо отъ образованія съ его смягчающими вліяніями, а дѣло было въ неестественности самыхъ отношеній, самой этой неразрывной связи между людьми съ неограниченными правами и людьми совершенно безправными. И хотя бы И. С. Тургеневъ не написалъ ничего послѣ «Записокъ Охотника», все бы имя его осталось навсегда незабвеннымъ въ исто-

ріи нашей литературы. Между тѣмъ передъ нами еще цѣлый рядъ его общественныхъ типовъ.

Непосредственно за появившимися въ »Запискахъ Охотника» слѣдуютъ и въ продолженіи нѣсколькихъ лѣтъ тянутся однако же такіе, которые не представляютъ особенной содержательности, а потому и могутъ быть нами обойдены. Быть можетъ сознаніе неудобствъ постояннаго затрогиванья въ ту пору живыхъ вопросовъ общественныхъ заставляло нашего писателя ограничиться на извѣстное время старою темой—той или иной *любви*. Между тѣмъ уже въ 1852 г., не смотря на то, что обстоятельства еще далеко не измѣнились къ лучшему, онъ не выдерживаетъ своей невольной роли *молчальника* въ самомъ разгарѣ творческихъ силъ, и какъ бы отзвукомъ, при томъ же раздавшимся очень громко и смѣло, «Записокъ Охотника» являются у него «Муму» и «Постоялый Дворъ». — Особенно первая изъ этихъ повѣстей поражаетъ въ высшей степени сочувственной личностью этого получеловѣка — нѣмого дворника съ его глубокой любовью къ единственному, привязавшемуся къ нему существу, собачкѣ, и съ его величавымъ уходомъ отъ своей безсердечно-нервозной барыни. Но вотъ наступаетъ 1855 г. и нашъ писатель выводитъ передъ нами совершенно особый и глубоко-задуманный типъ—Рудина.

Типъ этотъ, существующій въ русскомъ обществѣ въ самыхъ многочисленныхъ видоизмѣненіяхъ, въ извѣстномъ смыслѣ, надо замѣтить, успѣлъ проявиться у нашего сочинителя еще въ «Запискахъ Охотника», а именно въ лицѣ «Гамлета Щигровскаго уѣзда», который одною своею стороною — озлобленностью (а въ частности — озлобленностью противъ женщинъ) является какъ-бы первымъ наброскомъ другого лица — Пигасова, занимающаго, какъ извѣстно, въ своемъ родѣ видное мѣсто въ повѣсти «Рудинъ». Но самое существенное въ уѣздномъ «Гамлетѣ» — это даромъ пропадающая жизнь въ сущности умнаго человѣка,—черта совершенно Рудинская. Разница собственно въ томъ, что Тургеневскій «Гамлетъ», какъ и подобаетъ Гамлету, съ

самаго начала уже выводится передъ читателемъ вполнѣ сознающимъ свою, такъ сказать, пустоту и самолюбиво страдающимъ отъ такого сознанія. Въ немъ не видать того перевѣса воображенія, которое на долгое время обольщаетъ, какъ извѣстно, на счетъ его собственныхъ силъ слишкомъ поздно доходящаго до самосознанія Рудина. Въ щигровскомъ Гамлетѣ, напротивъ того, мы замѣчаемъ лишь умъ, неумолимо разлагающій собственную природу, умъ, который и даетъ ему со всею ясностію видѣть, что разгадка его пустоты—это недостатокъ самородной, творческой силы, того, что̀ называютъ оригинальностью. «Что̀ мнѣ въ томъ, говоритъ онъ, что у тебя голова велика, умѣстительна, и что понимаешь ты все, много знаешь, за вѣкомъ слѣдишь, — да своего-то, особеннаго, собственнаго у тебя ничего нѣту! Однимъ складочнымъ мѣстомъ общихъ мѣстъ на свѣтѣ больше,—да какое кому отъ этого удовольствіе? Нѣтъ, ты будь хоть глупъ, да по своему.» Но тотъ же далеко не дюжинный умъ выясняетъ ему и причину такой пустоцвѣтности. «Какую, скажите на милость, спрашиваетъ онъ, какую пользу могъ я извлечь изъ энциклопедіи Гегеля? Что̀ общаго, скажите, между этой энциклопедіей и русской жизнью?» Но онъ идетъ далѣе, онъ съ самой ѣдкой ироніей дѣлаетъ изъ этого жизненный выводъ, выражающійся въ видѣ вопроса: «Такъ зачѣмъ же ты таскался за границу? Зачѣмъ не сидѣлъ дома да не изучалъ окружающей тебя жизни на мѣстѣ?... Да помилуйте... гдѣ же нашему брату изучать то, чего еще ни одинъ умница въ книгу не вписалъ! Я бы и радъ былъ брать у ней уроки, у русской жизни-то,—да молчитъ она, моя голубушка. Пойми меня, дескать, такъ, а мнѣ это не подъ силу, мнѣ вы подайте выводъ, заключенье мнѣ представьте...» Такая привычка пользоваться уже готовымъ, чужою умственною работою «жаръ загребать», сложилась въ нашемъ Гамлетѣ уже издавна. Еще въ университетѣ попалъ онъ въ такъ называемый «кружокъ», а это, по его признанію, «гибель всякаго самобытнаго развитія...» «Кружокъ пріучаетъ къ безплодной болтовнѣ, отвлекаетъ

васъ отъ уединенной благодатной работы, прививаетъ вамъ литературную чесотку, лишаетъ васъ, наконецъ, свѣжести и дѣвственной крѣпости души... Въ кружкѣ поклоняются пустому краснобаю... въ кружкѣ наблюдаютъ другъ за другомъ не хуже полицейскихъ чиновниковъ... о кружокъ!... ты заколдованный кругъ, въ которомъ погибъ не одинъ порядочный человѣкъ!...» Чтобы понять все жизненное значеніе этихъ словъ Тургеневскаго «Гамлета», стоитъ только вспомнить тогдашнее значенье кружковъ— хотя бы того, въ которомъ Бѣлинскій набрался Гегеля и, на нѣсколько лѣтъ своей кратковременной жизни сбившись вслѣдствіе этого съ настоящаго своего пути, только высокой своей даровитостью снова былъ выведенъ на свободу, снова сталъ говорить — не съ чужого голоса. Надо, однакожь, замѣтить, что коренная причина того забиванія личности, какое происходило, а отчасти и происходитъ въ нашихъ кружкахъ, осталась не вполнѣ разъясненною для нашего «Гамлета». Дѣло въ томъ, что горланы или умственные «міроѣды» кружка подвергаютъ другихъ тому же самому гнету, который вынесли на самихъ себѣ, но который представляется имъ не гнетомъ, а чѣмъ-то скорѣе освободительнымъ или просвѣтительнымъ. Если своими «готовыми взглядами» они забивали и забиваютъ умственную самодѣятельность новобранцевъ своего кружка, то потому лишь, что, сами получивъ эти взгляды уже совершенно готовыми изъ какихъ-нибудь книгъ, привыкли принимать подобный «заемъ» за собственный, добытый трудомъ капиталъ. Все это развѣ смутно представлялось Щигровскому Гамлету, когда онъ рѣшился отправиться лично туда, гдѣ совершались наши умственные займы—въ Германію: вѣдь если ужь занимать, то изъ первыхъ рукъ. И что же? «Нечего и говорить, сознается онъ, что собственно Европы, европейскаго быта я не узналъ ни на волосъ; я слушалъ нѣмецкихъ профессоровъ и читалъ нѣмецкія книги на самомъ мѣстѣ рожденія ихъ... вотъ въ чемъ состояла вся разница.» Дома пріученный, подъ вліяніемъ своего кружка, читать эти нѣмецкія книжки *помимо жизни*, т. е. окру-

жавшей его, родной русской жизни (которая уже въ самомъ дѣтствѣ была отъ него заслонена «Французскимъ его гувернеромъ — Нѣмцемъ Филипповичемъ изъ Нѣжинскихъ Грековъ» и развѣ украдкой проглядывала передъ нимъ въ тогдашнихъ университетскихъ, по большей части вполнѣ отвлеченныхъ лекціяхъ); привыкнувъ мыслить только по книгамъ, совершенно помимо жизни, онъ и въ Германіи также мало былъ склоненъ къ тому, чтобы непосредственно вглядѣться въ самую жизнь, ту жизнь, на почвѣ которой родились эти книжки. Разсудивъ, при отправленіи за границу, и даже основательно разсудивъ, что «наука-то, кажись, вездѣ одна,» онъ не зналъ, какъ не знаютъ еще и теперь очень многіе, что наука съ ея цѣлью—истиной не въ однѣхъ книжкахъ, что овладѣть ею — значитъ умѣть сознавать непосредственное возникновеніе ея изъ жизни, стать способнымъ и собственной смѣткой выводить ее изъ всего, что̀ насъ окружаетъ, особливо же изъ того, что̀ еще не почато. Не достигнувъ этого и за границей, Щигровскій Гамлетъ, по собственному его сознанію, «остался тѣмъ же неоригинальнымъ существомъ», и только испыталъ въ этомъ отношеніи участь цѣлаго множества нашихъ соотечественниковъ, отличаясь отъ нихъ однакоже тѣмъ, что имъ отъ подобной неоригинальности, повидимому, и горя мало, онъ же постоянно томится ея сознаніемъ.

Разъясненіе Щигровскаго Гамлета необходимо для настоящаго пониманія Рудина, какъ съ другой стороны полный свѣтъ на этотъ послѣдній типъ кидается только позднѣйшими Тургеневскими типами. Какъ представитель нашего дѣйствительно образованнаго (а не только свѣтски-натертаго) люда, «Гамлетъ Щигровскаго уѣзда» ярко выдается изъ ряда другихъ «охотничьихъ» типовъ нашего писателя (такіе, тоже образованные люди, какъ Королевъ и т. п., только слегка обрисовываются однодворцемъ Овсянниковымъ, а не выступаютъ передъ читателемъ сами, какъ непосредственно дѣйствующія лица). А между тѣмъ, если вдуматься, то и Щигровскій Гамлетъ окажется тѣсно связаннымъ съ тою барской средой, которая раскрывается

передъ нами въ «Запискахъ Охотника». Вѣдь самое это отвлеченное направленіе мысли, самое это ученье помимо жизни возможно только въ барской средѣ, той средѣ, гдѣ не имѣлось живой, насущной потребности *дѣла*, и потому-то все, даже самое знаніе, могло обращаться въ *бездѣлье*, въ какой-то возвышенный способъ коротать время.

Такимъ же созданіемъ барской среды является передъ нами Рудинъ—человѣкъ, хотя и бѣдный, но, благодаря вредному самоотверженью своей матери, воспитанный все-таки барчукомъ. Мѣсто дѣйствія, гдѣ знакомится съ нимъ читатель, это одинъ изъ тѣхъ барскихъ салоновъ, въ которыхъ у насъ умудрялись сооружать посреди деревни столицу, или даже своего рода Парижъ эпохи энциклопедистовъ съ ея дамами esprit fort (извѣстно, что мы постоянно проходимъ «зады» европейской жизни). Надо замѣтить, что міръ, окружающій эту доморощенную столицу съ ея салономъ, какъ-бы совершенно не существуетъ для проживающихъ въ ней и даже для ея просвѣтительнаго оратора и трибуна Рудина. Только самъ сочинитель въ началѣ даетъ намъ заглянуть мелькомъ въ этотъ окружающій міръ, вводя насъ въ душную избу крестьянки,* больной горячкой, вводя съ одною изъ менѣе развитыхъ личностей повѣсти, сестрою также простодушнаго Волынцева: другимъ, болѣе развитымъ, личностямъ повѣсти некогда оглядываться вокругъ себя—онѣ слишкомъ погружены въ свои мысли. Вспомните тотъ обѣдъ у меценатствующей помѣщицы генеральши, къ которому ожидаютъ проѣзжаго барона для слушанія его политико-экономической статьи, и первое появленье посланнаго имъ за себя Рудина. Не смотря на нерасполагающую роль подставного лица, Рудинъ однако же сразу производитъ впечатлѣніе обаятельное и совершенно, повидимому, уничтожаетъ долго игравшаго у Ласунской чуть ли не первую роль, ядовитаго отрицателя и ненавистника человѣческаго рода, Пигасова. «Стало быть, по вашему, убѣжденій нѣтъ? спрашиваетъ его Рудинъ.—«Нѣтъ—и не существуетъ».—Это ваше убѣжденіе?—Да.—«Какъ же вы говорите, что

*

ихъ нѣтъ? Вотъ вамъ уже одно на первый случай». При такихъ и подобныхъ тому пріемахъ, и самъ читатель на первыхъ порахъ готовъ удивляться совершенно, повидимому, ясному и здравому уму Рудина. Но вскорѣ уже ему—то есть только читателю, а не окружающимъ—приходится немного разочароваться. На различныя отрицательныя выходки со стороны Пигасова Рудинъ отвѣчаетъ уже совершенно неопредѣленною фразой, что надо желать «быть и жить въ истинѣ». Онъ думаетъ выяснить свою мысль наглядно, приводя скандинавскую легенду о птичкѣ, которая влетѣла во время ужина въ царскую палату и, тотчасъ же изъ нея вылетѣвъ, пропала въ ночной темнотѣ и возбудила заботливое вниманье царя. «Царь, птичка и въ темнотѣ не пропадетъ и свое гнѣздо сыщетъ», успокоиваютъ царя его собесѣдники. Самъ же Рудинъ дѣлаетъ изъ этого слѣдующее заключеніе: «наша жизнь быстра и ничтожна, но все великое дѣлается черезъ людей. Сознаніе быть орудіемъ тѣхъ высшихъ силъ должно замѣнить человѣку всѣ другія радости; въ самой смерти найдетъ онъ свою жизнь, свое гнѣздо». Тутъ, какъ не трудно замѣтить, вполнѣ уже сказывается тотъ туманный идеализмъ, которымъ такъ долго у насъ пробавлялись и въ разговорахъ, и въ книгахъ. И извѣстная доля такого идеализма въ свое время не только не отталкивала, но даже отчасти могла привлекать не однѣхъ, едва разцвѣтающихъ и ищущихъ хоть какой нибудь теплоты и свѣта, впечатлительныхъ дѣвушекъ, какова Наташа, но даже и вкусившихъ уже университетской науки юношей—въ родѣ Басистова (въ настоящее время, конечно,—и это весьма ощутительный признакъ нашего умственнаго успѣха—ни одного изъ нихъ уже не плѣнить какими нибудь фразами). Въ пылу овладѣвшаго ими очарованія, не только Наташа, но и Басистовъ, слушаютъ—не наслушаются Рудина, и даже студенту нисколько не представляется страннымъ, какъ это, случайно явившись съ чужимъ порученьемъ у Ласунской, Рудинъ заживается у нея на нѣсколько мѣсяцевъ, и ораторствуетъ себѣ да ораторствуетъ

о различнаго рода высшихъ вопросахъ, иногда ниспускаясь на землю къ вопросамъ хозяйственнымъ, предлагая Ласунской различнаго рода нововведенія (все, кромѣ выпуска на волю крестьянъ — о чемъ, разумѣется, подобнаго рода идеалистамъ никогда и не снилось), предлагая ихъ такъ, безъ малѣйшей надежды на осуществленіе, или, лучше сказать, безъ малѣйшей заботы о томъ. И не только Наташѣ, но и Басистову не навертывается на умъ вопросъ: неужели этому человѣку нечего болѣе дѣлать, какъ только рисоваться передъ этой мишурной царицей салона? Между тѣмъ самъ Рудинъ, очевидно, воображаетъ, что онъ дѣлаетъ дѣло: онъ привыкъ видѣть дѣло въ безплодномъ ораторствованіи, онъ успѣлъ уже на это убить значительную часть своей жизни. Онъ, очевидно, и изъ этой пустѣйшей Ласунской создаетъ себѣ, силой воображенья, такую почву, которая способна воспринимать обильное сѣмя его рѣчей, и такимъ образомъ разыгрывающееся воображеніе доставляетъ богатую пищу его самолюбію: извѣстно, что оно особенно развито у людей, съ избыткомъ одаренныхъ воображеніемъ, этою волшебною силой, умѣющей создавать что̀ угодно почти что изъ ничего, а потому и поднимать одареннаго имъ на любую, хотя бы и не подобающую ему высоту. Но если, питавшее его самолюбіе, свѣтски-холодное благоговѣніе передъ нимъ Ласунской тѣмъ болѣе заставляло его окружать эту барыню какимъ-то особымъ, отъ него же въ главнѣйшей мѣрѣ и падавшимъ на нее сіяніемъ, то что же должно было въ немъ возбуждать то настоящее, горячее чувство безграничной привязанности, которое онъ замѣчалъ въ Наташѣ? Въ лѣтахъ, уже вовсе не молодыхъ, сдѣлаться вдругъ предметомъ страсти дѣвушки, не успѣвшей еще никого полюбить,—не значило ли это увидѣть свое самолюбіе до того польщеннымъ, что тѣмъ самымъ вызывалась невольно отвѣтная страсть, которая и не замедлила, повидимому, развиться—но исключительно подъ вліяньемъ того же, царившаго въ немъ, воображенія. И вотъ любовь къ

Наташѣ представилась ему новымъ *дѣломъ*, задерживающимъ его у Ласунской.

Чѣмъ, однакоже, сильнѣе привязывается Наташа къ Рудину, чѣмъ выше становится онъ въ ея мнѣніи, тѣмъ рѣшительнѣе дѣйствуетъ на нее съ его стороны всякая такая обмолвка, которая попадаетъ въ противорѣчіе съ идеаломъ, составленнымъ ея свѣтлымъ воображеніемъ. Между тѣмъ, уже въ первомъ откровенномъ своемъ разговорѣ съ нею, упомянувъ о своей деревенькѣ, онъ выражаетъ намѣреніе остаться въ ней, потому что ему «пора отдохнуть». Это сразу поражаетъ Наташу, то есть ее поражаетъ не то, что мѣстомъ для отдыха онъ почитаетъ *деревню*: въ ту пору это никого не могло поразить, потому что въ деревнѣ именно только отдыхали, въ ней почти не видѣли возможности дѣла, и различныя тяжелыя ея впечатлѣнія не мѣшали нравственно сибаритствовать никакому идеалисту. Наташу собственно поражаетъ самое стремленіе къ *отдыху*, преждевременное, на ея взглядъ, для ея героя, прекрасныя рѣчи котораго принимала она за чистыя деньги. «Отдыхать, говоритъ она, могутъ другіе, а вы... вы должны трудиться, стараться быть полезнымъ... Кому же какъ не вамъ!»—И, сразу понявъ, что онъ вышелъ изъ своей, хотя бы и безъ всякой умышленной фальши разыгрываемой роли, Рудинъ спѣшитъ поправиться: «ваше слово напомнило мнѣ мой долгъ, указало мнѣ мою дорогу... Да, я долженъ дѣйствовать... Я не долженъ растрачивать свои силы на одну болтовню, пустую, безполезную болтовню, на одни слова»... Но тутъ же опять слова, тѣже, какъ бы сдѣлавшіяся его второю натурой, слова опять полились у него рѣкою, потѣшая по прежнему его самолюбіе, по прежнему заставляя его видѣть въ нихъ—какъ будто бы дѣло, какъ будто бы силу!

Но не только влюбленная и дѣтски впечатлительная Наташа, — и гораздо менѣе ея даровитая, за то гораздо болѣе спокойная, трезвая духомъ вдовушка, сестра Волынцева, въ сильной степени увлечена Рудинымъ. И вотъ въ ея-то глазахъ старается разоблачить его Лежневъ, его

товарищъ по университету. Въ весьма несочувственной имъ оцѣнкѣ Рудина кое что, конечно, должно быть объяснено тѣмъ, что онъ ревнуетъ ее къ нему—обстоятельство, разумѣется, не служащее къ чести Лежнева, который, однакоже, миритъ насъ съ собою впослѣдствіи, когда самъ совершенно чистосердечно кается въ этомъ. Но такъ какъ господствующею чертою Лежнева тѣмъ не менѣе остается прямота и правдивость, нерасположенье ко всякой рисовкѣ или риторикѣ, то мы вполнѣ можемъ понять, что, и помимо всякихъ постороннихъ соображеній, весьма многое не могло его не отталкивать въ Рудинѣ. Между тѣмъ въ юности самъ онъ, вмѣстѣ съ другими, увлекался Рудинымъ и разочаровался въ немъ также точно, какъ впослѣдствіи, прямо уже на глазахъ у читателя, разочаровывается Наташа. И вообще изъ того, что непосредственно происходитъ передъ читателемъ, можно, мнѣ кажется, заключить о возможности большей части того, что узнаемъ мы о Рудинѣ изъ словъ Лежнева. Единственный сынъ у матери и съ самаго нѣжнаго дѣтства предметъ ея обожанія, которому она постоянно приносила жертвы, лишая себя всего, чтобы не дать ему и почуять, что значатъ лишенья, — Рудинъ, какъ и всѣ любимцы, уже съ дѣтства пріучился считать самого себя какимъ-то центромъ всего окружающаго, т. е, безсознательно сдѣлался себялюбцемъ. Принимая все, что дѣлала для него мать, за какую-то должную ему дань, съ другой же стороны чувствуя свое умственное передъ ней превосходство и при этомъ самолюбиво не сознавая, что онъ ей же былъ имъ обязанъ, Рудинъ, проживая впослѣдствіи за границей, не чувствовалъ даже влеченія особенно часто писать къ матери. До поѣздки своей за границу, еще студентомъ университета, онъ, благодаря своимъ блестящимъ способностямъ, сдѣлался такимъ же собирателемъ дани съ товарищей, какимъ былъ прежде въ отношеніи къ матери. И дань эта была не только духовная—дань удивленья—но иной разъ и матеріальная: онъ, какъ будущій геній, не видѣлъ ничего предосудительнаго въ томъ, чтобы содер-

жаться на средства богатаго князька, своего товарища (какъ впослѣдствіи, на глазахъ у читателя, не считаетъ предосудительнымъ—кромѣ дани удивленья съ Ласунской, получить и денежную,—въ видѣ займа). Вмѣстѣ съ тѣмъ, какъ настоящій божокъ, онъ былъ для своихъ товарищей и истолкователемъ ихъ сокровеннѣйшихъ чувствъ, и посредникомъ-разрѣшителемъ ихъ сердечныхъ дѣлъ. Такъ, узнавъ о любви Лежнева къ одной дѣвушкѣ, онъ, «вслѣдствіе своей проклятой привычки каждое движеніе жизни, своей и чужой, пришпиливать словомъ, какъ бабочку булавкой», пустился обоимъ имъ объяснять ихъ самихъ, ихъ отношенія, вступилъ даже въ переписку съ ними—и сбилъ ихъ совершенно съ толку. Понятно послѣ всего этого, что Лежневъ его называетъ *деспотомъ* (который, какъ и многіе деспоты, силенъ только слабостью другихъ); онъ считаетъ его *холоднымъ какъ ледъ* (то есть, не признаетъ въ немъ настоящаго чувства, которое замѣняется въ немъ воображеніемъ). «Никто такъ легко не увлекается, какъ безстрастные люди», замѣчаетъ Лежневъ, и онъ совершенно правъ, потому что они увлекаются собственно своимъ разыгрывающимся, все для нихъ замѣняющимъ, воображеніемъ. Наконецъ, какъ извѣстно, Лежневъ его называетъ *кокеткой*, — а на бѣду онъ кокетничаетъ, то есть кокетничаетъ своимъ умомъ, не передъ одной пожилой Ласунской, но и передъ ея дѣтски-довѣрчивой, чистой, отзывчивой дочерью.

Сильнымъ подтвержденіемъ вѣрности большей части того, что̀ говоритъ о немъ Лежневъ, является странное посѣщеніе Рудинымъ Волынцева. Онъ считаетъ какъ-бы священнымъ долгомъ посвятить своего неудачливаго соперника въ тайну своей счасливой любви къ общему ихъ предмету—Наташѣ. Волынцевъ—человѣкъ простой, привыкшій, какъ самъ говоритъ, «ѣсть пряники неписанные»,—и взбѣшенъ, и поставленъ въ тупикъ этимъ, совершенно для него непонятнымъ поступкомъ, но для Лежнева дѣло ясно. «Оно, вишь ты, и благородно, и откро-

венно, ну да и поговорить представляется случай, краснорѣчіе въ ходъ пустить»...

Я не стану слѣдить за извѣстной исторіей любви Рудина къ Наташѣ, то есть, постепеннаго самолюбиваго влюбленія имъ ея въ себя. Но вотъ цѣль достигнута: она не можетъ жить безъ него, но мать не согласится на ея бракъ съ имъ, и ей остается только бѣжать съ Рудинымъ. Она готова на все, — но онъ? Въ рѣшительную минуту ему сразу становится ясно, что онъ никогда ее не любилъ «настоящей любовью, любовью сердца, а не воображенія» (собственныя его слова). Изъ того, какъ онъ отвѣчаетъ на ея готовность бѣжать и ей становится сразу ясно, что онъ никогда ее не любилъ. Потому-то и было ему «далеко отъ слова до дѣла», потому-то онъ, по ея словамъ, и «струсилъ» передъ рѣшительнымъ шагомъ. И что же? Слова ея только задѣваютъ въ немъ самолюбіе, оно и въ эту минуту говоритъ въ немъ сильнѣе совѣсти, такъ что у него стаетъ духу *обратить къ ней* ея упрекъ. «*Вы* трусите, а не я!» говоритъ онъ бѣдной Наташѣ, когда она наконецъ вспоминаетъ о томъ, какимъ нареканьямъ подвергаетъ она себя этимъ напраснымъ свиданіемъ съ нимъ.

Съ отношеніями къ Наташѣ Рудина въ эту минуту не лишнее будетъ сопоставить въ «Запискахъ Охотника» отношенія къ Петру Петровичу Каратаеву страстно имъ любимой Матрены. И эта крестьянская дѣвушка «трусила» какъ и Рудинъ, но причины ихъ трусости совершенно различны. Матрена боялась, что за побѣгъ ея поплатятся ея родные, и, чтобъ спасти ихъ, отказалась отъ Каратаева, котораго страстно любила. Напротивъ того, Рудинъ, какъ самъ онъ сознается въ письмѣ къ Наташѣ, «просто испугался отвѣтственности, которая *на него* падала»,—испугался потому, что въ сущности никогда не любилъ Наташи!

Но и при всей непривлекательности той роли, какая досталась ему при свиданіи съ Наташей, Рудинъ сейчасъ же опять находитъ возможность порисоваться въ письмѣ

къ Волынцеву. Самъ великодушно извѣщая его, что онъ уже больше ему не соперникъ, Рудинъ ублажаетъ свое самолюбіе фразами объ *исполненномъ долгѣ*. Не менѣе рисуется онъ при прощаніи съ добродушнымъ Басистовымъ. Въ сущности разставаясь совсѣмъ не охотно со своимъ положеньемъ божка у Ласунской, онъ воображаетъ себя въ положеніи Донъ-Кихота, уѣзжающаго отъ герцогини, и приводитъ Басистову извѣстныя слова его въ эту минуту: «свобода, другъ мой Санчо, одно изъ самыхъ драгоцѣннѣйшихъ достояній человѣка... Счастливъ тотъ, кому небо даровало кусокъ хлѣба, кому не нужно за него быть обязаннымъ другимъ».

И тутъ опять невольно навертывается сопоставленіе съ однимъ изъ крестьянскихъ типовъ въ «Запискахъ Охотника». Вспомните «Бирюка», который, состоя сторожемъ барскаго лѣса, поймалъ въ немъ вора и сперва ему связалъ руки, но потомъ, разжалобленный его бѣдностью, выпустилъ его на волю. «Ну, Бирюкъ, ты, я вижу, славный малый», замѣчаетъ на это охотникъ. «Э, полноте, баринъ, не извольте только сказывать» — вотъ простой отвѣтъ Бирюка, сдѣлавшаго, и не безъ опасности для себя, дѣйствительно доброе дѣло, но далекаго отъ того, чтобъ имъ рисоваться. А Рудинъ совершенно наоборотъ рисуется, разыгрываетъ героя, только что успѣвъ разыграть весьма незавидную роль. Въ суровомъ, повидимому, Бирюкѣ, совершенно невольно, какъ-бы на зло ему самому, вдругъ сказывается мягкая человѣческая натура; что же касается Рудина... то, по крайней мѣрѣ на этотъ разъ, несомнѣнно правъ Лежневъ, когда на слова Басистова, что Рудинъ—«натура славная», замѣчаетъ: «нѣтъ, именно *натуры* въ немъ и не видно!» И дѣйствительно, она въ немъ совершенно заслонена всякими искусственными наслоеніями, и въ этомъ онъ опять — настоящій тепличный продуктъ чисто-барской среды.

Есть однакоже минуты, когда Рудинъ не играетъ роли, а говоритъ отъ души и клеймитъ совершенно искренно самого себя,—и вотъ тутъ-то онъ особенно напоминаетъ

Щигровскаго «Гамлета». Таковъ онъ въ своемъ прощальномъ письмѣ къ Наташѣ. «Природа мнѣ много дала, но я умру, не сдѣлавъ ничего, достойнаго силъ моихъ... Странная, почти комическая моя судьба: я отдаюсь весь, съ жадностью, вполнѣ—и не могу отдаться» (потому что отдается *только въ воображеніи*). «Я кончу тѣмъ, что пожертвую собою за какой нибудь вздоръ, въ который даже вѣрить не буду (но который вдругъ очаруетъ его, всѣмъ пресытившееся, ищущее необычайностей, воображеніе). Боже мой! Въ 35 лѣтъ все еще собираться что̀ нибудь сдѣлать!.. Еслибъ я могъ... побѣдить наконецъ свою лѣнь... Но нѣтъ, я останусь тѣмъ же неоконченнымъ существомъ... первое препятствіе—и я весь разсыпался!..» Переходя затѣмъ прямо къ своимъ отношеніямъ къ самой Наташѣ, онъ и въ этомъ нисколько не хочетъ обманывать ни себя, ни ее. На этотъ разъ совѣсть говоритъ въ немъ громче, чѣмъ самолюбіе: онъ не пускаетъ въ дѣло нетрудной, повидимому, фразы, что онъ не можетъ себя связывать бракомъ, соединеннымъ съ препятствіями, потому что это могло бы служить помѣхой его общественному служенію. Напротивъ, онъ съ неумолимою откровенностью говоритъ: «еслибъ я, по крайней мѣрѣ, принесъ мою любовь въ жертву моему будущему дѣлу, моему призванію; но я просто испугался отвѣтственности»...

Нельзя не замѣтить, что эта способность хотя бы и въ такую только минуту стать совершенно искреннимъ, искреннимъ даже на счетъ самолюбія, заставляетъ насъ видѣть въ Рудинѣ не дурного, въ сущности, человѣка. Извѣстно, что самъ Лежневъ, кромѣ первой, вполнѣ несочувственной его обрисовки, прибѣгаетъ подъ конецъ къ совершенно другой, при чемъ Рудину отдается полнѣйшее предпочтеніе предъ Пигасовымъ. Что̀ касается послѣдняго, то хотя мы при этомъ и узнаемъ, что онъ бралъ въ свое время взятки и, при всемъ своемъ отрицательномъ направленіи, льнетъ, не смотря на положительное свое состояніе, къ богатымъ и знатнымъ, все-таки намъ не слѣдуетъ, съ другой стороны, забывать, что, собственными

усиліями выйдя въ люди, онъ не пересталъ понимать нужду, и *крестьяне у него не бѣдствовали*. Прямое указаніе на эту черту въ безсердечномъ на видъ, отрицающемъ все, Пигасовѣ, и полнѣйшее умолчаніе о чемъ либо подобномъ въ идеалистѣ Рудинѣ, — такое обстоятельство не можетъ не уменьшать въ глазахъ читателя тѣхъ сочувственныхъ сторонъ Рудина, ради которыхъ пьетъ за его здоровье Лежневъ. Послѣ этого менѣе цѣны получаетъ для насъ то, что «если онъ и живетъ на чужой счетъ, то единственно какъ ребенокъ, привыкшій, чтобъ его кормили, а не какъ пролазъ, составляющій себѣ состоянье». Но все же и для читателя невольно оказывается даже весьма сочувственнымъ Рудинъ, когда онъ, уже постарѣвшій, накрѣнившійся, чуть не нищимъ встрѣчается съ Лежневымъ и окончательно располагаетъ его въ свою пользу разсказомъ о своихъ незадачахъ. Попалъ онъ было къ богачу-помѣщику компаньономъ, но, знать, зависимость подобнаго положенія не довольно замаскировывалась благоговѣніемъ патрона къ уму своего кліента, и Рудинъ, на этотъ разъ совершенно искренно, предпочелъ, вмѣстѣ съ Донъ-Кихотомъ, нравственную независимость привольному житью на всемъ на готовомъ. Не выдержалъ онъ и положенія секретаря у благонамѣреннаго сановника, — опять-таки потому, надо думать, что уму его приходилось тутъ быть не владыкою, а слугою. Не удалось оказаться зачинщикомъ широко-хватающихъ государственныхъ перестроекъ (а предвкушеніемъ ихъ уже были нововводительскія затѣи его у Ласунской, которыя если и не осуществлялись, то, по крайней мѣрѣ, благоговѣйно ею выслушивались),—и вотъ отъ своего, неподдавшагося его руководству, сановника Рудинъ вдругъ перешелъ къ какому-то, подобному ему самому, фантазеру, захотѣвшему, въ пылу разыгравшагося воображенія, сдѣлать судоходною рѣку— безъ капитала. Предпріятіе, конечно, лопнуло и тогда-то, проученный столько разъ, Рудинъ наконецъ принялся за дѣло, уже совершенно, повидимому, осуществимое, скромное,— даже, можетъ быть, слишкомъ скромное, на его взглядъ,

для его необыкновенныхъ способностей. Онъ сдѣлался учителемъ словесности въ провинціальной гимназіи, и его дѣйствительно рѣдкій даръ слова, такимъ образомъ, получилъ наконецъ вмѣстѣ съ его свѣдѣніями настоящее жизненное примѣненіе. Понятно, что къ нему крѣпко привязались ученики, и онъ привязался къ нимъ—на сколько вообще въ состояніи привязываться *люди воображенія*. Настоящей, сердечной привязанности и тутъ, какъ въ отношеніяхъ его къ Наташѣ, не было. Это я позволяю себѣ усматривать изъ того, что Рудинъ не выдержалъ столкновеній съ гимназическимъ начальствомъ, что самолюбіе не позволило ему сдѣлать въ этомъ отношеніи какія нибудь уступки — ради гимназической молодежи, чтобы не заставить ее такъ скоро лишиться одушевлявшаго ее учителя.

Не трудно послѣ всего этого заключить, что Рудинъ, согласно его собственному предсказанію, долженъ былъ кончить совершенно особеннымъ, изъ ряду выдающимся, образомъ. И въ самомъ дѣлѣ, онъ погибаетъ въ 1848 г., сражаясь на баррикадахъ въ Парижѣ. Точно будто и безъ него не нашлось бы тамъ достаточно дѣятелей, или будто бы у насъ на Руси ихъ черезчуръ уже много!

Но что же наконецъ такое этотъ загадочный Рудинъ? Самъ онъ, при послѣднемъ своемъ свиданіи съ Лежневымъ, вполнѣ откровенно, повидимому, высказываетъ свой взглядъ на себя. «Фраза меня сгубила», говоритъ Рудинъ. «Строить я никогда ничего не умѣлъ; да и мудрено, братъ, строить, когда и почвы-то подъ ногами нѣтъ». Такому самоосужденію вполнѣ соотвѣтствуетъ и слѣдующій отзывъ Лежнева: «несчастіе Рудина состоитъ въ томъ, что онъ Россіи не знаетъ, и это точно — большое несчастіе. Россія безъ каждаго изъ насъ обойтись можетъ, но никто изъ насъ безъ нея не можетъ обойтись». Тотъ же Лежневъ вмѣстѣ съ тѣмъ заявляетъ, что Рудинъ у насъ не одинъ, что онъ—вполнѣ типическое явленіе. «Насъ бы очень далеко повело, говоритъ онъ, если бы мы хотѣли разобрать, отчего у насъ являются Рудины». Въ другомъ

мѣстѣ, выражаясь очень рѣзко и строго, Лежневъ находитъ, что «Рудинъ въ сущности — пустой человѣкъ, но вѣдь и всѣ мы — пустые люди».

Есть ли это только взглядъ самого Лежнева, служащій къ тому, чтобы ярче обрисовать особенныя свойства его ума, или-же къ этому именно взгляду невольно приводитъ читателя самъ сочинитель? Чтобы отвѣчать на этотъ вопросъ, я долженъ сперва разсмотрѣть другіе Тургеневскіе типы, слѣдовавшіе за Рудинымъ и служившіе, такъ сказать, его продолженіемъ, или же разъясненіемъ. Но это составитъ уже предметъ двухъ остальныхъ моихъ лекцій *).

ЛЕКЦІЯ 2-я.

„ДВОРЯНСКОЕ ГНѢЗДО“ И „НАКАНУНѢ“.

Не смотря на порядочный рядъ годовъ, отдѣляющихъ «Рудина» отъ «Записокъ Охотника», этотъ типъ неудавшейся «высшей натуры» находится въ тѣснѣйшей связи не только съ «Гамлетомъ Щигровскаго Уѣзда», но и съ цѣлымъ и основнымъ содержаніемъ «Записокъ». Отличаясь отъ большей части выведенныхъ въ нихъ дворянскихъ типовъ своею образованностью, Рудинъ сходится съ ними со всѣми въ той чисто барской подкладкѣ, какая оказывается, какъ мы видѣли, подъ этой его образованностью. Но ту же самую барскую подкладку увидимъ мы

*) Въ „Невскомъ Сборникѣ“, изданномъ въ 1867 году г. Курочкинымъ, помѣщена была статья молодого критика, скрывшаго свое имя подъ псевдонимомъ *Алкандрова:* „о воспитательномъ значеніи произведеній гг. Тургенева и Гончарова“. При всѣхъ достоинствахъ автора (въ настоящее время пишущаго уже подъ своимъ настоящимъ именемъ), трудно согласиться съ его ратованіемъ противъ г. Тургенева за Рудина, какъ за какую-то высшую, не оцѣненную имъ натуру. Смѣю думать, что это окончательно выяснится у меня далѣе.

и въ тѣхъ Тургеневскихъ типахъ, которые служатъ какъ-бы продолженіемъ Рудина. Нѣсколько такихъ типовъ представляетъ намъ, во первыхъ, «Дворянское гнѣздо»: весьма знаменательное заглавіе, самымъ непосредственнымъ образомъ соотвѣтствующее содержанію повѣсти.

Между выведенными въ немъ типами одинъ, надо замѣтить, является, повидимому, прямо противоположнымъ Рудину. Не даромъ не только въ немъ самомъ не замѣтно барства, но и друга своего Лаврецкаго онъ заставляетъ благодарить Бога за то, что въ жилахъ его течетъ (отъ матери) честная плебейская кровь *). Какъ мало однакоже она помогла Лаврецкому при той барской крови, которая наслѣдована имъ отъ отца, и, главное, при томъ чисто барскомъ воспитаніи, какое онъ получилъ,—это видно изъ самыхъ упрековъ ему Михалевича. Видя, что Лаврецкій совершенно раскисъ, опустился отъ своихъ семейныхъ невзгодъ, Михалевичъ напрасно ему говоритъ: «Ты себя вправь,—на то ты человѣкъ, мущина!.. Развѣ позволительно чистый, такъ сказать, фактъ возводить въ общій законъ, въ непреложное правило» (т. е. вслѣдствіе того, что пришлось обмануться въ женѣ, становиться равнодушнымъ и безучастнымъ ко всему человѣческому роду). «Ты эгоистъ—вотъ что!.. Въ тебѣ нѣтъ теплоты сердечной; умъ,—все одинъ только копѣечный умъ; ты просто жалкій, отсталый волтеріанецъ» (намекъ на воспитаніе Лаврецкаго). «Нѣтъ, ты байбакъ, и злостный байбакъ, байбакъ съ сознаніемъ, а не наивный...» Это послѣднее обстоятельство особенно возмущаетъ Михалевича, являющагося такимъ образомъ человѣкомъ дѣла. «И гдѣ вздумали люди обайбачиться? продолжаетъ онъ;—у насъ!... теперь!.. въ Россіи! Когда на каждой отдѣльной личности лежитъ долгъ, отвѣтственность великая передъ Богомъ, передъ народомъ, передъ самимъ собой!..» А что это у Михалевича не просто громкое общее мѣсто,—несомнѣнно

*) На происхожденіе самого Михалевича нѣтъ никакихъ прямыхъ указаній у сочинителя.

изъ того, что́ слѣдуетъ далѣе. Уже совершенно опредѣленная, точно выраженная задача представляется въ совѣтѣ его Лаврецкому заняться бытомъ своихъ крестьянъ. И вотъ именно тутъ-то, какъ-бы съ тѣмъ, чтобы хорошенько пронять своего «злостнаго байбака», Михалевичъ напоминаетъ ему о томъ, что самая кровь, текущая въ его жилахъ, должна бы заставить его всѣмъ сердцемъ отдаться заботамъ о своихъ крестьянахъ.

А между тѣмъ, съ другой стороны, тотъ же самый Михалевичъ не даромъ учился вмѣстѣ съ баричами, не даромъ хлебнулъ вмѣстѣ съ ними той отвлеченной, кажущей жизнь черезъ дымку, отумавающей образованности, какою вскормлено было у насъ на Руси столько поколѣній; въ силу этой-то образованности и сталъ онъ такимъ стихотворцемъ-энтузіастомъ, что пустѣйшая и бездушнѣйшая Варвара Павловна могла ему представиться изумительнымъ, геніальнымъ и притомъ предобрымъ существомъ, такъ что именно онъ-то и влюбилъ въ нее того самаго Лаврецкаго, котораго несчастіе она составила и которому онъ однакоже, какъ видѣли мы, читаетъ безпощадныя наставленія. Замѣчательно, что при всемъ этомъ онъ не сознаетъ и тѣни какой либо вины за самимъ собой, и что у него стаетъ духу, при свиданіи съ Лаврецкимъ, послѣ всего другого, на цѣлую ночь завязать съ нимъ «одинъ изъ тѣхъ нескончаемыхъ споровъ, на которые способны только русскіе люди» *), споровъ о «самыхъ отвлеченныхъ предметахъ», но ведомыхъ такъ горячо, какъ будто бы «дѣло тутъ шло о жизни и смерти». Если обратить вниманіе на это, то Михалевичъ станетъ далеко не такъ непохожъ на Рудина, какъ оно можетъ показаться съ перваго раза. Точно также походитъ онъ на него въ ту минуту, когда, уже садясь въ тарантасъ, все еще развиваетъ свои воззрѣнія на судьбы Россіи, припутывая тутъ «религію, прогресъ, человѣчность»; а самъ между

*) Т. е. люди, получившіе русское отвлеченное, не непосредственно изъ самой жизни вытекающее, образованіе.

тѣмъ всѣ надежды свои возлагаетъ на откупщика (идеализируя, по всей вѣроятности, и его, какъ Варвару Павловну), который взялъ Михалевича единственно для того, чтобы имѣть у себя въ конторѣ образованнаго человѣка. Правда, кончаетъ Михалевичъ не такъ, какъ Рудинъ. Послѣ долгихъ странствованій, онъ не только попадаетъ на настоящее свое дѣло, но и умѣетъ удержать его за собой. Получивъ мѣсто старшаго надзирателя въ казенномъ заведеніи, онъ совершенно доволенъ своей судьбой, а воспитанники его обожаютъ, хоть и передразниваютъ.

Переходъ отъ Михалевича къ Паншину, по видимому, не переходъ, а скачокъ. Если Паншинъ вообще даровитъ, если въ немъ замѣтна своего рода художническая струя, то она вѣдь остается совсѣмъ не согрѣтою хотя бы чѣмъ нибудь похожимъ на увлеченіе. Другая, рѣшительно перевѣшивающая сторона Паншина, сторона чиновническая, способность его являться *исполнителемъ*—при надеждѣ современемъ стать министромъ, окончательно отличаетъ его какъ отъ Михалевича, такъ и отъ Рудина. За то уже рѣшительное сходство съ послѣднимъ обнаруживается въ немъ въ то время, когда онъ услаждаетъ себя ораторствованіемъ. И при этомъ подъ нимъ точно также не оказывается почвы, онъ точно также не знаетъ Россіи, хотя, на бѣду, онъ не ограничивается однимъ составленіемъ плановъ, но, какъ чиновникъ, имѣетъ или будетъ имѣть возможность и на самомъ дѣлѣ мудрить, производить опыты надъ живымъ тѣломъ народа Русскаго. Если вѣрно Лёжневское объясненіе «пустоты» Рудина тѣмъ, что онъ космополитъ, а «космополитизмъ—нуль или хуже нуля», *) то тѣмъ же самымъ космополитизмомъ одержимъ и Паншинъ; только онъ, какъ космополитъ-чиновникъ, къ сожалѣнію, не нуль, а скорѣе тотъ Пушкинскій живописецъ-варваръ, который чертитъ свой беззаконный рисунокъ поверхъ са-

*) Т. е. космополитизмъ не въ смыслѣ братской общительности совсѣми народами, а въ смыслѣ народной безхарактерности, незнанія собственной почвы, неимѣнія, въ нравственномъ смыслѣ, ни кола, ни двора.

мородныхъ созданій народнаго творчества, и чертитъ его такъ безцеремонно, что понадобилось бы не мало усилій, чтобы стереть всю эту мазню. «Россія отстала отъ Европы, говоритъ Паншинъ, нужно подогнать ее.... Мы больны отъ того, что только на половину сдѣлались Европейцами; чѣмъ мы ушиблись, тѣмъ и лѣчиться должны....» И вотъ онъ, съ цѣлой стаей другихъ, намѣренъ приняться за такое лѣченіе—изъ, конечно, даже не прекраснаго «далека» своей канцеляріи. Чисто чиновничій характеръ предполагаемаго Паншинымъ лѣченія сказывается въ слѣдующихъ его словахъ: «Всѣ народы въ сущности одинаковы, вводите только хорошія учрежденія, и дѣло съ концомъ!..» «Пожалуй, дѣлаетъ онъ уступку, можно приноравливаться къ существующему народному быту»; но кто не знаетъ, какъ мало можно полагаться на эту бюрократическую готовность только *приноравливаться?*...

Противъ канцелярски-просвѣтительныхъ затѣй Паншина возсталъ, какъ извѣстно, Лаврецкій. Онъ «отстаивалъ молодость и самостоятельность Россіи... доказалъ невозможность скачковъ и надменныхъ передѣлокъ съ высоты чиновничьяго самосознанія,—передѣлокъ, не оправданныхъ ни знаніемъ родной земли, ни дѣйствительной вѣрой въ идеалъ, хотя бы отрицательный; привелъ въ примѣръ свое собственное воспитаніе...» На основаніи этого мѣста нѣкоторые критики признали въ Лаврецкомъ Славянофила, почувствовавшаго, какъ и многіе, на собственномъ примѣрѣ всю пагубу такъ называемой «безпочвенности». Но не надо забывать, что выходка Лаврецкаго противъ Паншина вызвана, главнымъ образомъ, желаніемъ уничтожить его въ глазахъ Лизы, инстинктивно сочувствующей всему народному. Въ сущности Лаврецкій довольно далекъ отъ того, чтобы сдѣлаться настоящимъ Славянофиломъ; напротивъ, въ немъ до конца сохраняется отпечатокъ чего-то Рудинскаго (хотя не надобно забывать, что есть и между такъ называемыми Славянофилами своего рода Рудины: стоитъ только вспомнить въ «Запискахъ Охотника» Любозвонова). Во всякомъ случаѣ, воспитаніе

Лаврецкаго было, какъ онъ самъ сознается, совершенно безпочвенно. Хотя и *плебей* по матери, онъ былъ искусственно высиженъ въ «дворянскомъ гнѣздѣ».

Нашъ писатель, какъ извѣстно, разсказываетъ намъ самую исторію этого «гнѣзда». Родъ Лаврецкихъ, какъ и многіе изъ нашихъ дворянскихъ родовъ, происходилъ изъ чужой земли, а именно изъ Пруссіи. Отличался онъ, какъ и многіе, тѣмъ, что совершенно вошелъ во вкусъ крѣпостного права. Прадѣдъ героя повѣсти, Андрей Лаврецкій, былъ такимъ типомъ барина, какіе, какъ видѣли мы, словно умышленно не обличались г. Тургеневымъ въ «Запискахъ Охотника»,—типомъ, болѣе или менѣе *исключительнымъ* по своей жестокости. По свидѣтельству собственнаго правнука, онъ «мужиковъ за ребра вѣшалъ». «Баринъ былъ, что̀ и говорить», отзывается о немъ старикъ Антонъ,—«и старшо̀го надъ собой не зналъ». Сложилось въ народѣ и особое, съ примѣсью чудеснаго, сказаніе въ объясненіе его безнаказанности: будто монахъ съ Аѳонской горы далъ ему ладонку и сказалъ: «Носи и суда не бойся». Сынъ этого обладателя такого страшнаго талисмана, Петръ Андреевичъ, представлялъ въ отношеніи къ нему такую же противоположность, какъ Чертопхановъ-сынъ въ отношеніи къ Чертопханову-отцу (вспомните «Записки Охотника»). Петръ Андреевичъ Лаврецкій былъ простой степной баринъ, крикунъ, но не злой, хлѣбосолъ. Оба, и онъ, и отецъ, во всякомъ случаѣ, были натуры цѣльныя, чуждыя и малѣйшей тѣни той раздвоенности, которая доставила Щигровскому чудаку прозваніе Гамлета и въ сущности могла бы доставить то же самое Рудину. Раздвоенность, а съ нею и своего рода Рудинство, начинается только съ Ивана Петровича Лаврецкаго, отца героя повѣсти. Дѣло въ томъ, что онъ получилъ воспитаніе въ столицѣ у богатой тетки и старой дѣвушки, княжны Кубенской, приставившей къ нему Рувернера, бывшаго аббата. Казалось бы, ужь и этого довольно, но бывшій аббатъ сверхъ того оказался ученикомъ Ж. Ж. Руссо. Понятно, что по переѣздѣ въ деревню къ отцу, Ивану

Лаврецкому мудрено было съ нимъ ужиться. Но зависѣло это, главнымъ образомъ, отъ французски-великосвѣтской обстановки тетки. «За столомъ привередничаетъ, жалуется на него отецъ, не ѣстъ, людского запаху, духоты переносить не можетъ...» Впрочемъ, жалобы этимъ не ограничивались. «Драться при немъ тоже не смѣй, служить не хочетъ... а все отъ того, что Вольтеръ въ головѣ сидитъ.» На самомъ же дѣлѣ не одинъ Вольтеръ, но и всѣ Энциклопедисты (конечно, купно и съ Ж. Ж. Руссо) сидѣли у него въ головѣ, *но*, по прямому свидѣтельству нашего сочинителя, *съ одной только головы*. Въ этомъ отношеніи онъ уже совершенно подходитъ къ Рудину, всѣ «убѣжденія» котораго имѣли также характеръ по преимуществу головной, т. е., вычитанный изъ книгъ. Впрочемъ, былъ одинъ случай, въ которомъ Иванъ Лаврецкій, по видимому, показалъ себя съ другой стороны. Дѣло въ томъ, что онъ не въ воображеніи только, какъ Рудинъ, но и на самомъ дѣлѣ влюбился въ горничную Маланью, и вотъ это-то дало ему возможность «пустить въ ходъ, оправдать на дѣлѣ Руссо, Дидерота и la déclaration des droits de l'homme». Къ неописанному ужасу своего отца, онъ женился на его крѣпостной. Но этимъ однимъ поступкомъ и ограничилось все его дѣйствительное служеніе великимъ идеямъ Французскихъ мыслителей. Да и тутъ, разумѣется, онъ не выдержалъ до конца. Жениться-то онъ женился, но ужиться съ плебейкой женой было ему не по силамъ. Въ самомъ скоромъ времени уѣхалъ онъ къ Русской миссіи въ Лондонъ, оставивъ на жертву своей барской роднѣ жену, которой приходилось уже безъ него стать матерью. Только неожиданно разразившаяся надъ Русской землей гроза двѣнадцатаго года напомнила ему, какъ и многимъ изъ нашего дворянскаго класса, что все же они какъ будто бы Русскіе. Онъ вернулся на родину, былъ свидѣтелемъ патріотическаго поступка своего отца, который снарядилъ на свой счетъ цѣлый полкъ ратниковъ, и, когда гроза была отведена (конечно, не такого лишь рода патріотизмомъ, а иною, гораздо глубже, въ самомъ сердцѣ всего

народа лежавшею силою), тогда Иванъ Петровичъ съ спокойнымъ сердцемъ опять укатилъ за границу. Только смерть отца окончательно его воротила на родину — уже англоманомъ (не даромъ же жилъ онъ въ Лондонѣ). Это, конечно, не мѣшало ему считать себя патріотомъ, подобно многимъ и въ наше время, не короче его знакомымъ съ отечествомъ. Да онъ и имѣлъ на то право, вывезши изъ чужихъ краевъ нѣсколько плановъ улучшенія государства, новый фасонъ для лакейскихъ ливрей (которымъ и въ самомъ дѣлѣ воспользовался) и классическую надпись для вящаго облагороженія своего герба: in recto virtus. Такъ какъ улучшительные планы были широки, касались *всего* государства, то въ тѣсномъ кругу ближайшей къ нему деревенской жизни обошлось безъ малѣйшихъ улучшеній. Хозяйство по прежнему лежало на сестрицѣ Ивана Петровича, и единственная перемѣна заключалась въ томъ, что оброкъ кое-гдѣ прибавился, да барщина стала потяжелѣе: не даромъ же онъ привыкъ въ странѣ лордовъ къ комфорту... Ради того же комфорта, надо думать, мужикамъ запрещено было прямо обращаться къ Ивану Петровичу: «патріотъ очень ужь презиралъ своихъ согражданъ» (запаха которыхъ, къ тому же, не могъ онъ сносить еще въ молодости).

Но если хозяйство по прежнему оставалось на рукахъ у Глафиры Петровны, то не такъ оно вышло съ сыномъ Ивана Петровича, Ѳедоромъ, который еще и при жизни матери (довольно рано умершей) воспитывался подъ надзоромъ тетки и нанятой ею гувернантки Шведки. Хотя и подъ ихъ обоюднымъ кровомъ ему не было особенно тепло, такъ что единственные свѣтлые лучи въ его дѣтской жизни составляли его временныя свиданія съ матерью (временныя — потому, что нельзя же было его ввѣрить ей, мужичкѣ), а потомъ, послѣ ея смерти, воспоминанья о ней, да, можетъ быть, живые разсказы старой сѣнной дѣвушки,—все же Ѳедѣ Лаврецкому стало еще непривольнѣе, когда въ воспитанье его вмѣшался отецъ. Ивану Петровичу захотѣлось сдѣлать изъ него человѣка, *un homme*—

впрочемъ, не только человѣка, но и *Спартанца*, и вотъ для этой-то выдѣлки былъ къ нему приставленъ *Швейцарецъ*. Учебными средствами для того служили: естественныя науки, международное право, математика, столярное ремесло — это послѣднее по совѣту Ж. Ж. Руссо—наконецъ геральдика—для поддержанія рыцарскихъ чувствъ (а можетъ быть и способности оцѣнить усовершенствованіе, произведенное отцомъ въ фамильномъ гербѣ; удивительно только, какъ не былъ притянутъ и латинскій языкъ—для умѣнья понять и оцѣнить составлявшую это усовершенствованіе надпись).

Начертивъ такой планъ воспитанія и поручивъ выполненіе его своему Швейцарцу, Иванъ Петровичъ могъ преспокойно уѣзжать по зимамъ въ Москву и также непроизводительно ораторствовать въ тамошнихъ гостиныхъ, какъ Рудинъ ораторствовалъ у Ласунской. Между пріятелями Ивана Петровича не всѣ однакоже были только ораторами изъ любви къ искусству. Многіе изъ нихъ, поживъ за границей, вывезли оттуда не широковѣщательныя затѣи въ духѣ рабскаго подражанья чужому быту, а живое сознаніе того, что пора же и намъ, по крайней мѣрѣ, послѣ той торжественной роли, какую Россіи довелось разыграть въ 1812, 13 и 14-мъ годахъ, быть признанными совершеннолѣтними... Но этимъ людямъ, не удовлетворившимся однѣми рѣчами, не повезло, какъ извѣстно, въ 1825 г. Неудача ихъ испугала Ивана Петровича, такъ какъ онъ кое въ чемъ сходился съ ними—въ словахъ *); но именно по тому, что съ его стороны это были одни слова, что все это было только навѣяно, а вовсе не становилось задушевнымъ его убѣжденіемъ, онъ разомъ сжегъ свои планы, сталъ трепетать передъ губернаторомъ, егозить передъ исправникомъ. Точно также только навѣяннымъ, не пустившимъ корней, оказалось и его, въ энциклопедическомъ вкусѣ, религіозное вольнодумство: онъ вдругъ началъ ходить въ церковь и заказывать молебны. Сыну было мудрено не замѣтить разладицы меж-

*) Онъ этимъ походилъ на Репетилова, они же на Чацкаго.

ду словами и дѣлами отца. Понятно, что послѣ этого онъ не могъ питать особеннаго довѣрія и къ установленнымъ этимъ отцомъ руководящимъ началамъ воспитанія, а равно и къ выбранному имъ воспитателю. Ѳедору Лаврецкому понятнымъ образомъ захотѣлось самому стать на ноги. Онъ собрался поступить въ университетъ, какъ вдругъ постигшая Ивана Петровича слѣпота на нѣсколько лѣтъ обратила юношу въ няньку своего отца, становившагося тѣмъ болѣе своенравнымъ, чѣмъ болѣе имъ сознавалась вся окончательная безприкладность его существованія. Когда же отца не стало, сыну минуло двадцать четыре года. Это не удержало его отъ исполненія давнишняго желанія—стать студентомъ; но оказалось, что по понятіямъ, по знанію жизни, онъ былъ въ такомъ возрастѣ даже вовсе не юношей, а ребенкомъ. «Ему бы слѣдовало, поясняетъ нашъ сочинитель, съ раннихъ лѣтъ попасть въ жизненный водоворотъ, а его продержали въ искусственномъ уединеніи». Затѣявъ выдѣлать изъ него вообще человѣка, на самомъ дѣлѣ ему помѣшали развить въ себѣ то, что составляетъ коренную особенность человѣческой природы—способность не оставаться чѣмъ-то лишь общимъ и родовымъ, а становиться настоящею особью, опредѣленною, мѣстомъ и временемъ обусловленною личностью. Понятно, что не ставъ такой личностью, Ѳедоръ Лаврецкій долженъ былъ представлять лишь открытое поле для всякихъ наносныхъ вѣяній, и на Руси оказалось только однимъ кандидатомъ болѣе въ классѣ тѣхъ безпочвенныхъ, лишнихъ, при всемъ своемъ умѣ, и неудавшихся, при всей своей даровитости, многочисленныхъ смертныхъ, къ которымъ принадлежалъ и Рудинъ. Разница только въ томъ, что въ основу Рудинскаго нрава легла его избалованность съ дѣтства, привычка къ принятію поклоненій и жертвъ, вслѣдствіе чего, куда бы ни кидала его судьба, онъ воображалъ себя какимъ-то заправщикомъ, тогда какъ тепличная замкнутость воспитанія не дала ему научиться толково заправлять и самимъ собою; напротивъ того Лаврецкій, съ дѣтства муштруемый и выдерживае-

мый подъ началомъ, и впослѣдствіи постоянно попадаетъ въ положеніе зависимое—и въ дружбѣ съ Михалевичемъ разыгрываетъ вполнѣ страдательную, въ самомъ широкомъ смыслѣ этого слова, роль. Даже и влюбившійся-то не самъ, а скорѣе влюбленный своимъ энтузіастомъ товарищемъ, онъ попадаетъ затѣмъ подъ ферулу жены, для нея оставляетъ университетъ, наконецъ за нею плетется туда же, куда каждогодно плетутся лишніе Русскіе люди—на заграничныя воды. Въ одномъ только отношеніи спаслось въ немъ, столь свойственное человѣческой природѣ чувство независимости: онъ не захотѣлъ служить, не захотѣлъ чиновнически дѣлать видъ, что дѣлаетъ дѣло, а предпочелъ откровенно и просто ничего не дѣлать. Но «жизнь становилась подъ часъ тяжела у него на плечахъ,—тяжела, потому что пуста». Вотъ въ этомъ опять онъ значительно отличался отъ Рудина, который, за множествомъ словъ, принимаемыхъ за дѣла, такъ долго не сознавалъ своей пустоты. Въ этомъ случаѣ Лаврецкому, можетъ быть, помогла та честная плебейская его кровь, на которую указывалъ ему Михалевичъ, т. е., помогло, надо полагать, участіе, которое онъ, ради матери, долженъ былъ съ дѣтства питать къ народу въ трудовой его долѣ, участіе, невольно растворявшееся тѣмъ уваженіемъ къ труду, которое должно было его заставлять краснѣть при мысли о собственномъ ничего-недѣланіи. Съ другой, уже чисто физической стороны, честная плебейская кровь сказалась у Лаврецкаго тою здоровой натурой, въ силу которой онъ ни мало не измѣнился не смотря на невзгоды, чѣмъ, какъ извѣстно, просто оскорбилась нервозная его родственница Марья Дмитріевна, привѣтствовавшая его, разъѣхавшагося съ женой, словами: «Видно тебѣ все, какъ съ гуся вода; иной бы съ горя зачахъ, а тебя еще разнесло». Но Лаврецкаго постигаютъ новыя испытанія. Полюбивъ Лизу, онъ, прочитавъ въ газетахъ о смерти жены, начинаетъ считать возможнымъ соединить свою участь съ участью этой дѣвушки, но сперва встрѣчаетъ отпоръ въ ея собственной, болѣзненно-чуткой совѣсти, а

потомъ попадаетъ въ положеніе, уже совершенно безвыходное, узнавъ, что слухъ о смерти жены былъ ложенъ. Но и въ этомъ безвыходномъ положеніи нравственною опорою служитъ ему — опять таки мысль о плебейской его роднѣ. «Предъяви же, говоритъ онъ самому себѣ, свои права на полное истинное счастье! Оглянись, — кто вокругъ тебя блаженствуетъ, кто наслаждается? Вонъ мужикъ ѣдетъ на косьбу? Можетъ, онъ наслаждается своею судьбою?» Или вспомните о томъ, какъ отправляется Лаврецкій туда, гдѣ находитъ укрѣпленіе Лиза—въ церковь, и какъ въ той же церкви его поражаетъ крестьянинъ, молящійся съ невыразимымъ усердіемъ; припомните и вопросъ Лаврецкаго: что̀ съ нимъ? и данный скороговоркою отвѣтъ пугливо и сурово отшатнувшагося мужика: «сынъ померъ», вслѣдъ же за тѣмъ и попытку молиться самого Лаврецкаго. Во всемъ этомъ онъ, разумѣется, нимало уже не походитъ на Рудина: Лаврецкій не только не рисуется своимъ горемъ, не только не ублажаетъ себя воображеніемъ, что я-де стоически твердъ, но напротивъ коритъ себя въ малодушіи. При этомъ онъ доходитъ даже до того, что, взглянувъ на портретъ свирѣпаго прадѣда своего Андрея, читаетъ въ его взглядѣ какъ бы презрѣніе къ хилому своему потомку. Но все-таки, въ самыхъ этихъ укоризнахъ себѣ, въ самой этой готовности оглянуться вокругъ, на народъ, на самомъ дѣлѣ не оказывается какого либо зародыша настоящей мужеской силы, такой силы, которая бы сдѣлала его наконецъ человѣкомъ не слова, а дѣла. Въ сущности онъ и тутъ попадаетъ въ Рудинство въ томъ смыслѣ, что только говоритъ, и, пожалуй, думаетъ о народѣ, но, чтобъ отдѣлаться отъ жены, не задумывается снабжать ее трудовыми крестьянскими деньгами для веселаго проживанія въ Парижѣ. Точно также совершенно по рудински, избѣгая тяжелыхъ впечатлѣній и постоянныхъ, опредѣленныхъ (а не измышляемыхъ только) заботъ, онъ не рѣшается отнять у жены своей дочери, съ тѣмъ чтобы самому ее воспитать, а оставляетъ ее на жертву—подобной матери!

Во многихъ отношеніяхъ, по видимому, вполнѣ возрожденнымъ представляется намъ Лаврецкій въ эпилогѣ. «Въ теченіи восьми лѣтъ совершился наконецъ переломъ въ его жизни, тотъ переломъ, котораго многіе не испытываютъ, но безъ котораго нельзя остаться порядочнымъ человѣкомъ до конца: онъ пересталъ думать о собственномъ счастіи, о своекорыстныхъ цѣляхъ». При этомъ въ немъ какъ бы окончательно восторжествовала его честная плебейская кровь, восторжествовала надъ барствомъ, эгоистичнымъ по самой своей природѣ. «Лаврецкій имѣлъ право быть довольнымъ.... онъ дѣйствительно выучился (о чемъ уже давно мечталъ) пахать землю и трудился не для одного себя: онъ, на сколько могъ, обезпечилъ и упрочилъ бытъ своихъ крестьянъ».—То, что̀ никогда и не снилось Рудину, сдѣлалось главнѣйшею жизненною отрадой Лаврецкаго. Но, если вглядѣться поглубже, то онъ не вполнѣ удовольствованъ этимъ, нисколько уже не своекорыстнымъ *дѣломъ*. Жажда личнаго счастія далеко не загдохла въ Лаврецкомъ, и, считая свое личное счастіе навсегда разбитымъ, онъ въ какихъ нибудь 45 лѣтъ называетъ себя старикомъ, у котораго есть особаго рода занятія—воспоминанія. Въ нихъ-то главнымъ образомъ погруженъ онъ сердцемъ; къ настоящему, которое не сулитъ ему никакого личнаго наслажденія, онъ относится, въ сущности, холодно, сухо. Такимъ образомъ, возрожденіе далеко не охватило собою всего существа Лаврецкаго; въ сущности, въ немъ уцѣлѣлъ еще «ветхій человѣкъ». Обращаясь къ веселящемуся вокругъ него юному поколѣнію, онъ съ грустію говоритъ: «Вамъ легче будетъ жить; вамъ не придется, какъ намъ, бороться, падать и вставать среди мрака (тутъ уже является и постановка себя на подмостки—какъ будто они въ самомъ дѣлѣ *боролись*); мы хлопотали о томъ, какъ-бы уцѣлѣть—и сколько изъ насъ не уцѣлѣло! А вамъ надобно дѣло дѣлать, работать! Здравствуй, одинокая старость! Догорай, безполезная жизнь!»

Какъ? Посреди многолюднаго Божьяго міра онъ считаетъ себя одинокимъ; думаетъ только о *догораніи* жизни,

большая часть которой осталась дѣйствительно вполнѣ безполезной, такъ что слѣдовало бы наверстывать, а онъ уже усталъ, охладѣлъ къ труду, еще такъ недавно принявшись за трудъ! Вотъ и опять тутъ сказалось барство со всѣмъ его сибаритствомъ и пустоцвѣтствомъ!

Нѣтъ, Лаврецкій не есть еще настоящій человѣкъ *дѣла* и *почвы*; въ немъ нѣтъ еще настоящей *силы*. Но не должны ли мы ее искать въ той, ради кого онъ напалъ на Паншина, въ Лизѣ, которой, не смотря на ея, уже ни съ какой стороны не плебейское происхожденіе, «было по душѣ съ Русскими людьми», въ Лизѣ, которая, «не чинясь, по цѣлымъ часамъ бесѣдовала со старостой, какъ съ ровней»? Не нашла ли, по крайней мѣрѣ, Лиза, такъ рѣшительно отказавшаяся, въ силу своихъ убѣжденій, отъ личнаго счастья, не нашла ли она настоящей отрады въ любви къ народу, въ ревностной дѣятельности на его пользу? Лиза, такъ мило признающаяся Лаврецкому, что у нея «словъ нѣтъ», тѣмъ самымъ уже прямо выдѣляетъ себя изъ разряда людей, зараженныхъ Рудинствомъ. Но если у Лизы нѣтъ *словъ*, которыми всякаго рода Рудины замѣняютъ, по большей части, *дѣла*, то водятся ли за Лизой эти послѣднія? Лиза благочестива; но есть ли въ ея благочестіи настоящая, дѣятельная Христіанская нравственность? «Зачѣмъ оскорблять?...» «Если мы не будемъ покоряться»— вотъ тѣ коротенькія изрѣченія, въ которыхъ высказывается, конечно, скорѣе страдательный, чѣмъ дѣйствительный складъ ея міросозерцанія. Не сходясь съ умозрительнымъ, въ своемъ родѣ, пониманіемъ Христіанства Лаврецкимъ, Лиза находитъ, что «Христіанином надобно быть не для того, чтобы познавать небесное тамъ, земное, а для того, что каждый человѣкъ долженъ умереть». Тутъ уже прямо звучитъ даже себялюбивая струнка въ ея благочестіи: Христіанство оцѣнивается лишь какъ средство *спастись*, пріютить за гробомъ свою душу, *собственную свою* душу. Такимъ образомъ, если тутъ приносятся жертвы, то вовсе не ради другихъ людей, а просто земными низшими выгодами жертвуется тутъ высшимъ — небеснымъ,

но все же *своимъ личнымъ* выгодамъ. Послѣ этого совершенно особый смыслъ получаетъ и то, что Лиза любила всѣхъ и никого въ особенности; она любила одного Бога—восторженно, робко, нѣжно, т. е., она любила его, какъ виновника ея будущаго блаженства на небѣ. Рѣшившись итти въ монастырь, она лишь вполнѣ отдавалась предмету своей высшей страсти. Только повидимому примѣшивалась тутъ забота и о другихъ, о земной братіи, безъ любви къ которой, по ученію настоящаго, дѣятельнаго Христіанства, мы не можетъ любить и Бога. «Я все знаю, говоритъ она, и свои грѣхи, и чужіе, и какъ папенька богатство наше нажилъ».... Но напрасно ждешь послѣ этого, что она захочетъ употребить это, такъ неправо нажитое богатство на пользу ближнимъ и такимъ образомъ на дѣлѣ загладить грѣхи отца.... Эти послѣдніе тревожатъ ее не по тому, что отъ нихъ приходилось, а отъ послѣдствій ихъ еще и теперь приходится плохо очень и очень многимъ людямъ; грѣхи отца тревожатъ ее по тому, что отъ нихъ можетъ сдѣлаться плохо *его* душѣ. «Все это отмолить, отмолить надо» говоритъ Лиза; и такъ, только отмолить—ради его самого, а не залѣчить, сколько возможно, своею братолюбивою дѣятельностью тѣ глубокія раны, которыя онъ наносилъ другимъ. Такимъ образомъ и въ Лизѣ не видимъ мы силы дѣятельной, какъ не видимъ и настоящей любви, и, при неимѣніи «словъ», она всетаки въ своемъ родѣ рудинствуетъ.

Но откуда же этотъ особый видъ Рудинства? Неужели возможно оно и при той близости къ простымъ Русскимъ людямъ, къ *почвѣ*, какою отличается Лиза? Или Рудинство составляетъ у насъ принадлежность не только европейски-цивилизованнаго, но и народнаго міросозерцанія?

Вспомните, что у Лизы были двѣ воспитательницы. Одна, повидимому, на первомъ планѣ—гувернантка дѣвица Моро, обыкновенно отзывавшаяся обо всемъ, что только принадлежало къ области вѣрованій: tout ça c'est des bêtises. Но она не имѣла никакого вліянія на Лизу. Другая, настоящая ея воспитательница,—ато была ея няня Агафья,

кающаяся грѣшница, съ увлеченьемъ разсказывавшая Лизѣ о томъ, какъ жили святые въ пустынѣ, какъ спасались.... Такъ какъ обо всемъ этомъ говорила она съ дѣйствительнымъ увлеченіемъ, то вліяніе ея не могло не подѣйствовать на воспріимчиваго ребенка и подѣйствовать тѣмъ сильнѣе, чѣмъ менѣе дѣйствовала сухая разсудочность и безсердечье Моро. Такимъ образомъ, мимо Лизы безслѣдно прошелъ тотъ отблескъ Французской образованности во вкусѣ Энциклопедистовъ, который отразился на ея гувернанткѣ, тогда какъ няня Агафья глубоко ее завела въ тотъ міръ отвлеченно-подвижническихъ идеаловъ, съ которымъ уже съ самыхъ отдаленныхъ временъ познакомился Русскій народъ. Но міръ этотъ, въ свою очередь, возникъ подъ вліяніемъ особой образованности, которая, хотя и пустила у насъ корни во всемъ народѣ, но все же не возникла первоначально на нашей почвѣ, а была только занесена къ намъ изъ Византіи. При томъ множествѣ монастырей — этихъ университетовъ своего времени — которыми усѣяна была земля Русская, эта Византійская образованность распространялась быстро и, при извѣстной воспріимчивости Русскаго народа, надолго сроднилась съ нимъ. А между тѣмъ вѣдь она была совершенно ему не по возрасту. Явленье вполнѣ понятное въ дряхлой и развратившейся Византіи, гдѣ лучшимъ людямъ дѣйствительно не оставалось иной разъ ничего болѣе, какъ заключиться въ самомъ себѣ,—аскетизмъ, напротивъ того, являлся рѣшительно напускнымъ среди такого молодого, непочатаго народа, какимъ былъ тогда народъ Русскій, и своимъ отвлеченно-созерцательнымъ направленіемъ преждевременно подрывалъ въ немъ дѣятельную силу. Но это былъ только первый изъ тѣхъ наносныхъ слоевъ, которые одинъ за другимъ налегали на самородный набросокъ картины, начатой было народомъ Русскимъ,—я возвращаюсь къ сравненію, заимствованному изъ стиховъ Пушкина. За этимъ первымъ Византійскимъ слоемъ, выразившимся въ нашей литературѣ аскетическо-автократическимъ риторизмомъ, начавшимъ раздаваться еще при звукахъ вѣчевого коло-

кола, послѣдовалъ новый, уже Западно-Европейскій слой схоластической образованности, привившейся къ намъ именно въ такую пору, когда она выраждалась на самомъ Западѣ. За тѣмъ послѣдовали, какъ извѣстно, разные, но все уже Западные слои: псевдо-классицизма съ его воспѣваньемъ свѣтлыхъ дней даже въ самую пасмурную годину Бирона; сентиментализма съ его обращеніемъ крѣпостного Русскаго люда въ Аркадскихъ пастушковъ и пастушекъ; романтизма съ всей его рыцарской чертовщиной и бѣгствомъ отъ настоящаго въ смутную даль временъ, въ міръ печально-отрадныхъ воспоминаній или заоблачно-свѣтлыхъ надеждъ; наконецъ, художническаго квіетизма съ его гордымъ незнаніемъ «злобы дня», съ его себялюбивою проповѣдью свободы «себѣ лишь одному служить и угождать».

Неоднократно видоизмѣняясь, наша образованность оставалась неизмѣнною только въ томъ, что постоянно оставалась наносною, чуждою нашей жизни. Не оттого ли и люди, вкушавшіе отъ ея плодовъ, постоянно жили въ какомъ-то дѣланномъ мірѣ, не имѣвшемъ почти ничего общаго съ міромъ дѣйствительнымъ, жили какъ-бы помимо настоящей жизни и такимъ образомъ, даже при отмѣнныхъ способностяхъ, оставались какими-то лишними, неудавшимися людьми? Не отъ того ли уже съ самыхъ давнишнихъ поръ водились у насъ, да и теперь еще, можетъ быть, водятся Рудины?

Какъ-бы уже прямо съ тѣмъ, чтобы показать, что настоящихъ людей дѣла у насъ еще нѣтъ и не можетъ быть, нашъ сочинитель, не болѣе какъ черезъ годъ послѣ «Дворянскаго Гнѣзда», подарилъ насъ повѣстью «Наканунѣ» (1859 г.). Если въ лицѣ Инсарова видимъ мы тутъ человѣка, уже прямо противоположнаго Рудину, то человѣкъ этотъ не Русскій, а Болгаринъ. Между тѣмъ Елена, отдающаяся Инсарову, именно какъ человѣку дѣла, Елена—Русская, она какъ-бы первая изъ оваго поколѣнія Русскихъ женщинъ, далеко опередившаго Русскихъ мущинъ. Какимъ путемъ, подъ какими впечатлѣніями и вліяніями, въ силу какой внутренней, самородной работы могла сложиться эта уди-

вительная натура, этого, къ сожалѣнію, не касается нашъ сочинитель. Онъ просто говоритъ, что Елена уже съ самаго дѣтства «жаждала дѣятельности, дѣятельнаго добра. Нищіе, голодные, больные ее занимали, тревожили, мучили, она видѣла ихъ во снѣ.... Всѣ притѣсненныя животныя находили въ Еленѣ покровительство и защиту»..... Вспомните ея нѣжную дружбу съ нищей дѣвочкой Катей. При такомъ направленіи совершенно понятно, что «одно чтеніе не удовлетворяло Елену». Между тѣмъ самые умные люди вокругъ нея—не забудьте, что это было въ самомъ началѣ пятидесятыхъ годовъ—еще вполнѣ удовлетворялись чтеніемъ, однимъ только чтеніемъ. Не отъ того ли Еленѣ и приходило иногда въ голову, что она «желаетъ чего-то, чего никто не желаетъ, о чемъ никто не мыслитъ въ цѣлой Россіи?...» И вотъ вдругъ она встрѣчается съ личностью, живущею не для однѣхъ книжекъ, думающею, что «не человѣкъ созданъ для субботы, а суббота для человѣка». Принадлежа народу, когда-то обладавшему зачатками образованности, но утратившему ихъ въ послѣдствіи, и при этомъ стремясь содѣйствовать его возрожденію, Инсаровъ старается выбрать изъ круга знаній, раскрытыхъ передъ нимъ Московскимъ университетомъ, собственно то, что̀ есть самаго существеннаго и наиболѣе примѣнимаго къ занимающему его дѣлу. Онъ учится Русской исторіи, праву, политической экономіи, переводитъ Болгарскія пѣсни и лѣтописи, собираетъ матеріалы о Восточномъ вопросѣ, составляетъ Русскую грамматику для Болгаръ, Болгарскую для Русскихъ.... Онъ старается дать себѣ отчетъ въ томъ, нужно ли ему заняться Фейербахомъ, или же можно обойтись безъ него.... Вспомнимъ, что на вопросъ Берсеневу Шубина: «Что̀ Инсаровъ? умный, даровитый?» Берсеневъ, не задумавшись, отвѣчаетъ: «Умный, да; даровитый—не знаю, не думаю». Въ этомъ онъ, стало быть, уступаетъ Рудину, который несомнѣнно даровитъ; но Инсаровъ беретъ совершенно не тѣмъ, а дѣятельнымъ началомъ, волей.... Въ немъ нѣтъ ничего похожаго на художническую, рисующуюся, ставящую себя въ

эффектныя положенья, натуру—ему не до этого. На шеѣ у Инсарова Берсеневъ замѣчалъ рубецъ, должно быть, слѣдъ раны (нанесенной ему, вѣроятно, какимъ нибудь Туркомъ); но онъ объ этомъ говорить не любилъ. «Онъ въ своемъ родѣ молчальникъ». Но вмѣстѣ съ тѣмъ въ немъ, по словамъ Берсенева, рѣдкая искренность—«не наша дрянная искренность, искренность людей, которымъ скрывать рѣшительно нечего....» «Онъ не застѣнчивъ—одни самолюбивые люди застѣнчивы....» Инсаровъ же, напротивъ того, постоянно забываетъ самого себя. Онъ даже не останавливается на мысли о мести за своихъ родителей, павшихъ жертвою Турокъ. Месть все же личное дѣло, а имъ руководитъ не то, имъ руководитъ мысль «освободить свою родину». Вотъ что особенно дѣйствуетъ на Елену. «Эти слова, говоритъ она, даже выговорить страшно, такъ они велики!» Точно такъ же смотритъ на Инсарова и самъ добродушный его соперникъ Шубинъ, когда говоритъ Еленѣ: «Онъ съ своею землею связанъ—не то, что наши пустые сосуды, которые ластятся къ народу: лейся, молъ, въ насъ живая вода!» Прямое указанье на тѣхъ изъ нашихъ людей народнаго направленія, въ которыхъ скрываются только особаго рода Рудины. Но всего лучше понимаетъ себя, свое положеніе самъ Инсаровъ, говоря Еленѣ: «Послѣдній мужикъ, послѣдній нищій въ Болгаріи и я—мы желаемъ одного и того же. У всѣхъ у насъ одна цѣль. Поймите, какую это даетъ увѣренность и крѣпость».

Вотъ въ этомъ-то человѣкѣ Елена, наконецъ, нашла то, чего такъ давно искала, но проблескъ чего уже представился ей однажды въ почти-безсознательномъ подвигѣ Русскаго, т. е., *простого* Русскаго человѣка. «Разговаривая съ Инсаровымъ, говоритъ Елена въ своемъ дневникѣ, я вдругъ вспомнила нашего буфетчика Василія, который вытащилъ изъ горѣвшей избы безногаго старика и самъ чуть не погибъ; мнѣ хотѣлось ему въ ноги поклониться». А между тѣмъ она сама сознается, что у него было самое глупое лицо и что потомъ онъ спился съ кругу. Что касается ума и образованности Инсарова, то Елена ни мало

не ослѣплена въ этомъ отношеніи. Въ томъ же своемъ дневникѣ она прямо сознается, что «Берсеневъ можетъ быть ученѣе, даже умнѣе... но онъ передъ нимъ такой маленькій». Дѣло въ томъ, что Инсаровъ «не только говоритъ, онъ дѣлалъ и будетъ дѣлать». Вотъ въ этомъ-то смыслѣ, надобно думать, она и находитъ, что «это первый человѣкъ, который не лжетъ», т. е., который на дѣлѣ тотъ же, что и на словахъ. До нѣкоторой степени въ связи съ этимъ должно быть и слѣдующее признаніе Елены: «Мы оба стиховъ не любимъ, оба не знаемъ толка въ художествѣ....» Но, совпадая съ нимъ въ этомъ, она сознаетъ, что ей далеко до него въ другихъ отношеніяхъ: «У него есть дорога, говоритъ Елена, а гдѣ мое гнѣздо?...» «Отчего онъ не Русскій?» спрашиваетъ она далѣе, и съ полною увѣренностью отвѣчаетъ: «Нѣтъ, онъ не могъ бы быть Русскимъ».

Если же теперь мы вспомнимъ опять про Рудина, приведемъ его знаменательное признаніе: «Я хочу отдаться, но не могу», то тѣмъ болѣе вѣсу получатъ слова Елены, относящіяся, конечно, опять къ Инсарову: «Кто отдался весь.... весь.... тому горя мало, тотъ уже ни за что не отвѣчаетъ. Не *я* хочу, *то* хочетъ»...

Самъ соперникъ Инсарова въ любви къ Еленѣ—въ высшей степени правдивый, открытый и тѣмъ самымъ привлекательный, при всей своей художнической пустоватости, Шубинъ приводитъ замѣчательное сопоставленіе Русскихъ людей съ Инсаровымъ, находя весьма грустнымъ, но совершенно понятнымъ, что Елена пошла съ этимъ Болгаромъ. «Кого же она здѣсь оставляетъ? спрашиваетъ Шубинъ; Курнатовскихъ, да Берсеневыхъ, да нашего брата; а это еще лучшіе.... Нѣтъ еще у насъ никого, нѣтъ людей, куда ни посмотри. Все—либо мелюзга, грызуны, гамлетики, самоѣды, либо темнота и глушь подземная, либо толкачи, изъ пустого въ порожнее переливатели, да палки барабанныя!... Нѣтъ, кабы были между нами путные люди, не ушла бы отъ насъ эта дѣвушка!...» Какъ не

сознаться, что въ сущности это совершенно то же, что̀ и знаменитый приговоръ Лежнева: «всѣ мы пустые люди!»

Но такого же точно мнѣнія и самъ Инсаровъ, которому, уже и для пользы его родной Болгаріи, нужно бы было, конечно, чтобы дѣло обстояло иначе. Уже незадолго до смерти, въ Венеціи, послѣ посѣщенія либеральнаго болтуна Лупоярова, Инсаровъ съ грустью приходитъ къ обобщенью такого рода: «Вотъ, вотъ ваше молодое поколѣніе! Иной и важничаетъ, и рисуется, а въ душѣ такой же свистунъ, какъ и этотъ господинъ». Понятно послѣ этого, что Елена, и лишившись Инсарова, *предпочитаетъ* Россіи Болгарію. «Тамъ готовится возстаніе, собираются на войну; я пойду въ сестры милосердія... останусь вѣрна его памяти, дѣлу всей его жизни.... А вернуться въ Россію,— зачѣмъ? Что̀ дѣлать въ Россіи?»

Когда цѣлый рядъ дѣйствующихъ лицъ, и лицъ довольно разнообразныхъ, высказываютъ одинъ и тотъ же взглядъ, то невольно приходишь къ заключенію, что взглядъ этотъ, по мнѣнію сочинителя, такая всеобщая истина, къ признанью которой онъ хочетъ привесть и своего читателя. А вспомните, наконецъ, обращеніе Шубина къ вѣчно лежащему Увару Ивановичу, этой черноземной силѣ, какъ онъ его называетъ, обращенье съ вопросомъ: «Будутъ ли у насъ люди?» Хотя Уваръ Ивановичъ и отвѣчалъ на это въ тотъ разъ, что «будутъ», но когда Шубинъ вторично, уже послѣ смерти Инсарова, въ письмѣ изъ прекраснаго своего далека (Италіи) обратился къ «черноземной силѣ» съ тѣмъ же вопросомъ, тогда «черноземная сила» только «поиграла перстами и устремила въ отдаленіе свой загадочный взоръ». Этимъ, какъ извѣстно, и кончается «Наканунѣ».

Но что̀ означаетъ это заглавіе? Если оно дано такъ же соотвѣтственно содержанію, какъ и «Дворянское Гнѣздо», то не заключается ли въ немъ намека на то, что мы живемъ какъ-бы наканунѣ появленья у насъ «людей»? Въ самомъ дѣлѣ, появляются ли эти новые Русскіе «люди» въ одной изъ слѣдующихъ знаменитыхъ повѣстей Тургенева,

въ «Отцахъ и дѣтяхъ»? Не должны ли мы видѣть въ Базаровѣ, этомъ крупнѣйшемъ явленіи изъ «дѣтей», такъ же преждевременно погибающемъ, какъ и Инсаровъ, нашего Русскаго *человѣка дѣла*, сильнаго тѣмъ, что «не *я* хочу, а *то* хочетъ»? Но таковъ ли Базаровъ, чтобы обладать силой привлечь къ себѣ и удержать у себя въ Россіи такихъ женщинъ, какова Елена? Или и онъ еще не изъ тѣхъ людей, которыми могъ бы дѣйствительно обновиться наличный запасъ нашихъ нравственныхъ силъ, а только одинъ изъ выдающихся представителей переходнаго поколѣнія?

Я опять кончаю вопросомъ, разрѣшить которой можно будетъ только внимательнымъ разборомъ «Отцовъ и Дѣтей», чему и будетъ посвящена моя послѣдняя лекція.

ЛЕКЦІЯ 3-я.

„ОТЦЫ И ДѢТИ“ И „ДЫМЪ“.

Видоизмѣняющееся въ различныхъ типахъ *Рудинство*, какъ видѣли мы, оказалось совершенно понятнымъ плодомъ нашей *барской* среды съ ея сибаритскимъ незнаньемъ дѣйствительной жизни, непривычкою къ настоящему производительному труду и полнѣйшею оторванностью отъ своей почвы. Вмѣстѣ же съ тѣмъ тутъ оказался особый, опять-таки чисто барскій складъ въ самомъ историческомъ ходѣ нашей образованности, не вырабатывавшейся нами самими изъ собственныхъ нашихъ данныхъ (при только лишь пособляющемъ свѣточѣ и чужого ума и чужого опыта), а, такъ сказать, подававшейся намъ совершенно готовою, чужими услужливыми руками, и остававшейся большею частью безъ приложенія въ нашихъ собственныхъ, не искушенныхъ работой, рукахъ. Совершенно не баринъ является у г. Тургенева, кромѣ его не дворянскихъ

типовъ (въ «Запискахъ Охотника»), только *Болгаръ* Инсаровъ, чуть ли не въ дѣтствѣ еще перевѣдавшійся съ Туркомъ (какъ крестьянскій мальчикъ Павлуша съ волкомъ),—Инсаровъ, для котораго важно лишь то, что̀ можетъ служить подспорьемъ для его *дѣла*, — а оно же и общее дѣло Болгаръ. Но вотъ года черезъ два нашъ сочинитель въ «Отцахъ и Дѣтяхъ» старому нашему поколѣнію противопоставляетъ поколѣніе молодое. Главный представитель послѣдняго—Базаровъ, повидимому, уже совершенно далекъ отъ Рудинства и вполнѣ сознательно стремится къ тому, чтобы быть человѣкомъ *дѣла*. Не значитъ ли это, что *Болгаръ* Инсаровъ *пророчески* промелькнулъ наканунѣ появленья тѣхъ *Русскихъ* людей, которыхъ почти безнадежно доискивался Шубинъ, и что въ «Отцахъ и Дѣтяхъ» мы видимъ уже наставшимъ у насъ на Руси *настоящій день*? *) Вглядимся поближе въ знаменитѣйшую изъ повѣстей г. Тургенева, возбудившую, какъ извѣстно, и толки, и споры, и чуть не гоненія противъ сочинителя **).

Самое время, къ которому относится дѣйствіе этой повѣсти, въ высшей степени знаменательно: дѣло происходитъ въ 1859 г., т. е. чуть не *наканунѣ* освобожденія крестьянъ. Чувствуешь съ самыхъ первыхъ страницъ, что нашей застоявшейся жизни данъ уже сильный толчокъ, что отъ него встрепенулись и стали оглядываться, да одумываться «отцы», вдругъ почувствовавшіе боязнь, какъ

---

*) Напоминаю читателю про блистательную статью о повѣсти „Наканунѣ“ покойнаго Добролюбова: „Когда же, наконецъ, наступитъ настоящій день!“ (Собр. соч., ч. III). Статью эту любопытно сопоставить съ совершенно несочувственными отношеніями къ Инсарову покойнаго Писарева (Собр. соч., ч. I, стр. 121—123). Впрочемъ, со стороны *художественной*, Инсаровъ, быть можетъ, дѣйствительно слабъ и ходуленъ. Но читатель замѣтитъ, что я вообще устранилъ разсмотрѣніе Тургеневскихъ типовъ со стороны художественной ихъ выполненности. Инсаровъ важенъ *по замыслу* и по отношеніямъ къ тому Елены.

**) Какъ яркое исключеніе изъ ряда другихъ, выдается однакожъ покойный Писаревъ, съ совершеннѣйшею терпимостью и даже сочувственно отнесшійся къ г. Тургеневу въ своей статьѣ о Базаровѣ (Собр. соч., ч. I).

бы «дѣти» ихъ не застали врасплохъ, совершенно неподготовленными къ новой жизни, заторопившіеся сдѣлать различнаго рода уступки, чтобы не показаться отсталыми,—и все же, не смотря на свои старанія, вызывающіе со стороны дѣтей развѣ только снисходительное пожиманье плечами. И замѣчательно, что какъ въ «Запискахъ Охотника» выведены г. Тургеневымъ по крайней мѣрѣ *не худшіе* изъ помѣщиковъ, такъ въ повѣсти, насъ теперь занимающей, выведены положительно *хорошіе* изъ «отцовъ», а все же, при всемъ ихъ желаніи отдѣлаться отъ старой своей закваски или, такъ сказать, произвести въ ней усовершенствованія, приспособить ее къ новому, улучшившемуся вкусу, все-таки эта закваска такъ и сказывается на каждомъ шагу, такъ и обнаруживаетъ свое происхожденіе съ доморощенной *барской* кухни.

У нашего сочинителя, какъ извѣстно, выведены двѣ группы «отцовъ». По преимуществу сочувственною изъ нихъ является Василій Ивановичъ Базаровъ съ добрѣйшею своею женой. И все-таки, не смотря на то, что старикъ Базаровъ самъ называетъ себя плебеемъ, не изъ столбовыхъ, и онъ далеко не свободенъ отъ барскихъ привычекъ — въ родѣ, напримѣръ, мальчика, отгонявшаго вѣткою мухъ за его столомъ, но усланнаго ради боязни насмѣшекъ при пріѣздѣ Базарова-сына (изъ-за котораго старикъ также велѣлъ спороть красную орденскую ленточку, служившую до тѣхъ поръ придачей достоинства его сюртуку). Что же касается Арины Васильевны, то она, какъ настоящая столбовая дворянка, не переставала знать, «что есть на свѣтѣ господа, которые должны приказывать, и простой народъ, который долженъ служить, а потому не гнушалась ни подобострастіемъ, ни земными поклонами», хотя, съ другой стороны, и «обходилась съ подчиненными ласково и кротко». По такой-то природной своей добротѣ, она и не воспротивилась, какъ видно, тому, что мужъ ея, не безъ чувствительныхъ для себя пожертвованій, посадилъ мужиковъ на оброкъ и отдалъ имъ свою землю изъполу. Между тѣмъ, тотъ же ея благовѣрный не задумал-

ся, даже не смотря на присутствіе своего сына, высѣчь одного своего оброчнаго мужика — за то, что онъ воръ и пьяница.

Другая пара «отцовъ», состоящая изъ братьевъ Николая и Павла Петровичей Кирсановыхъ, свою дань духу новаго времени уплатила тѣмъ, что первый, заблаговременно допустивъ у себя вольнонаемный трудъ *), самъ себя величаетъ фермеромъ, и могъ бы также гордиться образованіемъ молодого усовершенствованнаго слуги, не подходящаго къ ручкѣ; второй же, посѣщая дворянскіе выборы, дразнилъ и пугалъ помѣщиковъ стараго покроя либеральными выходками, да и на самомъ дѣлѣ былъ склоненъ вступиться за крестьянъ, хотя, говоря съ ними, морщился и нюхалъ одеколонъ. Если въ этой послѣдней чертѣ уже сказывалось въ немъ барство, то, конечно, не меньше его и въ томъ, что «хозяйственныя дрязги наводили на него тоску» и что вся помощь, какую могъ онъ подать въ этомъ отношеніи Николаю Петровичу, заключалась въ неоднократномъ: «mais je puis vous donner de l'argent». Что же касается Николая Петровича, то хотя ему и приписывается нашимъ сочинителемъ, кромѣ выниманія денегъ изъ кошелька, и рвеніе, и трудолюбіе, все же онъ, по собственному сознанію Павла Петровича, былъ человѣкъ не довольно практичный. Самъ же Павелъ Петровичъ только казался практичнымъ въ глазахъ своего брата и не выводилъ его изъ такого пріятнаго заблужденія, на самомъ же дѣлѣ и онъ не могъ быть практиченъ, какъ *истый баринъ*.

Это названіе, надо замѣтить, по преимуществу подобаетъ Павлу Петровичу. Онъ даже выдѣляется изъ ряда прочихъ «отцовъ» нашей повѣсти именно тѣмъ, что, хотя и дѣлаетъ своего рода уступки духу времени, но, съ другой стороны, не стыдится своего барства, а напротивъ, даже возводитъ его въ извѣстномъ смыслѣ — въ principe, какъ онъ выражается, не только выговаривая это слово

*) Хотя не отмѣнилъ и оброка.

на иностранный манеръ, но и утончая, и облагороживая самое барство по иностранному. Дѣло въ томъ, что умѣнье читать по Англійски — въ своемъ родѣ барскій же видъ умственной моды—дало ему возможность возвести наше барство (какъ выражались, бывало, наши эстетики) въ «перлъ созданія» á l'Anglaise. Яркій же блескъ, который Павелъ Петровичъ, отчасти подобясь въ этомъ отношеніи отцу Лаврецкаго, старался навести на наше домашнее барство лучами, отводимыми къ намъ отъ Англійскаго аристократизма (одареннаго извѣстнымъ умѣньемъ отливать первостатейною либеральностью и своего рода щегольствомъ почина въ прогрессивныхъ дѣлахъ), — этотъ заимствованный блескъ à l'Anglaise давалъ своего рода возможность примирять наше старое барство съ уступками духу времени. И вотъ Павелъ Петровичъ простодушно хвалится: «Меня всѣ знаютъ за человѣка либеральнаго и любящаго прогрессъ, но именно потому я уважаю аристократовъ, настоящихъ... Безъ чувства собственнаго достоинства,—а въ аристократѣ это чувство развито,—нѣтъ прочнаго основанія общественному... bien public»... Но вотъ тутъ-то неумолимый Базаровъ и ловитъ Павла Петровича на словѣ, какъ-бы растолковывая ему тѣмъ самымъ, какъ далеко нашему отечественному барству отъ Англійской, во всякомъ случаѣ, *не праздно сидящей*, или *не безплодно дѣятельной* аристократіи. «Вы, вотъ, уважаете себя, говоритъ онъ, и сидите сложа руки; какая же отъ этого польза для bien public? Вы бы не уважали себя и то же бы дѣлали...»

Но не могъ ли бы Павелъ Петровичъ въ извиненіе себѣ привесть то, что его жизнь разбита—разбита вслѣдствіе несчастной любви, для которой онъ пожертвовалъ даже *службою*—этимъ, въ былое блаженное время, чуть ли не единственнымъ родомъ дѣятельности или, по крайней мѣрѣ, *кажущейся* дѣятельности для большей части нашихъ дворянъ? И въ самомъ дѣлѣ, такая жертва была принесена, въ любви же выпала на долю принесшаго совершенная незадача; между тѣмъ изъ чисто барскаго мѣ-

ста своего образованія, пажескаго корпуса, вынесъ нашъ Павелъ Петровичъ, конечно, не слишкомъ-то грузный для его барскихъ мозговъ запасъ умственный. Такъ что же мудренаго, если, послѣ любовной его незадачи, цѣлыхъ десять лѣтъ уплыло у него безцвѣтно, безплодно и быстро, страшно быстро? «Нигдѣ время такъ не бѣжитъ, какъ въ Россіи», замѣчаетъ г. Тургеневъ; и точно, оно бѣжитъ, потому что мы имъ совершенно не дорожимъ, потому что оно у насъ дешево и мы тратимъ его безъ оглядки, какъ богачъ-мотыга свои шальныя деньги!» Но нашъ сочинитель прибавляетъ: «Въ тюрьмѣ, говорятъ, оно (т. е. время) бѣжитъ еще скорѣй». Бѣжитъ оно такимъ образомъ и у окончательно промотавшагося, засаженнаго въ тюрьму, бѣжитъ по тому, что обращается уже просто въ *спанье*, а что же летитъ такъ быстро, какъ сонъ, т. е., разумѣется, крѣпкій сонъ! И лихо, дѣйствительно, спятъ въ Россіи—кто отъ нечего дѣлать, кто съ горя, кто просто отъ того, что спится!

А между тѣмъ для такихъ, какъ Базаровъ, время становится дорогимъ, и ничѣмъ не оправдаться въ глазахъ ихъ какому нибудь Павлу Петровичу, хотя бы и гордящемуся своею вѣрой въ principe'ы и тупо острящему надъ тѣмъ, что Базаровъ не въ нихъ, а въ *лягушекъ* вѣритъ. Дѣло въ томъ, что пока нашъ баринъ лишь праздно созерцаетъ свои, доставшіеся ему совершенно готовыми, усладительные принципы, Базаровъ собственно-ручно работаетъ для науки, носитъ камни для новаго зданія—храма вновь созидаемой вѣры—сознательной вѣры въ положительный, точный научный выводъ. И уже не разсаривается, а бережно, экономно затрачивается имъ запасъ времени, и представляется оно, иной разъ, слишкомъ тихо движущимся—потому что страстно хотѣлось бы поскорѣе дойти до вывода, а остается еще не осиленнымъ цѣлый длиннѣйшій рядъ данныхъ. И вотъ страстность заставляетъ, иной разъ, незамѣтно *перескочить*, невольно позволить себѣ сокращеніе въ этомъ медленномъ добываніи истины. Но скачки эти (за смѣлость которыхъ приходится

нерѣдко платиться тѣмъ, что споткнешься и долженъ опять подниматься на ноги), скачки эти совершаются не для того, чтобы, поскорѣе достигнувъ цѣли, почить у нея, напротивъ за нею сейчасъ же является новая, а тамъ опять новая, и нѣтъ окончательнаго предѣла на этомъ необозримомъ полѣ, а при медленности движенья на немъ, и самая долгая жизнь оказывается тутъ коротка, такъ что нечего тутъ терять и минуты, ни ради какого горя или утраты, ни ради какихъ наслажденій и личныхъ радостей!

Понятно, что, при подобныхъ стремленіяхъ, Базаровъ можетъ только свысока смотрѣть на Павла Петровича; понятно, что онъ говоритъ про него: «Человѣкъ, который всю жизнь свою поставилъ на карту женской любви, и когда ему эту карту убили, раскисъ и опустился до того, что ни на что не сталъ способенъ, эдакой человѣкъ не мущина»... (въ настоящее время мы бы сказали, что онъ и вообще *не человѣкъ*, потому что, по современнымъ понятіямъ, и въ женщинѣ высшая натура не ограничивается одною областью личной любви). Между тѣмъ подобные люди были совершенно въ духѣ своего времени, и Павелъ Петровичъ является только однимъ изъ послѣднихъ Могиканъ той поры, когда и литература заставляла насъ умиляться передъ какимъ нибудь «рыцаремъ Тогенбургомъ», цѣлые годы только вздыхавшимъ по дамѣ сердца, и когда Жуковскій (умѣвшій заимствоваться лишь съ извѣстной стороны у богатаго и совершенно другими, неизмѣримо высшими идеалами, Шиллера) ту же идею беззавѣтнаго погруженья въ одно прошедшее, съ примѣсью сладкой надежды на загробное будущее, при совершенной оторванности отъ настоящаго, выразилъ также и въ своей знаменитой балладѣ «Теонъ и Эсхинъ».

Но вѣдь и въ этомъ, и въ самой этой способности праздно замкнуться на цѣлые годы въ одно только личное горе (напоминающей настроеніе духа Лаврецкаго въ ту минуту, какъ онъ, преждевременный старецъ, весь отдается воспоминаньямъ среди рѣзвящейся молодежи) и

въ этомъ—опять таки тоже *барство*: простолюдину вѣдь просто *некогда* убивать свое время на непроизводительную тоску со столько же непроизводительной усладой воспоминаній (баричъ, конечно, сошлется на то, что чувства у простолюдина не такъ глубоки). Тотъ мужикъ, котораго видѣлъ Лаврецкій молящимся въ церкви послѣ смерти сына, прямо изъ-за молитвы, конечно, возвратился къ обычному своему труду, какъ привыкъ возвращаться къ нему и прямо изъ-за стола, тогда какъ баричу нуженъ послѣобѣденный кейфъ—для самаго процесса пищеваренія. И не замѣчательно ли, что самъ Павелъ Петровичъ, обыкновенно нисколько не скрывающій своего аристократизма и даже видящій въ немъ заслугу, способенъ однакожъ подумать, что Базаровъ былъ *правъ*, когда *упрекалъ* его въ аристократизмѣ. Но это сознанье сказалось въ такую минуту, когда Павелъ Петровичъ выказалъ наконецъ способность на дѣло: я разумѣю его настоятельный совѣтъ брату—жениться на Ѳеничкѣ, не смотря на ея далеко не аристократическое происхожденіе. Въ этомъ случаѣ самыя воспоминанія о предметѣ его старой любви, походившей отчасти на Ѳеничку, утратили обычный свой праздный характеръ, получили вдругъ силу дѣятельную, побудившую Павла Петровича не только къ дуэли за Ѳеничку (это бы еще не диво: онъ вѣдь дрался при этомъ и за своего брата, да и дуэль вообще въ *благородныхъ* нравахъ), но заставившую его даже поступиться своими понятіями, самымъ чувствомъ аристократическаго достоинства, которое вдругъ уступило мѣсто достоинству человѣческому. «Братъ, говоритъ онъ, исполни обязанность честнаго и благороднаго человѣка... женись на Ѳеничкѣ... она любитъ тебя, она мать твоего сына». Когда же неожиданно обрадованный этимъ совѣтомъ, братъ простодушно сознается, что собственно ради его, Павла Петровича, онъ до спхъ поръ не рѣшался на это, преобразившійся Павелъ Петровичъ продолжаетъ: «Полно намъ ломаться и думать о свѣтѣ (т. е. объ его мнѣніи)... станемъ исполнять нашъ долгъ, и, посмотри, мы еще и счастье получимъ въ

придачу». Наконецъ онъ успокоиваетъ Николая Петровича и насчетъ того впечатлѣнія, какое можетъ это произвести на его законнаго сына Аркадія: «чувство равенства будетъ въ немъ польщено. Да и дѣйствительно, что̀ за касты au dix-neuvième siècle .

А между тѣмъ вѣдь съ другой стороны въ самомъ вызовѣ Павломъ Петровичемъ на дуэль Базарова, принимало участіе и то, что этотъ наглецъ, посягнувшій на честь женщины, напоминавшей ѣму его возлюбленную княгиню, давно уже съ неменьшею наглостью посягалъ на его аристократическіе prïncip'ы. По собственному признанью Базарова, онъ вовсе «не баловалъ этихъ уѣздныхъ аристократовъ», видя въ нихъ одно «самолюбіе, львиныя привычки, фатство». Понятно, что Павелъ Петровичъ рѣшительно сходился въ чувствѣ ненависти къ Базарову со старымъ дворецкимъ Прокофьичемъ, постоянно величавшимъ его «прощелыгой», — потому что «Прокофьичъ по своему былъ аристократъ не хуже Павла Петровича».

Кромѣ одного этого старика, всѣ прочіе, не обарившіеся слуги привязались, какъ извѣстно, къ Базарову: «они чувствовали, что онъ все-таки свой братъ, не баринъ». Отъ этого-то Базаровъ и «владѣлъ особеннымъ умѣньемъ возбуждать къ себѣ довѣріе въ людяхъ низшихъ, хотя онъ никогда не потакалъ имъ и обращался съ ними небрежно». Въ этомъ послѣднемъ случаѣ въ немъ выказывалась неспособность поддѣлываться къ кому бы то ни было, какъ и самъ онъ, не будучи бариномъ, не искалъ и не могъ терпѣть никакого въ себѣ заискиванья.

Не будучи бариномъ, Базаровъ также терпѣть не могъ ничего существующаго только *для вида*, не приносящаго прямой пользы, и этимъ онъ опять бралъ во мнѣніи простыхъ людей. «Важно только то, что дважды два четыре, а остальное все пустяки», говоритъ онъ. «И природа пустяки? спрашиваетъ съ удивленіемъ Аркадій».—«И природа пустяки въ томъ значеніи, въ какомъ ты ее теперь понимаешь». (Аркадій при этомъ залюбовался картиной вечера). «*Природа не храмъ, а мастерская, и человѣкъ въ*

ней работникъ». Понятно, что отвергая подобнымъ образомъ художественное начало въ природѣ, Базаровъ тѣмъ болѣе долженъ былъ отвергать искусство, въ томъ числѣ и поэзію. Понятно, что ему, а подъ вліяніемъ его и Аркадію, должно было казаться дикимъ, какъ это Николай Петровичъ перечитываетъ, Богъ вѣсть въ который разъ, Пушкина, и что подъ вліяніемъ своего пріятеля Аркадій взамѣнъ такого чтенія могъ подсунуть отцу — на первый разъ Бюхнера. Но особенно замѣчательно, что въ нелюбви къ стихамъ и незнаніи толка въ искусствѣ Базаровъ рѣшительно сходится какъ съ Инсаровымъ, такъ и съ Еленой. Ясно, что они сходятся въ этомъ, какъ *люди дѣла*, люди, въ которыхъ окончательно простылъ слѣдъ долговременнаго нашего *Рудинствованія*, нашей долговременной призрачной жизни въ *дѣланномъ* мірѣ, рѣшительно внѣ предѣловъ міра дѣйствительнаго. Совершенно уже далекій отъ Рудинства, Базаровъ — отъявленный врагъ всякой *фразы*, всякихъ лишнихъ затѣй и непрочныхъ предположеній. Вспомните его отвѣтъ на вопросъ Одинцовой: къ чему онъ себя готовитъ?—«Я уже говорилъ вамъ: я будущій уѣздный лѣкарь». «Вы, съ вашимъ самолюбіемъ?» — Что за охота говорить и думать о будущемъ, которое большею частью не отъ насъ зависитъ? Выйдетъ случай что нибудь сдѣлать — прекрасно; а не выйдетъ — по крайней мѣрѣ тѣмъ будешь доволенъ, что заранѣе напрасно не болталъ». При такомъ направленіи, Базаровъ не можетъ придавать никакой цѣны и всѣмъ громкимъ словамъ, щедро расточаемымъ передъ нимъ расходившимся Павломъ Петровичемъ. «Аристократизмъ, либерализмъ, прогрессъ, принципы — подумаешь, сколько иностранныхъ и безполезныхъ словъ? *Русскому человѣку они даромъ не нужны*». Но Павелъ Петровичъ, какъ и многіе въ нашемъ отечествѣ, оскорбляется такою прямою уликою пустозвонности всѣхъ этихъ фразъ, которыя мы такъ охотно и часто беремъ на прокатъ, оскорбляется, въ качествѣ патріота, за *русскій народъ*. «Какъ можно, говоритъ онъ, не признавать prіncір'овъ? отчасти напоминая Рудина въ стычкѣ его съ Пигасовымъ.

Въ силу чего же вы дѣйствуете?» Но Базаровъ не то, что Пигасовъ; онъ не даетъ себя сбить и отвѣчаетъ совершенно спокойно: «Въ силу того, что мы признаемъ *полезнымъ*... Въ теперешнее время полезнѣе всего отрицаніе—мы отрицаемъ... Сперва нужно мѣсто разчистить»... Между тѣмъ Павелъ Петровичъ, вспомнивъ, что Базаровъ сослался на *Русскаго человѣка*, думаетъ поймать его на словѣ, указывая на этотъ, какъ онъ полагаетъ, *авторитетъ* для Базарова: «Русскій народъ не такой, какимъ вы его воображаете. Онъ свято чтитъ преданія»... «Я не стану противъ этого спорить», опять-таки невозмутимо отвѣчаетъ Базаровъ, и отвѣчаетъ невозмутимо не по тому, что эти преданія народа Русскаго, конечно, не выражаются непонятными для него словами: аристократизмъ, либерализмъ и т. д., а потому, что и преданія народа, въ его глазахъ, совершенно излишни и безполезны, а иногда и вредны самому народу. «Стало быть, вы идете противъ своего народа?» думаетъ сразить его Павелъ Петровичъ. «А хоть бы такъ? по прежнему невозмутимо отвѣчаетъ Базаровъ. — Народъ полагаетъ, что когда громъ гремитъ, это Илья пророкъ въ колесницѣ по небу разъѣзжаетъ. Что-жь? Мнѣ соглашаться съ нимъ? Да притомъ, многознаменательно прибавляетъ Базаровъ, — онъ Русскій, а развѣ я самъ не Русскій?» И пускай себѣ Павелъ Петровичъ говоритъ патетически: «Я васъ за Русскаго признать не могу», — Базаровъ съ гордостью ему отвѣчаетъ: «Мой дѣдъ землю пахалъ *)... Спросите любого изъ вашихъ же мужиковъ, въ комъ изъ насъ—въ васъ или во мнѣ—онъ скорѣе признаетъ соотечественника. Вы и говорить-то съ нимъ не умѣете» — «А вы и говорите съ нимъ и презираете его въ то же время». — «Что-жь, коли онъ заслуживаетъ презрѣнія? Вы порицаете мое направленіе, а кто вамъ сказалъ, что оно во мнѣ случайно, что оно не вызвано тѣмъ самымъ народнымъ духомъ, во имя котораго вы такъ ратуете?»

*) А въ другомъ мѣстѣ: „я лѣкарскій сынъ и дьячковскій внукъ".

И Базаровъ несомнѣнно правъ. Мнѣніе, будто бы его направленіе такое же напускное, какъ всѣ многоразличные виды нашего Рудинства, рѣшительно не выдерживаетъ критики. Если Базаровъ совѣтуетъ другу своему Аркадію подсунуть Николаю Петровичу *Kraft und Stoff*, то, конечно, не потому, чтобы самъ онъ почерпнулъ свое направленіе изъ Бюхнеровой популярной книжки. Направленье Базарова несомнѣнно выработано имъ самимъ только при нѣкоторомъ пособіи со стороны извѣстнаго рода книгъ— извѣстнаго, по преимуществу естествоиспытательнаго, разряда знаній. Въ немъ, при свѣточѣ этихъ знаній, смѣло выразился отпоръ, наконецъ-то данный здоровой Русской натурой всему *напускному*, а въ пылу совершенно естественнаго увлеченія, иной разъ, какъ дальше увидимъ, и и *не напускному*, а только представляющемуся такимъ. Возможность такого отпора объясняется самой средой, изъ которой вышелъ Базаровъ, тѣмъ, что онъ дьячковскій внукъ, что отецъ его только слегка усвоилъ себѣ кое-какіе пріемы барина... Въ средѣ этой, уже вслѣдствіе ея бѣдности, не могло быть кабинетной отчужденности отъ дѣйствительной жизни и зависящей оттого относительной безобидности остающихся безъ ощутительнаго приложенья преданій. Горечь знакомства съ дѣйствительной жизнью рано даетъ себя чувствовать, какъ извѣстно, въ нашей духовной средѣ, и, чрезъ повѣрку на дѣлѣ, въ ней воочію обнаруживается весь перевѣсъ угнетающаго начала въ нашихъ преданіяхъ, невольно вызывающій противъ нихъ отпоръ, и отпоръ озлобленный. Правда, Базаровъ-отецъ остался рѣшительно чуждъ чего-либо подобнаго; но нельзя не признать въ нашей повѣсти основнымъ недостаткомъ того, что она оставляетъ безъ психологическаго разъясненія, какимъ образомъ нѣкоторыя натуры остаются рѣшительно не озлобленными и въ такой средѣ, тогда какъ другія, въ родѣ Базарова-сына, доводятъ до самыхъ крайнихъ предѣловъ тотъ *хищный типъ*, который подмѣчаетъ въ послѣднемъ Катерина Сергѣевна Одинцова. Нашъ сочинитель даже умалчиваетъ о томъ, каково было перво-

начальное воспитанье Базарова-сына, не побывалъ ли онъ, до университета, въ какой-нибудь провинціальной семинаріи? А между тѣмъ разъяснить это было бы чрезвычайно важно уже для того, чтобы выказалось, только ли отъ особенности своихъ природныхъ основъ, или же и отъ особенности первоначальнаго, до-университетскаго образованія, Базаровъ становится рѣшительно хищнымъ, тогда какъ товарищъ его, Аркадій Кирсановъ, по выраженію той же Катеньки Одинцовой, долженъ быть отнесенъ къ *ручнымъ* (все Базаровское въ Аркадіи является напускнымъ и, какъ можно догадываться, не прочнымъ).

Несомнѣнно, что очень многіе люди изъ круга Базаровыхъ, уже съ малолѣтства извѣдавъ, такъ сказать, на собственной кожѣ, среди ближайшей своей обстановки, все гнетущее въ прадѣдовскихъ преданіяхъ, становятся склонны подозрѣвать, что въ сущности эти преданья въ такой же мѣрѣ гнетутъ и народъ, безсознательно, тупо, исключительно по привычкѣ, не только ихъ выносящій, но и защищающій, и что слѣдуетъ поскорѣе открыть народу глаза, чтобы возстановить его противъ этихъ преданій. Но тотъ же убійственный стукъ налагаемыхъ ими цѣпей чутко слышатъ эти люди и всюду — по всѣмъ закоулкамъ общественной нашей, и не только нашей, но и обще-Европейской среды, и съ неумолимою проницательностью указываютъ они на то, что повсемѣстно, гдѣ въ большей, гдѣ въ меньшей степени, прадѣдовскія преданія служатъ въ рукахъ одной части общества однимъ изъ вѣрнѣйшихъ средствъ держать другую на привязи — держать во имя того, что̀ будто бы равно ограничиваетъ всѣхъ, но что̀ на самомъ дѣлѣ ограничиваетъ лишь слабыхъ, и только внѣшнимъ, чисто лицемѣрнымъ образомъ соблюдается сильными. И въ самомъ дѣлѣ вспомнимъ, чтобы не ходить далеко, хотя бы общензвѣстные Гоголевскіе типы (не забывая при томъ и указаннаго самимъ Гоголемъ обобщающаго начала въ его сатирѣ, въ силу котораго всѣ эти Сквозники-Дмухановскіе, Чичиковы и Хлестаковы заключаютъ въ себѣ и черты людей изъ другихъ

круговъ, съ другихъ ступеней, но въ сущности той же пробы, того же закала). Развѣ какой-нибудь городничій, или Иванъ Никифоровичъ—даже по свидѣтельству духовныхъ лицъ, не самые примѣрные Христіане, строжайшимъ образомъ соблюдающіе всѣ наружныя требованія вѣры и даже неукоснительно подающіе и въ церквахъ и на улицахъ милостыню? Развѣ Павелъ Ивановичъ Чичиковъ, по свидѣтельству самого губернатора, не самый *благонамѣренный* человѣкъ, съ жаромъ и краснорѣчіемъ ратующій за нравственность, правду и благо отечества (въ наше время, конечно, онъ стоялъ бы, во имя цивилизаціи, за «священныя права собственности», возставалъ бы противъ варварства, оживающаго въ видѣ «соціальнаго бреда» и т. п.). Но кто же не знаетъ, что подо всей этой благонамѣренностью, подо всѣмъ этимъ благочестіемъ скрывалось у почтеннѣйшихъ Гоголевскихъ сановниковъ рѣшительное отсутствіе всякихъ, на самомъ дѣлѣ, руководящихъ высшихъ началъ, кромѣ одного грубѣйшаго, чисто животнаго начала своекорыстія,—скрывалось только голое, грязное *я* и кромѣ его—рѣшительно *ничего*. Да, если глубже вдуматься въ знаменитые Гоголевскіе типы, то основнымъ ихъ началомъ окажется не что иное, какъ нашъ издавній *практическій*, только ловко замаскированный, *нигилизмъ*.

Какъ, неужели это явленье существовало и до собственно такъ называемыхъ теперешнихъ «нигилистовъ»? Да, хотя съ этимъ, конечно, не захотятъ согласиться тѣ, кто такъ усердно нападаетъ на этихъ послѣднихъ, вовсе не чуя ни въ людяхъ своей среды, ни въ самихъ себѣ, прямыхъ наслѣдниковъ нашего издавняго *практическаго нигилизма*. А между тѣмъ вѣдь и самое слово *нигилистъ* было употреблено у насъ еще до г. Тургенева, а именно, въ тридцатыхъ годахъ, въ «Телескопѣ», гдѣ подъ заглавіемъ «Сонмище нигилистовъ» покойный Надеждинъ помѣстилъ статью, въ которой обрисованы люди, не признающіе никакихъ руководящихъ началъ въ искуствѣ и въ литературѣ. Если же мы обратимся на Западъ, то тамъ

нигилизмъ и нигилисты упоминались еще въ XII в. Названія эти усвоены были за ересью Петра Ломбардскаго, который утверждалъ, «que Jésus Christ en tant qu'homme n'est point quelque chose, ou, ce qui revient au même—n'est rien (nihil) *). Ясно, что съ этими старыми Западно-Европейскими нигилистами, какъ у нашихъ издавнихъ практическихъ, такъ и у теперешнихъ теоретическихъ нигилистовъ—общаго всего одно имя, и я привелъ это свѣдѣніе собственно для того, чтобы показать, что имя это не только не явилось впервые у г. Тургенева, но даже не впервые явилось и у насъ вообще. Откуда же взялъ это слово нашъ сочинитель (а раньше его Надеждинъ), остается мнѣ неизвѣстнымъ. Вычитано ли оно гдѣ нибудь нашими изобразителями того и другого нигилизма, или же оно употреблялось и самими изображенными и только у нихъ подслушано—остается вопросомъ. Но, хотя, какъ видно, названіе *нигилистъ* и не новость, въ ходъ оно у насъ пошло лишь съ тѣхъ поръ, какъ было употреблено г. Тургеневымъ, вовсе однако не думавшимъ наложить этимъ словомъ клеймо на цѣлое направленіе. Оно было сочтено за клеймо лишь другими, прежде всего, можетъ быть, редакціею того журнала, въ которомъ появились «Отцы и Дѣти»; но нашему сочинителю, конечно, тогда и не снилось, какое *милое* направленіе приметъ со временемъ эта редакція, какъ благородно она сумѣетъ воспользоваться и Тургеневскимъ типомъ, и самою его кличкою. У нашего сочинителя, какъ извѣстно, Аркадій думаетъ лишь превознесть своего товарища, говоря про него: «Хотите я вамъ скажу, что̀ онъ такое? Онъ нигилистъ». На соображенье-

*) *Crevier*, Histoire de l'université de Paris, 1761. t. 1 p. 25. „Cette proposition, говорится тутъ далѣе, est scandaleuse, et néanmoins quelques uns de ses disciples la soutinrent et fondèrent l'hérésie, comme on l'appela des *nihilistes*. Le pape Alexandre III, à qui elle fut déférée, écrivit vers l'an 1173 à Guillaume de Champagne, alors archevêque de Sens, pour lui ordonner d'assembler les prélats et les théologiens de la métropole et de proscrire avec eux ce langage, comme contraire à la sainte doctrine". Выписка эта обязательно доставлена мнѣ П. И. Стороженкомъ.

же Николая Петровича: «Это отъ Латинскаго *nihil*, ничего... Стало быть это слово означаетъ человѣка, который... который ничего не признаетъ»; и на поправку Павла Петровича: «Скажи, который ничего не уважаетъ», Аркадій отвѣчаетъ такимъ толкованіемъ: «который ко всему относится съ критической точки зрѣнія»... По собственному своему сознанію, нигилисты критически отнеслись ко всему, даже къ самымъ завѣтнымъ неприкосновеннымъ преданіямъ, а въ силу этихъ критическихъ отношеній они обличили всю лживость тѣхъ, кто подъ лицемѣрною вѣрою въ нихъ таитъ лишь заботу о самомъ себѣ, такъ что и самая религіозность тутъ обращается въ какое-то заискиванье у Бога. Глубоко возненавидѣвъ всякую фальшь и всякое лицемѣріе, нигилисты съ отвращеньемъ отбросили всѣ эти обманчивые покровы изъ мнимыхъ вѣрованій, и открыто и честно выставили своекорыстіе, какъ главный рычагъ человѣка. Но, поступивъ такимъ образомъ, они не замѣтили, что матеріаломъ для такого общаго вывода послужила имъ лишь извѣстная часть людей, тогда какъ на самомъ дѣлѣ, чтобы не ходить далеко,—въ нихъ самихъ, въ этихъ «нигилистахъ», если вглядѣться внимательнѣе, дѣло далеко не ограничивается однимъ только голымъ своекорыстіемъ. Напрасно Базаровъ насъ увѣряетъ, будто, когда, напримѣръ, понравится женщина, слѣдуетъ лишь поскорѣе «добиться отъ нея толку»; будто первая мысль при этомъ—мысль о томъ, что тутъ «пожива есть». Напрасно, при встрѣчѣ съ Анной Сергѣевной Одинцовой, онъ умышленно-цинически говоритъ Аркадію: «Эдакое богатое тѣло». На самомъ дѣлѣ любовь его къ ней — далеко не такого исключительно-матеріальнаго свойства: онъ любитъ ее постоянно, хотя и не достигаетъ удовлетворенія, и, вполнѣ совпадая въ этомъ отношеніи съ Павломъ Петровичемъ, отличается отъ него только тѣмъ, что сохраняетъ способность трудиться. Если на завтракѣ у М-me Кукшиной Базаровъ всего больше занимался шампанскимъ и держалъ при этомъ рѣчь въ пользу сибаритства на томъ основаніи, что «кусокъ мяса лучше куска хлѣба—даже съ хи-

мической точки зрѣнія»,—то вѣдь у такой особы, какъ Кукшина, и не стоило говорить о чемъ либо лучшемъ, а можно было просто отъ скуки объѣсться или напиться пьянымъ. Тотъ же самый Базаровъ, по свидѣтельству своего отца, когда нужно, оказывался способнымъ переносить лишенія: онъ отъ роду лишней копѣйки не бралъ у своихъ родителей. Такъ поступалъ нигилистъ, тогда какъ нашъ старый знакомый, идеалистъ Рудинъ, преспокойно тянулъ послѣднее съ матери.

Конечно, еслибы указать на это самому Базарову, то онъ бы первый сталъ объяснять это только неохотой быть обязаннымъ кому бы то ни было, т. е. только однимъ самолюбіемъ (хотя вѣдь и *самолюбіе* не есть уже просто *себялюбіе*). Онъ никогда бы не сознался, что тутъ участвовала и жалость къ положенью родителей, какъ не охотно сознавался въ томъ, что въ отношеньяхъ его къ Одинцовой былъ не одинъ только грубый разсчетъ на *поживу*. Дѣло въ томъ, что боязнь всего *напускного*, всего извращающаго и ломающаго природу, доводила его до того, что онъ, вмѣстѣ съ напускнымъ, подавлялъ и природное, т. е. впадалъ неумышленно въ ту же ломку—ломку наклонностей самыхъ естественныхъ, но не признанныхъ имъ за такія. «Оставаясь наединѣ послѣ свиданія съ Одинцовой, Базаровъ съ негодованіемъ сознавалъ романтика въ самомъ себѣ... Онъ ловилъ самого себя на всякаго рода постыдныхъ мысляхъ»... Онъ навѣрное счелъ бы постыднымъ и то, еслибъ ему вдругъ захотѣлось затянуть пѣсню, хотя это столько же естественно, какъ захотѣть поѣсть, или поработать; неестественными такія наклонности могли показаться только у насъ, въ образованной нашей средѣ, вслѣдствіе того, что мы слишкомъ долгое время исключительно «пѣли», и видѣли въ этомъ «дѣло», никакого другого дѣла не дѣлая. При этомъ, какъ извѣстно, мы особенно усердно тянули безконечную ноту «любви»;—оттого-то и стали потомъ убѣгать отъ нея, какъ отъ какого нибудь дурмана, всѣ люди дѣльные. «Любовь, говоритъ Одинцовой Базаровъ, вѣдь это чувство напуск-

ное»...—«Въ самомъ дѣлѣ? подтягиваетъ (изъ самолюбія) она: мнѣ очень пріятно это слышать». «Они оба думали, поясняетъ нашъ сочинитель, что говорили правду... Базаровъ при этомъ смѣялся, хотя ему вовсе не хотѣлось смѣяться.»

Точно также Базаровъ прикидывался, и опять таки неумышленно, совершенно свободнымъ и отъ другой постыдной слабости—нѣжничанья (выражаюсь во вкусѣ его) съ родителями. Ему, можетъ быть, и давно хотѣлось своихъ «стариковъ потѣшить», а между тѣмъ онъ не торопится къ нимъ, и живетъ себѣ да живетъ—сперва у Кирсановыхъ, потомъ у Одинцовой. Только «постыдная слабость» къ этой послѣдней (постыдная по тому, что пожива тутъ не давалась—по крайней мѣрѣ, сразу) заставляетъ его, наконецъ, какъ-бы въ видѣ отвода, поѣхать къ своимъ старикамъ, о которыхъ онъ ужъ давно говорилъ Аркадію: «Они у меня люди хорошіе. Я же у нихъ одинъ». Ему, можетъ быть, не на шутку взгрустнулось по нихъ еще въ день его именинъ; онъ, по крайней мѣрѣ, не постыдился вспомнить о подобномъ вздорѣ, говоря Аркадію: «Сегодня меня дома ждутъ»; но сейчасъ же при этомъ *понизилъ голосъ*, и, какъ-бы для того, чтобъ поправиться, вдругъ прибавилъ: «Ну, подождутъ, что̀ за важность»!— А вспомните, какъ, уже гостя у нихъ съ Аркадіемъ, онъ, словно хвалясь, говоритъ ему: «Ты видишь, какіе у меня родители—народъ не строгій» — «Ты ихъ любишь, Евгеній?» — «Люблю, Аркадій» — и это даже безъ пониженія голоса, хотя любовь — чувство напускное... А между тѣмъ вѣдь извѣстно, что онъ не зажился у нихъ. «Работать хочется, а здѣсь нельзя» не замедлилъ заговорить Евгеній.— У васъ (т. е. у Кирсановыхъ) по крайней мѣрѣ запереться можно. А то здѣсь отецъ мнѣ твердитъ: мой кабинетъ къ твоимъ услугамъ... а самъ отъ меня ни на шагъ. Да и совѣстно какъ-то отъ него запираться. Ну и мать тоже. Я слышу, какъ она вздыхаетъ за стѣной, а выйдешь къ ней—и сказать ей нечего». Ясно, что его тяготитъ не одна невозможность заняться порядочно (это бы можно еще

устроить), но сознанье извѣстной *фальши* въ отношеніяхъ его къ родителямъ, фальши, заключающейся въ томъ, что иной разъ сидишь съ ними, хотя и скучно... А все же, какъ ни сильно дѣйствуетъ на людей Базаровскаго закала такое сознанье, цѣлый день прошелъ, прежде чѣмъ онъ рѣшился увѣдомить Василья Ивановича о своемъ отъѣздѣ. Да и по отъѣздѣ чувство жалости, надо думать, не сразу успокоилось въ немъ, потому что онъ «былъ не совсѣмъ собою доволенъ. Аркадій былъ не доволенъ имъ». Ясно, что мнимо лишь напускное, природное и не въ конецъ забитое довольно громко говорило въ обоихъ. Но съ рѣшительной силой заговорило оно только въ ту минуту, когда Базарову пришлось не на время, а навсегда распрощаться съ родителями. Тутъ чувство жалости дошло до того, что, для утѣшенія ихъ, онъ сталъ вдругъ способенъ указывать даже на то, отчего навсегда отказался. «Вы оба съ матерью, говоритъ онъ отцу, должны теперь воспользоваться тѣмъ, что въ васъ религія сильна; вотъ вамъ случай поставить ее на пробу»... Онъ доходитъ даже до того, что уже не боится впасть въ фальшь, говоря о предсмертныхъ предписаніяхъ религіи: «Я не отказываюсь, если это можетъ васъ утѣшить»... То же, рѣшительно пересилившее чувство любви заставляетъ его просить Одинцову: «Не разувѣряйте старика, что Россія ничего во мнѣ не теряетъ... И мать приласкайте... вѣдь такихъ людей, какъ она, въ вашемъ большомъ свѣтѣ днемъ съ огнемъ не сыскать»...

Базарову такимъ образомъ не удается вполнѣ отдѣлаться отъ мнимо-напускныхъ чувствъ. «Гони природу въ дверь, она войдетъ въ окно»—можно бы примѣнить и къ нему.

И тотъ же самый Базаровъ съ другой стороны дѣлаетъ рѣшительную уступку уже положительно напускнымъ—и даже не чувствамъ, а жизненнымъ правиламъ. «Съ теоретической точки зрѣнія, говоритъ онъ, дуэль нелѣпость; ну, а съ практической точки зрѣнія—это другое дѣло». Павлу Петровичу Кирсанову, по выраженію Базарова, захотѣ-

лось испытать на немъ свой рыцарскій духъ. «Я бы могъ отказать вамъ въ этомъ удовольствіи, поясняетъ Базаровъ, да ужъ куда ни шло»! Откуда же такая вдругъ снисходительность къ чужимъ удовольствіямъ и фантазіямъ, снисходительность, доводящая до того, о чемъ впослѣдствіи отзывается самъ Базаровъ: «Экую мы комедію отломали? Ученыя собаки такъ на заднихъ лапахъ танцуютъ. А отказать было невозможно: вѣдь онъ меня, чего добраго, ударилъ бы, и тогда»... Что тогда?...

А шепотъ, хохотня глупцовъ?
И вотъ общественное мнѣнье!
Пружина чести—нашъ кумиръ!
И вотъ на чемъ вертится міръ!

Выходитъ, что эти знаменитые Пушкинскіе стихи не утрачиваютъ своей силы и въ примѣненіи къ Базарову? И Базаровъ, какъ болѣе или менѣе всѣ мы, побаивается такого старья, какъ Грибоѣдовская «княгиня Марья Алексѣевна», побаивается мнѣнія ни мало не уважаемаго имъ свѣта, мнѣнія, въ силу котораго незаслуженное насиліе позоритъ не того, кто его наноситъ, а того, кто становится его жертвою? Или, можетъ быть, Базаровъ сознаетъ, хотя бы и смутно, что насиліе, какимъ угрожаетъ ему Кирсановъ, было бы не совсѣмъ незаслуженно (потому что онъ дѣйствительно поступилъ—по крайней мѣрѣ легкомысленно въ отношеніи къ Ѳеничкѣ) и, сознавая это, боится попасть въ окончательно незавидную роль, показавшись еще и трусомъ Кирсанову? Да и наконецъ, чтобы, отказываясь отъ дуэли, выдержать цѣлый, неизбѣжный рядъ оскорбленій, выдержать страшную пытку для самолюбія (котораго—нужно ли повторять?—Базарову не занимать-стать), для этого надо вѣдь опираться на какіе нибудь *принципы*, не допускающіе дуэли,—ну, а что до принциповъ, то вѣдь это по части Кирсановыхъ, а не его, Базарова! Однако-же, невольно доводимый подобнымъ образомъ до противоестественной роли рыцаря, все же онъ остается довольно вѣрнымъ природѣ, чтобы не считать долгомъ чести навести

стой курокъ на Павла Петровича: извѣстно, что онъ стрѣляетъ, *не цѣлясь*... Но и обратя, сколько отъ него зависитъ, всю эту сцену въ «*собачью комедію*», онъ однако же чувствуетъ всю ея фальшь и съ досадою говоритъ впослѣдствіи: «Вотъ что̀ значитъ съ феодалами пожить»? Онъ, очевидно, чувствуетъ, что пришлось таки заразиться, живя въ ихъ средѣ...

А между тѣмъ Базаровъ далекъ отъ того, чтобы извинять человѣка средою. Вспомните, что̀ говоритъ онъ на тѣ извиненія, которыя приводитъ Аркадій въ защиту своего отца и дяди. «Всякій человѣкъ самъ себя воспитать долженъ, утверждаетъ Базаровъ. А что̀ касается до времени, отчего я отъ него зависѣть буду? Пускай же лучше оно зависитъ отъ меня. Это все распущенность». Но вѣдь это, согласитесь, уже очень похоже на правило, на нравственное требованіе, на principe, какъ бы выразился Павелъ Петровичъ. Да и требуя отъ человѣка работы надъ самимъ собой, Базаровъ требуетъ еще и другого. «Ага! обращается онъ однажды къ Аркадію—родственное чувство заговорило!... Ото всего готовъ отказаться человѣкъ, со всякимъ предразсудкомъ разстанется, но сознаться, что, напримѣръ, братъ, который чужіе платки крадетъ,—воръ: это свыше его силъ. Да и въ самомъ дѣлѣ мой братъ, *мой*—и не геній, возможно ли это»? Противъ чего же ратуетъ тутъ Базаровъ, какъ не противъ крайностей *личнаго* начала; но вѣдь ратовать противъ него можно только во имя другого начала, начала противоположнаго, за которое съ неменьшимъ жаромъ (не считая этотъ жаръ напускнымъ) ополчается тотъ же Базаровъ, когда говоритъ: «Человѣкъ все въ состояніи понять—и какъ трепещетъ эфиръ, и что̀ на солнцѣ происходитъ; а какъ другой человѣкъ можетъ иначе сморкаться, чѣмъ онъ самъ сморкается, этого онъ понять не въ состояніи». Но развѣ такое требованіе терпимости, простора *не мнѣ одному, а каждому, уравнительнаго простора всѣмъ*—не есть настоящій принципъ, и принципъ самый любвеобильный?

Не слѣдуетъ ли изо всего этого, что если идеальные

наши фразеры, представители различныхъ родовъ нашего Рудинства на самомъ дѣлѣ оказывались нерѣдко своекорыстными, или, по крайней мѣрѣ, руководимыми исключительно самолюбіемъ, то нигилистъ Базаровъ, этотъ ненавистникъ фразы, этотъ врагъ всего напускного, только обманываетъ себя, когда думаетъ, будто бы собственное наше *я* есть единственный не напускной нашъ двигатель, будто бы это *я* въ немъ самомъ остается свободнымъ отъ того тяготѣнія къ *общему*, къ *цѣлому*, которое, совершенно помимо фразы, зовется *любовью?*

Но если такъ, то не есть ли Базаровъ—нашъ не любящій только *болтать* о «высокихъ предметахъ» Инсаровъ, такъ же могущій сказать про себя, что не *я* хочу, а *то* хочетъ? И если бы нашъ сочинитель свелъ своего Базарова не съ Одинцовою, а съ Еленой, то не пошла ли бы она за нимъ, какъ пошла за Болгаромъ, и, благодаря такому Русскому человѣку, не пропала бы для Россіи!

Вспомнимъ, какъ судитъ о Базаровѣ Одинцова — эта «женщина съ мозгами», какъ онъ о ней выражается. Сама «чистая и холодная», она полагаетъ, что онъ ей сродни по природѣ, потому что не въ силахъ вполнѣ полюбить, вполнѣ отдаться... И она ошибается только въ томъ, что считаетъ его отъ природы неспособнымъ на это, тогда какъ на самомъ дѣлѣ онъ, постоянно избѣгавшій стать «самоломаннымъ», незамѣтнымъ образомъ изломалъ въ себѣ эту способность... Онъ такимъ образомъ довелъ себя до того, что въ этомъ отношеніи сталъ походить на Рудина, который, тоже едва ли отъ природы, а скорѣе отъ сцѣпленія разныхъ причинъ, не могъ «весь отдаться», хотя, повидимому, и хотѣлъ бы...

Въ самомъ дѣлѣ, если нашъ Базаровъ также преждевременно гаснетъ, какъ Болгаръ Инсаровъ, то гаснетъ не отъ того, что слишкомъ скоро, какъ тотъ, сгораетъ отъ объявшаго его жара. Замѣтьте, что тотъ, при всемъ избыткѣ личнаго счастья, не выноситъ своихъ страстныхъ порывовъ къ удовлетворенію другой любви — любви къ родинѣ, тогда какъ для Базарова этой послѣдней, какъ и

самыхъ воспоминаній дѣтства, какъ будто не существуетъ, и тѣмъ сильнѣе, съ другой стороны, дѣйствуетъ на него, даже просто на его самолюбіе, незадача въ дѣлѣ личной любви. Какъ бы глубоко ни презиралъ онъ Павла Петровича за то, что тотъ сталъ живымъ мертвецомъ отъ своей незадачи;—вѣдь и собственная его жизнь не была бы настоящею жизнью (не положи ей предѣла несчастный случай), потому что вѣдь и трудомъ, собственно какъ *трудомъ* не наполнишь жизни, если трудъ этотъ не согрѣтъ, не подъятъ во имя чего-то высшаго, во имя «*того*», какъ выразилась Елена, а Базаровъ намѣренно забивалъ въ себѣ всякое «*то*», намѣренно съуживалъ и сушилъ отъ природы широкую область своего духа. Инсаровъ и при меньшемъ, говоря по Базаровски, развитіи *мозговъ*, справедливо представлялся Еленѣ такимъ, что всѣ передъ нимъ были маленькіе... Онъ всѣхъ переросъ отъ того, что человѣкъ, по прекрасному выраженію Шиллера, ростетъ по мѣрѣ того, какъ разширяются его цѣли... Цѣлью же Инсарова было—страшно сказать, говорила Елена—счастье его милой, ждавшей себѣ свободы родины, счастье того народа, съ которымъ неразрывно слилась вся духовная жизнь Инсарова. Но, можетъ быть, разница между нимъ и Базаровымъ только въ томъ, что послѣднему нечего было освобождать, что это готово было совершиться само собою, помимо его — при наступавшей крестьянской реформѣ — тогда какъ и онъ, въ свою очередь, любитъ народъ, горько чувствуетъ всѣ его нужды и даже гибнетъ, заражаясь болѣзнью отъ больного крестьянина? Но онъ заражается отъ него уже мертваго, заражается не отъ того, чтобы ходилъ за больнымъ съ самоотверженной къ нему любовью, а отъ того, что вскрылъ его трупъ—конечно, не ради его, а единственно *ради науки!*

Выше мы видѣли, что Базаровъ умѣлъ простотою своихъ пріемовъ располагать къ себѣ народъ, *хотя и обращался съ нимъ небрежно.* И дѣйствительно, онъ преспокойно говорилъ слугѣ: «Ѳедька! набей мнѣ трубку», или же кричалъ ямщику: «Ну, поворачивайся, толстоборо-

дый»! Мало того, узнавъ, что отецъ его велѣлъ высѣчь оброчнаго мужика, онъ хотя подразнилъ его этимъ, но самъ, не смотря на ужасъ Аркадія, находилъ, что отецъ очень хорошо сдѣлалъ, потому что мужикъ этотъ—страшный воръ и пьяница. Кромѣ того онъ не безъ нѣкоторой иронiи отозвался о томъ, что тотъ же самый отецъ съ другой стороны «великодушничаетъ съ крестьянами,—кутитъ, однимъ словомъ». Вмѣстѣ же съ тѣмъ тутъ какъ будто сказывается и нѣкоторая зависть къ тому, что отецъ въ этомъ видитъ дѣло, тогда какъ самъ онъ, лежа въ это время подъ стогомъ, думаетъ: «Узенькое мѣстечко, которое я занимаю, до того крохотно въ сравненiи съ остальнымъ пространствомъ, гдѣ меня нѣтъ и гдѣ дѣла до меня нѣтъ, и часть времени, которую мнѣ удастся прожить, такъ ничтожна передъ вѣчностью, гдѣ меня не было и не будетъ»... Но не впадаетъ ли онъ въ это время въ своего рода Рудинство, презрительно отзываясь о крохотномъ мѣстѣ и крохотномъ срокѣ дѣятельности, оскорбительномъ для его самолюбiя?... Разница только въ томъ, что Рудинъ, увлекаясь воображенiемъ, постоянно задавался задачами самыхъ широкихъ размѣровъ, а Базаровъ, трезво сознавая ихъ неносильность, иронически назидается примѣромъ муравья, который тащитъ полумертвую муху: «Тащи ее, братъ, тащи... Пользуйся тѣмъ, что ты, въ качествѣ животнаго, имѣешь право не признавать чувства состраданiя, не то, что̀ нашъ братъ, самоломанный!» И эта практическая философiя животныхъ представляется ему болѣе откровенною и послѣдовательною, чѣмъ слова Аркадiя, проходящаго мимо старостиной избы: «Россiя тогда достигнетъ совершенства, когда у послѣдняго мужика будетъ такое же помѣщенiе, и всякiй изъ насъ долженъ этому способствовать»... Болѣзненно сознавая всю дальность достиженiя такой задачи и всю оскорбительную для самолюбiя слабость своихъ личныхъ силъ и средствъ, Базаровъ со всей рѣзкостью прямоты говоритъ: «А я и возненавидѣлъ этого послѣдняго мужика, Филиппа или Сидора, для котораго я долженъ изъ

кожи лѣзть и который мнѣ даже спасибо не скажетъ... да и на что мнѣ его спасибо?». Когда однажды Базаровъ-отецъ, по поводу приближавшагося освобожденья крестьянъ, заговорилъ съ сыномъ о прогрессѣ, тотъ равнодушно промолвилъ: «Вчера я прохожу мимо забора и слышу—здѣшніе крестьянскіе мальчики, вмѣсто какой нибудь старой пѣсни, горланятъ: «Время вѣрное приходитъ, сердце чувствуетъ любовь»... вотъ тебѣ и прогрессъ!» Такое глубокое равнодушіе объясняется, надо думать, полнѣйшимъ невѣріемъ въ то, чтобы и черезъ великую мѣру, о которой говорилъ отецъ, но которой предстояло быть выполненною помимо Базарова, и, такъ сказать, помимо самого народа, — чтобъ и чрезъ такую мѣру онъ дѣйствительно быстро и вѣрно пошелъ впередъ. Въ сущности же скрывается тутъ, можетъ быть, и невѣріе въ самыя свойства народа, столь выносливаго у насъ на Руси, или столь *гибкаго*, какъ говорилъ Ломоносовъ. Загадочнымъ, до нѣльзя загадочнымъ, представляется онъ Базарову. «Русскій мужикъ, говоритъ онъ, да это тотъ таинственный незнакомецъ, о которомъ нѣкогда такъ много толковала г-жа Ратклиффъ. Кто его пойметъ? Онъ самъ себя не понимаетъ». Въ другой разъ, презрительно дѣлая намекъ на большія надежды, возлагаемыя на этого незнакомца Славянофилами, Базаровъ обращается къ мужику: «Излагай мнѣ свои воззрѣнья на жизнь, братецъ. Вѣдь въ васъ, говорятъ, вся сила и будущность Россіи, отъ васъ начнется новая эпоха въ исторіи,—вы дадите намъ и языкъ настоящій, и законы... Ты мнѣ растолкуй, что такое есть вашъ міръ... и тотъ ли это самый міръ, что на трехъ рыбахъ стоитъ?»—«Это, батюшка, земля на трехъ рыбахъ стоитъ, а противъ нашего то есть міру, извѣстно, господская воля—потому вы наши отцы»... И между тѣмъ какъ Базаровъ, выслушавъ подобную рѣчь, только презрительно пожалъ плечами и удалился, другой мужикъ издали присутствовавшій при бесѣдѣ своего собрата съ Базаровымъ, полюбопытствовалъ узнать: «О чемъ толковалъ?... О недоимкѣ что-ль?» — «Какое о недоимкѣ, братецъ ты

мой! отвѣчалъ первый мужикъ, и въ голосѣ его уже не было слѣда патріархальной пѣвучести (въ которой Базаровъ, при всей своей проницательности, не разглядѣлъ чисто русской, лукаво-извертливой иронiи мужика), а напротивъ слышалась какая-то небрежная суровость: «такъ, болталъ кое-что: языкъ почесать захотѣлось. *Извѣстно—баринъ; развѣ онъ что понимаетъ?*» Развѣ, какъ бы хочетъ онъ этимъ сказать, понимаетъ онъ нашу нужду, развѣ обращается къ намъ съ настоящимъ сердечнымъ участіемъ?... Но мужикъ, въ свою очередь, не понялъ, что на этотъ разъ онъ хотѣлъ даже поглумиться надъ мужикомъ и самъ, какъ-бы въ наказаніе, сдѣлался предметомъ презрительной выходки мужика. — «Увы! замѣчаетъ въ заключеніе всей этой сцены сочинитель, «презрительно пожимавшій плечомъ, умѣвшій говорить съ мужиками Базаровъ и не подозрѣвалъ, что онъ въ ихъ глазахъ былъ все-таки въ родѣ шута гороховаго».

Послѣ этого совершенно ясно, въ какой мѣрѣ былъ правъ Николай Петровичъ Кирсановъ, когда говорилъ про преимущество, какимъ отличался отъ него Базаровъ: «Не въ томъ ли оно состоитъ, что въ немъ меньше слѣдовъ барства, чѣмъ въ насъ». Ихъ дѣйствительно только *меньше*, но они еще замѣтны и у Базарова.

А между тѣмъ, не будь ихъ,—и мѣсто, имъ занимаемое, не показалось бы ему такимъ крохотнымъ, и средства бы его выросли отъ сродства, отъ союза съ той силой народной, о которой далеко не всегда только приниженющійся народъ говоритъ въ своей крѣпкой пословицѣ: «Соборомъ и чорта поборешь». Какъ бы ни былъ для насъ загадоченъ Русскій мужикъ, а надо намъ наконецъ разгадать его. Пока же мы не вглядимся въ лицо этого «таинственнаго незнакомца», пока не узнаемъ его, а онъ насъ, пока онъ не перестанетъ считать насъ, при всѣхъ нашихъ хитростяхъ-мудростяхъ, «шутами гороховыми», пока не увидитъ въ насъ наконецъ плоть отъ его же плоти и кость отъ его же костей,—до тѣхъ поръ останутся суетными и все наше знанье, и вся наша дѣятельность,

до тѣхъ поръ мы, по Лежневскому выраженью про Рудина, по прежнему будемъ пустыми людьми... Внѣ народности нѣтъ настоящей силы!

Да, и если именно въ своей способности отдаться вполнѣ своему народу почерпнулъ свою силу Болгаръ Инсаровъ, если сила эта заключалась въ томъ, что онъ могъ сказать: «послѣдній мужикъ, послѣдній нищій въ Болгаріи и я—мы желаемъ одного и того же», тогда какъ нашъ Базаровъ не можетъ сказать этого,—стало быть, этотъ послѣдній еще не изъ тѣхъ людей, при существованіи которыхъ такая женщина, какъ Елена, не пропала бы для своего отечества. Стало быть, мы все еще живемъ наканунѣ ихъ появленія, и нашихъ передовыхъ женщинъ все еще не догнали наши мущины!

Но не заключаетя ли хоть слабый проблескъ настоящаго дня въ другомъ изъ «дѣтей» — въ Аркадіи, сочувственно разнящемся кое въ чемъ отъ несочувственныхъ, нездоровыхъ сторонъ Базарова? Мы видѣли, что Аркадій считаетъ долгомъ всякаго содѣйствовать тому, чтобы послѣдній мужикъ могъ имѣть свѣтлую, чистую избу. Но его же мнѣнію, мы не имѣемъ права предаваться удовлетворенію личнаго эгоизма, что̀ не совсѣмъ-то понравилось Базарову, можетъ быть, по тому, что это, какъ и другія такія же проявленія у Аркадія, таки отзывается фразою. Да и по всему видно, что въ Аркадіи слишкомъ мало дѣйствительной, способной выдерживать и бороться, мужеской силы. Онъ, при всемъ томъ, что долго и съ такимъ увлеченіемъ умственно терся около Базарова, по природѣ своей совершенно *ручной*, способный, по выраженью своего пріятеля, «разсыропиться», и невольно вѣрится, что Базаровъ правъ, величая его просто «мякенькимъ, либеральнымъ баричемъ», невольно подозрѣвается, что онъ способенъ уйти весь въ семью, такъ сказать, сократиться въ одно только чувство домашняго счастья — «э вола ту», какъ любилъ выражаться родитель Базарова.

Но если и Аркадій не является даже и слабымъ проблескомъ занимающагося дня, то нельзя ли найти такой

проблескъ въ «Дымѣ»? Заглавіе новой Тургеневской повѣсти не подаетъ на это надежды. А между тѣмъ вѣдь дѣйствіе въ ней происходитъ уже немного спустя послѣ знаменательнаго 19 февраля 1861 г. Но великое дѣло освобожденья крестьянъ еще не успѣло, какъ видно изъ повѣсти, вызвать на нашей нравственной почвѣ сколько нибудь утѣшительные всходы *новыхъ людей*. Мы видимъ съ одной стороны только прямыхъ продолжателей либеральничающихъ болтуновъ въ родѣ Полуярова (въ «Наканунѣ»), или (съ оттѣнкомъ пародированнаго Славянофильства) въ родѣ Любозвонова (въ «Запискахъ Охотника») и Ситникова (въ «Отцахъ и дѣтяхъ»). Изъ такихъ-то продолжателей этихъ въ свою очередь продолжателей до сихъ поръ не изсякшей у насъ на Руси «Репетиловщины», составляется въ «Дымѣ» заграничный кружокъ Губарева, въ которомъ только тупоуміе или злоумышленность могутъ находить хоть что̀ нибудь похожее на нашу извѣстную заграничную эмиграцію. Губаревъ со своимъ кружкомъ (въ немъ имѣется, какъ извѣстно, и дама— второе изданіе Кукшиной, у которой умѣлъ только наѣдаться Базаровъ)— совершенно такая же пустельга, какъ съ другой стороны генералъ Ратмировъ, этотъ воинственный противень Паншина (въ «Дворянскомъ гнѣздѣ»). Совершенно какъ Паншинъ, онъ умѣетъ быть либеральнымъ какъ разъ на столько, на сколько это нужно для составленія карьеры. При томъ же этотъ либерализмъ ни мало не помѣшалъ ему перепороть пятьдесятъ человѣкъ крестьянъ въ взбунтовавшемся (т. е. *такъ называемомъ* взбунтовавшемся) Бѣлорусскомъ селеніи, куда его послали для усмиренія... Совершеніе подобнаго подвига на первыхъ порахъ по освобожденіи крестьянъ составляетъ уже *характерную* сторону генерала Ратмирова... Не менѣе характернымъ представителемъ наставшей у насъ новой эры является князь Коко съ своею глубокомысленной проповѣдью: «Madame, le principe de la propriété est profondément ébranlé en Russie». Нѣсколько другое направленіе принялъ князь У., являющійся другомъ религіи и на-

рода, но по тому лишь, разумѣется, и этого послѣдняго, что успѣлъ составить себѣ во время оно, въ блаженную эпоху откупа, громадное состояніе продажей сивухи, подмѣшанной дурманомъ.

Вотъ такіе-то люди являются представителями нашей Баденъ-Баденской интеллигенціи послѣ наставшей для Русской земли новой эры,—и «нѣтъ словъ, говоритъ г. Тургеневъ, чтобы выразить важность, съ которою они сдавали, брали взятки, ходили съ трефъ, ходили съ бубенъ... ужъ точно государственные люди»!..

«А еслибъ Литвиновъ обращалъ даже больше вниманія на то, что̀ говорилось вокругъ него, онъ все-таки не вынесъ бы ни одной дѣльной мысли, ни одного новаго факта изо всей этой безсвязной и безжизненной болтовни. Въ самыхъ крикахъ и возгласахъ не чувствовалось увлеченія, въ самомъ порицаніи не чувствовалось страсти: лишь изрѣдка изъ-подъ личины мнимо гражданскаго негодованія, мнимо презрительнаго равнодушія, плаксивымъ пискомъ пищала боязнь возможныхъ убытковъ, да нѣсколько именъ, которыхъ потомство не забудетъ, произносилось со скрипѣніемъ зубовъ... И хотя бы капля живой струи подо всѣмъ этимъ хламомъ и соромъ! Какое старье, какой ненужный вздоръ, какіе плохіе пустячки занимали всѣ эти головы, эти души, и не въ одинъ только этотъ вечеръ занимали ихъ они, не только въ свѣтѣ, но и дома, во всѣ часы и дни, во всю ширину и глубину ихъ существованія! И какое невѣжество въ концѣ концовъ! Какое непониманіе всего, на чемъ зиждется, чѣмъ украшается человѣческая жизнь!»...

Это ли не нигилизмъ — въ прямѣйшемъ, буквальнѣйшемъ смыслѣ слова? невольно спрашиваешь по прочтеніи этой мастерской страницы, одной изъ лучшихъ страницъ у нашего сочинителя. А между тѣмъ, заговорите только съ любымъ изъ этихъ господъ о такъ называемыхъ «нигилистахъ»—и они сейчасъ же придутъ отъ нихъ въ невыразимый ужасъ.

Наблюдателемъ нравовъ этого Баденъ-Баденскаго нигги-

лизма du grand monde—наблюдателемъ, въ свою очередь, приходящимъ въ ужасъ, является, какъ видно изъ приведеннаго мѣста, Литвиновъ. Но что же такое онъ самъ—не *новый* ли человѣкъ? Литвиновъ, несомнѣнно, со стремленіями къ дѣльности, къ производительному труду въ духѣ новыхъ потребностей, и даже къ народности — не въ Любозвоновскомъ или Ситниковскомъ, не въ пустозвонномъ, а въ дѣльномъ смыслѣ. Но все же онъ — слабая личность, человѣкъ, чуть не поставившій жизни на карту женской любви, слишкомъ долго служившій игрушкою какой нибудь великосвѣтской Ринѣ...

Самая сильная личность въ «Дымѣ», это, конечно, Потугинъ; но онъ рѣшительно далекъ отъ того, чтобы быть человѣкомъ новымъ. Это скорѣе одинъ изъ послѣднихъ Могиканъ того безшабашнаго Западничества, которое въ сущности вытекаетъ изъ препохвальнаго свойства нашей натуры, но свойства, способнаго вырождаться въ чортъ знаетъ что, — того свойства, которое очень мѣтко опредѣляетъ Базаровъ, говоря, съ обычной своей угловатостью: «Русскій человѣкъ только тѣмъ и хорошъ, что самъ о себѣ прескверная мнѣнія». Потугинъ—человѣкъ «священническаго поколѣнія», которое, при всей чистотѣ своей Русской крови, издавна искусилось въ водвореніи у насъ чужого—Византійскаго образца, только сильною волей Петра Великаго окончательно замѣненнаго другимъ—Западно-Европейскимъ.

Вотъ съ этихъ-то поръ и пошло наше *Западничество*. На его, такъ сказать, *народность* у насъ на Руси указывалъ нашъ сочинитель еще въ «Запискахъ Охотника», передавая замѣчанья, вызванныя у Хоря разсказами о заграничной жизни: «Это у насъ не шло бы, а вотъ это хорошо, это порядокъ». Изъ подобныхъ бесѣдъ съ Хоремъ охотникъ вынесъ убѣжденіе, что «Петръ Великій былъ по преимуществу Русскій человѣкъ, Русскій именно въ своихъ преобразованіяхъ». Чисто Русскимъ человѣкомъ является и Потугинъ, когда говоритъ: «Я и люблю и ненавижу свою Россію, свою странную, милую, скверную,

дорогую родину». (Почти то же, какъ извѣстно, говорили иной разъ и сами Славянофилы). Чисто Русская откровенность съ иронією выражается и въ словахъ: «Экая притча, подумаешь! Бьетъ онъ насъ на всѣхъ пунктахъ, этотъ Западъ, агнецъ!» Это, пожалуй, умно и вѣрно, но при этомъ мы забываемъ одно: что многое у себя самъ же Западъ считаетъ гнилымъ, и не слѣдъ намъ заимствоваться, между прочимъ, и этою гнилью, хотя она и можетъ носить на себѣ внѣшній лоскъ и штемпель цивилизаціи. Въ Потугинскихъ увлеченіяхъ цивилизаціей также замѣтна наша Русская безоглядная впечатлительность. «Слово цивилизація, говоритъ онъ, и понятно, и чисто, и свято; а другія всѣ, народность тамъ, что ли, слава кровью пахнутъ»; но, говоря это, мы забываемъ, что и во имя «цивилизаціи» иной разъ предпринимались войны, а съ «народностью» представляются онѣ навсегда неразрывными только въ томъ случаѣ, если вообразить, будто бы два характерныхъ народа, какъ и два характерныхъ лица, непремѣнно дойдутъ, и не могутъ не дойти, до драки.

Крѣпко вѣря въ цивилизацію, Потугинъ словно служитъ передъ нею молебны, какъ привыкъ ихъ служить его батюшка передъ чудотворными образами. Онъ простодушно ждетъ отъ цивилизаціи исцѣленія всяческихъ золъ, и такимъ образомъ далеко отсталъ отъ Базарова, который, при встрѣчѣ съ нимъ, непремѣнно бы посмѣялся надъ этимъ волшебнымъ словцомъ, какъ смѣялся надъ «прогрессомъ» и т. п. Но Потугинъ въ этомъ отношеніи отсталъ и отъ своихъ нелюбезныхъ Славянофиловъ, которые, видя въ народности силу, никогда не считали ее талисманомъ отъ всякихъ бѣдъ, съ другой же стороны никогда не отрицали цивилизаціи. Выражаясь про Славянофиловъ, что они «живутъ буквой *буки*: все молъ будетъ, будетъ»... онъ, можетъ быть, и остроуменъ, но далеко не правъ, потому что именно Славянофилы-то и заговорили у насъ (вѣрно ли, не вѣрно ли—это особый вопросъ), что былъ положительный смыслъ и въ нашемъ прошедшемъ... Именно оттуда-то, изъ коренныхъ основъ исторической нашей жизни, выво-

дили они и тотъ «доморощенный хвостикъ», которымъ, по мнѣнію Потугина, попорчено у насъ крестьянское дѣло, тогда какъ многіе и очень многіе на самомъ Западѣ совершенно иначе смотрятъ на этотъ хвостикъ—*общинное землевладѣніе*...

Впрочемъ, Потугинъ со всѣми его народными нашими странностями, со всѣмъ его яркимъ самоуничиженіемъ расходившагося въ этомъ направленіи Русскаго человѣка, справедливо включенъ самимъ сочинителемъ въ ту неутѣшительную картину, на которую намекается у него самымъ заглавіемъ повѣсти. Вспомнимъ слова уѣзжающаго и глядящаго въ окно вагона Литвинова. «Дымъ, дымъ, повторилъ онъ нѣсколько разъ; и все вдругъ показалось ему дымомъ, все, собственная жизнь, Русская жизнь—все людское, особенно все Русское.... все торопится, спѣшитъ куда-то—и все исчезаетъ безслѣдно, ничего недостигая; другой вѣтеръ подулъ—и бросилось все въ противоположную сторону, и тамъ опять та же безустанная, тревожная и—ненужная игра.... Дымъ, шепталъ онъ, дымъ; и вспомнились ему горячіе споры, крики и толки у Губарева, у другихъ, высоко и низко поставленныхъ, передовыхъ и отсталыхъ, старыхъ и молодыхъ людей.... Дымъ, повторялъ онъ, дымъ и паръ—и даже все то, что проповѣдывалъ Потугинъ.... дымъ, дымъ и больше ничего»...

У насъ, какъ извѣстно, обидѣлись этой печальной картиной, а между тѣмъ г. Тургеневъ, рисуя ее, только оставался вѣренъ самому себѣ. Не онъ ли еще устами Лежнева говорилъ, что всѣ мы—пустые люди? Не то же ли, въ сущности, повторяли Инсаровъ и Шубинъ, не того ли же мнѣнія наконецъ была и Елена?

Но въ повѣсти, занимающей насъ теперь, и какъ-то особенно разсердившей нашихъ читателей,—въ ней-то именно тяжелое впечатлѣніе и изглаживается къ концу чертою отрадною. Вспомните, что говорится о томъ, въ какомъ положеніи засталъ Россію вернувшійся во свояси Литвиновъ. «Новое принималось плохо, старое всякую силу потеряло; неумѣлый сталкивался съ недобросовѣстнымъ; весь

поколебленный бытъ ходилъ ходуномъ, какъ трясина болотная, *и только одно великое слово: «свобода» носилось, какъ Божій духъ, надъ водами.* Терпѣніе требовалось прежде всего и терпѣніе не страдательное, а дѣятельное, настойчивое»....

«Но минулъ годъ, за нимъ минулъ другой, начинался третій. Великая мысль осуществлялась по немногу, переходила въ плоть и кровь: выступилъ ростокъ изъ брошеннаго сѣмени, и уже не растоптать его врагамъ, ни явнымъ, ни тайнымъ»...

Превосходная эта страница находится въ самой строгой связи со всею предыдущею дѣятельностію г. Тургенева. Въ самомъ ея началѣ, въ «Запискахъ Охотника», выставилъ онъ на показъ и позоръ всю язву крѣпостного права. Повидимому, почти не затрогивая его въ дальнѣйшихъ своихъ повѣстяхъ, на самомъ дѣлѣ онъ продолжалъ рисовать все такіе типы, нездоровость которыхъ зависѣла въ главной мѣрѣ отъ *барства*, этого явленія крѣпостной почвы. Обрисовавъ вслѣдъ за тѣмъ ея предсмертную пору въ «Отцахъ и Дѣтяхъ», онъ наконецъ заключаетъ свой «Дымъ» успокоительнымъ указаніемъ на то, что̀ одно—*не дымъ:* это воскрешающее значеніе дѣла освобожденія, воскрешающее значеніе его какъ для самаго народа, такъ и для насъ всѣхъ, чающихъ появленія *новыхъ* людей...

Такимъ человѣкомъ, мы видѣли, не могъ еще быть Базаровъ, человѣкъ *переходной поры.* Такихъ людей еще не представила намъ и пора, непосредственно слѣдующая за освобожденіемъ и выведенная передъ нами въ «Дымѣ»... На будущій характеръ этихъ чаемыхъ нами людей все еще продолжаетъ только *указывать* намъ Инсаровъ. Должны наконецъ и у насъ появиться такіе люди, которые могли бы сказать, что «послѣдній мужикъ въ Россіи хочетъ того же, что̀ и они», люди, которые, не смотря на всегда возможныя, частныя разногласія, сплотились бы въ тѣсный и дружный кругъ, чтобы общими нравственными усиліями постоянно противодѣйствовать тѣмъ, кто не знаетъ никакихъ убѣжденій, хотя и скрываетъ отсутствіе ихъ подъ

личиною Гоголевской «благонамѣренности». Должны наконецъ и у насъ появиться люди, которые могли бы отдаться вполнѣ, съ горячей любовью отдаться народу, уже не считая такой любви напускною; люди, которые готовы бы были отдать свои лучшія силы—кто на скромный уходъ за безпомощнымъ, мрущимъ порою, какъ мухи, крестьянскимъ людомъ, кто на столько же скромный уходъ за его подрастающимъ поколѣніемъ, кто на скромную долю писателя для народа, которая положительно становится въ наше время выше, важнѣе всякаго другого писательства; кто на ратованье за всевозможные виды подобныхъ мѣръ, на поднятіе въ этомъ направленіи земскихъ силъ, на изысканье въ помощь народу земскихъ же общихъ средствъ, кто наконецъ—если туго набита мошна—на собственныя пожертвованія въ пользу народнаго дѣла, на довершенье великаго дѣла освобожденья, на выводъ всего народа изъ-подъ ига невѣжества, безпомощности, нужды! Тогда только усиліями самого общества довершится то, что̀ было и начато при его участіи. Да, положительно при участіи общества былъ рѣшаемъ у насъ крестьянскій вопросъ, поднятый нашей литературой еще въ XVIII в., ею же, правда, нѣсколько поотсроченный въ началѣ нынѣшняго, но снова блистательно поднятый въ пору, ближайшую къ намъ, при значительномъ, какъ видѣли мы, участіи нашего писателя *), и окончательно разрѣшенный опять таки при самомъ усердномъ содѣйствіи нашей литературы, разрѣшенный въ духѣ и на началахъ тѣхъ самыхъ людей, которыхъ величаетъ Потугинъ людьми буквы *буки*. Да, имъ дѣйствительно принадлежитъ эта буква, потому что по крайней мѣрѣ тѣмъ ихъ началамъ, которыя положены въ

* Ему такимъ образомъ досталась завидная доля продолженья отстаиванья, съ благопріятнымъ успѣхомъ, того славнаго дѣла, которое поддерживалъ, составляя въ этомъ случаѣ одно изъ исключеній изъ господствующаго тона нашей литературы начала текущаго вѣка, недавно почившій Н. И. Тургеневъ (см. его некрологъ, такъ тепло написанный И. С. Тургеневымъ въ „Вѣстникѣ Европы“ за декабрь 1871 г.).

основу этого дѣла, принадлежитъ *будущее*, т. е. дальнѣйшее развитіе въ немъ, открыты же ими эти начала въ нашемъ прошедшемъ, открыты и выставлены, какъ нѣчто такое, что̀ изстари принадлежало народу и что̀ подлежитъ возвращенію, возстановленію и обновленію.

Но если такъ, то у насъ и есть уже люди, эти *искомые* люди, остающіеся однако же, съ прямой, настоящей своей стороны, совсѣмъ не затронутыми г. Тургеневымъ. Дѣло въ томъ, что пока это только отдѣльныя, поименно извѣстныя личности, личности, замкнутыя въ своемъ тѣсномъ кружкѣ, а до сихъ поръ еще не сложился общій, живущій въ массахъ, распространенный типъ такого закала. Мы ждемъ еще появленья его, ждемъ, чтобы, освободившись отъ той узкости и односторонности, какая выносится всегда изъ кружковъ, первоначальный складъ этого типа свободно развился во множествѣ живыхъ, многоразличныхъ видоизмѣненій, ясно намѣтивъ во всѣхъ нихъ свое типовое единство. Только когда это совершится, будемъ мы въ правѣ ожидать этого новаго типа и отъ нашего сочинителя. Творческая сила его едва ли ослабла— полосы относительно слабыхъ произведеній бывали у него и прежде; болѣе постоянное его присутствіе у себя на родинѣ, на необходимость котораго такъ настоятельно и даже такъ нескромно указываютъ у насъ многіе, конечно, было бы важно, но и оно не поможетъ, если мы не представимъ ему новыхъ данныхъ, новыхъ типовъ для его творчества. Дѣло, стало быть, прежде всего *за нами!* *).

*) Со времени этихъ лекцій прошло семь слишкомъ лѣтъ. Всѣмъ извѣстна послѣдняя повѣсть И. С. Тургенева: „Новь“. Разбирать ее, конечно, не время. Замѣчу одно: изъ нея видно, что Базаровскій типъ уже устарѣлъ.

О ХРОНИКѢ ГР. Л. Н. ТОЛСТОГО

«ВОЙНА И МИРЪ».

ЛЕКЦІЯ 1-я.

Общій взглядъ на построеніе хроники. — Мужскіе типы Ростовыхъ и Болконскихъ.

Приговоръ писателя о писателѣ всегда любопытенъ—особенно если эти писатели современники. Я и рѣшаюсь начать приговоромъ о томъ писателѣ, который будетъ насъ занимать теперь, того, не менѣе выдающагося писателя, которому посвящены были прошлогоднія лекціи. И. С. Тургенева никто, разумѣется, не заподозритъ въ *личностяхъ* относительно знаменитаго своего сподвижника на литературномъ поприщѣ. Тѣмъ болѣе вниманія заслуживаетъ Тургеневскій приговоръ, произнесенный къ тому же именно по поводу «Войны и Мира».

«Самый печальный примѣръ отсутствія истинной свободы, говоритъ И. С. Тургеневъ, проистекающаго изъ отсутствія истиннаго знанія, представляетъ намъ послѣднее произведеніе гр. Л. Н. Толстого, которое въ то же время, по силѣ творческаго поэтическаго дара, стоитъ едва ли не во главѣ всего, что̀ являлось въ нашей литературѣ съ 1840 г. Нѣтъ! безъ образованія, безъ свободы въ обширнѣйшемъ смыслѣ—въ отношеніи къ самому себѣ, къ своимъ предвзятымъ идеямъ и системамъ, даже къ своему народу, къ своей исторіи—не мыслимъ истинный художникъ; безъ этого воздуха дышать нельзя».

Повторяю: приговоръ И. С. Тургенева, конечно̀, впол-

нѣ безпристрастенъ. Но изъ этого еще не слѣдуетъ, чтобы онъ былъ вполнѣ справедливъ.

Совершенно выдающаяся изъ ряда сила творческаго дара въ гр. Л. Н. Толстомъ, по этому приговору, не дѣйствуетъ у нашего великаго мастера на свободѣ, а стѣснена—стѣснена такъ называемыми «предвзятыми идеями и системами». Тщательный разборъ произведенія графа Толстого долженъ намъ показать, что́ это за системы? Дѣйствительно ли онѣ *предвзятыя*, или же это просто *свои идеи* (а безъ идей, конечно, не можетъ обойтись художникъ).

Если гр. Л. Н. Толстой — первокласный талантъ, то онъ долженъ быть своеобразенъ. Но вѣдь своеобразіе сказывается не въ однихъ *пріемахъ творчества*. Оно выражается и въ самыхъ отношеніяхъ художника къ воспроизводимымъ имъ жизненнымъ явленіямъ, въ способности такъ ихъ группировать, что они и читателю представляются въ совершенно иномъ, новомъ свѣтѣ, не такъ, какъ они бы представились подъ перомъ, можетъ быть, цѣлой фаланги писателей. Весь вопросъ въ томъ, дѣйствительно ли эта новая группировка явленій *непроизвольна* со стороны автора, или она *предумышленна*, такъ сказать, имъ себѣ самому заказана?

Свое яркое своеобразіе гр. Л. Н. Толстой успѣлъ уже выказать въ цѣломъ рядѣ произведеній, появившихся до «Войны и Мира». Въ нихъ обыкновенно не оказывается того, что́ считается существеннѣйшею принадлежностью повѣсти, а тѣмъ болѣе романа, такъ называемой *интриги* съ обычными *завязкою* и *развязкою*. Дѣло въ томъ, что многія изъ его произведеній никакъ и не подведешь подъ обычныя опредѣленія повѣсти или романа: для нихъ понадобился бы какой-нибудь особый *ящикъ* въ дополненіе къ тѣмъ, которые заведены съ давнихъ поръ въ довольно таки тѣсномъ *комодѣ*, называемомъ *теоріей словесности*. Нашъ авторъ пойдетъ вамъ разсказывать самыя, повидимому, обыкновенныя вещи во всей будничной ихъ послѣдовательности, не пропуская почти ничего, такъ что вы

просто не знаете, когда же онъ остановится, такъ какъ онъ, повидимому, просто передаетъ вамъ то теченіе жизни, которое въ цѣломъ не останавливается никогда,—а вамъ не надоѣдаетъ, вы не оторветесь отъ этихъ знакомыхъ страницъ, сто разъ, повидимому, раскрывавшихся передъ вами въ дѣйствительности. Онъ какъ будто бы возвращаетъ васъ къ тѣмъ временамъ *эпоса*, которыя обыкновенно считаются упраздненными новѣйшими формами повѣствовательной поэзіи, давно уже сдѣлавшейся, казалось бы, неспособной къ такъ называемой *непосредственности*. Въ самомъ дѣлѣ, онъ даже съ младенческой откровенностью называетъ вамъ чуть не рѣшительно все по имени. Его реализмъ доведенъ до того, что онъ не позабудетъ сказать обо всемъ, что снимаетъ человѣкъ передъ купаньемъ, («Казаки»), не задумается упомянуть и о дурномъ запахѣ, распространяемомъ какими-нибудь заспавшимися сторожами («Поликушка»). Онъ не скроетъ отъ васъ ни одной мелочной или даже нечистой мысли, которая порою мелькнетъ въ головѣ у самаго отличнаго человѣка въ самую даже не будничную минуту жизни. Но онъ же укажетъ вамъ среди самой прозаической повседневности и сквозь ея нетолько неряшливость, но и просто *грязь*—яркіе проблески идеальной человѣческой красоты. Долго останавливаясь на самомъ обыкновенномъ, онъ вдругъ передъ вами раскроетъ всю глубину міровыхъ неразрѣшимыхъ вопросовъ и изъ области эпическаго реализма разомъ перенесетъ васъ въ самыя отвлеченныя сферы.

Всѣ эти свойства нашего писателя успѣли уже, повторяю, выдаться въ его прежнихъ произведеніяхъ, изъ которыхъ нѣкоторыя могутъ теперь представиться какъ бы приготовительными этюдами для громадной картины «Войны и Мира». И въ ней вы долго не сыщете никакого техническаго единства. Тутъ какъ будто бы даже не одинъ сюжетъ, а нѣсколько совершенно различныхъ сюжетовъ, связанныхъ, такъ сказать, на живую нитку одною одновременностью. Такія параллельныя дѣйствія давно уже замѣчены у Шекспира—обыкновенно по два рядомъ, каж-

дое со своею завязкою и развязкою. Но авторъ «Войны и Мира» представляетъ, сверхъ двухъ основныхъ, еще и побочные узлы: между тѣмъ какъ, повидимому, развязываются одни, вновь завязываются другіе. Даже далеко подвинувшись впередъ, вы рѣшительно не можете предвидѣть, какъ все это развяжется. Вы предвидите только то, что̀ извѣстно вамъ изъ исторіи: вы предвидите, напримѣръ, что, не смотря на Тильзитское свиданіе, будетъ война 12 года, что, не смотря на ея роковое для насъ начало, будетъ бѣгство Наполеона изъ Россіи. Но если бы вамъ пришлось въ первый разъ познакомиться съ отношеніями Россіи къ Наполеоновской Франціи по книгѣ гр. Толстого, вы бы никакъ не могли заранѣе догадываться о томъ, что̀ будетъ далѣе—вплоть до самого вступленья Наполеона въ Москву, которое наоборотъ изложено такъ, что и незнакомый съ исторіей можетъ предвидѣть дальнѣйшее — по настроенію самого побѣдителя, тщетно ожидающаго отъ насъ депутаціи. А по книгѣ гр. Толстого положительно можно бы выучиться исторіи затронутой имъ поры: факты ея передаются имъ съ такою подробностью, какъ ни въ одномъ историческомъ романѣ. Но «Война и Миръ», можетъ быть, еще меньше романъ, чѣмъ всѣ прежнія повѣствовательныя произведенія гр. Л. Н. Толстого. Тутъ есть и романъ, даже не одинъ, но тутъ есть и прямо исторія, развивающаяся сама по себѣ, независимо отъ романа, но рядомъ съ нимъ и неизбѣжнымъ образомъ отражаясь на судьбѣ его дѣйствующихъ лицъ. Романъ, и даже не одинъ, заключается тутъ, главнымъ образомъ, въ двухъ семейныхъ хроникахъ, которыя вѣроятно и ограничились бы обычною смѣною преобладающихъ будничныхъ дней болѣе или менѣе частыми праздниками,—если бы въ хроникѣ эти не вторглись тѣ міровыя событія, которыя совершенно неожиданнымъ образомъ замутили этотъ семейный муравейникъ. Сравненіе, впрочемъ, не вѣрно: слѣдъ человѣка, ступившаго въ муравейникъ, представляется исполинскимъ относительно его мелкаго населенія. Но нашъ авторъ выставляетъ мі-

ровыя событія 1805—1812 г. и даже ихъ главнаго воротилу—Наполеона—въ размѣрахъ вовсе не исполинскихъ. Въ этомъ смыслѣ онъ далекъ отъ героическихъ пріемовъ древняго эпоса, являвшихся осязательною формою присущаго ему идеализма. Дѣятели историческіе не являются у гр. Л. Н. Толстого, какъ оно бываетъ въ историческихъ романахъ, въ своемъ частномъ быту; они остаются на своей общественной аренѣ — только она не оказывается у него постоянно пребывающею на высотѣ и совершенно свободною отъ будничнаго характера. И дѣятельность историческихъ лицъ представляетъ у гр. Толстого своего рода муравейникъ.

Въ этомъ, конечно, уже особенность не только техническихъ пріемовъ нашего художника, но и его идеи, міросозерцанія. Чтобы увидѣть, на чемъ оно у него опирается, остановимся на его главныхъ дѣятеляхъ—сперва *романа*, а потомъ и переплетающейся съ нимъ *исторіи*.

Романъ происходитъ въ великосвѣтскомъ кругу, имѣющемъ претензію, въ лицѣ по крайней мѣрѣ нѣкоторыхъ изъ своихъ представителей, вмѣшиваться въ историческія дѣла, заправлять ими.

Авторъ вводитъ насъ прежде всего въ одинъ изъ кружковъ этого большого круга — въ кружокъ фрейлины Аннеттъ Шереръ, задающійся поддержаньемъ Французскаго легитимизма. Во имя его главнымъ образомъ въ засѣданьяхъ кружка не безъ торжественности заводится обычная говорильная машина и подносятся, въ видѣ лакомаго блюда, особые, предъобѣщанные гости. Съ этимъ самымъ Французскимъ легитимизмомъ, т. е. съ его элегантною внѣшностью, связывается въ кружкѣ понятіе о *tenue*, какъ о верховномъ условіи человѣческаго достоинства (а между тѣмъ при помощи этой *tenue* успѣхъ имѣетъ въ кружкѣ не только такая пустая женщина, какъ Эленъ, но даже и такой просто глупый господинъ, какъ Ипполитъ). Но Французскій легитимизмъ не мѣшаетъ и патріотизму; легитимизмъ этотъ въ воображеньи кружка долженъ служить опорой Россіи. Самымъ дерзкимъ диссонансомъ пред-

ставляются въ кружкѣ слова Шиншина: «и зачѣмъ насъ нелегкая несетъ воевать съ Бонапартомъ? Il a déjà rabattu le caquet à l'Autriche. Je crains que ce ne soit notre tour». Словами Шиншина особенно обижается присутствующій тутъ полковникъ—«плотный, высокій и сангвиническій Нѣмецъ, очевидно, служака и *патріотъ*».

Другой кружокъ въ большомъ кругѣ, выводимый гр. Л. Н. Толстымъ, — плоть отъ той же плоти и кость отъ тѣхъ же костей—принимаетъ, ради разнообразія, иной совершенно цвѣтъ. Во главѣ его стоитъ красивая и пустая Эленъ. «Она сдѣлалась центромъ кружка Наполеоновскаго союза... Самъ Наполеонъ, увидавъ ее въ Эрфуртѣ, сказалъ: c'est un superbe animal. Ей, можетъ быть, передали, что онъ хорошо о ней отозвался, а это и склонило ее на сторону Наполеона. «Принцъ де Линь писалъ ей письма, Билибинъ приберегалъ для ея салона свои beaux mots... Оттого ли, что для веденія такого салона именно нужна была глупость... репутація d'une femme charmante et spirituelle непоколебимо утвердилась за Эленъ».

Но общественные дѣятели первоначальную свою закваску получаютъ въ *семьѣ*. Авторъ даетъ намъ заглянуть глубоко въ великосвѣтскую нашу семью той поры. Вотъ князь Василій — попечительный отецъ, такъ дипломатически ловко пристраивающій свою глупую Эленъ и употребляющій всѣ усилія, чтобы точно также пристроить и своего разгульнаго Анатоля. Вотъ старый графъ Илья Андреевичъ Ростовъ, глава одной изъ тѣхъ двухъ фамилій, которыхъ хронику представляетъ намъ «Война и Миръ». Это добродушнѣйшій изъ смертныхъ, все исповѣданіе котораго заключается въ обращеньи къ графинѣ, не менѣе добродушной своей супругѣ: «какое sauté au madère изъ рябчиковъ будетъ... Не даромъ я за Тараску тысячу рублей далъ»... На подобнаго рода произведенія высоко талантливаго Тараски мало по малу уходитъ все недюжинное имѣнье достойнаго графа, оставляющаго сына въ самомъ критическомъ положеніи.

При такомъ положеніи, графинѣ вдовѣ, нѣжно любя-

щей сына, приходится возложить всю надежду на выгодную для него (т. е. и для нея графини) партію. Способный во дни первой юности, когда еще въ голову не западала мысль о непрочности финансовъ отца, въ одинъ прекрасный вечеръ проиграться въ пухъ и прахъ, Николай Ростовъ сразу остепеняется подъ вліяніемъ критическихъ обстоятельствъ семьи—и приноситъ имъ въ жертву свою юношескую любовь къ привязавшейся къ нему безгранично воспитанницѣ своей матери. Съумѣвъ найти счастье въ бракѣ, поправляющемъ финансовыя обстоятельства, вслѣдствіе того, что ему достается жена, обладающая и душевнымъ богатствомъ, онъ весь уходитъ въ семью, вполнѣ поглощается ея интересами. «Ну какое дѣло мнѣ, говоритъ онъ, до всего этого тамъ,—что Аракчеевъ нехорошъ и все, — какое мнѣ до этого дѣло было, когда я женился и у меня долговъ столько, что меня въ яму сажаютъ, и мать, которая этого не можетъ видѣть и понимать». Но онъ идетъ даже далѣе: ради своихъ семейныхъ обязанностей онъ до того стоитъ за такъ называемый «порядокъ», что не задумывается увѣрять своего вольнодумца-шурина: «вели мнѣ сейчасъ Аракчеевъ пттп на васъ съ эскадрономъ и рубить,—ни на секунду не задумаюсь и пойду». (Конечно, это болѣе потому, что при разговорѣ присутствуетъ мальчикъ, котораго надо предохранить отъ опаснаго вліянія вольнодумныхъ бредней).

Другая семейная хроника «Войны и Мира»—это, какъ извѣстно, хроника Болконскихъ. Глава этой чисто барской семьи, старый князь Николай Андреевичъ, и по уму, и по кругу дѣйствій, и по образованію совсѣмъ уже не то, что̀ патріархальный Илья Андреевичъ Ростовъ, весь уходящій въ *sauté au madère*. Старикъ Болконскій — выдающійся представитель той смѣси стараго Русскаго барства съ отъявленнымъ «Вольтеріанствомъ», которая изъ XVIII столѣтія зашла у насъ и въ XIX-е. Это одинъ изъ тѣхъ сильныхъ, для которыхъ отсутствіе вѣры въ Бога оказывалось окончательнымъ устраненіемъ препятствій для самодурства: «я самъ себѣ Богъ», готовъ бы опъ былъ

сказать. По его мнѣнію, «есть только два источника людскихъ пороковъ: праздность и суевѣріе», такъ точно, какъ «есть только двѣ добродѣтели: дѣятельность и умъ». Но кругъ дѣятельности давно для него закрылся и, жалуясь на то, что у него отняли его любимую добродѣтель, онъ могъ себя увѣрять и въ томъ, что его насильно втравили въ ненавистный ему порокъ — праздность. Гр. Николай Андреевичъ, «генералъ-аншефъ... по прозванію въ обществѣ le roi de Prusse, съ того времени какъ при Павлѣ былъ сосланъ въ деревню, жилъ безвыѣздно въ своихъ Лысыхъ Горахъ съ дочерью княжною Марьей и при ней компаньонкой M-elle Bourienne. И въ новое царствованіе, хотя ему и былъ разрѣшенъ въѣздъ въ столицы, онъ также продолжалъ безвыѣздно жить въ деревнѣ, говоря, что ежели кому его нужно, то тотъ и отъ Москвы полтораста верстъ доѣдетъ до Лысыхъ Горъ, а что ему никого и ничего не нужно». Онъ, повидимому, могъ бы къ себѣ примѣнить слова, сказанныя позже и въ иномъ совершенно смыслѣ нашимъ великимъ поэтомъ:

Ты царь—живи одинъ.

Или пожалуй, онъ могъ бы къ себѣ примѣнить и правило, опять, разумѣется, въ особомъ смыслѣ принимавшееся поэтомъ:

...Никому
Отчета не давать; себѣ лишь самому
Служить и угождать...

Прихоть, о которой далѣе говоритъ тутъ поэтъ, разумѣя ее, конечно, опять таки въ особомъ художническомъ смыслѣ,—*прихоть* являлась главнѣйшимъ жизненнымъ двигателемъ для князя Николая Андреевича. Прихотью въ смыслѣ, конечно, уже самомъ прямомъ и ничѣмъ не ограничиваемомъ, онъ вознаграждалъ себя за свою, какъ ему думалось, совершенно невольную *праздность*. Полный просторъ для прихоти — вотъ въ чемъ заключалась для стараго князя *дѣятельность*, эта его любимая добродѣтель, между тѣмъ какъ другая его добродѣтель—*умъ* об-

ратилась въ озлобленное порицаніе всего, что творилось внѣ предѣловъ его вполнѣ независимыхъ Лысыхъ Горъ. Въ имя прихоти, замѣчаетъ авторъ, къ столу, напримѣръ, допускался архитекторъ стараго князя, «хотя по своему положенію незначительный человѣкъ этотъ никакъ не могъ разсчитывать на такую честь. Князь, твердо державшійся въ жизни различія состояній и рѣдко допускавшій къ столу даже важныхъ губернскихъ чиновниковъ, вдругъ на архитекторѣ Михаилѣ Ивановичѣ, сморкавшемся въ углу въ клѣтчатый платокъ, доказывалъ, что всѣ люди равны и не разъ внушалъ своей дочери, что Михаилъ Ивановичъ ничѣмъ не лучше меня съ тобою. За столомъ князь чаще всего обращался къ безсловесному Михайлѣ Ивановичу». Авторъ, впрочемъ, даетъ намъ и полную психологическую разгадку этой «прихоти». «M-elle Bourienne и Михаило Ивановичъ — два лица, къ которымъ онъ всегда ласковъ и добръ, потому что они оба облагодѣтельствованы имъ». Озлобленный и въ тоже время опять таки прихотью руководимый умъ князя привелъ его къ убѣжденію не только въ томъ, что всѣ теперешніе дѣятели были мальчишки... и что Бонапартъ былъ ничтожный Французишка, имѣвшій успѣхъ только потому, что уже не было Потемкиныхъ и Суворовыхъ противопоставить ему; но онъ былъ убѣжденъ даже, что никакихъ политическихъ затрудненій не было въ Европѣ, не было и войны, а была какая-то кукольная комедія».—По поводу этого княжна Марья не безъ остроумія замѣтила въ письмѣ къ своей пріятельницѣ: «Кажется, еще только въ Лысыхъ Горахъ на всемъ земномъ шарѣ не признаютъ Бонапарта великимъ человѣкомъ, ни еще менѣе Французскимъ императоромъ». Хозяйничанье въ Европѣ «ничтожнаго Французишки» представляется старому князю какою-то личной обидой. «Предложили другія владѣнья за мѣсто Ольденбургскаго герцогства, замѣчаетъ онъ;—точно я мужиковъ изъ Лысыхъ Горъ переселилъ въ Богучарово» (это собственное его «хозяйничанье», очевидно, ни мало не представляется ему—Ека-

терининскому Вольтеріанцу — тѣмъ же самоуправствомъ, такъ какъ тутъ дѣло не съ герцогами, а съ мужиками). Если князь Николай Андреевичъ соглашается на поступленіе своего сына въ дѣйствующую армію, т. е. на участіе его въ «кукольной комедіи», то онъ соглашается на это только условно и видитъ тутъ исключительно личныя служебныя отношенія. «Напиши, какъ тебя Кутузовъ приметъ. Коли хорошъ будетъ, служи. Николая Андреевича Болконскаго сынъ изъ милости служить ни у кого не будетъ». Тѣ изъ сверстниковъ стараго князя, которые, небрезгая временами «кукольной комедіи», являлись актерами въ ней далеко не безъ успѣха, становились ему совершенно не милы. Онъ «былъ всегда не высокаго мнѣнія о характерѣ князя Василія, и тѣмъ болѣе въ послѣднее время, когда князь Василій въ новыя царствованія при Павлѣ и Александрѣ далеко пошелъ въ чинахъ и почестяхъ». Рѣшившись въ началѣ зимы 1811 г. переѣхать въ Москву съ княжной Марьей, онъ могъ разсчитывать на тогдашнее «ослабленіе восторга къ царствованію императора Александра», въ силу котораго онъ дѣйствительно и сдѣлался «центромъ Московской оппозиціи правительству». Такимъ образомъ на закатѣ дней передъ княземъ Николаемъ Андреевичемъ опять открылось широкое поле для дѣятельности или, покрайней мѣрѣ, для того, что̀ онъ могъ принять за дѣятельность, широкое поле для упражненія его самолюбиво критикующаго ума. Но это было уже слишкомъ поздно для того, чтобы отвлечь его отъ обратившагося въ привычку — вторую натуру упражненія своихъ властныхъ наклонностей въ предѣлахъ семьи—т. е. собственно надъ беззавѣтно ему подчинившейся дочерью. Княжна Марья остается для него безусловно необходимымъ предметомъ командованья и пиленья, такъ что ему по прежнему даже и не представляется вопросъ: «рѣшится ли онъ когда нибудь разстаться съ княжной Марьей и отдать ее мужу». Старый князь и не могъ даже задать себѣ этотъ вопросъ, зная наперед, что онъ отвѣтилъ бы по справедливости, а спра-

ведливость противорѣчила больше чѣмъ чувству, а всей возможности его жизни».

Сказавъ это, авторъ указалъ на то, что справедливость существовала въ *сознаніи* старика, — но переходу этого сознанія въ *дѣйствіе* мѣшала непокладистая властность и самость всего его свычая и обычая. «Онъ не могъ понять того, чтобы кто нибудь хотѣлъ измѣнять жизнь, вносить въ нее что нибудь новое, когда жизнь для него уже кончалась...» Вотъ почему онъ такъ дурно принялъ и намѣренье сына, князя Андрея, опять жениться. «Я тебя прошу, отложи дѣло на годъ», потребовалъ онъ, явно разсчитывая на то, что черезъ годъ, пожалуй, все это само собой передѣлается, но при этомъ не ограничиваясь однимъ подобнымъ разсчетомъ, а, въ видѣ надежнаго средства для этого, употребляя даже дурной пріемъ, сдѣланный имъ, съ нарушеніемъ обычной аристократической вѣжливости, вовсе даже и не грозившей mésalliance'омъ невѣстѣ своего сына. А ежели, не смотря ни на что, свадьба князя Андрея все-таки состоится? На этотъ случай у старика оказалась въ запасѣ мысль— по крайней мѣрѣ и самому тогда удивить людей совершенно уже непредвидѣнною перемѣною. Мысль эта, называемая авторомъ мыслью-шуткой—о собственномъ его бракѣ съ M-elle Bourienne—все болѣе и болѣе ему нравилась и обращалась въ серьёзную мысль. «Когда буфетчикъ по прежней привычкѣ подалъ кофе, начиная съ княжны, князь пришелъ въ бѣшенство, бросилъ костылемъ въ Филиппа и тотчасъ же сдѣлалъ распоряженіе объ отдачѣ его въ солдаты. Княжна Марья просила прощенья и за себя и за Филиппа». За себя—въ томъ, что явилась невольной преградой для M-elle Bourienne, за Филиппа—въ томъ, что онъ осмѣлился не угадать намѣреній и желаній князя, тѣхъ намѣреній и желаній, на которыя князь постоянно смотрѣлъ какъ на единственный законъ для себя и другихъ. И созданный имъ самимъ разладъ между собою и дочерью долженъ былъ, конечно, упорно держаться. Но при этомъ, какъ видно, *сознаніе* справедливости не

заглохло. Хотѣлось услышать отъ сына, что виною этого разлада—не онъ, старый князь. Сынъ сталъ напротивъ оправдывать сестру: «виновата эта Француженка». Но вѣдь это значило сказать, что виноватъ самъ князь. «А, присудилъ!.. присудилъ! сказалъ старикъ тихимъ голосомъ, и, какъ показалось князю Андрею, съ смущеніемъ, но потомъ вдругъ вскочилъ и закричалъ: «вонъ, вонъ! чтобъ духу твоего тутъ не было!» Смущенье вытекало изъ *сознанія*, крикъ—изъ властной, не терпящей ни какого суда и отпора *воли*. Сознаніе вслѣдъ затѣмъ довело до того, что старый князь пересталъ допускать къ себѣ Bourienne, а наконецъ (послѣ извинительнаго письма сына) и совсѣмъ отдалилъ отъ себя Француженку. Но властная воля продолжала сказываться въ томъ, что княжна Марья еще больше прежняго стала предметомъ пиленія за то, что поссорила съ сыномъ—это до полученія его извинительнаго письма—а послѣ письма она оставалась такимъ предметомъ по прежнему, потому что князю, ради преподаннаго ему старику урока, не отвыкать же стать отъ того, что̀ было привычкою всей его жизни.

Во время этой домашней войны и застигла стараго князя война 1812 года. Долго онъ ни за что не хотѣлъ признавать ея настоящаго смысла. «Я говорилъ и говорю, твердилъ старикъ, что театръ войны есть Польша и дальше Нѣмана никогда не проникнетъ непріятель»... Десаль съ удивленіемъ посмотрѣлъ на князя, говорившаго о Нѣманѣ, когда непріятель былъ уже у Днѣпра» (между тѣмъ князь Андрей успѣлъ написать объ этомъ старому князю). Только вѣсть о взятіи Смоленска сломила упрямый умъ старика. Онъ рѣшился остаться въ своихъ Лысыхъ Горахъ и обороняться во главѣ своихъ ополченцевъ. Но страшный, такъ упрямо не предвидѣвшійся, ударъ нравственный вызываетъ и ударъ физическій. Уже въ полусознательномъ состояніи старикъ все спрашиваетъ: «гдѣ же онъ?» т. е. гдѣ сынъ, которому должно же быть при смерти отца.—«Въ арміи, въ Смоленскѣ,» отвѣчаютъ ему. «Да, сказалъ онъ явственно и тихо. Погибла Россія!

Погубили! И онъ опять зарыдалъ.» Въ этомъ *погубили* сказался весь старый гнѣвъ князя на тѣхъ, кто былъ на виду, кого слушались, вмѣсто того, чтобы обратиться *к нему, его* слушаться. То, что̀ представляется князю погибелью Россіи, только даетъ ему новый сильнѣйшій поводъ корить своихъ личныхъ недруговъ. На первомъ планѣ и тутъ остается свое *я*, и только извѣстная развѣ часть предсмертныхъ слезъ старика достается въ самомъ дѣлѣ на долю Россіи. Между тѣмъ физическое потрясеніе организма потрясаетъ и властную волю: постоянно необходимая жертва ея,—княжна Марья, только тутъ, на самыхъ послѣднихъ порахъ жизни князя, перестаетъ быть предметомъ его пиленья. Старикъ съ благодарностью даже пользуется ея ухаживаньемъ, совершенно становится мягокъ съ нею.

«Яблоко не падаетъ далеко отъ яблони» — невольно вспоминаешь пословицу, сводя тѣ черты, которыми авторъ намъ обрисовываетъ сына старика Болконскаго, князя Андрея. Онъ имѣетъ, конечно, свою нравственную физіогномію, но признаки отцовской породы въ ней сказываются—тѣ признаки, по которымъ, употребляя выраженье Анп. Григорьева, можно узнать *хищный типъ*. Начать съ того, что «онъ также мало способенъ былъ измѣнить свое мнѣніе, какъ и старый князь».... «Онъ боялся больше всего въ мірѣ того, что̀ называется *ridicule*». Такимъ людямъ приходится постоянно быть въ какомъ-то нервномъ опасеніи — въ силу обыкновенно принимаемаго ими положенія, что du sublime au ridicule il n'y a qu'un pas. Князь Андрей долженъ былъ особенно вѣровать въ эти слова, такъ какъ тотъ, кто сказалъ ихъ, представлялся ему величайшимъ человѣкомъ въ мірѣ. Въ этомъ онъ, конечно, расходился съ отцомъ. Но вѣдь старый князь, такъ сказать, совершенно случайно не хотѣлъ признавать Буонапарте, родившагося для этого слишкомъ поздно. Буонапарте былъ человѣкъ *не его времени* и собственно по этому не удостоился его уваженія. Для князя Андрея, напротивъ, онъ былъ современникъ и ничто не мѣшало молодому князю сочувственно въ немъ оцѣнить хищную птицу

высокаго полета. Но, ставя Наполеона выше всѣхъ людей, онъ идетъ противъ него въ походъ. «Ежели бы всѣ воевали только по своимъ убѣжденіямъ, оправдывается онъ, войны бы не было»... Послѣднее, соглашается кн. Андрей, было бы, можетъ быть, и прекрасно, «но этого никогда не будетъ». Т. е. онъ совершенно увѣренъ, что никогда не переведется тотъ хищный родъ, къ которому и самъ онъ принадлежитъ. Для чего идетъ онъ противъ Наполеона, онъ самъ не знаетъ, но «я, говоритъ онъ, знаю, что мнѣ надо итти. Кромѣ того, я иду.... я иду потому, что эта жизнь, которую я здѣсь веду, эта жизнь не по мнѣ»!... Жизнь эта представляется ему слишкомъ мелкою для такого большого корабля, какимъ онъ считаетъ себя по своей породѣ. Къ тому же свободное плаванье стѣснено для него женитьбой на женщинѣ, постоянно называемой у автора «маленькой княгиней». Это названіе можно понимать и иносказательно: самый нравъ ея представляется князю Андрею совсѣмъ ему не подъ ростъ. Не зная, что ей суждено умереть, давъ жизнь своему первенцу, онъ бѣжитъ на войну между прочимъ и отъ жены. Это особенно ясно изъ его словъ: «женись старикомъ, никуда не годнымъ.... А то пропадетъ все, что̀ въ тебѣ есть хорошаго и высокаго... Ежели ты ждешь отъ себя чего нибудь впереди, то на каждомъ шагу ты будешь чувствовать, что для тебя все кончено, все закрыто, кромѣ гостиной... Я теперь направляюсь на войну, на величайшую войну, какая только бывала, а я ничего не знаю и никуда не гожусь; je suis très aimable et très caustique и у Анны Павловны меня слушаютъ. И это глупое общество, безъ котораго не можетъ жить моя жена, и эти женщины»...

Но въ чемъ же заключается то «хорошее и высокое» которое онъ чуетъ въ себѣ и которому нѣтъ хода въ «этомъ глупомъ обществѣ»? Въ томъ ли, что, любя «покровительственныя отношенія къ молодымъ людямъ» и «польщенный тѣмъ, что къ нему обращались за протекціей», онъ дѣйствительно желалъ доставить ее Борису Друбецкому? Или въ томъ, что, «войдя къ нему и заставъ армейскаго

гусара (сортъ людей, которыхъ терпѣть не могъ князь Андрей)... ему непріятно было, что онъ попалъ въ дурное общество»? Или наконецъ въ такомъ его поведеніи? «Очень хорошо, извольте подождать», сказалъ онъ генералу тѣмъ Французскимъ выговоромъ по Русски, которымъ онъ говорилъ, когда хотѣлъ говорить презрительно.» Дѣло въ томъ, что «кромѣ субординаціи, написанной въ уставѣ, была другая, болѣе существенная субординація, та, которая заставляла этого затянутаго съ багровымъ лицомъ генерала почтительно дожидаться въ то время, когда капитанъ князь Андрей для своего удовольствія находилъ болѣе удобнымъ разговаривать съ прапорщикомъ Друбецкимъ» (т. е. человѣкомъ *своего* круга, хотя бы и величаемаго имъ «глупымъ»).

«Хорошее и высокое» заключается для князя Андрея, надобно думать, въ слѣдующемъ. «Какъ только онъ узналъ, что Русская армія находится въ такомъ безнадежномъ положеніи, ему пришло въ голову, что ему-то именно предназначено вывести Русскую армію изъ этого положенія, что вотъ онъ, тотъ Тулонъ, который выведетъ его изъ рядовъ неизвѣстныхъ офицеровъ и откроетъ ему первый путь къ славѣ».... И это въ войнѣ съ человѣкомъ, котораго онъ считалъ величайшимъ въ мірѣ, но который, быть можетъ, именно вслѣдствіе этого и вызывалъ его, такъ сказать, на соревнованіе. Но искомый кн. Андреемъ «Тулонъ», какъ нарочно, ему недавался. Между тѣмъ самолюбіе не позволяло разыгрывать роль вороны въ павлиньихъ перьяхъ. Самолюбіе, находя исходъ въ великодушіи явнаго безпристрастія, продиктовало ему слова: «успѣхомъ дня мы обязаны болѣе всего дѣйствію этой батареи и геройской стойкости капитана Тушина съ его ротой»... Но «великодушному» было грустно и тяжело. «Все это было такъ странно, такъ не похоже на то, чего онъ надѣялся». Дѣло въ томъ, что прямая исповѣдь кн. Андрея въ словахъ: «Я никогда никому нескажу этого, но что же мнѣ дѣлать, ежели я ничего не люблю, какъ только славу, любовь людскую... И какъ ни дороги, ни милы мнѣ многіе

люди,—отецъ, сестра, жена (на самомъ дѣлѣ жена нисколько не была ему дорога).... какъ ни странно и неестественно это кажется, я всѣхъ ихъ отдамъ сейчасъ за минуту славы, торжества надъ людьми, за любовь къ себѣ людей, которыхъ я не знаю и не буду знать.» И понятно: вѣдь это любовь *къ нему*, своего рода дань, собираемая *имъ*—не все ли равно съ кого?

Вотъ выдающійся представитель молодого поколѣнія, застигнутаго, какъ и старое, событіями 12-го года—можно, кажется, не колеблясь сказать: въ расплохъ!

Какъ молодое, такъ и старое поколѣніе нашей высшей дворянской среды, рисуемое гр. Л. Н. Толстымъ на историческомъ грунтѣ событій Наполеоновской поры, освѣщено имъ едва ли невѣрно. Этого, я полагаю, никакъ не скажетъ и И. С. Тургеневъ, которому пришлось самому выставить туже нашу среду въ другую, не менѣе историческую эпоху,—въ эпоху освобожденья крестьянъ, и выставить болѣе или менѣе въ томъ же свѣтѣ. Если сравнить заграничныхъ Русскихъ «Дыма» съ Русскими иностранцами «Войны и Мира», то первымъ, пожалуй, еще и менѣе польщено. Они и въ самомъ дѣлѣ являются уже окончательно выродившимися потомками тѣхъ людей, которыхъ мы видимъ у гр. Л. Н. Толстого. Люди этого послѣдняго въ сущности (таковы, по крайней мѣрѣ, Болконскіе—отецъ и сынъ) люди далеко не дюжинные, далеко не лишенные своего рода величавости размѣровъ, хотя изъ нихъ все-таки ничего не выходитъ и они остаются «пустыми людьми»—по крайней мѣрѣ въ томъ смыслѣ, въ какомъ, по свидѣтельству Тургеневскаго Лежнева, «всѣ мы пустые люди». Они остаются ими при всѣхъ своихъ Екатерининскихъ преданіяхъ и при всемъ своемъ Вольтеріанствѣ (то и другое вѣдь слышно еще и въ Андреѣ Болконскомъ), не мало имъ не помѣшавшихъ быть законными *отцами* тѣхъ *дѣтей*, которыхъ Ю. Ѳ. Самаринъ такъ мѣтко назвалъ *нигилистами большого свѣта* (той среды, гдѣ въ сущности вѣдь и водятся настоящіе, буквальные *нигилисты*,

т. е. люди, не признающіе *ничего*, кромѣ своего барствующаго *я*).

Но гр. Л. Н. Толстой пытается выставить намъ Болконскаго сына способнымъ и нравственно, и умственно возродиться подъ вліяньемъ великихъ, переживаемыхъ имъ событій (чего, конечно, и тѣни нѣтъ въ людяхъ «Дыма»). Первые признаки подобнаго возрожденія сказались въ немъ въ то время, когда онъ лежалъ раненный на Аустерлицкомъ полѣ, лежалъ въ какомъ-то мистическомъ полу-бреду. «Надъ нимъ ничего, кромѣ неба — высокаго неба, неяснаго, но все таки неизмѣримо высокаго съ тихо ползущими по немъ сѣрыми облаками. Какъ тихо, спокойно и торжественно, со всѣмъ не такъ, какъ я бѣжалъ, подумалъ кн. Андрей, — не такъ, какъ мы бѣжали, кричали, дрались, со всѣмъ не такъ съ озлобленными и испуганными лицами тащили другъ у друга банникъ, Французъ и артиллеристъ, совсѣмъ не такъ ползутъ облака по этому высокому безконечному небу. Какъ я не видалъ прежде этого высокаго неба? И какъ я счастливъ, что узналъ его наконецъ».—«Voilà une belle mort», раздалось при этомъ надъ нимъ, казавшимся мертвымъ. «Кн. Андрей понялъ, что это сказано было о немъ и что говоритъ это Наполеонъ... его герой, но въ эту минуту Наполеонъ казался ему столь маленькимъ, ничтожнымъ человѣкомъ, въ сравненіи съ тѣмъ, что происходило теперь между его душой и этимъ высокимъ безконечнымъ небомъ съ бѣгущими по немъ облаками».... «Тихая жизнь и спокойное семейное счастье въ Лысыхъ Горахъ представлялись ему (мы видѣли, что онъ пошелъ въ походъ ради одной возможности *выказаться*). Онъ уже наслаждался этимъ счастіемъ, когда вдругъ являлся маленькій Наполеонъ съ своимъ безучастнымъ, ограниченнымъ и счастливымъ отъ несчастія другихъ взглядомъ». Послѣ Аустерлицкой компаніи кн. Андрей, хотя и выздоровѣвъ, твердо рѣшился никогда не служить болѣе въ военной службѣ. Онъ только принялъ должность подъ начальствомъ отца по сбору ополченія. Но старый червякъ тще-

славія не переставалъ его безпокоить. «Побѣду одержали наши надъ Бонапартомъ именно тогда, когда я не служу. Да, да, все подшучиваетъ надо мною». Говоря это про себя, онъ вслухъ, разумѣется, говорилъ совершенно другое. «Je ne connais dans la vie que deux maux bien réels: c'est le remord (намекъ на смерть жены, причиненную его отъѣздомъ въ армію) et la maladie (разумѣя недавно вынесенную имъ болѣзнь отъ раны). Жить для себя, избѣгая только этихъ двухъ золъ: вотъ вся моя мудрость теперь». Онъ вдается при этомъ въ цѣлый рядъ софизмовъ, долженствующихъ защитить такой эгоизмъ и вмѣстѣ съ тѣмъ увѣрить его, будто прежде онъ имѣлъ глупость заботиться о другихъ. «Я жилъ для славы», разсуждаетъ кн. Андрей. Вѣдь что же слава? таже любовь къ другимъ, желаніе сдѣлать для нихъ что нибудь, желаніе ихъ похвалы» (т. е. онъ хочетъ замаскировать въ своихъ собственныхъ глазахъ, что это—желаніе похвалы *себѣ*, желаніе взять съ другихъ *для себя* эту похвалу). «Такъ, я жилъ для другихъ (продолжаетъ въ немъ утверждать софистъ) и не почти, а совсѣмъ погубилъ свою жизнь. И съ тѣхъ поръ сталъ спокойнѣе, какъ живу для одного себя». Между тѣмъ онъ только перемѣнилъ одинъ видъ эгоизма на другой: тщеславіе, славолюбіе или честолюбіе на любовь къ покою. Этому ли только училъ его сводъ небесный съ тихо ползущими по немъ облаками? Одна *тишина*, тишина—ради тишины, — вотъ чѣмъ плѣнился онъ въ этомъ небѣ, вотъ на чемъ основалъ онъ свой теперешній квіэтизмъ. А *высота* этого небеснаго свода, возносящагося надъ людьми, не требуя отъ нихъ ничего, но безкорыстно имъ посылая и свѣтъ, и тепло? И сознаніе этой высоты, промелькнуло было въ кн. Андреѣ, когда такъ низокъ показался ему Наполеонъ со своимъ «счастливымъ отъ несчастія другихъ взглядамъ». Это сознанье на первый разъ только *промелькнуло*, а надолго осталось впечатлѣніе *тишины*, воспринятое имъ по своему и по старому, т. е. въ эгоистическомъ смыслѣ. Но и промелькнувшее не исчезло, а только отодвинулось, какимъ-то оптическимъ обманомъ души, на задній планъ,

какъ что-то давно въ ней, будто бы, бывшее, но долженствующее уступить мѣсто иному, будто бы новому, будто бы высшему, а на самомъ дѣлѣ тому же низменному и застарѣлому эгоизму въ новомъ образѣ *тишины*.

«Я строю домъ, развожу садъ,—продолжаетъ свои софизмы кн. Андрей,—а ты (онъ обращается къ Пьеру Безухому, только что сблизившемуся тогда съ масонами), а ты больницы. И то и другое можетъ служить препровожденіемъ времени» (стало быть однообразный штиль не удовлетворяетъ). «Ты хочешь вывести мужика изъ его животнаго состоянія, продолжаетъ князь Андрей... а мнѣ кажется, что единственное возможное счастье—есть счастье животное» (опять, значитъ, тишина, т. е. отсутствіе душевныхъ волненій—какъ верхъ блаженства); «а ты его-то хочешь лишить его» (т. е. мужика...) «Ну вотъ, ты хочешь освободить крестьянъ, продолжаетъ онъ. Это очень хорошо, но не для тебя (ты, я думаю, никого не засѣкалъ и не посылалъ въ Сибирь) и еще меньше для крестьянъ. Ежели ихъ бьютъ, сѣкутъ, посылаютъ въ Сибирь, то я думаю, что имъ отъ этого нисколько не хуже. Въ Сибири ведетъ онъ ту-же свою скотскую жизнь, а рубцы на тѣлѣ заживутъ, и онъ также счастливъ, какъ и былъ прежде. А нужно это для тѣхъ людей, которые гибнутъ нравственно, наживаютъ себѣ раскаяніе, подавляютъ это раскаяніе и грубѣютъ отъ того, что у нихъ есть возможность казнить право и не право. Вотъ кого мнѣ жалко и для кого бы я желалъ освободить крестьянъ». Ему, стало быть, жаль *своихъ*, *себя*, какъ барина, какъ дворянина, ради того *mal réel*, который называется remord. Не будь этого *mal réel* (съ которымъ онъ познакомился коротко послѣ смерти нелюбимой имъ при жизни жены), онъ бы просто не думалъ о судьбѣ своихъ мужиковъ,—но этотъ remord несносенъ, — и вотъ, чтобы прогнать его, развивается вымыселъ, будто бы имъ, этимъ мужикамъ, живется неизмѣримо лучше, чѣмъ барину, потому что живется имъ безсознательно, а доступная только барину жизнь сознательная—она-то будто и есть настоящая ка-

торга. Для того чтобы князю Андрею избѣжать этой каторги, «одно имѣнье его въ 300 душъ крестьянъ было перечислено въ вольные хлѣбопашцы (это былъ одинъ изъ первыхъ примѣровъ въ Россіи), въ другомъ барщина замѣнена оброкомъ... священникъ за жалованье обучалъ дѣтей крестьянскихъ и дворовыхъ грамотѣ» (т. е. выводилъ ихъ изъ того «животнаго состоянія», которое собственно и представлялось кн. Андрею настоящимъ счастьемъ).

Все это въ сущности значило, что впечатлѣніе Аустерлицкаго неба, впечатлѣніе не одной его *тишины*, но и *высоты*, не прошло безслѣдно. Новое требованіе *жизни не для себя, въ самомъ дѣлѣ не для себя* сказалось, — но оно еще отрицается во имя стараго идеала *жизни исключительно для себя*. Но тутъ опять типъ гр. Л. Н. Толстого представляется мнѣ *законнымъ отцомъ* одного изъ Тургеневскихъ типовъ—самаго выдающагося между его *дѣтьми*. И Базаровъ, слыша въ себѣ голосъ наклонностей вовсе не эгоистическихъ, хочетъ увѣрить себя и другихъ, что онѣ-то и есть—эгоизмъ, голый эгоимъ. Это ничего не значитъ, что онъ не аристократъ, а поповичъ, да еще величающійся тѣмъ, что дѣдъ его землю пахалъ. Онъ все-таки членъ той аристократіи умственной, которая прямо ведетъ свой родъ отъ Россійскаго Вольтеріанства, долго державшагося въ дворянствѣ, а потомъ перешедшаго и къ «средняго рода людямъ»...

Самую службу свою въ ополченіи кн. Андрей объясняетъ въ томъ же смыслѣ—въ смыслѣ если не личнаго, то семейнаго интереса. «Отецъ, поясняетъ онъ, страшенъ своей привычкой къ неограниченной власти... Кромѣ меня никто не имѣетъ вліянія на отца, и я кое гдѣ спасу его отъ поступка, отъ котораго онъ бы послѣ мучился» (т. е. сдѣлался бы жертвой *remord*, этого *mal réel*). Не будь такого семейнаго соображенія, онъ бы и не пошелъ въ ополченіе... Въ армію же онъ ни за что не пойдетъ. «Ежели бы Бонапартъ стоялъ тутъ у Смоленска, увѣряетъ кн. Андрей, и то бы я не сталъ служить въ Рус-

ской арміи» (въ этой арміи, которая не одержала при немъ ни одной побѣды, а стала дѣйствовать удачнѣе уже послѣ него). Онъ долго и упорно ублажаетъ свое замате-рѣлое самолюбіе озлобленностью—своего рода Weltschmerz'омъ изъ за того, что ему, князю Андрею, не повезло. «Отчего я одинъ не вижу того, что̀ вы видите, говоритъ онъ масонствующему Пьеру. Вы видите на землѣ царство добра и правды, а я его не вижу». Между тѣмъ тотъ неземной восторгъ, который онъ читалъ въ глазахъ Пьера, незамѣтнымъ образомъ послужилъ для него вторымъ «Аустерлицкимъ небомъ». Тутъ началась мало по малу хотя во внѣшности и таже самая, но во внутреннемъ мірѣ его новая жизнь». Она сказалась отреченьемъ отъ тишины, исканіемъ дѣятельности. «Цѣлый рядъ разумныхъ логическихъ доводовъ, почему ему необходимо ѣхать въ Петербургъ и даже служить» (заурядная у насъ тогда форма дѣятельности) «ежеминутно былъ готовъ къ его услугамъ... Онъ даже не понималъ того, какъ прежде, на основаніи такихъ же бѣдныхъ разумныхъ доводовъ, очевидно было, что онъ унизился бы, ежели бы теперь, послѣ столькихъ уроковъ жизни, опять бы повѣрилъ въ возможность приносить пользу...» И вотъ ему представляется служба у такого человѣка, какъ Сперанскій. Но обаяніе этой личности сперва встрѣчаетъ отпоръ въ самолюбіи кн. Андрея. Съ другой же стороны «ему такъ хотѣлось найти въ другомъ живой идеалъ того совершенства, къ которому онъ стремился, что онъ легко повѣрилъ, что въ Сперанскомъ онъ нашелъ этотъ идеалъ». Сама по себѣ эта вѣра была торжествомъ надъ собственнымъ *я*. Къ несчастью, пришлось скоро разувѣриться. «Черезъ недѣлю кн. Андрей былъ членомъ коммиссіи составленія воинскаго устава, и, чего онъ ни какъ неожидалъ, начальникомъ отдѣленія коммиссіи составленія законовъ». Это могло польстить самолюбію, но эта же легкость назначенія и двухмѣстность не могла не противорѣчить тому идеальному понятію о пользѣ, которое стало слагаться въ кн. Андреѣ. Вскорѣ онъ увидѣлъ въ бюрократической дѣятельности

другого лица — пустого и пошлаго Берга — нѣчто въ родѣ довольно удачной каррикатуры на свою собственную бюрократическую дѣятельность. «Кн. Андрей вспомнилъ, какъ въ засѣданіяхъ комитета, членомъ котораго былъ Бергъ, старательно и продолжительно обсуждалось все касающееся формы... и какъ старательно и кратко обходилось все, что̀ касалось сущности дѣла. Онъ вспомнилъ о томъ, какъ онъ старательно переводилъ на Русскій языкъ статьи Римскаго и Французскаго свода, и ему стало совѣстно за себя»... «Изъ чего я бьюсь, изъ чего хлопочу, заговорило въ немъ, въ этой узкой замкнутой рамкѣ, когда жизнь, вся жизнь, со всѣми ея радостями открыта мнѣ?».

Та дѣятельность на пользу другимъ, которая представилась кн. Андрею въ службѣ у такого выдающагося лица, какъ Сперанскій, оказалась, по его пониманію, дѣятельностью, замыкающею въ узкую рамку,—и вотъ онъ снова отдается «жизни со всѣми ея радостями», т. е. снова ищетъ *личныхъ* радостей, *личнаго* счастья... Тутъ-то и завязывается его романъ съ Наташей, въ которомъ деспотизмъ стараго князя оказался столь роковымъ. Потребованное старикомъ испытаніе отсрочкою, вызвавшее отъѣздъ кн. Андрея, доводитъ жаждущую всей полноты жизни, именно только *жизни* со всѣми ея радостями, Наташу до неожиданнаго припадка ея любви къ Анатолю. При безусловной ограниченности этого просто здороваго и красиваго человѣка, самолюбіе князя Андрея глубоко уязвлено. «Я говорилъ, что падшую женщину надо простить, но я не говорилъ, что *я* могу простить. *Я* не могу», трагически объясняетъ онъ. Для того, только для того, что-бы избѣжать любопытныхъ взглядовъ своихъ знакомыхъ послѣ постигшей его неудачи, кн. Андрей, по предложенію Кутузова, уѣзжаетъ къ арміи въ Турцію. «Онъ не только не думалъ тѣхъ прежнихъ мыслей, которыя въ первый разъ пришли ему глядя на небо на Аустерлицкомъ полѣ, которыя онъ любилъ развивать съ Пьеромъ... онъ даже боялся вспоминать объ этихъ мысляхъ, раскрывавшихъ без-

конечные и свѣтлые горизонты». Безучастно, вполнѣ машинально изъ Турціи переѣзжаетъ онъ въ Западную армію съ порученьемъ отъ Кутузова къ Барклаю де Толли. Столь же машинально и безучастно «кн. Андрей навѣки потерялъ себя въ придворномъ мірѣ, не попросивъ остаться при особѣ Государя, а попросивъ позволенія служить въ арміи». Его инстинктивно тянуло въ иной совершенно кругъ: «Онъ добръ и кротокъ былъ только съ людьми совершенно новыми... съ людьми, которые не могли знать и понимать его прошедшаго». Но если въ этомъ новомъ кругу, кругу незнатныхъ полковыхъ товарищей, «его называли: «нашъ князь», имъ гордились и его любили»,— то это значило также, что впечатлѣніе «Аустерлицкаго неба» не прошло для него безслѣдно.

Тутъ подоспѣлъ пожаръ Смоленска и оставленіе нами этого города,—того самаго, къ судьбѣ котораго въ былое время кн. Андрей обѣщался быть вполнѣ безучастнымъ. Теперь оказалось совершенно не то. «Новое чувство озлобленія противъ врага заставляло его забывать свое горе»... Т. е. это личное горе исчезало, какъ капля, въ морѣ общаго, всенароднаго горя. И какъ мелки, какъ гадки показались теперь его просвѣтленному взгляду тѣ люди, которые прежде, какъ бы то ни было, были ему *свои*... Какъ мелко показалось ему когда-то управлявшее и имъ самимъ стремленіе отличиться. «И теперь... въ такую минуту, говоритъ онъ Пьеру наканунѣ Бородинской битвы, для нихъ только такая минута, въ которую можно подкопаться подъ врага и получить лишній крестикъ или ленточку».

Новая рана достается ему на Бородинскомъ полѣ, а впечатлѣнія Бородинскаго перевязочнаго пункта становятся для него вторымъ «Аустерлицкимъ небомъ»—«Всѣ лучшія, счастливѣйшія минуты въ его жизни, въ особенности самое дальнее дѣтство, когда его раздѣвали и клали въ кроватку, — когда няня, убаюкивая, пѣла надъ нимъ... представлялись его воображенію... И вдругъ онъ услышалъ стоны подлѣ себя»... «Въ несчастномъ рыдаю-

щемъ, обезсиленномъ человѣкѣ, которому только что отняли ногу, онъ узналъ Анатоля Курагина... И вдругъ новое неожиданное воспоминаніе представилось кн. Андрею. Онъ вспомнилъ Наташу такою, какою онъ видѣлъ ее въ первый разъ... Любовь и нѣжность къ ней сильнѣе чѣмъ когда либо проснулись въ его душѣ. Онъ вспомнилъ теперь ту связь, какая существовала между нимъ и этимъ человѣкомъ, сквозь слезы, наполнявшія мутные глаза, мутно смотрѣвшимъ на него. Князь Андрей вспомнилъ все, и восторженная жалость и любовь къ этому человѣку наполнила его счастливое сердце... «Состраданіе, любовь къ братьямъ... любовь къ врагамъ, да, та любовь, которую проповѣдывалъ Богъ на землѣ, которой меня учила княжна Марья и которой я не понималъ, — вотъ отчего мнѣ жалко было жизни, вотъ оно—то, что̀ еще оставалось мнѣ, ежели бы я былъ живъ»...

Нравственое возрожденіе кн. Андрея вполнѣ совершилось, но совершилось у дверей гроба. Еслибъ онъ остался въ живыхъ, онъ бы, по всей вѣроятности, былъ такимъ, какимъ рисовало его себѣ впослѣдствіи воображеніе его сына Николиньки. «Отецъ былъ со мною, говоритъ этотъ развитой не по годамъ мальчикъ, послѣ вѣщаго сна объ отцѣ и самомъ себѣ. Отецъ былъ со мною, и ласкалъ меня. Онъ одобрялъ меня, онъ одобрялъ дядю Пьера. Что̀ бы онъ ни говорилъ (т. е. дядя Николай, этотъ человѣкъ чисто прозаическаго закала)—я сдѣлаю это. *Муцій Сцевола сжегъ свою руку*. Но отчего же и у меня въ жизни не будетъ того же»?

Николинькѣ въ его вѣщемъ снѣ отецъ вдругъ представился въ образѣ дяди Пьера, подъ нравственнымъ вліяніемъ котораго и выросталъ мальчикъ. Пьеръ—это то лицо хроники, въ которомъ произошло полнѣйшее возрожденіе подъ вліяніемъ великихъ событій эпохи и который послѣ своего возрожденья остался въ живыхъ. Въ немъ—центръ тяжести хроники, хотя въ художественномъ отношеніи онъ, можетъ быть, и не вполнѣ удался.

ЛЕКЦІЯ 2-я.

Пьеръ и женскіе типы.

Лицо Пьера Безухаго—самое, такъ сказать, центральное въ хроникѣ. Онъ всего болѣе дѣйствуетъ, болѣе всѣхъ переиспытываетъ и не постигнутъ къ концу не только физическою, но и нравственною смертью. Между тѣмъ для читателя остается неяснымъ, какимъ образомъ въ немъ зародился и развился тотъ, по выраженію Аполлона Григорьева, *смирный типъ*, о которомъ ярко свидѣтельствовала самая его наружность. «Улыбка у него была не такая, какъ у другихъ людей, сливающаяся съ неулыбкой. У него, напротивъ, когда приходила улыбка, то вдругъ мгновенно исчезало серьезное и даже нѣсколько угрюмое лицо, и являлось другое, дѣтское, доброе, даже глуповатое и какъ бы просящее прощенія». Такое лицо совершенно не шло къ той скорѣе *хищной породѣ*, которая надѣлила его правами графа Безухаго, не смотря на его незаконное происхожденіе. По самому лицу Пьера невольно какъ-то предполагается, не текла ли въ немъ, какъ въ Лаврецкомъ, по матери, «честная плебейская кровь»; но авторъ оставляетъ насъ относительно этого въ полномъ невѣдѣніи. Мы знаемъ только, что онъ, повидимому, вовсе не зналъ семьи, былъ высиженъ, такъ сказать, внѣ всякаго гнѣзда, но при помощи пріемовъ, употребляемыхъ въ «гнѣздахъ дворянскихъ». «Пьеръ съ 10-ти лѣтняго возраста былъ посланъ съ гувернеромъ аббатомъ за границу, гдѣ онъ пробылъ до 20-ти лѣтняго возраста. По возвращеніи неопредѣленность будущей судьбы его была такова, что вызвала вопросъ кн. Андрея Болконскаго: «что жь ты рѣшился на что нибудь? Кавалергардъ ты будешь или дипломатъ?» Отвѣчать было мудрено: Пьеръ также мало зналъ объ этомъ, какъ и о томъ, на что ему дали жизнь и втиснули его въ великосвѣтскую сферу? Пьеръ жилъ между тѣмъ не у отца, онъ «жилъ у князя Василія и

участвовалъ въ разгульной жизни его сына Анатоля» (участвовалъ, надо думать, просто для компаніи, ради того же, ради чего, какъ извѣстно, жидъ удавился); того самаго Анатоля, «котораго для исправленія собирались женить на сестрѣ кн. Андрея». Когда отцу Пьера пробилъ смертный часъ и его собирались соборовать, Пьера повезла къ нему Анна Михайловпа—въ качествѣ далеко не чуждой разсчета «Маремьяны старицы». Въ дорогѣ, «обратившись къ Пьеру съ утѣшительными словами, Анна Михайловна убѣдилась въ томъ, что онъ спитъ въ углу кареты и разбудила его. Очнувшись, Пьеръ за Анной Михайловной вышелъ изъ кареты и тутъ только подумалъ о предстоящемъ свиданіи съ умирающимъ отцомъ» (къ великому, конечно, соблазну, Анны Михайловны, которая гораздо больше Пьера интересовалась громаднымъ состояніемъ, переходившимъ къ нему отъ этого отца, не особенно-то приближавшаго его къ себѣ при жизни). «Пьеръ, сдѣлавшись неожиданно богачомъ и графомъ Безухимъ, послѣ недавняго одиночества и беззаботности, почувствовалъ себя до такой степени окруженнымъ, занятымъ, что ему только въ постели удавалось остаться одному съ самимъ собой... Пьеру такъ естественно казалось, что всѣ его любятъ, такъ казалось бы неестественно, ежели бы кто нибудь не полюбилъ его, что онъ не могъ не вѣрить въ искренность людей, окружавшихъ его». (Повторяю, авторъ, къ сожалѣнію, не показываетъ, какимъ образомъ у него явились всѣ эти признаки смирнаго типа). Вскорѣ и служебная участь его была предупредительно рѣшена за него другими. «Ты зачисленъ въ дипломатическій корпусъ, сказалъ ему кн. Василій, и сдѣланъ камеръ-юнкеромъ. Теперь дипломатическая дорога тебѣ открыта». Далѣе тотъ же кн. Василій позаботился объ немъ и въ другомъ отношеніи: свелъ его ловкимъ образомъ со своей дочерью,— той самой Эленъ, которой глупость вовсе не помѣшала быть центромъ политическаго кружка. «Среди тѣхъ ничтожно-мелкихъ искусственныхъ интересовъ, которые связывали это общество, попало простое чувство стремленія красивыхъ и здо-

ровыхъ молодыхъ мущины и женщины другъ къ другу. И это человѣческое чувство подавило все и парило надъ всѣмъ ихъ искусственнымъ лепетомъ». Подъ вліяніемъ этого чувства Пьеръ внезапно увидѣлъ себя женатымъ (судьба его, не трудно замѣтить, въ значительной степени соотвѣтствуетъ въ этомъ судьбѣ Лаврецкаго). «Пьеръ, по прихоти жены отпустившій волоса, снявшій очки и одѣтый по модному, съ грустнымъ и унылымъ видомъ ходилъ по заламъ. Его, какъ и вездѣ, окружала атмосфера людей, преклонявшихся передъ его богатствомъ, и онъ, съ привычкою царствованія, съ разсѣянной презрительностію, обращался съ ними». Все болѣе и болѣе приходилось однако же склоняться къ тому настроенію, выразителемъ котораго явился впослѣдствіи Пушкинскій стихъ: «охъ тяжела ты, шапка Мономаха!» Какъ ни смиренъ былъ Пьеръ при всей властности своего положенія,—но вѣдь самые смирные люди способны бываютъ вдругъ оборачиваться хищной птицей, когда ихъ уже слишкомъ задѣнетъ что̀ нибудь за живое. Поведеніе красивой и глупой Эленъ—этой femme charmante et spirituelle—довело Пьера до дуэли съ Долоховымъ, а вслѣдъ за тѣмъ «Пьеръ выдалъ женѣ довѣренность на управленіе всѣми Великорусскими имѣніями, что̀ составляло большую половину его состоянія, и одинъ уѣхалъ въ Петербургъ» (въ чемъ опять у него значительное сходство съ Лаврецкимъ, который также мало сознавалъ при этомъ, хотя жилъ поколѣніемъ позже и прошелъ черезъ университетъ, что онъ отдавалъ въ распоряженіе подобной женщинѣ не только имѣнье, но и живыхъ людей).

По пути въ Петербургъ, въ Торжкѣ, Пьеръ озадаченъ встрѣчей съ мелкой торговкой, которая становится для него чѣмъ-то даже болѣе опредѣленно-внушительнымъ, нежели Аустерлицкое небо для кн. Андрея. «У меня сотни рублей, которыхъ мнѣ некуда дѣть, говоритъ онъ, а она въ прорванной шубѣ стоитъ и робко смотритъ на меня... И зачѣмъ нужны ей эти деньги? Точно на одинъ волосъ могутъ прибавить ей счастья...» Этимъ уже подготовлена

почва, на которую вслѣдъ затѣмъ упало сѣмя масонства... Воспріимчивость къ тому Пьера неудивительна—при смирности его натуры и невозможной при ней глубинѣ и прочности его озлобленнаго состоянія. «Мнѣ извѣстенъ вашъ образъ мыслей, сказалъ ему масонъ, —это образъ мыслей большинства людей — однообразный плодъ гордости, лѣни и невѣжества... Вы молоды, вы богаты, вы умны, образованны, государь мой... а довольны ли вы собой и своей жизнью?» —«Нѣтъ, я ненавижу свою жизнь, сморщась проговорилъ Пьеръ»... «Ты ненавидишь, такъ измѣни ее, очисти себя... Какъ вы проводили жизнь?... Все получая отъ общества и ничего не отдавая ему... Подумали ли вы о десяткахъ тысячъ вашихъ рабовъ, помогли ли вы имъ физически и нравственно?..» При смирности своей натуры, Пьеръ этимъ не оскорбленъ, а глубоко озадаченъ... Лично давно недовольный тѣмъ, что̀ дала ему его «Мономахова шапка», онъ незадумываясь слагаетъ ее у дверей масонской ложи. При посвященіи въ масонство, ему «такъ радостно было избавиться отъ своего произвола»,— т. е. избавиться отъ того, что̀ вошло въ плоть и кровь старика Болконскаго и что̀ такъ долго противилось и въ кн. Андреѣ впечатлѣніямъ «Аустерлицкаго неба».

Избавившись отъ своего произвола, какъ отъ какой-то тяжелой гири, Пьеръ пытается дѣйствовать. «Пріѣхавъ въ Кіевъ, онъ вызвалъ всѣхъ управляющихъ и сказалъ имъ, что немедленно будутъ приняты мѣры для совершеннаго освобожденія крестьянъ». Но пожелать сдѣлать дѣло еще не значитъ дѣйствительно его сдѣлать. Главноуправляющій оказался краснорѣчивымъ адвокатомъ грубой дѣйствительности, неподдающейся, будто бы, идеалу. Твердая рѣшимость графа, однакоже, вынудила у него уступки. Но какія это были уступки? «Продолжая дѣло освобожденія представлять невозможнымъ, онъ распорядился постройкой во всѣхъ имѣньяхъ большихъ зданій школъ, больницъ и пріютовъ для пріѣзда барина». Все это, не удовлетворяя вполнѣ, должно же было все-таки нравиться причудливому, на взглядъ главноуправляющаго, графу.

«Пьеръ не зналъ, что каменныя, по плану, зданія воздвигались своими рабочими и увеличили барщину крестьянъ, уменьшенную только на бумагѣ». Вышло то, что̀ такъ часто бываетъ. «Главноуправляющій, весьма глупый и хитрый человѣкъ, совершенно понимая умнаго и наивнаго графа... увидавъ дѣйствіе, произведенное на Пьера приготовленными пріемами, рѣшительно обратился къ нему съ доводами... о ненужности освобожденія...» Внутренно, вѣроятно, далеко не увѣренный въ этомъ, но чувствуя себя слишкомъ слабымъ передъ своимъ министромъ, Пьеръ возвращается въ Петербургъ, чтобы окунуться, такъ сказать, въ самую купель масонства и запастись въ ней новыми силами. Невольно и незамѣтно онъ очутился *во главѣ* Петербургскаго масонства — очутился не безъ вліянія на это своихъ связей. «По прошествіи года онъ началъ чувствовать, какъ та почва масонства, на которой онъ стоялъ, тѣмъ болѣе уходила изъ подъ его ногъ, чѣмъ тверже онъ старался стать на ней... Изъ подъ масонскихъ фартуковъ и знаковъ онъ видѣлъ мундиры и кресты, которыхъ они добивались въ жизни». Въ дневникѣ, который велся въ это время Пьеромъ, между прочимъ значится: «приняли въ масоны Бориса Друбецкаго... Мнѣ казалось, что его цѣль вступленія въ братство состояла только въ желаніи сблизиться съ людьми, быть въ фаворѣ у находящихся въ нашей ложѣ». Послѣ смерти своего учителя (обратившаго его въ масонство), «онъ пересталъ писать свой дневникъ, избѣгалъ общества братьевъ, сталъ опять ѣздить въ клубъ, сталъ опять много пить». Ясно, что Пьеръ еще болѣе разочаровался въ масонствѣ, чѣмъ кн. Андрей въ пользѣ службы у Сперанскаго. Между тѣмъ произошло сближеніе принца съ женой Пьера и неожиданное пожалованіе самого Пьера въ камергеры. «Съ этого времени сталъ онъ чувствовать тяжесть и стыдъ въ большомъ обществѣ и чаще ему стали приходить прежнія мрачныя мысли о тщетѣ всего человѣческаго».

Тщетою представляются ему, очевидно, и его собственные благіе порывы къ тому, чтобы жить не одною только

личною, но и *общею* жизнью, жизнью не безъ пользы для человѣчества. Авторъ открываетъ намъ, что такіе порывы были у него очень рано — прежде чѣмъ онъ въ первый разъ попалъ въ роковой омутъ «большого свѣта». «Какъ бы онъ ужаснулся, замѣчаетъ гр. Л. Н. Толстой, если бы семь лѣтъ тому назадъ, когда онъ пріѣхалъ изъ за границы, кто нибудь сказалъ ему... что, какъ онъ ни вертись, онъ будетъ тѣмъ, чѣмъ были всѣ въ его положеніи... Онъ не могъ бы повѣрить этому! Развѣ не онъ отъ всей души желалъ — то произвести республику въ Россіи, то самому быть Наполеономъ, то... побѣдителемъ Наполеона» (смотря потому, очевидно, что̀ представлялось ему наиболѣе полезнымъ для человѣчества). «Развѣ не онъ видѣлъ возможность переродить порочный родъ человѣческій». Но видно самая *смирность* натуры Пьера помѣшала ему не растеряться въ окружающемъ его омутѣ, оберегомъ противъ котораго, при всей освоенности съ нимъ, все же служило князю Андрею его самолюбивое презрѣніе къ людямъ, барахтающимся въ этомъ омутѣ. Положеніе Пьера, напротивъ, казалось вполнѣ безнадежнымъ.

«Онъ вспоминалъ разсказы о томъ, какъ на войнѣ солдаты, находясь подъ выстрѣлами въ прикрытіи, когда имъ дѣлать нечего, старательно изыскиваютъ себѣ занятіе для того, чтобы легче переносить опасность. И Пьеру всѣ люди представлялись такими солдатами, спасающимися отъ жизни: кто честолюбіемъ, кто картами, кто писаніемъ законовъ, кто лошадьми, кто политикой, кто виномъ, кто государственными дѣлами».

Вотъ въ такомъ-то настроеніи посѣтилъ онъ Наташу послѣ катастрофы ея съ Анатолемъ, разыгравшейся, повидимому, на туже знакомую Пьеру тему «всяческой суеты». Онъ глубоко почувствовалъ ея несчастіе и тогда же ее полюбилъ, но, какъ казалось, только одною *любовію состраданія*. А между тѣмъ вокругъ него, сцена за сценой, быстро разыгрывалась драма 1812 г. Все это, вмѣстѣ съ исторіей Наташи и его чувствомъ къ ней, представляется ему какимъ-то безтолковымъ сномъ. Но бездна горя и

крови кругомъ—не сонъ; впечатлѣніе ото всего этого было слишкомъ сильно для смирнаго сердца Пьера, способнаго, при всей своей смирности (какъ когда-то отъ личной обиды со стороны Долохова) разгорѣться ненавистью къ виновнику этого горя и этой крови, обидчику всего человѣчества. «Пьеру было открыто однимъ изъ братьевъ масоновъ выведенное изъ Апокалипсиса пророчество относительно Наполеона. Написавъ цифрами *l'empereur Napoléon*, онъ увидалъ, что сумма этихъ чиселъ есть *666*. Написавъ по той же азбукѣ *quarante deux*, т. е. предѣлъ, который былъ положенъ звѣрю, онъ увидалъ, что сумма этихъ чиселъ опять равна 666, изъ чего вывелъ, что предѣлъ Наполеону, которому минуло 42 года, наступилъ въ 1812 г. Кто же положитъ предѣлъ власти звѣря? Онъ писалъ: l'empereur Alexandre, la nation Russe, и все не выходило; тогда онъ сталъ писать: comte Pierre Besouhoff и т. п., и наконецъ изъ l'Russe Besouhoff вышло 666». Все это потомъ разрѣшается въ воображеніи Пьера тѣмъ, что ему суждено убить Наполеона. «Его любовь къ Ростовой, Антихристъ, нашествіе Наполеона, комета, 666, l'empereur Napoléon и l'Russe Besouhoff—все это вмѣстѣ должно было созрѣть, разразиться и вывести его изъ того заколдованнаго, ничтожнаго міра Московскихъ привычекъ, въ которыхъ онъ чувствовалъ себя плѣненнымъ»—и изъ которыхъ, прибавлю я отъ себя, именно вслѣдствіе своей смирности, онъ никакъ не могъ выпутаться безъ какого нибудь особеннаго толчка. Но какимъ образомъ подготовился въ немъ этотъ толчокъ, обратившій Пьера съ его «добрымъ и даже глуповатымъ лицомъ, какъ бы просящимъ прощенья» въ какую-то Charlotte Corday мужескаго рода,—это только намѣчено авторомъ въ видѣ программы, но не выполнено имъ съ тою тщательностью подробнаго психологическаго анализа, какой былъ проявленъ имъ еще въ «Дѣтствѣ и Отрочествѣ». Также недостаточно обусловленнымъ въ психологическомъ смыслѣ оказывается и присутствіе Пьера въ качествѣ зрителя на Бородинскомъ полѣ. Говорятъ, что такой фактъ дѣйствительно былъ и что авторъ почерпнулъ его въ какихъ-то, прочитанныхъ

имъ въ рукописи, современныхъ запискахъ *). Но онъ какъ бы и остается у нашего автора голымъ фактомъ—недостаточно, по крайней мѣрѣ, освѣщеннымъ психологически. Правда, авторъ указываетъ на то, что Пьеру нельзя было стать не просто зрителемъ, но и дѣятелемъ Бородинской битвы, такъ какъ поступленью его въ военную службу мѣшало его масонство. Если же онъ давно разочаровался въ масонствѣ и могъ бы не болѣе другихъ держаться всей строгости его правилъ, то съ другой стороны, «глядя на большое количество Москвичей, надѣвшихъ мундиры и проповѣдующихъ патріотизмъ, было почему-то совѣстно предпринять такой шагъ». Далѣе авторъ даетъ почувствовать, что не только эти случайные военные и случайные патріоты не особенно заманивали Пьера въ свои ряды, но что не особенно внушительно дѣйствовали на него и лица совсѣмъ не случайныя (или если *случайныя*, то въ иномъ совершенно смыслѣ—въ смыслѣ близости своей къ Кутузову). «Пьеру казалось, что причина возбужденія, выражавшагося на нѣкоторыхъ изъ этихъ лицъ, лежала больше въ вопросахъ личнаго успѣха». Но при этомъ, замѣчаетъ авторъ, «у него не выходило изъ головы то другое выраженіе возбужденія, которое онъ видѣлъ на другихъ лицахъ и которое говорило о вопросахъ не личныхъ, а общихъ, вопросахъ жизни и смерти». Это другое выраженіе Пьеръ, напримѣръ, прочиталъ на лицѣ того солдата, который сказалъ: «всѣмъ народомъ навалиться хотятъ, одно слово: Москва! Одинъ конецъ сдѣлать хотятъ». Ссылаться на этихъ *другихъ* людей могутъ, правда, и люди, подобные Борису Друбецкому,—тому, который и въ масонство записался ради связей. «Какое геройство, графъ!» обратился къ Пьеру тотъ же Друбецкой, указывая ему на ополченцевъ, надѣвшихъ передъ сраженіемъ чистыя, бѣлыя рубахи. Но Пьеръ, надо думать, понялъ, что сказано это было ради

*) Зрителемъ на Бородинскомъ полѣ является какой-то князь Вяземскій въ письмахъ М. А. Волковой къ В. Н. Ланской (см. въ „Вѣстникѣ Европы“ 1874 г. статью „Грибоѣдовская Москва“, Августъ стр. 606).

Свѣтлѣйшаго, бывшаго неподалеку и, по разсчету Бориса, способнаго вмѣнить въ заслугу такую оцѣнку ополченской доблести.

Все это только показываетъ, что Пьеръ имѣлъ не одинъ случай осязательно ощутить разницу между *тѣми* и *другими* людьми, а вмѣстѣ съ тѣмъ не захотѣть быть съ *одними* и почувствовать влеченье къ *другимъ*. Но изъ такого влеченія все же еще не слѣдуетъ его присутствіе просто *зрителемъ* на Бородинскомъ полѣ, хотя съ этимъ влеченіемъ къ простому Русскому человѣку и согласна та «кротость» (и вообще ему свойственная), съ которою сторонился онъ отъ солдатъ, чтобы не мѣшать имъ. Съ другой стороны если вполнѣ понятно, что «солдаты на Бородинскомъ полѣ сначала косятся на Пьера», то психологически вовсе не выясненъ тотъ переходъ въ нихъ, въ силу котораго они «потомъ величаютъ его: нашъ баринъ». Все это опять отзывается какою-то программой, оставшейся далеко не выполненной, хотя, можетъ быть, она задумана глубоко. Зато тонко-подмѣченная психологическая черта сказывается въ разсужденіи—колебаніи Пьера послѣ того, какъ онъ съ такимъ наслажденьемъ попользовался незатѣйливымъ солдатскимъ «кавардачкомъ». «Надо дать имъ?—Нѣтъ, не надо, сказалъ ему какой-то голосъ».—Не надо, потому что эти простые люди—*люди*, захотѣвшіе просто накормить и меня, проголодавшагося, какъ они, *человѣка*,—и сунуть имъ за это монету значило бы оскорбить въ нихъ *человѣческое* ихъ чувство... Въ такомъ разсужденіи Пьера окончательно слышится и его собственная *гуманизація*, все болѣе и болѣе удаляющая его отъ тѣхъ *не людей*, которые и въ великія историческія годины способны стремиться по Фамусовски только къ *крестишку* или къ *мѣстечку*.

Придя въ себя послѣ битвы, припоминая, что было съ нимъ, Пьеръ вполнѣ сознательно проводитъ параллель между собою и тѣми, съ кѣмъ ѣлъ онъ кавардачокъ. «О, какъ ужасенъ страхъ и какъ позорно я отдался ему, вспоминаетъ Пьеръ; а они... *они* все время до конца были

тверды, спокойны.... Они—эти странные, невѣдомые ему доселѣ, *они* ясно и рѣзко отдѣлялись въ его мысли отъ всѣхъ остальныхъ людей... Войти въ эту общую жизнь всѣмъ существомъ, проникнуться тѣмъ, что дѣлаетъ ихъ такими... Но какъ скинуть съ себя все это лишнее... все это бремя внѣшняго человѣка».... Раздумье Пьера заключается дремотой его на постояломъ дворѣ, дремотой, во время которой грезятся ему не какіе нибудь образы, а тѣ же мысли, т. е. сквозь сонъ продолжается въ немъ процессъ мышленія, заключающійся выводомъ: «нельзя соединять мысли, а *сопрягать* всѣ эти мысли, вотъ что надо. Да, *сопрягать* надо....

— «Запрягать надо, пора запрягать—послышался голосъ берейтора»....

Чисто оригинальный пріемъ наблюдательности гр. Л. Н. Толстого сказался въ этомъ подмѣченномъ имъ обращеніи звуковъ, раздающихся на яву передъ пробуждающимся, въ созвучныя слова, соотвѣтствующія мыслямъ, занимавшимъ его въ полуснѣ...

Сопрягать надо, т. е. надо связывать, единить, сливать.... Письмо, полученное послѣ этого Пьеромъ отъ своей жены, можетъ быть по своему дѣйствію сравнено развѣ съ какимъ нибудь уколомъ докучной мухи, ни мало, разумѣется, не способнымъ оторвать человѣка отъ важнаго дѣла... Но переходъ непрерванной этимъ уколомъ мысли о томъ, что «сопрягать надо», въ рѣшимость осуществить старый бредъ объ убіеньи Наполеона,—переходъ этотъ выходитъ, мнѣ кажется, опять недостаточно понятнымъ психологически.... Связанное съ этимъ переодѣванье кучеромъ, захожденье на квартиру покойнаго учителя масона—ради успокопительныхъ воспоминаній — спасеніе Пьеромъ Рамбаля, потомъ дѣвочки изъ огня, при постоянной боязни Пьера, какъ бы, «неся съ собою свое намѣреніе, не растерять его» (т. е. намѣреніе убить Наполеона);—все это, изложенное черезъ чуръ эпически, невольно представляется какою-то странною сказкою, смыслъ которой долженъ заключаться въ недостающемъ тутъ подробномъ психологи-

ческомъ анализѣ.... Оно выходитъ какъ-то неясно, что Пьеромъ, какъ утверждаетъ авторъ, во всемъ этомъ руководитъ «чувство потребности жертвы и страданья при сознаніи общаго несчастія... и то неопредѣленное, исключительно Русское чувство презрѣнія ко всему условному, искусственному человѣческому, ко всему, что считается большинствомъ людей высшимъ благомъ міра».... Все это какъ-то искусственно ведется къ тому, чтобы Пьеру попасть въ плѣнъ и очутиться съ людьми «исключительно низкаго званія», изъ ряда которыхъ наконецъ выступаетъ настоящій учитель Пьера, далеко оставляющій за собою бывшаго его учителя масона, — Платонъ Каратаевъ, «навсегда остающійся въ душѣ Пьера самымъ сильнымъ и дорогимъ воспоминаніемъ и олицетвореніемъ всего Русскаго, добраго и круглаго». Разборъ этого народнаго типа у насъ еще впереди. Напомню теперь только важное для довершенья характеристики Пьера сожалѣнье Каратаева о томъ, «что у Пьера родителей нѣтъ», т. е. что онъ и росъ и въ возрастъ вступилъ безъ любви и привѣта, а потому и было ему такъ долго далеко до того, чтобы можно было сказать объ немъ, какъ о Каратаевѣ: «Онъ любилъ и любовно жилъ со всѣмъ, съ чѣмъ его сводила жизнь». Изъ такого опредѣленія Каратаева ясно, что онъ является толкованіемъ въ лицахъ заключенія Пьера, что «сопрягать надо». Разборъ этого простонароднаго воплощенья начала любви, повторяю, еще впереди, но я замѣчу уже теперь, что черты этого лица напоминаютъ у Ивана Сергѣевича Тургенева Калиныча и Касьяна съ Красивой Мечи *). При такомъ сходствѣ, я думаю, самъ по себѣ Платонъ Каратаевъ едвали можетъ быть названъ предвзятымъ, искусственнымъ.... Нѣкоторая искусственность замѣтна собственно въ томъ пути, какимъ гр. Л. Н. Толстой доводитъ Пьера до встрѣчи съ Платономъ Каратаевымъ.

Жизнь съ простыми людьми, т. е. просто съ *людьми*,

*) Позже сдѣлались извѣстны и „Живыя Мощи“ Тургенева, въ которыхъ тѣже черты являются даже въ усиленномъ видѣ.

безъ всего того «условнаго и искусственнаго», которое такъ опротивѣло Пьеру въ его средѣ, сдѣлала Пьера другимъ человѣкомъ. Авторъ съ обычнымъ своимъ реализмомъ рисуетъ намъ «отросшіе, спутанные волосы на головѣ Пьера, наполненные вшами», но при этомъ увѣряетъ насъ, что «всякій разъ когда онъ взглядывалъ на свои босыя ноги, на лицѣ его пробѣгала улыбка самодовольства». По возвращеніи Пьера въ свою среду, «слуги находили, что онъ много попростѣлъ», а Наташа говорила княжнѣ Марьѣ: «онъ сдѣлался какой то чистый, гладкій, свѣжій; точно изъ бани; ты понимаешь? *морально* изъ бани (этой *баней*, какъ мы видѣли, послужило ему состояніе, отъ котораго въ головѣ у него *завелись вши*). Пьеръ переживаетъ кн. Андрея, о которомъ ему слишкомъ поздно пришлось спросить: «такъ онъ успокоился? смягчился?» Пьеръ недаромъ представляется Николинькѣ Болконскому тѣмъ, чѣмъ бы оказался для него отецъ, если бы остался въ живыхъ. Пьеръ не стѣсняется въ присутствіи этого мальчика говорить подъ впечатлѣньемъ Семеновской исторіи и различныхъ разсказовъ объ Аракчеевѣ: «мучатъ народъ, просвѣщеніе душатъ. Что молодо, честно,—то губятъ». Успокоенье, смягченье, котораго желалъ онъ кн. Андрею, не означало, стало быть, дряблаго мирволенья всему ради личнаго своего покоя. «Надо взяться рука съ рукой, чтобы противостоять общей катастрофѣ», продолжаетъ Пьеръ. «Ежели люди порочные связаны между собой и составляютъ силу, то людямъ честнымъ надо сдѣлать тоже самое. Вѣдь это просто».—Вотъ во что выяснился для него бредъ, что «сопрягать надо».

Пьеръ, замѣшанный въ историческія событія хроники, играетъ видную роль и въ романѣ. За первый свой неудачный бракъ, совершившійся въ какомъ-то полуснѣ, какъ бы помимо его сознанія, онъ вполнѣ вознагражденъ вторымъ своимъ бракомъ съ тою, которую полюбилъ сначала, какъ видѣли мы, *любовью состраданія*. И для нея, для Наташи, соединеніе съ мягкимъ и многоиспытаннымъ

человѣкомъ является увраченіемъ всѣхъ, такъ неожиданно вышавшихъ на долю ея треволненій.

Ужъ Наташа-то, казалось бы, вовсе не была создана для нихъ; она даже менѣе многихъ въ той богатой барской средѣ, въ которой пришлось ей вырости и получить... т. е. вѣрнѣе сказать не получить никакого воспитанія, а просто вырости на просторѣ, подвергаясь лишь легенькой дресировкѣ въ отношеніи манеръ со стороны эмигранткиФранцуженки, — да и этой-то дресировкѣ, благодаря Бога, только съ извѣстныхъ лѣтъ. «Черноглазая, съ большимъ ртомъ, некрасивая, но живая дѣвочка, съ своими дѣтскими открытыми плечиками, которыя, сжимаясь, двигались въ своемъ корсажѣ отъ быстраго бѣга»—вотъ Наташа въ 13 лѣтъ, какъ описываетъ ее нашъ авторъ, Наташа, вбѣгающая въ гостиную съ куклой и громкимъ вопросомъ: «мама! какое пирожное будетъ?» — «Казакъ!» замѣчаетъ при этомъ, грозя толстымъ пальцемъ, строгая Марья Дмитріевна, этотъ всеобщій менторъ въ хроникѣ гр. Толстого. Ясно, что живая натура дѣвочки - казака не особенно-то поддавалась существовавшимъ, быть можетъ, уже въ то время внушеньямъ Француженки о *tenue и manières*. И ставъ уже барышней, Наташа остается тѣмъ же самородкомъ, такъ что ей совершенно по нраву приходится разлихой Денисовъ: «Онъ и кутила и все, говоритъ она брату, а я все таки его люблю»; за то она терпѣть не можетъ Долохова: «у него, какъ она выражается, *все назначено*». Дѣло въ томъ, что у нея у самой «ничего не назначено»;— въ ней избытокъ того, чего, по выраженію Лежнева, недоставало Рудину: избытокъ *натуры*. Она сохраняетъ все обаянье ея даже при первомъ выѣздѣ на великосвѣтскій, мало того, на придворный балъ. «Когда кн. Андрей предложилъ ей туръ вальса, то замирающее выраженье лица Наташи, готовое на отчаяніе и на восторгъ *), вдругъ освѣтилось счастливой, благодарной дѣтской улыбкой.

*) То или другое, очевидно, зависѣло отъ вопроса, пригласятъ ее танцовать, или нѣтъ?

«Давно я тебя ждала, какъ будто сказала эта испуганная и счастливая дѣвочка... Ея оголенныя шея и руки были худы и некрасивы въ сравненіи съ плечами Елены... Но на Еленѣ былъ уже какъ будто лакъ ото всѣхъ тысячей взглядовъ, скользившихъ по ея тѣлу, а Наташа казалась дѣвочкой, которую въ первый разъ такъ одѣли и которой бы очень стыдно это было, ежели бы ее не увѣрили, что это такъ необходимо надо. Она не... замѣтила, какъ государь долго говорилъ съ Французскимъ посланникомъ, какъ онъ особенно милостиво говорилъ съ такой-то дамой, какъ принцъ такой-то и такой-то сдѣлали то-то и то-то... Она была на той высшей ступени счастья, когда человѣкъ дѣлается вполнѣ добръ и хорошъ, и не вѣритъ въ возможность зла, несчастія и горя». Но тутъ-то, среди этой полноты блаженства, и посѣяно было, невѣдомо для нея самой, первое сѣмя будущаго тяжелаго горя. Эта почти еще дѣвочка какъ будто бы въ самомъ дѣлѣ «давно ждала» того, кто съ ней танцовалъ. Между ней и этимъ еще молодымъ княземъ, успѣвшимъ уже овдовѣть, быстро завязалась та связь, которую захотѣлъ ни съ того, ни съ сего разорвать старый князь. Жениху пришлось надолго уѣхать отъ своей счастливой невѣсты. «Она не плакала, когда онъ, прощаясь послѣдній разъ, поцѣловалъ ея руку. «Не уѣзжайте», только проговорила она... Нѣсколько дней она, не плача, сидѣла въ своей комнатѣ, потомъ стала такая же, какъ и прежде, но только съ измѣненной нравственной физіогноміей, какъ дѣти съ другимъ лицомъ встаютъ съ постели послѣ продолжительной болѣзни...» Потребность жить, какъ всегда жилось, беззаботно, весело, продолжаетъ сказываться въ Наташѣ... Она забываетъ свое положеніе у добряка «дядюшки», когда принимается вдругъ плясать передъ нимъ Русскую. Только потомъ она сказала брату: «я знаю, что никогда уже не буду такъ счастлива, спокойна, какъ теперь...» — «Въ концѣ четвертаго мѣсяца разлуки на нее начинали находить минуты грусти, противъ которой она не могла бороться. Ей жалко было... что она такъ да-

ромъ, ни для кого, пропадала все это время...». «Его мнѣ надо... сейчасъ, сію минуту мнѣ надо...», сказала Наташа... постояла, подумала, и пошла въ дѣвичью... Тамъ старая горничная ворчала на молодую: «будетъ играть-то»... «Пусти ее, Кондратьевна, сказала Наташа»... Она поняла эту потребность жизни, свободной, веселой жизни: въ такомъ-же молодомъ существѣ, какъ она сама... Барышнѣ, какъ и горничной, нечѣмъ было наполнить жизнь; ни та, ни другая не выучилась влагать въ нее то, чего не можетъ отнять никакой отъѣздъ, никакая даже разлука на вѣки... «*Его* мнѣ надо, сейчасъ, сію минуту мнѣ надо», неумолчно говорило въ дѣвушкѣ, никогда и ни въ чемъ до тѣхъ поръ не встрѣчавшей отказа или препятствія... А тутъ вдругъ препятствіе безъ всякой разумной причины—со стороны этого старика самодура, который къ тому же еще и оскорбляетъ ее самымъ для нея неожиданнымъ и непривычнымъ образомъ... Вслѣдъ же затѣмъ нечаянное свиданіе въ театрѣ—не съ *нимъ*, а съ другимъ... молодымъ и красивымъ, наполнившимъ вдругъ пустоту, неотлучно пребывавшую около нея... Но эта замѣна досталась дорогою цѣною. «Инстинктъ говорилъ ей, что вся прежняя чистота любви ея къ кн. Андрею погибла». Наташа инстинктивно познакомилась съ тѣмъ, что на языкѣ кн. Андрея называлось, какъ мы знаемъ, *remord*, а потомъ познакомилась (опять едвали не въ первый разъ) и съ тѣмъ другимъ, по его выраженію, *mal réel*, имя которому: болѣзнь... И какъ кн. Андрею послѣ ея измѣны было сносно только съ людьми не его круга, съ тѣми, которые не знали его исторіи, такъ и ей было сносно только съ братомъ Петей, который не понималъ и не могъ понять, что̀ съ ней было. Но ей казалось также легко и съ большимъ—съ Пьеромъ: онъ хотя и понималъ, но неспособенъ былъ, какъ ей чуялось, при почти дѣтской своей добротѣ, осудить ее... «Графъ, что̀ это—дурно, что я пою?» спрашиваетъ она его, замѣчая въ себѣ первые признаки возвращенія своего прежняго нормальнаго состоянія...

Эти признаки стали въ ней сказываться какъ разъ въ

то время, когда вполнѣ разыгралась драма отечественной войны. Пришлось собираться уѣзжать изъ Москвы. Но Наташа «была весела, потому что долго была грустна и потому, что былъ человѣкъ, который ею восхищался: Петя. Если бы она могла предвидѣть, что этотъ веселый и добрый мальчикъ скоро самъ попросится на войну и будетъ убитъ,—она бы, разумѣется, не была весела; но общее тогдашнее горе, важность и великость тогдашнихъ событій мало затрогивали ее, вовсе вѣдь не введенную воспитаніемъ въ великую ширь настоящей человѣческой жизни—жизни въ цѣломъ и въ общемъ... Участіе не къ своимъ, къ совсѣмъ не знакомымъ, могло пробуждаться въ ней только инстинктивно, подобно тому, какъ инстинктивно же пробудилось въ ней сознаніе вины и несправедливости... «Это гадость, это мерзость! не можетъ быть, чтобъ вы приказали», закричала она отцу, при видѣ того множества раненныхъ, которыхъ оставляли на произволъ судьбы, потому что надо было спасать домашній Ростовскій скарбъ. «Ну что намъ то, что мы увеземъ; вы посмотрите только, что на дворѣ», продолжала она, указывая на раненныхъ, о которыхъ до тѣхъ поръ, быть можетъ, никогда и не думала, но которыхъ совершенно новый для нея видъ разомъ ее перенесъ на почву совершенно невѣдомыхъ ей до этого понятій и ощущеній... «Яица курицу учатъ», сквозь счастливыя слезы проговорилъ графъ,—самъ и до старости лѣтъ не пошедшій далѣе инстинктивнаго, безсознательнаго добра!

Послѣ такой, внезапно въ ней пробудившейся заботливости вообще о раненныхъ (между которыми ей и не чуялся кн. Андрей), Наташѣ приходится вдругъ очутиться у страдальческаго изголовья того, кого она такъ долго ждала—звала, потомъ такъ неожиданно и мучительно для своей совѣсти разлюбила, а теперь готова была бы всѣми жертвами откупить у смерти... Кн. Андрей умираетъ у нея на рукахъ и Наташа уходитъ вся въ свое личное и, повидимому, на всегда непробудное горе... Но вотъ приходитъ вѣсть о другомъ, новомъ горѣ — горѣ больше и

прежде всего для ея старой матери... Узнавъ о смерти Пети, Наташа вдругъ забыла себя и свое горе... «Другъ мой маменька, повторяла она, напрягая всѣ силы своей любви на то, чтобы какъ нибудь снять съ нея на себя излишекъ давившаго ее горя... Она думала, что жизнь ея кончена. Но вдругъ любовь къ матери показала ей, что сущность ея жизни—любовь—еще жива въ ней. Проснулась любовь, проснулась и жизнь».

Любовь—сущность *ея* жизни? Но вѣдь это сущность и всякой жизни. Всякому живущему полнотою ея, всегда есть кого любить и для кого жить. Наташа не жила всею полнотою жизни — если для пробужденія ея отъ ея *личнаго* горя нужно было горе — опять *ея же самой* (убитъ братъ) и *матери*... Любовь къ совершенно чужимъ, т. е. къ *своимъ* просто въ качествѣ *Русскихъ* или даже вообще *людей*, — такая любовь только вспыхиваетъ въ Наташѣ (ея порывъ въ отношеніи раненныхъ), но не обращается у нея въ постоянный и ровный огонь, способный свѣтить ей самой, какъ бы непроглядна ни стала ея собственная участь. Не останься у нея на рукахъ ея старая мать— и она бы вообразила себя совсѣмъ одинокой, ни съ кѣмъ и ни съ чѣмъ не связанной—и это на широкой Русской землѣ, въ годину общенароднаго испытанья! Наташѣ, какъ и множеству отличныхъ женскихъ натуръ (но именно только *натуръ*) ея круга, и въ голову не пришло бы то, что̀ сдѣлала женщина уже другой поры, не оставшаяся необработаннымъ самородкомъ, а сама какъ-то воспитавшаяся, Тургеневская Елена—послѣ преждевременной смерти своего Инсарова.

Подъ конецъ, какъ мы знаемъ, Наташа соединяетъ свою судьбу съ Пьеромъ. Понятно, что она вся уходитъ въ *свою семью* (какъ это дѣлается и съ братомъ ея Николаемъ). Многихъ читателей совершенно разочаровывала характеристика замужней Наташи. «Въ лицѣ ея не было, какъ прежде, этого непрестанно горѣвшаго огня оживленія, составлявшаго ея прелесть. Видна была одна сильная, красивая и плодовитая самка... Она дорожила об-

ществомъ тѣхъ, которымъ могла радостно показать пеленку съ желтымъ, вмѣсто зеленаго, пятномъ и выслушать утѣшенія о томъ, что теперь ребенку лучше». Но знакомыхъ съ пріемами гр. Л. Н. Толстого могъ бы и не отталкивать этотъ, такъ сказать, гомерическій его реализмъ;— что же касается сущности дѣла—этой исключительной *семейственности* Наташи, то развѣ не вытекаетъ она непосредственно изъ всѣхъ ея задатковъ и развѣ, на оборотъ, логично ожиданіе увидѣть ее дѣйствующею и въ предѣлахъ семьи въ болѣе широкомъ смыслѣ, смыслѣ, связывающемъ семью съ *обществомъ?* «Она была немножко ревнива», продолжаетъ насъ «разочаровывать» авторъ. Пьеръ не смѣлъ уѣзжать на долгіе сроки, исключая какъ по дѣламъ, въ число которыхъ она включала и занятія его науками, въ которыхъ она ничего не понимала, но которымъ приписывала большую важность... Весь домъ ходилъ на цыпочкахъ, когда Пьеръ занимался»... Такая внимательность, можетъ быть, даже показалась бы излишнею многимъ; съ другой стороны для семейнаго счастія, даже не можетъ быть, а навѣрное, далеко не лишнее, чтобы жена хоть что̀ нибудь смыслила въ умственныхъ занятіяхъ мужа, относилась къ нимъ не только со слѣпымъ уваженіемъ, но и съ живымъ участіемъ. Можно ли было однакоже ждать такого участія отъ замужней Наташи, если въ продолженіи всей своей дѣвичьей жизни она, конечно, не открыла ни одной книжки и едвали даже имѣла въ рукахъ какую нибудь газету? Послѣ этого хорошо и то, что «Пьеръ однажды сообщилъ ей мысли Руссо о вредѣ кормилицъ... и съ тѣхъ поръ она кормила сама дѣтей».—Къ окончательному «разочарованію» въ Наташѣ, служитъ то, что «ко всѣмъ своимъ недостаткамъ по мнѣнію большинства: неряшливости, опущенности, или качествамъ, по мнѣнію Пьера, (который и самъ неособенно подчинялся внушеніямъ о *tenue*) Наташа присоединяла еще скупость».—Это качество, конечно, труднѣе вывести изъ дѣвичьихъ задатковъ ея характера, но оно объясняется въ ней, какъ замужней, своими послѣдствіями. «Пьеръ

замѣтилъ, что его разстроенныя послѣднее время, въ особенности долгами первой жены дѣла, стали поправляться». Такія хозяйственныя способности, конечно, большой кладъ въ женѣ; но не меньшій, разумѣется, способность принимать участіе въ общественныхъ интересахъ мужа и помогать ему воспитывать въ дѣтяхъ будущихъ общественныхъ дѣятелей, — въ чемъ Наташа, конечно, не оказывается грѣшна. Но можно ли и требовать умѣнья воспитывать отъ женщины, которая сама не получила ничего похожаго на какое нибудь воспитаніе?

Существуетъ мнѣніе, что Наташа какъ жена и хозяйка составляетъ семейный идеалъ автора. Но на это по крайней мѣрѣ не имѣется никакихъ доказательствъ въ хроникѣ, далекой отъ того, чтобы и вообще идеализировать семью Ростовыхъ, родовыя черты которой можно узнать и въ Наташѣ.

Но какимъ же оказывается выдающійся женскій типъ другой барской семьи, выведенной нашимъ авторомъ,— семьи Болконскихъ? До сихъ поръ мы встрѣчались съ княжною Марьей собственно какъ съ предметомъ постояннаго командованія и пиленья для ея деспотическаго отца. Изъ этого уже ясно, что княжна Марья вовсе не выросла въ простотѣ природы и на просторѣ (какъ Наташа въ своей мягко-патріархальной семьѣ), хотя старикъ Болконскій и принималъ къ сердцу такіе случаи, что «для княжны его дочери не расчистили дорожки въ саду, а для министра расчистили». Цѣнимая отцомъ на глазахъ у другихъ собственно въ качествѣ «княжны—его дочери», княжна Марья, конечно, не просто выросла, какъ Наташа, а воспиталась—воспиталась подъ грозою и страхомъ, чтобы постоянно направлять свои душевныя силы на угожденье отцу и въ концѣ концовъ все-таки не угодить ему. Княжна Марья невольно искала себѣ опоры въ своей трудной долѣ,—и нашла ее въ томъ религіозномъ чувствѣ, котораго вовсе не было у ея Вольтеріанца—отца, не нуждавшагося ни въ какой опорѣ, а только въ устраненіи всякой преграды для своего всемогущества. Вмѣсто отца, котораго

можно было только уважать-бояться, княжна Марья нѣжно, какъ дочь, полюбила Бога, которому она могла угодить и который не забудетъ ее за то въ своемъ царствіи. Для Бога она братски любила и всѣхъ людей, любила даже враговъ. «L'amour chrétien, l'amour du prochain, писала она подругѣ (писала по Французски, какъ всѣ тогда—до самого «морозившаго Французовъ» Кутузова), l'amour pour ses ennemis est plus méritoire, plus doux et plus beau, que ne le sont les sentimens que peuvent inspirer les beaux yeux d'un jeune homme à une jeune fille».... Но если бы Богу угодно было, продолжаетъ она въ томъ же письмѣ, призвать ее къ обязанностямъ супруги и матери, она свято исполнитъ ихъ, какъ съумѣетъ, не задаваясь даже разборомъ своихъ чувствъ къ тому, кто ей будетъ назначенъ (и каковъ бы даже ни былъ его характеръ, думала она, опасаясь, очень можетъ быть, сходства съ характеромъ отца). Въ сущности же она жаждала любви—земной любви къ одному, къ какому нибудь своему избраннику. Но Богъ уже отвѣчалъ ей въ собственномъ ея сердцѣ: «не желай ничего для себя, не ищи, не волнуйся.... живи, чтобы быть готовой ко всему».... Мое призваніе, утѣшала она себя, быть счастливой другимъ счастьемъ, счастьемъ любви и самопожертвованія»....

Любя, какъ казалось ей, всѣхъ для Бога, она особенно любила тѣхъ, кого называла «*Его людьми*». Это были тѣ люди не ея класса, которые могли независимѣе ея посвятить свою жизнь на угожденіе Богу. По отношенію къ нимъ, къ этимъ *Божьимъ людямъ*, она даже не боялась отца. «Это единственно въ чемъ она не повинуется ему, поясняетъ кн. Андрей;—онъ велитъ гонять этихъ странниковъ, а она принимаетъ ихъ». Въ этомъ спаслась для нея та властная воля, та самость, которая все же была у нея въ крови, какъ у дочери стараго князя Николая Андреевича. Но въ глазахъ ея это не была прихоть;—это была богоугодная связь съ людьми, которыхъ считала она величайшими практическими философами. «Чѣмъ болѣе жила княжна Марья, тѣмъ болѣе удивляла ее близорукость лю-

дей, ищущихъ здѣсь на землѣ наслажденій, счастья.... Всѣ они борятся и страдаютъ, и мучаютъ, и портятъ свою душу, свою вѣчную душу, для достиженья благъ, которымъ срокъ есть мгновенье... Какъ никто не понялъ этого? Никто кромѣ этихъ презрѣнныхъ Божьихъ людей, которые съ сумками за плечами приходятъ ко мнѣ съ задняго крыльца, боясь попасться на глаза князю, и не для того, чтобы не пострадать отъ него» (въ лицѣ ихъ ей мерещатся какіе-то новые мученики), «а для того, чтобы его не ввести въ грѣхъ». Она такимъ образомъ идеализировала ихъ, идеализировала и самое себя въ будущемъ: «въ воображеніи своемъ она уже видѣла себя съ Ѳедосьюшкой въ грубомъ рубищѣ (оно заранѣе было припасено у нея въ комодѣ и она любовалась на него повременамъ)... направляя свое странствіе туда... гдѣ нѣтъ ни печали, ни воздыханія.... Но потомъ, увидавъ отца и маленькаго Коко (племянника), она ослабѣвала въ своемъ намѣреніи.... и чувствовала, что она грѣшница, любила отца и племянника больше чѣмъ Бога». Княжна Марья не понимала, что если она дѣйствительно такъ любила отца, то въ этомъ-то и заключается настоящая, прямая любовь, любовь вполнѣ безкорыстная, самоотверженная — не смотря ни на что, ни на какія муки, достававшіяся ей отъ отца. Впрочемъ, во время предсмертной болѣзни его, у ней вдругъ явились «искусительныя мысли о предстоящей ей свободѣ». Что̀ касается ея отношеній къ маленькому племяннику, то она «съ ужасомъ узнавала въ себѣ свойство раздражительности своего отца». И тутъ, значитъ, въ ней сказалось что́-то фамильное. Въ ней, не смотря на всѣ связи съ Божьими людьми, сказалась даже родовая гордость. «Чтобъ она, дочь кн. Н. А. Болконскаго, просила генерала Рамо оказать ей покровительство... Для нея лично было все равно... но она чувствовала себя представительницей покойнаго отца и кн. Андрея»... И такъ — представительницей своего *рода*, а не *народа*;—не въ качествѣ *Русской*, а въ качествѣ *княжны Болконской* боялась она унизиться. Что-то гордо великодушное слышится въ

ней даже въ тотъ мигъ, когда «узнавъ, что крестьяне безъ хлѣба, княжнѣ Марьѣ странно было думать, что теперь, въ такую минуту, когда такое горе наполняло ея душу, могли быть люди богатые и бѣдные и что могли богатые не помочь бѣднымъ». Въ такомъ смыслѣ выдать приказъ роздать весь господскій хлѣбъ мужикамъ—способенъ былъ бы, пожалуй, и покойный ея отецъ, хотя онъ и не задумывался мужиковъ Лысыхъ Горъ, безъ всякаго спросу у нихъ, перевести въ Богучарово.

Княжна Марья сошлась до извѣстной степени (про себя, а не явно) съ отцомъ и во взглядѣ на будущую родню—на братнину невѣсту Наташу. Но на это, конечно, нашлись у княжны *свои* основанія. «Наташа показалась ей слишкомъ нарядной, легкомысленно веселой и тщеславной (тогда какъ послѣдняго-то уже конечно не было). Въ этомъ отношеніи, впрочемъ, княжна Марья сошлась и съ бѣдной воспитанницей Ростовыхъ, Соней, которой пришлось отказаться отъ любви графа Николая. «Соня, принесшая жертву, позавидовала Наташѣ, никогда не испытавшей ничего подобнаго, никогда не нуждавшейся въ жертвахъ, заставлявшей другихъ жертвовать себѣ и все-таки всѣми любимой». Можетъ быть эта-то легко достававшаяся любовь и показалась княжнѣ Марьѣ способною довести Наташу, путемъ незаслуженнаго принимания чужой дани, до тщеславія этимъ. Тутъ могъ быть нравственный ригоризмъ относительно того, что Наташа, какъ до нея доходило, совсѣмъ уже не заботилась о томъ, чтобы *что нибудь себѣ назначить*—задаться хоть какою нибудь обязанностью. На все это кн. Марья могла посматривать съ высоты той строгости своихъ правилъ, которою прикрывалась, незамѣтно для нея самой, и фамильная ея гордость. Если эта послѣдняя не мѣшала ей дружить съ *людьми Божьими*, то вѣдь они, эти *Божьи люди*—непосредственно сближали ее съ Нимъ, съ самимъ Богомъ,—а мистическій экстазъ, какъ извѣстно, въ своемъ родѣ питаетъ человѣческую гордыню. Наконецъ, любя Бога и любя не безнадежно, а съ твердой увѣренностью, que c'est un amour méritoire, что блага, ожидающія у Него,

блага вѣчныя,—она любила совсѣмъ не самоотверженно... А въ религіозномъ ея эгоизмѣ опять таки сказывалась та самость, которая, какъ и многое, была, такъ сказать, въ крови у Болконскихъ.

До сихъ поръ княжна Марья, не трудно замѣтить, довольно напоминаетъ Лизу въ «Дворянскомъ Гнѣздѣ», Лизу, которая также точно осталась въ сторонѣ отъ гувернатскаго Вольтеріанства и сошлась, повидимому, съ народомъ на почвѣ тѣхъ же самыхъ «Божьихъ Людей»,—въ сущности же, какъ и княжна Марья, подпала вмѣстѣ съ ними подъ старинный гнетъ тѣхъ наносныхъ Византійскихъ понятій, которыя, какъ мнѣ приходилось уже доказывать, подрывали дѣятельную силу и въ нашемъ народѣ.

Калипычъ, Касьянъ съ Красивой Мечи у И. С. Тургенева *), Каратаевъ у гр. Л. Н. Толстого,—эти люди изъ народа, забывающіе себя и беззавѣтно живущіе для другихъ (часто даже болѣе чѣмъ того стоютъ эти другіе)—вотъ созданія настоящей народной почвы, созданья не вымершаго на ней духа общины. Какіе нибудь «Божьи Люди» какъ временъ лѣтописныхъ «Каликъ перехожихъ», такъ и временъ княжны Марьи или Тургеневской Лизы,—это не коренное, не почвенное явленіе, а только наносная археологическая диковина.

Но княжна Марья не кончаетъ, подобно Лизѣ, монастыремъ, такъ какъ ей наконецъ представляется, безъ всякаго столкновенія съ *долгомъ*, возможность земного счастія, счастья въ семьѣ. Если бы оно не досталось ей, какъ Лизѣ, она бы, конечно, исполнила свой давнишній планъ—пойти странствовать по св. мѣстамъ съ Ѳедосьюшкой. Если бы она, насладившись счастьемъ, такъ скоро и неожиданно потеряла его, какъ Тургеневская Елена,—она бы все-таки не пошла по ея дорогѣ—по дорогѣ сестры милосердія на войнѣ за свободу,—а пошла бы, ради спасенья *своей* души, все въ то же «странничество», о которомъ

*) Позже у него же больная, но здоровая духомъ, Лукерья въ „Живыхъ Мощахъ“.

еще во времена архіепископа Нифонта говорилось у насъ, что оно «губитъ Русскую землю». Эту жалобу надобно понимать широко, какъ и самое это «странничество». Оно равносильно побѣгу, хроническому побѣгу съ общественнаго поприща.

Но съ Ѳедосьюшкой княжну Марью разлучаетъ графъ Николай,—тотъ самый графъ Николай, который сказалъ Пьеру, что дай ему Аракчеевъ эскадронъ и вели ему итти противъ нихъ, недовольныхъ, и онъ бы не задумавшись послушался его и пошелъ. Послѣ встрѣчи съ гр. Николаемъ княжна Марья предложила себѣ вопросъ: «любитъ ли она его?» Тутъ она вспомнила, что бракъ ея съ Николаемъ былъ бы невозможенъ, если бы состоялся бракъ Наташи съ ея братомъ. «И надо было его сестрѣ отказать князю Андрею». И во всемъ этомъ видѣла она «руку Провидѣнія». Разсуждать, колебаться не приходилось—можно было отдаться земной любви безъ боязни нарушенія долга небеснаго. И каковъ бы ни вышелъ графъ Николай, надо было найти съ нимъ счастье, не то испытаніе, крестъ—и блаженство въ самомъ крестѣ: на то была воля Божья. Но она дѣйствительно оказалась съ нимъ счастлива, такъ счастлива, что даже не любила Соню,—ту бѣдную Соню, которую когда-то заставили отказаться отъ любви къ Николаю, но которая въ душѣ, разумѣется, продолжала его любить... Не любить эту несчастную Соню было, конечно, грѣшно, но она не любила Сони. Съ грустью также находила она, что въ чувствѣ ея къ Николинькѣ (племяннику сиротѣ) чего-то недостаетъ... А въ немъ между тѣмъ узнавались черты отца, ея брата, этого брата, погибшаго въ отечественную войну — черты его въ томъ возрожденномъ видѣ, какого онъ сталъ достигать лишь у двери гроба... Пойметъ ли она Николиньку когда онъ, наконецъ, станетъ юношей и дѣйствительно захочетъ «сжечь свою руку», какъ Муцій Сцевола? Едва ли. Скорѣе она увидитъ въ этомъ гордость и недостатокъ религіи.

Кажется, женскимъ поколѣньемъ гр. Л. Н. Толстого не опережено его поколѣнье мужское, какъ то иной разъ

случается у И. С. Тургенева. Оба поколѣнья «Войны и Мира» застигнуты великими событіями врасплохъ. Вѣдь и Пьеръ только послѣ нихъ и подъ ихъ вліяньемъ, но самъ ни мало не участвовавъ въ ихъ направленіи, совлекъ съ себя «ветхаго человѣка». Что же вывезло насъ въ многотрудную пору?

ЛЕКЦІЯ 3-я.

Часть историческая и „роевая сила".

Семейная хроника не даромъ переплетена у нашего автора съ исторіей. Семья—это та мастерская, въ которой подготовляются будущіе общественные дѣятели—а въ особенно выдающіяся эпохи они же и дѣятели историческіе. Мы видѣли, какою оказалась у насъ эта мастерская передъ 12-мъ годомъ, какою оказалась она на тѣхъ высотахъ, съ которыхъ главнымъ образомъ берутся такъ называемые «руководители» великихъ событій. Но нашъ авторъ далекъ отъ того, чтобы видѣть въ «орлахъ», вылетѣвшихъ изъ нашихъ «дворянскихъ гнѣздъ», дѣйствительную *душу* этихъ событій. Мало того, онъ далекъ отъ всякаго поклоненія даже настоящимъ орламъ — птицамъ самаго высокаго полета, но птицамъ хищнымъ. Онъ не только не сочувствуетъ, но и не удивляется имъ; онъ полагаетъ, что самая высота и ширь ихъ полета своего рода оптическій обманъ. Онъ — сторонникъ той исторической школы, которая сводитъ съ подмостокъ. Она сходится съ его намъ хорошо извѣстнымъ реализмомъ, называющимъ вещи по имени и снимающимъ всѣ покровы.

«Въ историческихъ событіяхъ, говоритъ нашъ авторъ, *такъ называемые великіе люди суть ярлыки, дающіе наименованіе событію*». Эти послѣднія — результатъ не тѣхъ немногихъ *казовыхъ* причинъ, на которыя обыкновенно ссылаются историческіе учебники, а цѣлаго мно-

гословнаго и сокровеннаго ихъ узла, который можетъ быть распутанъ только настоящей наукой. «Для насъ непонятно, чтобы милліоны людей Христіанъ убивали и мучили другъ друга, потому что Наполеонъ былъ властолюбивъ, Александръ твердъ, политика Англіи хитра и Герцогъ Ольденбургскій обиженъ... Такой же причиной представляется намъ и желаніе или нежеланіе перваго Французскаго капрала поступить на вторичную службу: ибо ежели бы онъ не захотѣлъ итти на службу и не захотѣлъ другой и третій и тысячный капралъ и солдатъ, настолько менѣе людей было бы въ войскѣ Наполеона и войны не могло бы быть... *Милліарды причинъ совпали для того, чтобы произвести то, что было...*» Еще яснѣе выражается это въ другомъ мѣстѣ: «*ходъ міровыхъ событій зависитъ отъ соотношенія произволовъ всѣхъ людей, участвующихъ въ этихъ событіяхъ*»... Человѣческое достоинство, говорящее мнѣ, что всякій изъ насъ ежели не больше, то никакъ не меньше человѣкъ, чѣмъ всякій Наполеонъ, велитъ допустить это рѣшеніе вопроса, и историческія изслѣдованія обильно подтверждаютъ это предположеніе».

Какъ ни судить о такомъ взглядѣ, но авторъ не стоитъ въ немъ особнякомъ. Онъ только своеобразно упрощаетъ ученіе цѣлой школы, и притомъ не какой нибудь нашей, а знакомой и всей Европѣ,—школы никакъ уже не устарѣлой, а скорѣе не совсѣмъ еще признанной. Но гр. Л. Н. Толстой этотъ общій взглядъ примѣняетъ въ частности и къ военной исторіи, проявляя при этомъ въ изложеніи еще болѣе угловатости. Умаляя значеніе *великихъ людей*, онъ вовсе не признаетъ значенія *великихъ полководцевъ*. «Изстари еще для нихъ, говоритъ онъ, подѣлали теорію геніевъ, потому что они — власть. Заслуга въ успѣхѣ военнаго дѣла зависитъ не отъ нихъ, а отъ того человѣка, который въ рядахъ закричитъ: «пропали!» или закричитъ: «ура!». «Сила (развиваетъ онъ свою мысль), есть произведеніе изъ массы на скорость. Въ военномъ дѣлѣ сила войскъ есть также произведеніе изъ массы на что-то такое, на какое-то неизвѣстное *x*»... «*X* этотъ

окончательно объясняетъ онъ, есть *духъ войска*, т. е. большее или меньшее желаніе драться и подвергать себя опасностямъ всѣхъ людей, составляющихъ войско».

Положимъ, что это парадоксально. Но тутъ, какъ и во многихъ парадоксахъ, есть однако же большая доля правды. Можно ли не признать, что «духъ войска» дѣйствительно значитъ много, что онъ совершаетъ подчасъ чудеса—даже при громадныхъ ошибкахъ со стороны предводителей или даже при совершенной ихъ неспособности?

Точка зрѣнія нашего поэта оскорбила очень многихъ военныхъ людей и патріотовъ. Выраженіемъ самаго искренняго и почтеннаго негодованія противъ нея является извѣстная брошюра ветерана 12-го года, покойнаго А. С. Норова. Автора «Войны и Мира» упрекнули и въ верхоглядствѣ, и въ недостаткѣ патріотизма... Но вѣдь послѣдній упрекъ могъ бы достаться ему и за Севастопольскіе разсказы, тѣ разсказы, гдѣ у него говорится: «герой... котораго я люблю всѣми силами моей души, котораго старался воспроизвести во всей красотѣ его, и который всегда былъ, есть и будетъ прекрасенъ—правда». Но многіе у насъ еще такъ упорно держатся устарѣлыхъ словъ Пушкина:

Тьмы жалкихъ истинъ мнѣ дороже
Насъ возвышающій обманъ.

Если дѣло въ *патріотическомъ самообольщеніи*, то неужели, переиспытавъ впечатлѣнія Крымской войны, нашъ авторъ не въ правѣ былъ возненавидѣть такое самообольщеніе—именно *изъ патріотизма?*

За что развѣнчиваетъ онъ прежде и больше всѣхъ Растопчина? Не за то ли, что весь его патріотизмъ, по пониманію нашего автора, былъ дѣланный, риторическій, театральный? Онъ вообразилъ себя возбудителемъ *ex professo* патріотическихъ чувствъ въ народѣ;—на самомъ же дѣлѣ, презирая родной народъ, какъ презирали его какіе нибудь вельможные Французскіе эмигранты, его друзья, онъ, какъ духъ искуситель, только втравилъ этотъ *доб-*

рый народъ въ преступленіе—бросивъ ему на жертву вымышленнаго имъ, Растопчинымъ, *измѣнника*. «La voilà la populace, la lie du peuple, qu'ils ont soulevé par leur sottise», патетически декламировалъ онъ, патріотъ, по-Французски и въ чисто Французскомъ театральномъ вкусѣ; «il leur faut une victime», заключилъ онъ и далъ имъ на растерзаніе Верещагина, произведеннаго имъ же въ трагическіе злодѣи. Когда же впослѣдствіи сталъ къ нему приступать столь страшившій кн. Андрея *remord*, то онъ успокоивалъ себя тѣмъ, что жертва была необходима для «*bien public*» *). Растопчинъ всѣхъ менѣе могъ стать *героемъ* для нашего автора, потому что въ немъ совсѣмъ уже не было *правды*. Но по такой же причинѣ, думаетъ гр. Толстой, онъ не можетъ быть и *Русскимъ народнымъ героемъ*. Если, по выраженію Лежнева, *фраза зачла Рудина*, т. е. цѣлое множество нашихъ Рудиныхъ, то въ этомъ ни мало не грѣшенъ у насъ *самъ народъ*, такъ плохо понимаемый до сихъ поръ очень многими нашими «патріотами».

Нашъ авторъ, очень можетъ быть, не въ мѣру умалилъ нѣкоторыхъ героевъ отечественной войны (наприм. Раевскаго), другихъ выставилъ уже черезъ чуръ «стихійными» и свободными отъ всякой «мыслительности» (Багратіона), многое даже совсѣмъ позабылъ. Но главное выяснено у него даже болѣе, чѣмъ въ трудахъ историческихъ.

Обратимся къ тѣмъ двумъ вождямъ, статуи которыхъ стоятъ на Казанской площади. Одинъ изъ нихъ, въ свое время забытый Жуковскимъ, зато позже превознесенный Пушкинымъ, ставится нашимъ авторомъ на подобающее ему, какъ думаетъ гр. Л. Н. Толстой, *мѣсто среднее*. «У

*) Для характеристики Растопчина отчасти могли послужить автору и тѣ бывшія у него въ рукахъ письма М. А. Волковой, къ В. И. Ланской, о которыхъ уже говорилось выше („Грибоѣдовская Москва“ въ „Вѣстникѣ Европы“ 1874 и 1875 гг.). Извѣстно, что къ неособенно выгодному мнѣнію о Растопчинѣ пришелъ впослѣдствіи и осторожный ученый, покойный А. Н. Поповъ въ своемъ трудѣ „Французы въ Москвѣ въ 1812 году“, въ „Русскомъ Архивѣ“ 1875 г.).

васъ въ клубѣ, говоритъ одно дѣйствующее лицо, выдумали, что онъ (Барклай де Толли) измѣнникъ... и сдѣлаютъ только то, что потомъ, устыдившись своего ложнаго нареканія, изъ измѣнниковъ сдѣлаютъ вдругъ героемъ или геніемъ, что̀ еще будетъ несправедливѣе. Онъ честный и очень аккуратный Нѣмецъ». Это коротко и ясно—можетъ быть даже слишкомъ коротко и ясно,—и настоящая характеристика Барклая де Толли на основаніи болѣе тщательнаго изученія остается, повидимому, еще впереди.

Зато другой изъ монументальныхъ вождей, тотъ, котораго сразу отмѣтилъ народный голосъ, требуя передачи ему, излюбленному, предводительства, слишкомъ долго остававшагося, по мнѣнію народа, въ рукахъ у «аккуратнаго Нѣмца», какъ выражается теперь нашъ авторъ;—зато этотъ другой вождь и предварительно изученъ и художественно воспроизведенъ имъ такъ, какъ едва ли кому нибудь удалось его воспроизвесть до сихъ поръ. Между тѣмъ наши «патріоты» остались далеко недовольны и характеристикою Кутузова.

Гр. Л. Н. Толстой, разумѣется, не оставляетъ и его на театральныхъ подмосткахъ. Онъ, конечно, не скрываетъ и его слабыхъ, даже мелкихъ сторонъ. «Неужели нельзя было Кутузову прямо высказать государю свои мысли? спрашиваетъ нашъ авторъ по отношенію къ Аустерлицу. Неужели изъ за придворныхъ и личныхъ соображеній должно рисковать десятками тысячъ?» Но этотъ же самый «лукавый царедворецъ», какъ можно бы было назвать его устами Пушкина, очищается отъ всякаго житейскаго сора и дрязга въ горнилѣ народнаго духа—разгадать который оказалось по силамъ его практическому, не въ будничномъ только смыслѣ, уму. «На Бородинскомъ полѣ Кутузовъ сидѣлъ, понуривъ сѣдую голову... онъ зналъ... что руководить сотнями тысячъ человѣкъ нельзя одному человѣку... и что рѣшаютъ участь сраженія не распоряженія главнокомандующаго... а неуловимая сила, называемая духомъ войска, и онъ слѣдилъ за этой силой

и руководилъ ею, насколько это было въ его власти... Кутузовъ былъ доволенъ успѣхомъ дня сверхъ ожиданія... Благоразумный Барклай, видя толпы отбѣгающихъ раненныхъ и разстроенные зады арміи... рѣшилъ, что сраженіе проиграно и съ этимъ извѣстіемъ прислалъ къ главнокомандующему своего любимца... «Какъ вы... какъ вы смѣете? закричалъ Кутузовъ Вольцогену... Извольте ѣхать къ генералу Барклаю и передать ему на завтра мое намѣреніе атаковать непріятеля... Непріятель побѣжденъ и завтра погонимъ его изъ священной земли Русской»... Смыслъ его словъ сообщился повсюду, потому что то, что̀ сказалъ Кутузовъ, вытекало не изъ хитрыхъ соображеній, а изъ чувства, которое лежало въ душѣ фельдмаршала, также какъ и въ душѣ каждаго Русскаго человѣка».

А вслѣдъ затѣмъ оказалось, что атаковать Наполеона нельзя, что не пробилъ еще часъ изгнанія его изъ священной земли Русской, и самому Кутузову временно пришлось перейти въ роль Барклая де Толли. «Во время совѣта въ Филяхъ Бенигсенъ спросилъ: «оставить ли безъ боя *священную* и древнюю столицу Россіи, или защищать ее»? Послѣдовало долгое и общее молчаніе.

«*Священную, древнюю столицу Россіи*» вдругъ заговорилъ Кутузовъ, сердитымъ голосомъ повторяя слова Бенигсена и этимъ указывая на фальшивую ноту этихъ словъ»... Между тѣмъ онъ самъ еще такъ недавно говорилъ о *священной* землѣ Русской, и въ устахъ его это прилагательное не заключало въ себѣ ничего фальшиваго. «Вопросъ этотъ, продолжалъ онъ въ Филяхъ, не имѣетъ смысла для Русскаго человѣка.... Вопросъ—военный. Вопросъ слѣдующій: выгоднѣе ли рисковать потерею арміи и Москвы, принявъ сраженье, или отдать Москву безъ сраженья»... Отдать съ тѣмъ, чтобъ потомъ, какъ предвидѣлъ Кутузовъ, тѣмъ вѣрнѣе погнать непріятеля изъ земли Русской. Внимательною свидѣтельницею военнаго совѣта авторъ сдѣлалъ, какъ извѣстно, невидимо прiютившуюся въ избѣ на печи крестьянскую дѣвочку. «Малаша видѣла,

что оба злились, и держала сторону дѣдушки». Ея здоровое дѣтское чутье подсказало ей, что Кутузовъ правъ, а что тотъ сухой Нѣмецъ просто дразнилъ его на своемъ ломаномъ языкѣ.... Мастерское, въ своемъ собственномъ—чисто Толстовскомъ родѣ—внесеніе въ историческую картину этой умной дѣтской головки, какъ бы отражающей въ себѣ здравый смыслъ Русскаго народа, выразителемъ котораго сдѣлался вскорѣ также вѣрно понявшій *дѣдушку Кутузова*, впослѣдствіи и самъ ставшій *дѣдушкою*—Крыловъ.

«Въ 12 и 13 годахъ Кутузова, говоритъ авторъ, прямо обвиняли за ошибки. Государь былъ недоволенъ имъ. И въ исторіи, написанной недавно по Высочайшему повелѣнію, сказано, что Кутузовъ былъ хитрый придворный лжецъ, боявшійся имени Наполеона и своими ошибками подъ Краснымъ и подъ Березиной лишившій Русскія войска славы—полной побѣды надъ Французами. Такова судьба не великихъ людей, не *grand homme*, которыхъ не признаетъ Русскій умъ... Между тѣмъ трудно себѣ представить историческое лицо, дѣятельность котораго такъ неизмѣнно постоянно была бы направлена къ одной и той же цѣли. Трудно вообразить себѣ цѣль болѣе достойную и *болѣе совпадающую съ волею всего народа*... Кутузовъ никогда не говорилъ о 40 вѣкахъ, которые смотрятъ съ пирамидъ, о жертвахъ, которыя онъ приноситъ отечеству... Онъ вообще не игралъ никакой роли, казался всегда самымъ простымъ и обыкновеннымъ человѣкомъ». Въ этомъ—его прямая противоположность Растопчину, въ этомъ Кутузовъ чисто-Русскій человѣкъ, хотя и онъ, какъ Растопчинъ, переписывался по-Французски—даже съ женою. «Начиная съ Бородинскаго сраженія, съ котораго начался его разладъ съ окружающимъ, продолжаетъ все болѣе и болѣе восторгающійся своимъ нетеатральнымъ героемъ авторъ, Кутузовъ одинъ говорилъ, что *Бородинское сраженіе есть побѣда*. Онъ одинъ сказалъ, что *потеря Москвы не есть потеря Россіи*. Онъ въ отвѣтъ Лористону на предложенія я мирѣ отвѣчалъ, что *мира не можетъ быть, потому что такова воля народа*; онъ одинъ во время отступ-

ленія Французовъ говорилъ, что всѣ наши маневры не нужны, что все сдѣлается само собою лучше, чѣмъ мы того желаемъ.... И онъ одинъ, этотъ придворный человѣкъ, какъ намъ изображаютъ его» (и какимъ онъ дѣйствительно былъ, но не потерявъ способности быть и совершенно другимъ—въ ростъ событіямъ—человѣкомъ), «въ Вильно, тѣмъ заслуживая немилость государя, онъ говорилъ, что *дальнѣйшая война за границей вредна и безполезна*». Онъ видѣлъ весь смыслъ войны—въ одной *оборонѣ* отъ вражескаго нашествія, и въ этомъ опять въ немъ сказался духъ Русскаго народа, всѣ даже наступательныя дѣйствія котораго первоначально вытекали изъ той же *обороны*, изъ необходимости упрочить ее разъ на всегда *).

До какой степени живъ былъ въ Кутузовѣ Русскій духъ, какъ онъ и каждый солдатъ понимали другъ друга, это всего лучше выказывается у нашего автора въ слѣдующей сценѣ.

«Кутузовъ долго внимательно глядѣлъ на двухъ плѣнныхъ Французскихъ солдатъ съ болячками на лицѣ, а потомъ замѣтилъ Русскаго солдата, который, смѣясь и трепля по плечу Француза, что то ласково говорилъ ему».... Тутъ ему указываютъ на взятыя Французскія знамена.... «Нагни, нагни ему голову-то, сказалъ онъ солдату, державшему Французскаго орла и нечаянно опустившему его передъ знаменемъ Преображенцевъ.... Пониже, пониже, такъ-то вотъ!»... И вдругъ голосъ и выраженіе лица его перемѣнилось: пересталъ говорить главнокомандующій, а заговорилъ простой старый человѣкъ.... «Я знаю, трудно вамъ, да что же дѣлать, потерпите, не долго осталось... Вамъ трудно, да вѣдь вы дома; а они, видите до чего они дошли?... хуже нищихъ послѣднихъ. Пока они были сильны, мы себя не жалѣли, а теперь ихъ и пожалѣть можно. То-же и они люди.—Въ упорныхъ, почтительно недоумѣвающихъ, устремленныхъ на него взглядахъ, онъ читалъ со-

*) Въ этомъ смыслѣ *оборонительная* и *наступленье* наше наступленье на Турцію.

чувствіе своимъ словамъ: лицо его становилось все свѣтлѣе и свѣтлѣе отъ старческой кроткой улыбки, звѣздами морщившейся въ углахъ губъ и глазъ ...

«А и то сказать, кто же ихъ къ намъ звалъ? По дѣломъ имъ! вдругъ сказалъ онъ, поднявъ голову. И взмахнувъ ногайкой, онъ галопомъ, въ первый разъ во всю компанію, поѣхалъ прочь отъ радостно хохотавшихъ и ревѣвшихъ: ура! солдатъ».

Это соединеніе искренней, вовсе не сдѣланной, собственной доброты съ тонкимъ, даже хитрымъ разсчетомъ подѣйствовать ею какъ разъ, сколько нужно, ни больше, ни меньше, на настроеніе войска—какая вѣрная, мѣтко подмѣченная въ Русскомъ человѣкѣ черта!

Неужели и это значитъ унижать, сводить съ высоты? Нѣтъ, это значитъ съ подмостокъ переносить на настоящую, естественную высоту,—ту, на которую никто изъ нашихъ «патріотовъ», офиціальныхъ и неофиціальныхъ, еще никогда не ставилъ Кутузова. Но можетъ быть нашъ авторъ погрѣшилъ тутъ избыткомъ своего особеннаго патріотизма, раздѣляемаго имъ съ цѣлою школою патріотовъ, такъ сказать, «народной масти»,—и въ этомъ-то именно и оказался склоннымъ къ «предвзятымъ идеямъ и системамъ по отношенію къ своему народу и къ своей исторіи», какъ выразился И. С. Тургеневъ? Нѣтъ, авторъ «Наканунѣ» едвали станетъ отрицать, что Кутузовъ въ 1812 г., совершенно какъ его Болгаръ Инсаровъ, былъ дѣйствительно силенъ тѣмъ, что «каждый мужикъ, каждый нищій въ Россіи хотѣлъ того же, чего и онъ». Также мало сталъ бы И. С. Тургеневъ отрицать и то, что главная наша сила (*notre fort*, какъ выразились бы у насъ въ 1812 г.) заключается главнымъ образомъ въ способности *къ оборонѣ*, а равно и то, что болѣе справедливыя войны—это именно войны оборонительныя.

Возвращаясь къ *такъ называемымъ* (хотя бы и искреннимъ) «патріотамъ», замѣтимъ, что они остались недовольны даже Бородинскою битвой у гр. Л. Н. Толстого. Она, по ихъ мнѣнію, выставлена у него «безъ дѣйствующихъ

лицъ». Она и въ самомъ дѣлѣ обошлась у него безъ «героевъ», такъ долго, на зло нашему народному духу, царившихъ у насъ въ подражательные періоды нашей литературы,—какъ безъ «героевъ» же обошлись и Севастопольскіе разсказы нашего автора, тѣ разсказы, героемъ которыхъ, по его выраженію, была *правда*. Не этотъ ли герой замѣняетъ у него и Наполеона. и нашихъ дѣятелей «портретной галереи» 1812 г.?

«Противно тому, что̀ неизмѣнно совершалось во всѣхъ прежнихъ сраженіяхъ, говоритъ нашъ авторъ, вмѣсто ожидаемаго извѣстія о бѣгствѣ непріятеля, стройныя массы войскъ возвращались *оттуда* (т. е. къ Наполеону) разстроенными, испуганными толпами... Dites au roi de Naples, строго сказалъ Наполеонъ, qu'il n'est pas midi et que je ne vois pas encore clair sur mon échiquier... Наполеонъ испытывалъ тяжелое чувство, подобное тому, которое испытываетъ всегда счастливый игрокъ, безумно кидавшій свои деньги, всегда выигрывавшій, и именно тогда, когда онъ разсчиталъ всѣ случайности игры, чувствующій, что чѣмъ болѣе обдуманъ его ходъ, тѣмъ вѣрнѣе онъ проигрываетъ.... Одинъ изъ генераловъ, подъѣхавшихъ къ Наполеону, позволилъ себѣ предложить ему ввести въ дѣло старую гвардію... «A huit cent lieux de France je ne ferai pas démolir ma garde». Но нашъ авторъ спѣшитъ *по своему* объяснить такую осторожность знаменитаго полководца. Онъ говоритъ: «Не Наполеонъ не далъ свою гвардію, потому что онъ не захотѣлъ этого, но этого нельзя было сдѣлать.... потому что упавшій духъ войска не позволялъ этого... Всѣ... испытывали одинаковое чувство ужаса передъ тѣмъ врагомъ, который, потерявъ п о л о в и н у войска, стоялъ также грозно въ концѣ, какъ и въ началѣ сраженія. Нравственная сила Французской атакующей арміи была истощена... Не та побѣда, которая опредѣляется подхваченными кусками матеріи на палкахъ, называемыхъ знаменами... а побѣда нравственная... была одержана Русскими подъ Бородинымъ*).

*) *Подобнаго* рода побѣды доставались Русскому войску и въ нынѣшнюю войну среди самаго періода нашихъ *неудачъ*.

...Послѣ даннаго толчка, Французское войско могло еще докатиться до Москвы, но тамъ, безъ новыхъ усилій со стороны Русскаго войска, оно должно было погибнуть, истекая кровью отъ смертельной, нанесенной въ Бородинѣ раны».

Неужели эта «правда» нашего автора такъ слабо удовлетворяетъ патріотическому чувству, что по прежнему надо еще прибѣгать къ «пасъ возвышающему обману»?

Съ тѣмъ же самымъ правдивымъ его реализмомъ описывается у него и взятіе Москвы—все проникнутое предчувствіемъ-предвидѣніемъ послѣдствій этого *grand triomphe*. «Вотъ она лежитъ у ногъ моихъ, говоритъ самодовольный до великодушничанья Наполеонъ, но я пощажу ее... На древнихъ памятникахъ варварства и деспотизма я напишу великія слова справедливости и милосердія... Я скажу депутаціи ... Но депутаціи не было... Не знали, какъ объявить императору, что Москва пуста, не ставя его въ страшное, называемое Французами *ridicule*, положеніе... «Moscou déserte! quel événement invraisemblable»! говорилъ онъ самъ съ собою... Le coup de theâtre avait raté»...

Въ этомъ нашъ авторъ совершенно напоминаетъ Пушкина, у котораго недоставало только сатирической струи, пробѣгающей у гр. Л. Н. Толстого сквозь драматизмъ положенія. Кто не знаетъ этихъ чудныхъ стиховъ поэта:

Напрасно ждалъ Наполеонъ,
Послѣднимъ счастьемъ упоенной,
Москвы колѣнопреклоненной
Съ ключами стараго Кремля:
Нѣтъ, не пошла Москва моя
Къ нему съ повинной головою.
Не праздникъ, не прiемный даръ—
Она готовила пожаръ
Нетерпѣливому герою!

Впрочемъ, собственно *пожаръ* показался реалисту гр. Толстому слишкомъ *театральнымъ* въ своей подготовленности, для того, чтобы онъ могъ повѣрить этому пожару, т. е. его *подготовленности*. Отъ отвѣтственности за этотъ

пожаръ, какъ извѣстно, впослѣдствіи открещивался самъ любитель театральности Растопчинъ, которому многіе «патріоты» наоборотъ вмѣняли его въ заслугу. Отрицаніе предъумышленнаго пожара Москвы нашимъ авторомъ, конечно, ставится ему въ вину тѣми же патріотами. Онъ, можетъ быть, не опровергъ этого пожара и дѣло остается еще не разгаданнымъ. Но едва-ли какой нибудь *crime de lèze-nation* заключаются въ слѣдующихъ соображеніяхъ. «Москва сожжена жителями, это правда, но не тѣми жителями, которые оставались въ ней, а тѣми жителями, которые выѣхали изъ нея... Москва, занятая непріятелемъ, не осталась цѣла, какъ Берлинъ, Вѣна и другіе города, только вслѣдствіе того, что жители ея не подносили хлѣбъ-соль и ключи Французамъ, и выѣхали изъ нея». Но параллель между нашей Москвой (хотя бы она и *сама загорѣлась*, какъ можетъ загорѣться всякій, брошенный жителями городъ), параллель между ней и Нѣмецкими мѣстами пораженія проводится у нашего автора еще далѣе. «По степени пораженія Австрійскихъ войскъ, Австрія лишается своихъ правъ и увеличиваются права и силы Франціи. Побѣда Французовъ подъ Іеной и Ауерштедтомъ уничтожаетъ самостоятельное существованіе Пруссіи. Но вдругъ въ 1812 г. Французами одержана побѣда подъ Москвой, Москва взята и вслѣдъ за тѣмъ, безъ новыхъ сраженій, не Россія перестала существовать, а перестала существовать 600 тысячная армія, потомъ Наполеоновская Франція...» И все это окончательно разъясняется нашимъ авторомъ просто, совсѣмъ уже просто. «Выигранное сраженіе не принесло обычныхъ результатовъ, потому что *мужики Карт и Влас*, которые послѣ выступленія Французовъ пріѣхали въ Москву съ подводами грабить городъ и вообще не выказывали лично геройскихъ свойствъ, и все безчисленое множество такихъ мужиковъ *не везли сына въ Москву за хорошія деньги, которыя имъ предлагали, а жгли его*». Все это, конечно, насколько не величаво, не *grand*, какъ и дальнѣйшая характеристика *мужицкой* рас-

правы Руси съ врагомъ. «Наполеонъ съ самаго того времени, какъ въ правильной позѣ фехтованія остановился въ Москвѣ, увидалъ поднятую надъ собою дубину, и не переставалъ жаловаться на то, что война велась противно всѣмъ правиламъ... И благо тому народу, который не какъ Французы въ 1814 г., отсалютовавъ по всѣмъ правиламъ искусства и перевернувъ шпагу эфесомъ, граціозно и учтиво, передаетъ ее великодушному побѣдителю и который въ минуту испытанія, не спрашивая о томъ какъ по правиламъ поступали другіе въ подобныхъ случаяхъ, съ простотою и легкостію поднимаетъ первую попавшуюся дубину и гвоздитъ ею до тѣхъ поръ, пока въ душѣ его чувство оскорбленія и мести не замѣняется презрѣніемъ и жалостью». Все это очень грубо, жестоко,—но въ сущности тутъ все же болѣе человѣчности, чѣмъ во многихъ условіяхъ и требованіяхъ той *благовоспитанной* воинственности, которая завелась современъ многопрославленнаго рыцарства. Дѣло въ томъ, что неграціозно-убійственною дубиной валяютъ врага *до тѣхъ поръ пока*... пока валять его не сдѣлается излишнимъ... Всякое дальнѣйшее проявленіе военной ловкости и стоянье за военную честь, все казовое, отзывающееся безцѣльнымъ турниромъ, отпадаетъ сразу, потому что, по мужицкому Русскому взгляду — война только печальное, скверное, но иной разъ вполнѣ неизбѣжное *средство*, а вовсе не *цѣль*, не своего рода *искусство ради искусства*. «Русскіе, умправшіе на половину, продолжаетъ нашъ авторъ, сдѣлали все, что можно сдѣлать и должно было сдѣлать для достиженія достойной народа цѣли, и не виноваты въ томъ, что другіе Русскіе люди, сидѣвшіе въ теплыхъ комнатахъ, предполагали сдѣлать то, что было невозможно». (Но что требовалось ихъ псевдо-классико-рыцарскими понятіями *о grand*, объ *honneur* и *prestige*)». Генераламъ, *въ особенности не Русскимъ* (остроумно прибавляетъ нашъ авторъ, не разъ подтрунивающій надъ особымъ «патріотизмомъ» именно не Русскихъ людей въ Россійской имперіи), генераламъ, же-

лавшимъ отличиться, удивить кого-то, забрать въ плѣнъ для чего-то какого нибудь герцога или короля — генераламъ этимъ казалось теперь, *когда всякое сраженіе было гадко и безсмысленно*, имъ казалось, что теперь-то самое время давать сраженія и побѣждать кого-то». Квинтэссенціей этого генеральскаго направленія являются у нашего автора слова Милорадовича: «дарю вамъ, ребята, эту колонну»;—слова сказанныя въ томъ же «патріотическомъ духѣ» Нѣмецкихъ Россіянъ (хотя Милорадовичъ былъ и Славянскаго происхожденія) Кутузовъ никогда бы не сказалъ этихъ словъ,—онъ, такъ долго дававшій дѣйствовать первобытной дубинѣ—съ тѣмъ, чтобы сама она и опустилась въ свое время. И въ этомъ онъ былъ истымъ сыномъ народа, заставляющаго даже грубыхъ богатырей тяготиться «напрасною кровью» *).

Въ этомъ, мнѣ кажется, опять едвали можно видѣть у нашего автора «предвзятые взгляды и системы». Всего менѣе можетъ ихъ тутъ увидѣть самъ И. С. Тургеневъ; ему стоитъ лишь вспомнить своего Касьяна съ Красивой мечи: «кровь, святое дѣло кровь» и т. д. **) Авторъ «Записокъ Охотника» вывелъ не мало и самъ въ высшей степени симпатическихъ представителей такъ называемой у гр. Л. Н. Толстого «роевой силы». Но онъ можетъ быть не согласенъ съ послѣднимъ въ ея историческомъ значеніи, въ томъ, что собственно она то и вывезла насъ въ 1812 г., предводимая тѣмъ единственнымъ понимавшимъ ее вождемъ, вся сила котораго и заключалась собственно въ этомъ пониманіи?

Можно несоглашаться съ гр. Л. Н. Толстымъ въ самомъ его опредѣленіи *роевой силы*. «Есть двѣ стороны жизни въ каждомъ человѣкѣ, говоритъ онъ: жизнь личная, которая тѣмъ болѣе свободна, чѣмъ отвлеченнѣе ея

---

*) Народные взгляды на это (по былевому эпосу) изложены въ моей статьѣ: „Напрасная кровь по понятію Русскаго народа". (Сборникъ моихъ статей—„Славянство и Европа". стр. 365—372.

**) См. выше стр. 5.

интересы, и жизнь стихійная, *роевая*, гдѣ человѣкъ неизбѣжно пополняетъ предписанные ему законы». Можно замѣтить ему, что онъ самъ далеко не всегда усматриваетъ въ человѣческой массѣ такую просто-физическую стихійность. Можно болѣе соглашаться съ нимъ, когда самъ-же онъ говоритъ о совпаденіи *произволовъ* всѣхъ людей, участвующихъ «въ міровыхъ событіяхъ». — Всѣ эти люди—конечно, *всякіе*, дробные люди, не поднимающіеся надъ однимъ *общимъ* уровнемъ; а между тѣмъ признаетъ же нашъ авторъ за каждымъ изъ нихъ *произволъ*. И всѣ безчисленные Карпы и Власы, хотя бы самые не казистые и подчасъ даже безобразные въ нравственномъ смыслѣ, дѣйствовали не безъ произвола, т. е. не безъ *сознательной воли*, когда жгли свое сѣно вмѣсто того, чтобы выгодно его продавать Французамъ.

Сказавъ о стремленіи своихъ Карповъ и Власовъ къ поживѣ на развалинахъ Москвы, нашъ авторъ обнаружилъ полнѣйшую неохоту сколько нибудь идеализировать и ту силу, которая, по его мнѣнію, вывезла насъ. И въ другихъ случаяхъ онъ вовсе не прячетъ тѣхъ проявленій грубости, всякихъ «звѣринскихъ» обычаевъ и даже «скотскихъ» поползновеній (употребляю безцеремонныя прилагательныя лѣтописца Нестора), которыхъ, конечно, не мало найдется въ «роевой силѣ». «До смерти убилъ—хозяйку убилъ!... ѣхать просилась. Дѣло женское... Не погуби ты меня съ малыми дѣтьми»—Всенародно сознается злодѣй самодуръ Ѳерапонтовъ. — И тотъ же Ѳерапонтовъ тутъ-же оказывается не просто и только звѣремъ, но и участникомъ въ великомъ народномъ порывѣ къ жертвамъ: «тащи все, ребята, не доставайся дьяволамъ... Рѣшилась Россія!... самъ запалю. Рѣшилась!..» И онъ совершаетъ подвигъ, приписываемый Растопчину и оспариваемый у него, какъ мы знаемъ, гр. Л. Н. Толстымъ.

Нашъ авторъ не скрываетъ и того, что «ежели казаки не поймали Наполеона, то спасло его то же, что̀ губило Французовъ: добыча, на которую, оставляя людей, бросались казаки». Вовсе не припрятанъ у гр. Л. Н. Толстого

и «Тихонъ пластунъ, пристрѣливающій негожающихъ плѣнныхъ Французовъ».

Съ другой стороны онъ охотно останавливается и на мягкихъ, гуманныхъ чертахъ Французовъ, т. е. роевой силы того народа, котораго *Napoléon le grand* съ его боязнію *ridicule* такъ для него отвратителенъ. «Faut être humain, sommes tous mortels» говоритъ у него простой Французскій солдатъ, роднящійся этимъ взглядомъ съ любимцемъ нашего автора, Платономъ Каратаевымъ».

Какой прелестный *genre*, но genre не во вкусѣ Фламандскихъ, а согрѣтый теплой идеальной струей—оказывается у гр. Л. Н. Толстого въ сценѣ между Каратаевымъ и Французомъ, пришедшимъ къ нему за заказанною ему рубашкой. Французъ сначала не совсѣмъ доволенъ работой Платона. «Чтожь, соколикъ, вѣдь это не швальня, отвѣчаетъ тотъ, и струмента настоящаго нѣтъ, а сказано: безъ снасти и вша не убьешь... «C'est bien, c'est bien, merci; mais vous devez avoir de la toile de reste»... Пьеръ видѣлъ, что Платонъ не хотѣлъ понимать того, что говорилъ Французъ... «На что ему остатки? Намъ подверточки-то важныя бы вышли. Ну да Богъ съ нимъ». И Каратаевъ вдругъ съ измѣнившимся грустнымъ лицомъ досталъ изъ за пазухи свертокъ обрѣзковъ и, не глядя на него, подалъ Французу... «Эхма... ма»! Французъ поглядѣлъ на полотно, задумался, взглянулъ вопросительно на Пьера, и какъ будто взглядъ Пьера что-то сказалъ ему: «Platoche, dites donc, Platoche,—gardez pour vous, сказалъ онъ, подавая обрѣзки, повернулся и ушелъ... «Вотъ поди ты... говорятъ—нехристи, а тоже душа есть. То-то старички говаривали: потная рука таровата, сухая неподатлива. Самъ голый, а вотъ отдалъ же»...

Мораль этой картинки не та ли, что «потныя руки» всѣхъ странъ готовы протянуться другъ къ другу, что народы, откинувъ все то «искусственное, лишнее», надъ чѣмъ такъ задумывался Пьеръ, преотлично могли бы уживаться въ мирѣ? Эта ли точка зрѣнія можетъ быть названа

«предвзятою», отзывающеюся «пристрастіемъ къ своему народу» и «несвободною»?

Со значеніемъ Платона Каратаева въ жизни Пьера мы уже отчасти знакомы. Это живое воплощеніе мысли, что «сопрягать надо», выводитъ его изъ его безплодныхъ Саломоновскихъ думъ о «суетѣ суетъ—всяческой суетѣ».

«Э, соколикъ, не тужи... часъ терпѣть, а вѣкъ жить. Вотъ такъ-то, милый мой. А живемъ тутъ, слава Богу, обиды нѣтъ» (это въ плѣну-то). Тѣже люди и худые и добрые есть»... На жалобы Пьера на то, что его схватили—судили безъ всякаго основанія, Каратаевъ въ духѣ прадѣдовскаго опыта замѣчаетъ ему: «гдѣ судъ, тамъ и неправда».—На вопросъ Пьера: «чтожь тебѣ не скучно здѣсь»? Платонъ отвѣчаетъ: «Какъ не скучно, соколикъ... Москва, она городамъ мать! Какъ не скучать на это смотрѣть. Да червь капусту гложе, а самъ прежде того пропадае... Я говорю не нашимъ умомъ, а Божьимъ судомъ». Т. е. онъ говоритъ тѣмъ *судомъ Божьимъ*, который совпадаетъ съ *судомъ народнымъ*, сказавшимся въ постоянно расходуемыхъ Платономъ, какъ собственность, *пословицахъ* (въ одной изъ нихъ говорится недаромъ, что на пословицу да на правду—суда нѣтъ),—въ этихъ изреченьяхъ народныхъ, «которыя по замѣчанію автора, кажутся столь незначительными, взятыя отдѣльно, и которыя получаютъ вдругъ значеніе глубокой мудрости, когда онѣ сказаны кстати».

Мы знаемъ уже, какъ пожалѣлъ Каратаевъ о томъ, что Пьеръ выросъ внѣ семьи, что у него «не было родителей, въ особенности матери»... «Жена для совѣта, теща для привѣта, а нѣтъ милѣй родной матушки»... говоритъ Каратаевъ. Но Пьеръ выросъ не только внѣ семьи, онъ выросъ и внѣ всякой общественной почвы, той почвы, которая чувствуется подъ Каратаевымъ, какъ это слышно въ самыхъ его пословицахъ, во всѣхъ его взглядахъ и думахъ, въ которыхъ живо еще воспитательное начало *общины*, давно исчезнувшее для нашего барства съ его вовсе не воспитательнымъ началомъ *служилости*,—моральный изъянъ, не легко поправимый и всею космополити-

ческою книжною мудростью — при соблазнахъ, представляемыхъ высшими ступенями служилой лѣстницы. Мысль о томъ, что «сопрягать надо», давшаяся такъ не сразу Пьеру при *барской* его образованности,—мысль эта, какъ что-то совсѣмъ обыкновенное, давно вошла въ плоть и кровь Каратаева и утѣшала его среди всѣхъ его житейскихъ невзгодъ. Разсказавъ о томъ, какъ онъ поѣхалъ въ чужую рощу за лѣсомъ (не безъ вліянія представленій объ *общемъ добрѣ*), какъ его потомъ сѣкли, судили и отдали въ солдаты, Каратаевъ утѣшительно философствуетъ: «думали: горе, анъ радость! Брату бы итти, кабы не мой грѣхъ. А у брата самъ-пятъ ребятъ, а у меня, гляди, одна солдатка осталась... Рокъ головы ищетъ, а мы все судимъ... то не хорошо, то не ладно»... Употребляя всѣ старанья утѣшить совсѣмъ ему незнакомаго, попавшагося въ бѣду барина, онъ ссылается и на то, что непрочность счастья — *общая* человѣческая участь: «наше счастье, дружокъ, какъ вода въ бреднѣ, тянешь — надулось, а вытащишь—ничего нѣту»... «Отъ сумы, да отъ тюрьмы никогда не отказывайся», научаетъ онъ одного изъ тѣхъ, которыхъ только совершенная исключительность обстоятельствъ заставляетъ испытать на собственной кожѣ этотъ выводъ народнаго опыта. «Положи, Боже, камушкомъ, подними калачикомъ». «Легъ свернулся, всталъ встряхнулся» весело пошучиваетъ Каратаевъ въ плѣну. Съ другой же стороны въ немъ сказывается и столь свойственное нашему народу увлеченіе, такъ сказать, поэзіею страданья, это своего рода умѣніе радоваться доставшейся и на *мою* грѣшную долю чашѣ общаго, неисчерпаемаго и вовѣки вѣчные, горя. Такое восторженное настроеніе слышится въ разсказѣ Каратаева о невинно пострадавшемъ купцѣ. «Не самый разсказъ этотъ, но таинственный смыслъ его, та восторженная радость, которая сіяла на лицѣ Каратаева... это-то смутно и радостно наполняло душу Пьера»... Каратаевъ, повидимому, счелъ бы себя «заѣдающимъ чужой вѣкъ», если бы на долю его досталась какая нибудь особенно счастливая, завидная для множества ему подобныхъ, доля.

«Жизнь его, какъ онъ самъ смотрѣлъ на нее, не имѣла смысла, какъ отдѣльная жизнь. Она имѣла смыслъ только какъ частица цѣлаго, которое онъ постоянно чувствовалъ».

Но авторъ, заставивъ своего Пьера подъ впечатлѣніемъ Каратаева сбросить съ себя все «искусственное и лишнее», увѣряетъ насъ, что нѣчто подобное совершилось сперва въ плѣну и съ самимъ Каратаевымъ: «обросшій бородою, онъ видимо отбросилъ отъ себя все напущенное на него чуждое, солдатское, и невольно возвратился къ прежнему крестьянскому народному складу». Это совершенно понятно: Русскій человѣкъ и не скидывая солдатской амуниціи способенъ сохранять свой человѣчный крестьянскій складъ или, лучше сказать, надѣвая на себя амуницію, не напускать на себя вмѣстѣ съ нею почти ничего, чуждаго своему природному складу *). И въ Пьерѣ, не смотря на его воспитаніе внѣ семьи подъ вліяніемъ эмигранта-аббата, а потомъ иностранныхъ книжекъ, ущѣлѣлъ Русскій человѣкъ, и вліянію на него Каратаева именно и содѣйствовало то, что въ самомъ Пьерѣ, какъ мы уже слышали, «было то неопредѣленное, исключительно Русское чувство презрѣнія ко всему условному, искусственному человѣческому, ко всему тому, что̀ считается большинствомъ людей высшимъ благомъ міра».

Скажутъ, что въ этомъ опять—*пристрастіе* автора къ своему народу? Но развѣ взглядъ этотъ не оправдывается, ну хотя бы господствующимъ направленіемъ самой Русской литературы съ тѣхъ поръ, какъ она была выведена Пушкинымъ и Гоголемъ на стезю простоты, правды и ненависти ко всякой фальши и аффектаціи, ко всему напускному и дѣланному, такъ долго, правда, надъ ней тяготѣвшему во времена подражательности, но за то и сброшенному такъ легко и рѣшительно и, разумѣется, разъ на всегда.

*) Это вполнѣ обнаружилось въ нынѣшнюю ужаснѣйшую изъ войнъ, среди которой Русскій человѣкъ, скромно свершая свой солдатскій подвигъ, оставался вполнѣ *человѣкомъ*—сколько бы ни клеветали на него умышленно и неумышленно.

Сомнительное пожиманье плечами со стороны всѣхъ тѣхъ, кого такъ мѣтко объединилъ И. С. Тургеневъ въ своемъ Потугинѣ, вызываетъ, конечно, слѣдующая параллель между взглядами Пьера и Виллярскаго. «Присутствіе и замѣчанія Виллярскаго, постоянно жаловавшагося на бѣдность, отсталость отъ Европы, невѣжество Россіи, только возвышали радость Пьера. Тамъ гдѣ Виллярскій видѣлъ мертвенность, Пьеръ видѣлъ необычайно могучую силу жизненности, ту силу, которая въ снѣгу, на этомъ пространствѣ, поддерживала жизнь этого цѣлаго, особеннаго и единаго народа»;—народа, вызывающаго у нашего автора слѣдующее замѣчаніе иностранца: «C'est un sacrilège que de faire la guerre à un peuple, comme le vôtre... Вы, пострадавшіе столько отъ Французовъ, вы даже злобы не имѣете противъ нихъ».

Ужь не въ этомъ ли наконецъ та Ахиллесова пятка нашего автора, которую усмотрѣлъ у него И. С. Тургеневъ? (хотя я и не считаю доказаннымъ мнѣніе, будто Потугинъ — это онъ самъ). Правда, гр. Л. Н. Толстой попадаетъ иной разъ въ тонъ со столь немилыми для Потугина Славянофилами, этими людьми буквы *буки*. Правда, что онъ вмѣстѣ съ ними, можетъ быть, слишкомъ односторонне останавливается на нашемъ народномъ *смиреньи* и вообще на преобладающей *смирности* нашего типа, хотя вмѣстѣ съ ними способенъ усматривать и перерожденіе этого достоинства въ положительный недостатокъ. Но вѣдь и И. С. Тургеневъ въ своихъ личностяхъ изъ народа преимущественно выводитъ тотъ же *смирный типъ*. Проявленія нашего *хищнаго типа* собраны у Достоевскаго въ его «Мертвомъ домѣ»; — но вѣдь и сквозь эту самую *хищность* порою проглядываютъ черты того же смирнаго по природѣ типа. Онъ особенно дорогъ гр. Л. Н. Толстому по его совершенной противоположности тому типу, котораго главнымъ представителемъ является у него Наполеонъ, — невозможный, по его взгляду, на Русской почвѣ.

Нашему автору, какъ и Николаю Ростову, просто противенъ «самодовольный Бонапартъ съ своей бѣлой ручкой»,

когда онъ въ Тильзитѣ прикладывалъ ею орденъ къ груди Русскаго солдата. «Для чего же оторванныя руки, ноги, убитые люди?» Автору противно слѣпое преклоненье передъ этимъ «счастливымъ отъ несчастья другихъ человѣкомъ», то увлеченіе добровольнымъ раболѣпіемъ, до какого онъ доводилъ своихъ окружающихъ. «При Нѣманѣ на всѣхъ лицахъ было одно общее выраженіе восторга и преданности къ человѣку въ сѣромъ сюртукѣ, стоявшему на горѣ... Наполеонъ положилъ трубу на спину подбѣжавшаго счастливаго пажа... Польскій полковникъ попросилъ позволенія переплыть со своими уланами черезъ рѣку... Адъютантъ сказалъ, что вѣроятно императоръ не будетъ недоволенъ... Они гордились тѣмъ, что плывутъ и тонутъ подъ взглядами человѣка... для котораго не ново было убѣжденіе въ томъ, что присутствіе его на всѣхъ концахъ міра одинаково... повергаетъ людей въ безумное самозабвеніе». Авторъ доходитъ до большаго еще негодованія, рисуя намъ другую картину: «во время бѣгства... не смотря на именованіе другъ друга величествами, высочествами и двоюродными братьями, всѣ они чувствовали, что они жалкіе и гадкіе люди, надѣлавшіе много зла... И не смотря на то, что они притворялись, будто заботятся объ арміи, они думали только каждый о себѣ и о томъ, какъ бы поскорѣе уйти и спастись»... «C'est grand! говорятъ историки, и тогда уже нѣтъ ни хорошаго, ни дурного, а есть *grand* и не *grand*. *Grand*—хорошо; не *grand*—дурно. ... *Grand* есть свойство, по ихъ понятіямъ, какихъ-то особенныхъ животныхъ, называемыхъ героями. И Наполеонъ, убираясь въ теплой шубѣ домой отъ гибнущихъ не только товарищей, но людей, имъ приведенныхъ сюда, чувствуетъ que c'est grand, и душа его спокойна... И весь міръ 50 лѣтъ повторяетъ: Sublime, grand! Napoléon le grand! И никому въ голову не придетъ, что признаніе величія, неизмѣримаго мѣрой хорошаго и дурного, есть только признаніе своей ничтожности и неизмѣримой малости... Но для насъ, съ данной намъ Христомъ мѣрой хорошаго и

дурного, нѣтъ неизмѣримаго. *И нѣтъ величія тамъ, гдѣ нѣтъ простоты, добра и правды*».

Наполеонъ, по мнѣнію нашего автора, на всей высотѣ лживаго своего величія «до конца жизни своей не могъ понимать ни добра, ни красоты, ни истины, ни значенія своихъ поступковъ»... Гр. Л. Н. Толстой остается, очевидно, подъ впечатлѣніемъ письма Наполеона въ Парижъ съ Бородинскаго поля, что «le champ de bataille a été superbe»,—*superbe* потому, что на полѣ брани было 50,000 труповъ. Онъ не скрываетъ однакожъ, что съ мѣста своего изгнанія, придя въ себя отъ того словолюбиваго чада, которымъ привыкъ онъ дышать, тотъ же Наполеонъ писалъ: «у меня былъ бы *мой конгрессъ* и *мой священный союзъ*. Эти идеи у меня похитили. Въ собраніи властелиновъ міра мы бы обсуждали наши интересы семейнымъ образомъ... Европа обратилась бы скоро въ одинъ народъ, и каждый, путешествуя всюду, вездѣ оставался бы въ общемъ отечествѣ. Я бы добился свободнаго для всѣхъ плаванія по всѣмъ рѣкамъ, общности морей и наконецъ сведенія большихъ постоянныхъ армій на степень простой стражи государей... Вернувшись во Францію, я объявилъ бы границы ея неподвижными, всякую будущую войну чисто оборонительною, всякое будущее приращеніе — противнымъ интересамъ націи (antinational)». Да, но нашъ авторъ, очевидно, не вѣритъ этимъ своего рода Манилювскимъ думамъ льва, лишившагося когтей. Общечеловѣческія благодѣянія, разносимыя на остріѣ завоевательнаго меча, справедливо представляются ему подозрительными...

Но авторъ, повидимому, не задумался надъ словами своего Пьера: «теперь война противъ Наполеона. Ежели бы это была война за свободу... я бы первый поступилъ въ военную службу, но помогать Англіи и Австріи... это нехорошо». Правда, по мнѣнію Пьера, это нехорошо потому, что Англіи и Австріи помогали «противъ величайшаго человѣка въ мірѣ» и онъ, конечно, хватилъ черезъ край, назвавъ «величайшимъ человѣкомъ» Наполеона. Но Пьеръ приводитъ свои основанія на то, чтобы считать Наполеона

великимъ. «Бурбоны, говоритъ онъ, бѣжали отъ революціи, предоставивъ народъ анархіи... Наполеонъ великъ, потому что онъ сталъ выше революціи, подавилъ ея злоупотребленія, удержавъ все хорошее: и *равенство гражданъ*, и *свободу слова и печати*, и только потому пріобрѣлъ власть...»

Равенство гражданъ, *свобода слова* развѣ это не носитъ на себѣ печати «добра, простоты и правды», той печати, которою, по взгляду нашего автора, отличается истинное величіе? И можно ли назвать добрымъ, простымъ и правдивымъ то, что отстоявшій свое отечество и, какъ говорили тогда, «освободившій Европу» народъ — самъ оставался и послѣ того подъ ярмомъ крѣпостного права? И было развѣ добро, простота и правда въ томъ, что когда освободительная война смѣнилась конгрессами, тогда началась полоса той свободобоязни, при которой даже права Султана надъ Христіанами стали представляться законными?...

Не даромъ нашъ авторъ, согласно съ Кутузовымъ, самъ находитъ совсѣмъ неблагопріятнымъ перенесенье войны за предѣлы Россіи... Могъ ли Наполеонъ, предоставленный самому себѣ, счесть наконецъ утоленною свою жажду завоеваній—это, конечно, вопросъ, какъ вопросъ и то, насколько установленные имъ мирные порядки подходили бы къ тѣмъ благодѣтельскимъ мечтамъ, которыми онъ себя ублажалъ на островѣ св. Елены? Но несомнѣнно и неоспоримо то, что порядки, водворившіеся въ Европѣ вслѣдъ за сверженьемъ Наполеона, никого не облагодѣтельствовали. При видѣ этихъ порядковъ могли только отъ удовольствія потирать себѣ руки Меттерниховская Австрія и Веллингтоновская Англія, особенно когда передъ ними открылось зрѣлище той человѣческой почти стотысячной гекатомбы, которая такъ вольготно принесена была Турками предъ кумиромъ Европейскаго *status quo*.

Коря Наполеона, нашъ авторъ, очевидно, признаетъ то начало *нравственной отвѣтственности*, котораго нельзя изгнать изъ исторіи. Водворивъ въ ней одинъ «механизмъ»

пришлось бы отказаться отъ лучшихъ человѣческихъ требованій. Между тѣмъ мѣстами гр. Л. Н. Толстой становится близокъ къ тому, упоминая о какомъ-то «приведеніи исторіи къ ея дифференціалу» и «намекая на то, что людьми управляетъ только ихъ натура» и какой-то не то древне-классическій, не то даже Индѣйскій фатумъ. Мы уже видѣли, что играющая у автора такую огромную роль «роевая сила», является у него нравственно не свободною: «тутъ, говоритъ онъ, человѣкъ неизбѣжно исполняетъ предписанные ему законы». Но мѣстами гр. Л. Н. Толстой доходитъ даже до того, что не признаетъ вообще возможности сознательнаго стремленія къ общественному благу. «Для человѣка, не одержимаго страстью, говоритъ онъ, *bien public* никогда неизвѣстно; но человѣкъ, совершающій преступленіе, всегда вѣрно знаетъ, въ чемъ состоитъ это благо». То есть, какъ можно догадываться по другимъ подходящимъ фразамъ автора, такой человѣкъ *воображаетъ* себя знающимъ это благо, и имъ же, этимъ же благомъ, оправдываетъ свое преступленіе. Въ этомъ смыслѣ, по крайней мѣрѣ, авторъ говоритъ про Наполеона: «онъ, предназначенный Провидѣніемъ на печальную несвободную роль палача народовъ, увѣрялъ себя (на Св. Еленѣ), что цѣль его поступковъ была благо народа, и что онъ могъ руководить судьбами милліоновъ и путемъ власти дѣлать благодѣянія». Но всего этого еще мало;—авторъ наконецъ утверждаетъ: «только одна безсознательная дѣятельность приноситъ плоды, и человѣкъ, играющій роль въ историческомъ событіи, никогда не понимаетъ его значенія. Ежели онъ пытается понять его, онъ поражается безплодностью». Но если такъ, то авторъ превзошелъ своего кн. Андрея. Тотъ, какъ мы видѣли, одно время думалъ, что животная жизнь — есть самая счастливая жизнь. У автора же выходитъ, что животная жизнь есть и самая разумная жизнь. Но у кн. Андрея, какъ мы знаемъ, это былъ только временной процессъ мысли, психологически объясняемый тѣмъ озлобленіемъ задѣтаго барскаго самолюбія, которое и разрѣшилось наконецъ за-

маскировывающимъ Weltschmerz'омъ особаго индѣйствующаго покроя. Ну, а у нашего автора откуда эта допотопная философія?

Она-то и составляетъ у него въ самомъ дѣлѣ то, въ чемъ онъ оказывается, по выраженію И. С. Тургенева, «несвободнымъ». Но въ этомъ видѣ его «несвободы» рѣшительно не замѣтенъ слѣдъ тѣхъ «предвзятыхъ идей и системъ», которыя «пристрастны къ своему народу и къ своей исторіи», и подъ которыми, кажется, И. С. Тургеневъ разумѣетъ «предвзятые взгляды» и «системы» *славянофильства*.

У Славянофиловъ есть свои «парадоксы»—наприм. знаменитый ихъ парадоксъ о «гніеніи Запада», достойный, по своей содержательности, стать на ряду съ парадоксомъ Прудона, que la propriété c'est le vol и со старымъ пародоксомъ Руссо о «вредѣ просвѣщенія». Славянофильскій парадоксъ приводитъ къ пересмотру многаго и очень многаго въ настоящемъ состояніи Запада въ смыслѣ текста: «по плодамъ познавайте дерево»,—къ пересмотру, потребность котораго сказалась и въ самой западной Европѣ, и въ Америкѣ, у нѣкоторыхъ горячихъ умовъ, изреченіями весьма не далекими отъ парадокса Славянофиловъ. Парадоксъ Прудона въ свою очередь приводитъ къ пересмотру «историческихъ основъ» такъ называемой «собственности» на Западѣ, *собственности*, съ которою несовмѣстною представлялась тамъ (начиная съ Лагарпа), наше начало освобожденья крестьянъ съ землею. Такъ и парадоксъ Руссо приводилъ въ свое время, приводитъ и будетъ еще приводить всѣхъ, неспособныхъ успокоиться съ Гётевскимъ Вагнеромъ, къ провѣркѣ достигнутыхъ пока результатовъ Европейской образованности и оцѣнкѣ этихъ результатовъ безъ Маниловскаго сентиментализма и легковѣрія. Все это, стало быть, парадоксы, дающіе толчокъ мысли, т. е. парадоксы производительные. Совершенно не то у гр. Л. Н. Толстого; его парадоксальничанье на избитую со временъ браманизма фаталистическую тему,—которое, чтобы быть совершенно послѣдовательнымъ, должно привести

насъ вспять къ душеспасительному стоянью на одной ногѣ и устремленію взгляда въ одну точку.

Это безпричинное парадоксальничанье, такъ сказать, изъ любви къ искусству претитъ лучшимъ сторонамъ человѣческой природы, сказывающимся у нашего автора съ такою увлекательною силою хотя бы, напримѣръ, въ слѣдующей, рисуемой имъ картинѣ: «надъ всѣмъ полемъ, прежде столь весело красивымъ, съ блескомъ штыковъ и дымами въ утреннемъ солнцѣ, стояла теперь мгла сырости и дыма и пахло странной кислотой селитры и крови. Собрались тучки, и сталъ накрапывать дождикъ на убитыхъ, на раненныхъ, на испуганныхъ и на изнуренныхъ, и на сомнѣвающихся людей. Какъ будто онъ говорилъ: «довольно, довольно, люди. Перестаньте, опомнитесь... Что вы дѣлаете?.. Зачѣмъ, для кого мнѣ убивать и быть убитому?.. Дѣлайте, что хотите, а я не хочу больше»! Мысль эта къ вечеру одинаково созрѣла въ душѣ каждаго».—Но развѣ мысль эта — хотя бы и возникшая первоначально изъ чувства, чувства, ставшаго наконецъ опредѣленнымъ и яснымъ какъ *мысль*—есть произведеніе животно-безсознательной жизни?

Нѣтъ, оттого, именно оттого, что, несмотря на всѣ успѣхи цивилизаціи, еще слабо въ человѣческомъ мірѣ *сознаніе*, — долго, долго еще будетъ литься кровь. Если цивилизованный міръ въ эпоху конгрессовъ равнодушно смотрѣлъ на человѣческую гекатомбу, принесенную въ Турціи,—то при этомъ нельзя было утѣшать себя даже тѣмъ, что это послѣдняя гекатомба. Увы, гекатомба эта повторится—такъ какъ всѣ средства и орудія цивилизаціи, доставшіяся человѣку такъ дорого, правятъ еще старую службу грубымъ инстинктамъ взаимнаго недовѣрія и выглядыванія другъ у друга добычи. Да, гекатомба эта повторится, и, чтобы положить конецъ этимъ жертвамъ политическому Молоху, понадобится опять таки *кровь*—понадобится новая война, страшная, жесточайшая, но за то въ самомъ дѣлѣ освободительная и обновительная война, война, дѣйствительно пролагающая стезю

къ прочному миру въ будущемъ. И народъ, которому придется вести такую войну, поражая даже крѣпкіе нервы «видавшаго виды» просвѣщеннаго міра побѣдоноснымъ мученичествомъ своихъ сыновъ,—отпразднуетъ послѣ такой войны и собственное свое обновленіе, и обновленіе той «Европейской семьи народовъ», о которой такъ театрально мечталъ изгнанникъ св. Елены. И все это совершится просто, безъ театральности—и послѣ этого не должна уже, разумѣется, возродиться эпоха конгрессовъ съ ея послѣдствіями... *).

*) Сознаюсь, что заключеніе этой лекціи передѣлано теперь—подъ современными впечатлѣніями.

Русская литература послѣ Гоголя.

(За исключеніемъ драматической).

ПРЕДИСЛОВІЕ.

Лекціи эти, читанныя въ С.-Петербургскомъ Собраніи Художниковъ, появляются въ печати вслѣдствіе того, что имъ удалось быть хорошо стенографированными. Мнѣ послѣ этого уже нетрудно было сгладить нѣкоторыя неисправности (которыхъ, по всей вѣроятности, самъ я не умѣлъ избѣгнуть при устномъ изложеніи по конспекту), мѣстами же пополнить пропуски, умышленно сдѣланные мною во время чтенія для того, чтобы не употреблять уже слишкомъ во зло терпѣнія публики, которую и безъ того приходилось мнѣ задерживать въ жаркой залѣ значительно долѣе часа. Но я вполнѣ сознаю, что и теперь въ моемъ изложеніи предмета осталось много пробѣловъ, не достаетъ строгой системы, многое не доразвито и т. д. Дѣло въ томъ, что къ систематическому чтенію произведеній нашей новѣйшей литературы я обратился весьма недавно, послѣ того, какъ мнѣ пришлось, уступая потребности слушателей, прочесть (во Владимірскомъ училищѣ) публичные курсы нашей литературы XVIII и первой половины XIX в. и такимъ образомъ незамѣтно подойти къ литературѣ нашего времени. Приступая къ тѣмъ курсамъ, я предупреждалъ, что, при моихъ долголѣтнихъ спеціальныхъ занятіяхъ народною словесностью, я не могъ не отстать отъ новаго періода нашей литературы, а потому и просилъ снисхожденія

къ курсу, который, можно сказать, слагался передъ самими слушателями изъ только-что осиленнаго матеріала. Но и приступая къ настоящему курсу, я былъ болѣе или менѣе въ такомъ же положеніи, а потому и долженъ былъ точно также разсчитывать на снисхожденіе публики... *). Теперь же — прошу снисхожденія у читателей...

Въ моихъ лекціяхъ много цитатъ. Ихъ было бы, можетъ быть, менѣе, еслибы я могъ заранѣе обработать весь курсъ и дать ему, по извѣстному совѣту Горація, полежать въ столѣ. Но я думаю, что хотя бы онъ пролежалъ въ немъ, по тому же совѣту, цѣлыхъ девять лѣтъ и потомъ бы былъ тщательно мною просмотрѣнъ, — и тогда цитаты и изложеніе содержанія авторовъ занимали бы въ немъ все-таки не мало мѣста. По моему, авторы, разбираемые въ курсѣ, должны сами за себя говорить; — тогда только выводы не будутъ произвольны. Если въ моихъ лекціяхъ есть какое-нибудь достоинство, то именно то, что онѣ читались не *по поводу* извѣстныхъ литературныхъ произведеній, а *на основаніи* тщательнаго ихъ разбора.

7 сент. 1874 г.

*) До того времени я читалъ лишь отдѣльныя лекціи о Тургеневѣ и Л. Н. Толстомъ.

ЛЕКЦІЯ I.

Сущность Гоголевскаго направленія.—Критика сороковыхъ годовъ.—Первыя произведенія Григоровича, Тургенева и др.—„Обыкновенная Исторія" Гончарова.

Гоголь, какъ всѣмъ хорошо извѣстно, оставилъ глубокій слѣдъ въ Русской литературѣ; онъ окончательно водворилъ въ ней то, въ чемъ она долго нуждалась, но что̀ ей далось не легко. Въ Русской литературѣ долго преобладало направленіе, чуждое жизни; оно неизмѣнно въ ней сохранялось нетолько при долгосрочномъ вліяніи на насъ вовсе не подходившей къ намъ, ни по возрасту, ни по бытовымъ основамъ своимъ, Византіи, но и при позднѣйшей, все болѣе и болѣе учащавшейся смѣнѣ различныхъ постороннихъ вліяній. Въ этомъ смыслѣ у насъ постоянно господствавала *схоластика*, хотя собственно такъ называемое *схоластическое направленіе* пришло къ намъ заднимъ числомъ изъ Западной Европы на смѣну заматерѣлому Византійству. Такъ называемое схоластическое направленіе замѣнилось *псевдо-классицизмомъ*, въ сущности же оно продолжало существовать и въ этой новой литературной школѣ со всѣми ея героями, не имѣющими ничего общаго нетолько съ нашею жизнью, но даже и съ жизнью какой-либо опредѣленной страны; затѣмъ совершился переходъ къ сентиментальному направленію, дѣланнымъ слезамъ, дѣланнымъ чувствамъ, къ изображенію житья-бытья нашихъ Русскихъ простолюдиновъ въ идиллическомъ блескѣ благодатной Аркадіи—та же старая ложь, тотъ же вѣчный разладъ съ дѣйствительностью! Затѣмъ настала пора ро-

мантизма, съ его заоблачными мечтами, съ его удаленіемъ въ глубь средневѣковой поры и вообще въ отдаленную глубь временъ. Но даже и позже, у Пушкина, представившаго уже блистательные задатки новаго направленія, жизненнаго и правдиваго, даже и у него старая закваска еще сохраняется въ видѣ того *художническаго квіэтизма* (покоелюбія), который запирался въ своемъ самодовольномъ *я* и среди этой привольной пустыни не хотѣлъ уже знать ничего о «житейскихъ волненіяхъ». Но издавна уже, съ другой стороны, начинаетъ просачиваться и иная струя, струя жизненная, правдивая. Она сказывается во многихъ мѣстахъ нашей лѣтописи, запечатлѣнныхъ свѣжестью красокъ нашей родной дѣйствительности, въ смѣло затрогивающей современность проповѣди нѣкоторыхъ духовныхъ писателей, въ стремленіи пѣвца Игорева пѣть «по былинамъ своего времени», она сказывается въ яркой прямотѣ посланія Вассіана къ Ивану III и писемъ Курбскаго къ Грозному. Позже мы видимъ ее въ той вѣрной картинѣ нашихъ до-Петровскихъ порядковъ, которую рисуетъ смѣлое перо самоучки Посошкова, и въ различныхъ запискахъ по современнымъ вопросамъ великаго Ломоносова. Та же струя сказывается въ сатирѣ Кантемира, Фонъ-Визина и Новикова, въ сатиризмѣ нѣкоторыхъ одъ Державина, неожиданно и пріятно изумившемъ тогдашнюю публику, утомившуюся отъ прежнихъ надутыхъ одъ. Въ XIX в. струя эта расширяется въ комедіи Грибоѣдова, въ басняхъ Крылова, въ полныхъ правды картинахъ Русскаго быта у Пушкина и у Лермонтова. Но окончательно пробивается эта струя и становится цѣлымъ могучимъ потокомъ, потокомъ, захватывающимъ почти всю нашу литературу,— только со временъ Гоголя.

Кто не знаетъ Гоголя? Кто не помнитъ его типовъ? Кто не помнитъ, между прочимъ, его «очаровательнаго» Манилова, въ составъ котораго «было черезчуръ много передано сахара»; этого человѣка, который любилъ мечтать о томъ, «какъ было бы хорошо, еслибы вдругъ отъ дома провели подземный ходъ, или черезъ прудъ выстроить ка-

менный мостъ, по обѣимъ сторонамъ котораго стояли бы лавки, и чтобы въ нихъ сидѣли купцы и продавали мелкіе товары, необходимые для крестьянъ». И такимъ образомъ мечтаетъ человѣкъ, у котораго, при его сентиментальномъ ничего-недѣланіи, выжимаетъ сокъ изъ тѣхъ же крестьянъ временщикъ-прикащикъ. Всѣ у Манилова—самые добрые, самые достойные люди. Въ разрядъ этихъ добрѣйшихъ и достойнѣйшихъ людей попадаетъ и самъ Павелъ Ивановичъ Чичиковъ. Извѣстно, что Маниловъ готовъ отдать половину состоянія, чтобы хоть сколько-нибудь усвоить себѣ высокія душевныя качества Павла Ивановича. Извѣстно, что даже намекъ на покупку мертвыхъ душъ только на-время смущаетъ добродушно глядящаго на все, вполнѣ довѣрчиваго Манилова; Павлу Ивановичу достаточно сказать, что это вовсе не будетъ вредить интересамъ Россіи, что онъ самъ благоговѣетъ передъ закономъ, что онъ не даромъ во все продолженіе своей жизни много страдалъ за правду; Маниловъ вѣритъ всему, и, согласившись на продажу мертвыхъ душъ, думаетъ о томъ, какъ бы было пріятно пофилософствовать съ Павломъ Ивановичемъ подъ тѣнью вяза и какъ бы «ихъ за эту трогательную службу само начальство отличило и пожаловало генералами». Но почему же я вспомнилъ этотъ всѣмъ извѣстный типъ? Дѣло въ томъ, что Гоголевскіе типы имѣли самое широкое значеніе; онъ и самъ указываетъ на это въ пояснительныхъ замѣткахъ къ своему «Ревизору». Дѣло въ томъ, что такимъ Маниловымъ, такимъ сладкимъ, все въ розовомъ цвѣтѣ рисующимъ себѣ Маниловымъ оставалась долгое время и Русская литература. *Гоголь уничтожилъ разъ навсегда Маниловщину въ Русской литературѣ.*

Правда, впослѣдствіи, подъ вліяніемъ особыхъ обстоятельствъ, особыхъ явленій своей внутренней жизни, онъ было пытался самъ до нѣкоторой степени воскресить эту Маниловщину въ своей злополучной «Перепискѣ съ друзьями», но это, къ счастію, неудалось ему. Публика, привѣтствовавшая съ такимъ сочувствіемъ его прежнія произве-

денія, какъ извѣстно, отвернулась отъ этой устарѣлой Маниловщины. Критика, въ лицѣ своего даровитѣйшаго представителя, Бѣлинскаго, ополчилась на Гоголя именно за его «Переписку». Къ сожалѣнію, въ лучшую пору литературной дѣятельности Гоголя самъ Бѣлинскій еще не былъ вполнѣ въ состояніи оцѣнить ее во всей глубинѣ ея значенія. Критика Бѣлинскаго, какъ извѣстно, прошла черезъ нѣсколько видовъ развитія. Но въ свой позднѣйшій, совершеннѣйшій видъ, тотъ, который запечатлѣнъ *общественнымъ направленіемъ*, она перешла только тогда, когда Бѣлинскимъ уже были разобраны прежнія и лучшія произведенія Гоголя, разобраны съ точки зрѣнія такъ-называемаго «искусства для искусства», притомъ же подъ вліяніемъ и съ употребленіемъ терминовъ господствовавшей въ то время философской школы—Гегеліянства. «Миргородъ» и «Ревизоръ» разобраны были Бѣлинскимъ еще въ эту пору; потому-то, при всей необыкновенной талантливости критика, эти произведенія Гоголя не могли быть оцѣнены имъ въ томъ смыслѣ, въ какомъ бы онъ несомнѣнно оцѣнилъ ихъ впослѣдствіи, послѣ совершившагося въ немъ перелома. Повѣсти «Миргородъ» и особенно «Ревизоръ» разсмотрѣны были Бѣлинскимъ преимущественно съ точки зрѣнія художническихъ требованій соотвѣтствія идеи и формы, соразмѣрности отдѣльныхъ частей и т. п. Гегелевская же терминологія привела критика къ тому, что всѣ тѣ уклоненія отъ разумной жизни, которыя, попадаясь на всякомъ шагу, стали у насъ едвали не господствующимъ явленіемъ, должны были признаваться *призрачными*. Такимъ образомъ, напримѣръ, и самъ Сквозникъ-Дмухановскій, такъ и бьющій въ глаза яркою выпуклостью своей живой личности, которая воспроизведена у Гоголя, такъ сказать, съ плотью и кровью,—и онъ даже представлялся *призракомъ*, и это, разумѣется, не могло не мѣшать раскрытію настоящаго общественнаго смысла Гоголевскихъ произведеній. Затѣмъ совершился въ Бѣлинскомъ переломъ, послѣ котораго его критика сдѣлалась по преимуществу общественной. Но въ эту пору ему не удалось уже

возвратиться къ подробному разбору лучшихъ произведеній Гоголя; къ этой порѣ относится краткій разборъ «Мертвыхъ душъ», въ томъ злополучномъ 2-мъ изданіи, въ предисловіи къ которому уже съ достаточною ясностью обозначился печальный переворотъ, совершившійся въ Гоголѣ.

Къ этой же лучшей порѣ Бѣлинскаго относится и оцѣнка «Переписки съ друзьями». Но надо замѣтить, что кромѣ того Бѣлинскій явился тогда и истолкователемъ общаго смысла того направленія, которое было внесено Гоголемъ въ русскую литературу *). Оно называется у Бѣлинскаго «школой Гоголя», направленіемъ «натуральнымъ», въ смыслѣ противоположности прежней литературной лжи во всѣхъ ея видахъ. Въ натуральной школѣ Бѣлинскій превозносилъ то, что подъ ея вліяніемъ «поэзія перестала безстыдно лгать, изъ дѣтской сказки превратилась въ быль, не всегда пріятную, отказалась быть гремушкою, подъ которую пріятно прыгать и засыпать». Бѣлинскій хвалилъ въ натуральной школѣ и то, что она обнимаетъ весь человѣческій міръ, не гнушаясь никакими его углами, что она обращается ко всякаго рода людямъ и во всѣхъ этихъ людяхъ умѣетъ отыскать и выставить на видъ человѣческія черты. Вотъ въ этомъ-то широкомъ смыслѣ школа Гоголя продолжается и до сихъ поръ. Господствующій литературный родъ, выдвинутый этой школой, есть, какъ извѣстно, «нравоописательная повѣсть». Съ другой стороны, Гоголь оставилъ глубокій слѣдъ и на поприщѣ драматическомъ; послѣ его знаменитой комедіи явились талантливые послѣдователи, изъ ряда которыхъ особенно выдается въ наше время Островскій. Но я рѣшился на этотъ разъ оставить въ сторонѣ драматическую литературу послѣ Гоголя; я устраняю ее, такъ какъ въ продолженіе 10 лекцій трудно достаточно подробно разобрать даже и главнѣйшихъ представителей нашей нравописа-

*) См. его Обозрѣнія Р. литературы въ 1846 и 1847 гг.

тельной повѣсти. Русская комедія и вообще Русская драма послѣ Гоголя можетъ составить когда-нибудь предметъ особаго курса. Въ настоящее же время, избирая собственно представителей нашей нравоописательной повѣсти, затѣмъ поэта-сатирика и бытописателя, Н. А. Некрасова (онъ же и содержательнѣйшій изъ нашихъ современныхъ поэтовъ) и сатирика въ прозѣ М. Е. Салтыкова (Щедрина), я конечно не могу съ одинаковой подробностью разобрать и каждаго изъ выбранныхъ мною писателей. При этомъ мнѣ представляется возможность съ меньшей подробностью говорить о двухъ первостепенныхъ писателяхъ, которые были уже предметомъ моихъ прежнихъ лекцій,—о Тургеневѣ и о Львѣ Толстомъ. Я буду обращаться въ разныхъ случаяхъ къ тому или другому изъ нихъ, указывая на тѣ или другія черты, соотвѣтствующія или несоотвѣтствующія въ ихъ произведеніяхъ тѣмъ или другимъ чертамъ у другихъ писателей; причемъ я буду опираться на то, что̀ было уже высказано въ моихъ прежнихъ лекціяхъ *). Съ особенною подробностью я разберу сочиненія *Гончарова*, *Достоевскаго*, *Писемскаго*, *Некрасова* и *Щедрина*. Недостатокъ времени не позволяетъ мнѣ съ такимъ же вниманіемъ разобрать многихъ писателей, которые занимаютъ также почетное мѣсто въ нашей литературѣ: *Помяловскаго*, *Рѣшетникова*, *Печерскаго* и другихъ. Но о нѣкоторыхъ писателяхъ я не стану подробно говорить не столько по недостатку времени, сколько потому, что не считаю нужнымъ на нихъ останавливаться; я затрону ихъ только вскользь по поводу кое-какихъ сходствъ, представляемыхъ нѣкоторыми ихъ произведеніями съ нѣкоторыми изъ произведеній писателей, которыхъ я буду разбирать подробно.

---

*) Лекціи мои объ общественныхъ типахъ въ повѣстяхъ И. С. Тургенева, читанныя въ 1870 г., напечатаны были въ „Бесѣдѣ“ 1871 г. Лекція же о хроникѣ гр. Л. Н. Толстого „Война и Миръ“, читанныя въ 1871 г., остались въ то время не напечатанными. P. S. Онѣ возстановлены много теперь по сохранившемуся конспекту (см. выше).

Началомъ дѣятельности лучшихъ нашихъ представителей нравоописательной повѣсти являются такъ-называемые «сороковые года», славные вмѣстѣ съ тѣмъ и по своей критикѣ, главный представитель которой до сихъ поръ еще остается у насъ незамѣненнымъ. Счастливы были всѣ эти писатели, въ своемъ положеніи еще начинающихъ, счастливы тѣмъ, что ихъ сразу привѣтствовала теплая, задушевная, вполнѣ честная критика Бѣлинскаго, которая каждому таланту готова была воздать должное, которая, если и увлекалась иногда, если ради несогласія во взглядѣ и не вполнѣ оцѣнивала тотъ или другой талантъ, то никогда не руководствовалась соображеніями личными, или же тѣмъ, что разбираемый писатель принадлежитъ не тому, а другому *приходу*. Да, счастливы были представители нашей нравоописательной повѣсти, что они выступили на свое поприще въ эту золотую пору отечественной критики!

Критика Бѣлинскаго въ то время достигла высшаго періода своего развитія, но достигла его, къ сожалѣнію, незадолго до его смерти. Тѣ два направленія, которыя боролись въ Бѣлинскомъ, направленіе чисто художническое и направленіе общественное, въ этотъ послѣдній періодъ его дѣятельности вполнѣ примирились; одно стало только дополненіемъ другого. «Искусство—говорилъ въ эту пору Бѣлинскій—прежде всего должно быть искусствомъ; а потомъ уже оно можетъ быть выраженіемъ духа и направленія общества въ извѣстную эпоху». Развивая свою мысль, онъ доказывалъ, что послѣднее вполнѣ достижимо только въ томъ случаѣ, когда искусство вполнѣ искусство, потому что только тогда оно обладаетъ силою дѣйствительно уловить и воплотить въ своихъ созданьяхъ духъ времени.

«Многихъ увлекаетъ волшебное словцо *направленіе*,—говорилъ Бѣлинскій;—не понимаютъ, что въ сферѣ искусства никакое направленіе гроша не стоитъ безъ таланта. Самое направленіе должно быть не въ головѣ только, а прежде всего въ сердцѣ, въ крови пишущаго».

Но если направленіе должно быть *въ крови*, то оно ока-

зывается неразрывно связаннымъ съ художникомъ какъ съ *живымъ человѣкомъ*, а живой человѣкъ не можетъ не откликаться на явленія современной ему дѣйствительности. Поэтому-то, находилъ Бѣлинскій, и ошибаются тѣ, которые «хотятъ видѣть въ искусствѣ какой-то умственный Китай, рѣзко отдѣленный точными границами отъ всего, что̀ не-искусство въ строгомъ смыслѣ слова». Вотъ въ эту-то пору, когда критическіе взгляды Бѣлинскаго окончательно выяснились и опредѣлились, начали свое поприще тѣ молодые таланты, которые теперь справедливо считаются у насъ первостепенными.

Рядомъ съ ними появились и нѣкоторые другіе, также потрудившіеся не мало для Русской литературы и оставившіе въ ней по себѣ въ своемъ родѣ добрую память. Въ эту пору появились первыя произведенія Дружинина, Григоровича, которыя такъ и остались ихъ лучшими произведеніями.

Одна сторона тогдашней нравоописательной повѣсти не могла быть, при тогдашнихъ условіяхъ нашей печати, вполнѣ выяснена критикой Бѣлинскаго; на эту сторону, особенно близкую его теплому сердцу, онъ могъ только дѣлать намеки. Такъ напр., повѣсти Григоровича «Антонъ Горемыка» Бѣлинскій даже не посвятилъ полнаго разбора; онъ отозвался о ней совершенно кратко въ годичномъ обозрѣніи 1847 г., причемъ лишь вообще указалъ на человѣчность, которою она пропитана. Только въ общей характеристикѣ натуральной школы упоминается у него, въ видѣ примѣра, одно изъ дѣйствующихъ лицъ Григоровича (причемъ не поименовывается ни авторъ, ни самая повѣсть); это именно тамъ, гдѣ онъ говоритъ о непріятномъ впечатлѣніи, производимомъ натуральной школой на тѣхъ людей, которые привыкли смотрѣть на книгу, какъ на особаго рода десертъ послѣ вкуснаго обѣда. Представляя себѣ одного изъ подобныхъ людей, Бѣлинскій говоритъ между прочимъ: «Ему надобно было дать балъ, срокъ приближается, а денегъ не было; управляющій его, Никита Ѳедоровичъ, что-то замѣшкался высылкой. Но се-

годня деньги получены, балъ можно дать; съ сигарой въ зубахъ, веселый и довольный, лежитъ онъ на диванѣ, и отъ нечего дѣлать руки его лѣниво протягиваются къ книгѣ.—Опять та же исторія: проклятая книга разсказываетъ ему подвиги его Никиты Ѳедоровича, и ему-то, не знакомому ни съ какими человѣческими чувствами, поручена судьба и участь всѣхъ Антоновъ... Скорѣе прочь ее, скверную книгу!» Уже совершенно невыясненнымъ осталось у Бѣлинскаго содержаніе другой повѣсти Григоровича—«Деревня». Тутъ, какъ извѣстно, для препровожденія времени барыни, которая никогда не видала крестьянской свадьбы, супругу ея приходитъ въ голову выдать замужъ за перваго попавшагося крестьянина бѣдную сироту, и этимъ довершается рядъ тѣхъ бѣдствій, которыя испытала она съ самаго дѣтства. Извѣстно, что когда, послѣ свадьбы, молодые являются съ поклономъ, барыня замѣчаетъ, что у молодой очень печальный видъ; но баринъ успокоиваетъ ее тѣмъ, что у народа самый обрядъ требуетъ слезъ въ продолженіе цѣлой недѣли. Кто глубже Бѣлинскаго могъ чувствовать все значеніе такихъ повѣстей, кто былъ способнѣе его указать на то, что авторъ, идя по стопамъ Гоголя, ушелъ значительно дальше его въ правдивомъ воспроизведеніи народнаго быта? Гоголь, какъ извѣстно, только косвенно указывалъ на язву крѣпостного права; прямого выставленья ея со всѣми ея послѣдствіями мы не видимъ у Гоголя, какъ не видно, или почти не видно того и у Пушкина. Но язва эта вполнѣ раскрывается въ знаменитыхъ, сразу доставившихъ извѣстность Тургеневу, «Запискахъ охотника». И что же? именно эта ихъ сторона и не могла быть выяснена Бѣлинскимъ, который съ полнымъ сочувствіемъ привѣтствовалъ это произведеніе, но долженъ былъ ограничиться указаніемъ на то, съ какой теплотой понимаетъ Тургеневъ «человѣческое» въ народѣ.

Другія произведенія Тургенева, появившіяся при Бѣлинскомъ, не подавали такихъ большихъ надеждъ, какъ «Записки охотника». Ни «Андрей Колосовъ», личность

котораго осталась не довольно выясненной, ни даже «Три портрета» не могли дать понятія о томъ, чѣмъ долженъ былъ сдѣлаться Тургеневъ; но Бѣлинскій, со свойственнымъ ему чутьемъ знатока, обратилъ вниманіе на тѣ стихотворныя произведенія Тургенева, которыя остаются теперь совершенно забытыми и даже самимъ авторомъ считаются, повидимому, недостойными помѣщенія въ полномъ собраніи его сочиненій. Между тѣмъ, Бѣлинскій и въ этихъ опытахъ умѣлъ замѣтить задатки таланта, хотя еще не попавшаго на настоящую свою дорогу. Но, говоря о стихотворной повѣсти Тургенева, «Андрей», герой которой представляетъ существовавшій и до Тургенева типъ Русскаго человѣка, поучившагося кое-чему, далеко не глупаго, но не знающаго, что̀ предпринять, и отъ нечего дѣлать начинающаго видѣть всю цѣль жизни въ одной любви, Бѣлинскій страннымъ образомъ заявилъ мнѣніе, будто бы изображать любовь «не въ талантѣ автора». Множество Тургеневскихъ повѣстей, появившихся уже послѣ Бѣлинскаго, конечно, не подтвердили этого мнѣнія. Съ другой стороны, даровитый нашъ критикъ не отмѣтилъ въ этомъ произведеніи нѣсколько стиховъ, въ которыхъ указываются причины невыясненности распространеннаго у насъ типа «лишняго» человѣка. Мы не разъ еще встрѣтимся съ этимъ типомъ у разныхъ писателей, и въ объясненіе его продолжающейся невыясненности придется припоминать эти Тургеневскіе стихи:

Скучалъ онъ не какъ Байроновъ Корсаръ,
А какъ потомокъ выходцевъ Татаръ,
Скучалъ онъ—да, быть можетъ, оттого,
Что жить въ деревнѣ скучно, что въ столицахъ
Безъ денегъ жить нельзя, что ничего
Онъ цѣлый день не дѣлалъ... Но всего
Не выскажешь никакъ—*пока въ границахъ*
Законности, порядка, тишины
Держаться сочинители должны...

Бѣлинскій обратилъ вниманіе на стихотвореніе Тургенева «Разговоръ»; онъ призналъ въ немъ звучный и силь-

ный стихъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ мысль не самостоятельную. Дѣйствительно, съ перваго взгляда, это странное стихотвореніе поражаетъ какимъ-то запоздалымъ Байронизмомъ во вкусѣ Козлова. Но въ старомъ отшельникѣ, удалившемся въ пустыню отъ неудачной любви, и въ приходящемъ къ нему молодомъ человѣкѣ, разочарованномъ и махнувшемъ на все рукою, въ обмѣнѣ мыслей между старикомъ и юношей Тургеневъ тогда уже выставилъ два поколѣнія, взаимно упрекающія одно другое.

„...Ты въ любви не могъ
Найти покоя.. но любовь
Не благо высшее людей;
Нетерпѣливо пышетъ кровь
Въ сердцахъ немыслящихъ дѣтей...
Они лишь *для себя* живутъ;
Когда жъ минуетъ та пора,
Приличенъ мужу долгій трудъ
На славномъ поприщѣ добра“...

На дальнѣйшія указанія старика, что не слѣдовало разочаровываться и опускать прежде времени руки, молодой человѣкъ отвѣчаетъ:

О, еслибы пророкъ святой
Сказалъ мнѣ: встань! иди за мной!
Клянусь, пошелъ бы я, томимъ
Великой радостью, за нимъ—
За нимъ—на гибель, на позоръ...
И пусть надменный приговоръ
Толпы рабовъ, толпы слѣпой
Гремитъ надъ нимъ и надо мной!
Но гдѣ пророки?“...

Старикъ не удовлетворяется этимъ оправданіемъ: ты долженъ былъ найти этотъ призывный голосъ въ своей собственной груди, говоритъ онъ:

„Такъ будь же проклятъ ты на вѣкъ,
Больной безсильный человѣкъ...
Я, грѣшникъ, здѣсь, одинъ, въ лѣсахъ
Мечталъ о *жизни молодой*,
О новыхъ, сильныхъ племенахъ—
Желалъ блаженныхъ, ясныхъ дней
Землѣ возлюбленной своей“...

Но молодой человѣкъ обращается къ нему самому съ такимъ упрекомъ:

„Теперь я спрашиваю васъ,
О предки наши! Что для насъ
Вы сдѣлали? скажите намъ;
Вотъ—нашимъ доблестнымъ трудамъ
Благодаря—смотрите—вотъ
На сколько выросъ нашъ народъ...
Чтожъ? отвѣчайте намъ... Увы!
Какъ ваши внуки—на покой
Безсмысленный—спѣшили вы
Съ работы трудной, но пустой.

Въ этомъ сопоставленіи двухъ поколѣній, въ формѣ, конечно, странной, уже устарѣлой, заключается какъ-бы программа многихъ послѣдующихъ произведеній какъ самого Тургенева, такъ и другихъ представителей нашей нравоописательной повѣсти; но Бѣлинскій, конечно, не могъ предвидѣть появленія подобныхъ произведеній. Да и вообще, по тѣмъ произведеніямъ Тургенева, которыя появились при немъ, нашъ незабвенный критикъ не могъ составить себѣ полнаго понятія о будущемъ Тургеневѣ; вслѣдствіе этого, насъ не должно удивлять, что Бѣлинскій признавалъ его способнымъ только на физіологическіе очерки. Полноту творческой силы Бѣлинскій видѣлъ собственно въ Гончаровѣ, а это легко объясняется тѣмъ, что Гончаровъ сразу подарилъ насъ такимъ крупнымъ произведеніемъ, какъ «Обыкновенная исторія». Что касается насъ, то, имѣя уже передъ глазами цѣлый рядъ позднѣйшихъ капитальныхъ произведеній Тургенева, мы, конечно, не можемъ согласиться съ мнѣніемъ Бѣлинскаго. Хотя повѣсти Тургенева, сравнительно съ большими романами Гончарова, могутъ представиться и теперь не болѣе, какъ очерками, но въ сущности оно только такъ кажется, и остаться при такомъ мнѣніи можетъ только тотъ, кто смотритъ съ чисто внѣшней стороны, судить о внутренней глубинѣ по объему. Тургеневъ никогда не вдается въ мелочныя подробности, онъ умѣетъ выдѣлить изъ жизни своихъ героевъ нѣсколько такихъ моментовъ,

которыми съ достаточною ясностью обозначается ихъ природа; повѣсти его не длинны, но въ нихъ не менѣе содержанія, чѣмъ въ подробныхъ романахъ Гончарова, отличающихся тщательною отдѣлкою мелочей, тонкимъ анализомъ всевозможныхъ оттѣнковъ въ характерахъ дѣйствующихъ лицъ, духовная сущность которыхъ постепенно выказывается почти непрерывающимся рядомъ ихъ похожденій.

Бѣлинскій находилъ также, что Тургеневъ можетъ изображать только то, что онъ видѣлъ своими глазами и что предварительно изучалъ, — чистаго творчества нашъ критикъ не признавалъ въ немъ. Мы въ настоящее время должны видоизмѣнить это мнѣніе въ томъ смыслѣ, что, дѣйствительно, на Тургенева имѣетъ большое вліяніе все, что происходитъ вокругъ него, что онъ въ высшей степени отзывчивъ на всѣ явленія современной жизни. Онъ слѣдитъ за нарожденіемъ новыхъ типовъ, новыхъ направленій, онъ ихъ немедленно схватываетъ и воспроизводитъ, и, дѣйствительно, можетъ воспроизводить только то, что у него на глазахъ. Съ тѣхъ поръ, какъ онъ сталъ только рѣдко, и то не надолго, бывать въ Россіи, мы уже не находимъ въ его повѣстяхъ воспроизведенія новыхъ явленій Русской жизни. Если въ «Дымѣ» еще выказались нѣкоторыя современныя стороны, то это только такія, которыя Тургеневъ могъ подмѣтить въ своихъ Баденъ-Баденскихъ соотечественникахъ. Литвиновъ, конечно, не такъ удался, какъ представители фрондерствующаго барства, свившаго себѣ гнѣздо въ Баденъ-Баденѣ. Позднѣйшая крупная повѣсть Тургенева «Вешнія воды», при удивительной художественности выполненія, только повторяетъ старый типъ празднаго Русскаго барича, проводящаго время въ сердечныхъ дѣлахъ, да и въ нихъ-то оказывающагося пошленькимъ. Именно такой писатель, какъ Тургеневъ, и не долженъ бы былъ покидать своего отечества, чтобы остаться художникомъ-лѣтописцемъ дальнѣйшаго хода его внутренней жизни*).

*) Онъ захотѣлъ опять быть имъ въ „Нови“, но не вполнѣ удачно.

Но такая зависимость Тургенева отъ живыхъ впечатлѣній составляетъ въ немъ вовсе не недостатокъ, а скорѣе достоинство. Гончаровъ не такъ скоро подчиняется впечатлѣніямъ: онъ, такъ сказать, тяжелъ на подъемъ. Всякое свое произведеніе онъ тщательно обрабатываетъ, отдѣлываетъ до мельчайшихъ подробностей, даетъ ему вылежаться въ столѣ, по старому Гораціеву правилу, потомъ, выпустивъ его въ свѣтъ, отдыхаетъ долго, долго—до тѣхъ поръ, пока не накопится болѣе новыхъ впечатлѣній, медленно пробуждающихъ его къ новому творчеству. При этомъ мы не находимъ у него такого разнообразія въ содержаніи, какое видимъ у Тургенева, «Обыкновенная исторія» и «Обломовъ», хотя и раздѣленные цѣлымъ десятилѣтіемъ, представляютъ много между собою общаго; только впослѣдствіи, въ «Обрывѣ», видны нѣсколько новые замыслы автора, стремленіе воспроизвести и совершенно иныя стороны нашей жизни. Бѣлинскій считалъ Гончарова писателемъ вполнѣ объективнымъ, не мало не выражающимъ въ своихъ произведеніяхъ самого себя: «у него нѣтъ ничего, кромѣ таланта; онъ больше, чѣмъ кто-нибудь теперь, поэтъ художникъ», отзывался о немъ Бѣлинскій. Позже другіе критики высказались въ противоположномъ смыслѣ: они находили въ произведеніяхъ Гончарова выраженіе его личнаго взгляда и находили этотъ взглядъ крайне узкимъ, ограниченнымъ, тѣмъ, что̀ называютъ у Нѣмцевъ «филистерскимъ». Нѣкоторые изъ этихъ позднѣйшихъ критиковъ (Писаревъ), противопоставляя Гончарову Тургенева, находили, что Тургеневъ выказываетъ себя въ своихъ произведеніяхъ съ болѣе сочувственной стороны, обнаруживаетъ большую широту взгляда. Другіе напротивъ того (Алкандровъ-псевдонимъ), уподобляя, со стороны взгляда, Гончарова Тургеневу, у обоихъ находили «филистерство». Вѣрно-ли подобное мнѣніе? Для разрѣшенія этого вопроса надо вникнуть въ сущность того, что̀ представляютъ наши писатели. Обращаюсь къ «Обыкновенной исторіи» Гончарова.

Главнымъ ея типомъ является, какъ извѣстно, моло-

дой Адуевъ. Что же хотѣлъ выразить въ этомъ лицѣ Гончаровъ?

Онъ подробно разсказываетъ о томъ, какъ первоначально сложилась жизнь Александра Ѳедоровича... Она сложилась прежде всего въ деревнѣ, подъ вліяніемъ матери, которая внушала ему: «здѣсь ты одинъ всему господинъ»; матери, которая въ немъ воспитала привычку считать всѣхъ вокругъ него обязанными угадывать каждое его желаніе, жить какъ-бы только ему на угоду. «Нянька все пѣла ему въ колыбели, что онъ будетъ ходить въ золотѣ и не знать горя». Вообще о слезахъ и бѣдствіи онъ зналъ только по слуху, какъ знаютъ о какой-нибудь заразѣ, которая не обнаружилась, но глухо гдѣ-то таится въ народѣ». Мать, развившая въ немъ эгоистическія наклонности, умѣла какъ-то распорядиться такъ, что и самая религіозность, которую она ему, по-своему, проповѣдывала, способна была лишь питать въ немъ туже эгоистическую закваску. При отправленіи его въ Петербургъ, говоря ему о Богѣ, о посѣщеніи церкви, она придаетъ этому значеніе какого-то исправнаго искательства высшей небесной протекціи; она пренаивно обѣщаетъ ему, что если бы самъ онъ сталъ въ этомъ отношеніи лѣниться, то она ему вымолитъ у Бога и чиновъ, и крестовъ. Говоря о нищихъ, она соглашается, что надо, конечно, имъ помогать, потому что безъ этого не угодишь Богу, но что довольно, такъ сказать, только соблюдать обрядъ подаванія милостыни, вообще же много раздавать не слѣдуетъ, — надо копить для себя. Намекая на возможность выгодной женитьбы въ Петербургѣ, она прямо говоритъ, что Соничку, которая его полюбила въ деревнѣ, можно и въ сторону; «что она въ самомъ дѣлѣ воображаетъ! развѣ ты лучшей партіи не найдешь?».

Послѣ всего этого, Бѣлинскій имѣлъ полное право назвать мать Адуева—«доброю внукой злой Простаковой», а ею воспитаннаго Александра Ѳедоровича мы съ неменьшею справедливостью можемъ назвать своего рода «Митрофаномъ». — Для чего онъ ѣдетъ въ Петербургъ? Да онъ и

самъ этого не знаетъ, онъ ѣдетъ искать *чего-то*. Не забудьте при этомъ, что онъ однакоже кончилъ курсъ въ университетѣ. Онъ открываетъ собою въ нашей литературѣ рядъ питомцевъ университета, вышедшихъ изъ стѣнъ его крайне мало подготовленными для настоящей жизненной дѣятельности, для дѣйствительно полезнаго служенія обществу. Гончаровъ объясняетъ это обстоятельство особымъ направленіемъ тѣхъ людей, которыхъ приходилось тогда слушать въ университетѣ. Молодому Адуеву профессора твердили, что онъ пойдетъ далеко, т. е., разумѣется, они не лично къ нему это относили, но онъ это заключилъ изъ ихъ курсовъ; они ему рисовали такія мечтательно неопредѣленныя картины будущей дѣятельности, въ которыхъ онъ, подъ вліяніемъ разыгравшагося воображенія, легко могъ найти себѣ видное мѣсто. Это были картины дѣятельности чисто заоблачной, ради пользы и добра *вообще*, *какой-то* пользы и *какого-то* добра *для всего человѣчества*.

И вотъ онъ самолюбиво мечталъ о подобной пользѣ, въ сущности только потѣшая этимъ и особеннымъ образомъ развивая свой доморощенный эгоизмъ, т. е. онъ мечталъ, что выдвинется далеко изъ ряда, какими-то особенно блистательными успѣхами, и что на него будутъ съ уваженіемъ указывать пальцемъ. Когда онъ пріѣзжаетъ къ дядюшкѣ и тотъ начинаетъ допытываться, ради чего онъ стремился въ столицу, А. Адуевъ говоритъ: «Меня влекло неодолимое стремленіе, надежда благородной дѣятельности; во мнѣ кипѣло желаніе уяснить и осуществить тѣ надежды, которыя толпились...» и т. д. Но тутъ же и признается: «у насъ профессоръ эстетики такъ говорилъ». Дядя переводитъ на обыкновенный языкъ эти вдохновенныя рѣчи профессора эстетики.

— Сколько я могу припомнить университетскія лекціи и перевести слова твои, ты пріѣхалъ сюда дѣлать карьеру и фортуну?

— Да, дядюшка, «карьеру», — совершенно искренно сознается племянникъ.

Такимъ образомъ оказывается, что дядя сразу понялъ его, понялъ, что въ сущности племянникъ стремится къ тому же, къ чему и онъ самъ стремился всю свою жизнь; только племянникъ пока еще прикрываетъ эту цѣль грудой фразъ, заимствованныхъ изъ курса эстетики.

Молодой Адуевъ ищетъ сначала литературной славы. Дѣло въ томъ, что славы на служебномъ поприщѣ на первыхъ порахъ не добьешься; еслибы можно было разомъ подняться повыше—тогда бы другое дѣло! Но низшія приготовительныя ступени мало льстятъ самолюбію; между тѣмъ и литературная слава ему не дается: дядюшка даже прямо доказываетъ ему, что у него нѣтъ таланта,—и вотъ онъ весь уходитъ въ чувство любви къ дѣвушкѣ, съ которой случайно сошелся. Гончаровъ очень подробно описываетъ это воркованье голубковъ, но сущность его заключается въ слѣдующемъ выразительномъ разговорѣ между А. Адуевымъ и Наденькой:

— Ужели есть горе на свѣтѣ?—спрашиваетъ она.

— Говорятъ, есть, да я не вѣрю.

— Какое же горе можетъ быть?

— Дядюшка говоритъ: бѣдность....

— Бѣдность! да развѣ бѣдные не чувствуютъ того, что̀ мы теперь? вотъ ужъ они и не бѣдны.

— Дядюшка говоритъ, что имъ не до того, нужно пить, ѣсть...

— Фи, ѣсть! дядюшка вамъ не правду говоритъ. Я не обѣдала сегодня, а какъ я счастлива»...

Въ этомъ миломъ разговорѣ выражается все міросозерцаніе этихъ праздныхъ мечтателей. Что она не знаетъ горя и выражается такъ наивно,—это не удивительно при томъ тепличномъ воспитаніи, которое получила она, подобно многимъ барышнямъ; но что онъ, кончившій курсъ въ университетѣ, держится такихъ же дѣтскихъ воззрѣній,—вотъ что̀ гораздо диковиннѣе, и объясняется только той безжизненностью, той отвлеченностью, которою такъ долго отличалась у насъ наука, потому-то и не бывшая въ состояніи исправлять недостатки домашняго барскаго

*

воспитанія. Когда читаешь у Гончарова эти безконечныя сцены любви между А. Адуевымъ и Наденькой, то такъ и кажется, что они взялись разыграть роли того юноши и той дѣвицы изъ повѣсти А. Адуева, которые попали на какой-то необитаемый островъ и, живя на немъ, наслаждаются себѣ на просторѣ одной любовью. Искусственно уединившись отъ окружающаго ихъ многолюднаго міра, убаюкивая себя мечтою, что не существуетъ ни горя, ни слезъ, Александръ Ѳедоровичъ и Наденька только любуются другъ на друга,—но читатель заранѣе чувствуетъ, что долго имъ такъ не прожить, что скоро ихъ одолѣетъ невыносимая скука. «Сердце Наденьки было занято, но умъ оставался праздненъ: Александръ не позаботился дать ему пищи»,—и вотъ онъ мало по малу надоѣдаетъ ей, прежде чѣмъ она ему надоѣла, что̀, разумѣется, также случилось бы ранѣе или позже. Чтобы успокоить его оскорбленное самолюбіе, дядя помогаетъ ему завязать другой романъ: въ него влюбляется женщина, къ которой уже самъ онъ первый охладѣваетъ. Все это очень просто и понятно: самые неглубокіе люди не могутъ совершенно уйти въ одно только чувство любви; жизнь наша неизбѣжно дѣлается пуста и скучна, если у насъ не завязаны связи съ обществомъ, если намъ не досталась хотя бы самая малая доля участія въ міровой работѣ. Но Александръ не понимаетъ настоящей причины своихъ неудачныхъ романовъ. Два раза разочаровавшись въ любви, онъ готовъ окончательно махнуть рукою на все, готовъ съ досады погрязнуть въ животной жизни; сближаясь съ какимъ-то совершенно неразвитымъ человѣкомъ, онъ случайно завязываетъ, уже просто отъ скуки, третій романъ, который чуть-было не довелъ его до совершеннаго нравственнаго паденія. Послѣ всего этого, дядюшка оказывается правымъ въ своемъ недовѣрчивомъ взглядѣ на тѣ выспреннія фразы, которыя такъ обильно расточались племянникомъ. Но хотѣлъ-ли Гончаровъ сказать этимъ, что собственное направленіе дядюшки совершенно вѣрно; хотѣлъ-ли онъ заоблачному мечтателю, пустозвонному идеалисту Але-

ксандру Ѳедоровичу противопоставить трезваго, практическаго дядю, какъ высокій жизненный идеалъ? вотъ вопросъ. Я думаю, что нашъ авторъ поставилъ дядюшку выше племянника только въ томъ смыслѣ, что первый, по крайней мѣрѣ, не обманываетъ себя и другихъ, что онъ искрененъ, что въ немъ нѣтъ ничего напускного, что онъ откровенно высказываетъ, къ чему стремится. «Цѣль моей жизни—успѣхъ, выгода, та же, что у тебя, Александръ, но ты не сознаешься въ этомъ, а я сознаюсь», вотъ что, въ разныхъ видахъ, говоритъ онъ племяннику. Дядя не только прямѣе и, въ этомъ смыслѣ, честнѣе племянника; онъ и гораздо умнѣе его, сразу разгадывая и обнажая его передъ нимъ самимъ. Къ тому-же, при всемъ своемъ дѣловомъ эгоизмѣ, онъ менѣе эгоистъ, чѣмъ племянникъ; въ немъ есть извѣстная доброта и даже теплота, онъ совершенно искренно упрекаетъ А. Адуева въ томъ, что, жалуясь на человѣчество вслѣдствіе своихъ неудачъ въ любви, онъ забываетъ о нѣжной дружбѣ тетки и, что̀ еще непростительнѣе, оставляетъ безъ писемъ свою старушку мать, которая его безгранично любитъ. Тѣмъ неменѣе, Гончаровъ вовсе не хотѣлъ выставить дядюшку Петра Ивановича лицомъ образцовымъ; это ясно изъ того, что ему не удается доставить счастіе своей женѣ. «Мужъ ея неутомимо трудился и все-еще трудится. Но что̀ было главною цѣлью его трудовъ? Трудился-ли онъ для общей человѣческой цѣли, для самаго труда, или только для мелочныхъ причинъ, чтобы пріобрѣсть между людьми чиновное и денежное значеніе»?—это оставалось для нея загадкою, а между тѣмъ она внутренно томилась чувствомъ нравственной неудовлетворености. Петръ Ивановичъ, при своемъ умѣ, не могъ наконецъ не понять этого, и въ этомъ заключается его нравственная кара». Не ясно-ли изъ этого, что Гончаровъ представляетъ и дядю стоящимъ на ложной дорогѣ? Но припомнимъ также мастерское описаніе присутственнаго мѣста, въ которое попадаетъ молодой Адуевъ въ началѣ романа: «Каждый день, каждый часъ, и сегодня, и завтра, и цѣлый вѣкъ бюрократическая машина рабо-

таетъ стройно, исправно, безъ отдыха, какъ-будто нѣтъ людей: одни колеса, да пружины». А этотъ Юпитеръ-громовержецъ въ образѣ начальника отдѣленія: «откроетъ ротъ,—и бѣжитъ Меркурій съ мѣдной бляхой на груди; протянетъ руку съ бумагой—и десять рукъ тянутся принять ее». Можетъ-ли быть, чтобы, рисуя такого Юпитера, нашъ авторъ видѣлъ въ немъ свой идеалъ? Бѣлинскій вовсе не думалъ этого, а указывалъ на вполнѣ объективное отношеніе Гончарова ко всѣмъ его дѣйствующимъ лицамъ. Но странно, какимъ образомъ Бѣлинскій могъ находить неестественною развязку романа; какимъ образомъ могъ онъ думать, что вмѣсто прозаическаго брака, какимъ кончаетъ Александръ Адуевъ, вѣрнѣе было бы сдѣлать изъ него мистика, фанатика, сектанта. Едва-ли все это не явилось у Бѣлинскаго подъ вліяніемъ желанія сказать, что можно бы было, наконецъ, сдѣлать изъ Александра «славянофила», т. е., съ точки зрѣнія Бѣлинскаго, заоблачнаго мечтателя особаго покроя. Въ такомъ приговорѣ нельзя не признать увлеченія. Едва-ли изъ основательнаго разбора личности А. Адуева можно вывести, чтобы онъ годился въ какіе бы то ни было сектанты. Въ головѣ его, собственно говоря, даже вовсе и не было никакихъ идей, а былъ только напускной фразистый идеализмъ, подъ которымъ скрывались препошленькія эгоистическія наклонности, какъ это, впрочемъ, и указалъ Бѣлинскій въ первой половинѣ своей характеристики Александра Адуева. Чтобы покончить съ этимъ лицомъ, скажу, что въ немъ нельзя не видѣть прямаго наслѣдника Пушкинскаго Ленскаго; а вспомните мнѣніе самого Пушкина, что еслибы Ленскій не былъ убитъ на дуэли, его бы ожидала самая прозаическая, самая пошлая будущность. Такая же точно будущность не могла не сдѣлаться прямымъ достояніемъ и А. Адуева. Въ заключеніе, я, кажется, имѣю право вывести, что ни дядя, ни племянникъ не являются у нашего автора людьми идеальными, такими, за которыми слѣдовало бы итти. Но чѣмъ же объяснить появленіе въ нашей критикѣ мнѣнія, будто бы Гон-

чаровъ выразилъ въ Петрѣ Ивановичѣ свои собственныя точки зрѣнія? Подобное мнѣніе высказано авторомъ статьи «О воспитательномъ значеніи повѣстей Тургенева и Гончарова» *). Кромѣ обвиненія Гончарова въ крайнемъ сочувствіи Петру Ивановичу, тутъ обвиняется и Тургеневъ въ крайнемъ несочувствіи Рудину, въ умышленномъ развѣнчаніи этой будто-бы возвышенной личности. Но если еще можно понять оборону критикомъ, противъ самого автора, личности Рудина, все-таки представляющей много такого, что̀ подкупаетъ въ его пользу, по крайней мѣрѣ на первый взглядъ, то уже рѣшительно трудно понять ту оборону Александра Адуева противъ Гончарова, которая была предпринята Писаревымъ. Единственное объясненіе подобной странности развѣ то, что наша критика какъ-то опять начала заявлять идеальныя требованія, т. е., что въ ней началось что̀-то вродѣ черезчуръ уже быстрой реакціи противъ реализма, реакціи, нечувствительной для самихъ критиковъ, считающихъ себя реалистами.

Продолжая постоянно встрѣчать у нашихъ писателей личности съ естественной смѣсью добра и зла, а иногда и всего съ «каплей меду въ бочкѣ дегтю», личности, на которыхъ нельзя успокоиться, за которыми нельзя итти, критика начинаетъ сердиться на самихъ писателей, начинаетъ увѣрять, будто они видятъ въ жизни только такихъ людей, потому что сами они таковы. На самомъ же дѣлѣ, еслибы Гончаровъ и Тургеневъ выставили такихъ дѣятелей, какихъ отъ нихъ требовали нѣкоторые критики, они бы должны были многое выдумывать, они должны бы были вдаваться въ тотъ же самый ложный идеализмъ, въ ту же истасканную Маниловщину, конецъ которой положенъ у насъ Гоголемъ. Но вотъ за то, что Гончаровъ не впалъ въ нее, что онъ позволилъ себѣ, чрезъ посредство Петра Ивановича, совлечь съ Александра пышное мечтательное убранство и указать подъ этимъ убранствотъ ту

*) „Невскій Сборникъ," 1867 г. Подписано: *Александровъ* (псевдонимъ).

же эгоистическую и прежде всего комфортабельную натуру,—ему достался отъ одного изъ даровитѣйшихъ нашихъ критиковъ, а именно отъ Писарева, упрекъ, будто-бы этимъ романомъ онъ хотѣлъ сказать: «Эхъ, молодые люди, протестанты жизни, бросьте вы ваши стремленія вдаль, къ усовершенствованіямъ, къ лучшему порядку вещей! Это все пустяки! фантазерство! Надѣньте вицмундиры» и т. д. Но дѣло въ томъ, что А. Адуевъ ни къ какимъ усовершенствованіямъ никогда не стремился, а былъ созданъ именно для того, чтобы, сбросивъ съ себя все нахватанное изъ заоблачныхъ курсовъ эстетики, дѣйствительно въ концѣ концовъ надѣть вицмундиръ и въ соединенномъ съ нимъ комфортѣ усмотрѣть конечную цѣль стремленій. Самымъ вѣрнымъ цѣнителемъ «Обыкновенной Исторіи» остается такимъ образомъ первый цѣнитель ея—Бѣлинскій. Но онъ замѣчалъ въ свое время, что, по мнѣнію нѣкоторыхъ, типъ А. Адуева—типъ устарѣлый; самъ же онъ находилъ, что подобные люди еще существуютъ. Въ настоящее время мы можемъ сказать, что типъ этотъ уже окончательно устарѣлъ: Петры Ивановичи еще существуютъ, но Александры Адуевы, кажется, совершенно исчезли. Всего какихъ-нибудь двадцать семь лѣтъ отдѣляютъ насъ отъ «Обыкновенной Исторіи», а между тѣмъ, читая ее, мы какъ будто-бы переносимся въ совершенно другія времена, какъ-будто читаемъ историческій романъ. Думаю, что это служитъ наглядымъ признакомъ той быстроты, съ какою подвигаемся мы впередъ. Обманывающіе себя и другихъ эгоисты-фантазеры, матеріалисты, замаскированные въ идеализмъ, уже окончательно у насъ сошли со сцены,—а вѣдь это что-нибудь да значитъ! И сколько бы ни было въ появляющихся у насъ затѣмъ направленіяхъ ошибочнаго, недодуманнаго,—видно рѣшительное стремленіе къ правдѣ, къ искренности; положительно началось и все-еще продолжается ревностное исканіе, хотя бы и ощупью, хотя бы и съ преткновеніями, вѣрнаго жизненнаго пути. А при такомъ искреннемъ исканіи, нѣтъ никакого сомнѣнія, что рано или поздно путь этотъ будетъ на-

конецъ отысканъ—нетолько тѣмъ или другимъ лицомъ, но и цѣлымъ обществомъ.

ЛЕКЦІЯ II.

Гончаровъ.—„Обломовъ".—„Обрывъ".

Болѣе 10-ти лѣтъ отдѣляютъ «Обломова» отъ «Обыкновенной Исторіи», а между тѣмъ въ содержаніи обоихъ романовъ замѣчается нѣкоторое соотвѣтствіе. Съ другой стороны, и въ отношеніяхъ къ обоимъ произведеніямъ нашей критики оказывается много общаго.

Обыкновенная Исторія», какъ мы видѣли въ прошлый разъ, была встрѣчена обстоятельной и вполнѣ справедливой критикой Бѣлинскаго. Затѣмъ, значительно позже, стали появляться критики другого рода, въ которыхъ высказывались взгляды на это произведеніе уже совершенно предвзятые, высказывалось недовольство героями произведенія, а вслѣдствіе этого и недовольство самимъ авторомъ, которому страннымъ образомъ приписывалось сочувствіе его дѣйствующимъ лицамъ.

Подобныя воззрѣнія критики составляютъ въ своемъ родѣ замѣчательное явленіе; они доказываютъ только, что «натуральная школа» своей жизненной правдой производила настоящее свое дѣйствіе. Видя передъ собой живыхъ людей, стали сторониться отъ этихъ людей, отъ ихъ нравственной неудовлетворительности, ихъ пошлости, той пошлости, которая скрывалась подъ ихъ идеализмомъ, и Гончаровъ имѣлъ полное право напомнить своимъ позднѣйшимъ критикамъ, по примѣру Гоголя, народную пословицу: «на зеркало нечего пенять»....

Но я указалъ въ концѣ прошлой лекціи, что въ настоящее время «Обыкновенная Исторія» уже не можетъ служить намъ зеркаломъ, потому что романъ этотъ отражаетъ уже пережитую нами эпоху. Едвали мы можемъ

сказать то же самое объ «Обломовѣ». Едвали совершенно перевелось въ нашей жизни то, что̀ называется, со словъ Штольца, «Обломовщиной»?

Когда появился романъ, многіе стали узнавать въ немъ знакомыя черты; поднялись со всѣхъ сторонъ толки о нашей «Обломовщинѣ», и краснорѣчивымъ истолкователемъ этихъ толковъ явился тотъ даровитый критикъ, который замѣнилъ собою Бѣлинскаго, но замѣнилъ, къ сожалѣнію, не на-долго. Появилась въ высшей степени доказательная, справедливая, добросовѣстная критика «Обломова», принадлежащая Добролюбову. Къ сожалѣнію, позже стали появляться другія критики, настолько же несправедливыя относительно «Обломова», насколько несправедливы были нѣкоторыя критики относительно «Обыкновенной Исторіи».

Добролюбовъ въ своей блистательной статьѣ уяснилъ, что Обломовъ Гончарова—лицо вовсе не отвлеченное, лицо непосредственно принадлежащее нашей Русской жизни, самымъ неразрывнымъ образомъ съ нею связанное. Онъ положительно выяснилъ въ своей мастерской статьѣ, какимъ образомъ подъ вліяніемъ барскаго воспитанія возникали и еще долго будутъ возникать Обломовы. Можетъ быть, онъ съ недостаточной подробностью разсмотрѣлъ знаменитый «Сонъ Обломова», составляющій одинъ изъ перловъ нашей литературы,—сонъ, въ которомъ Обломову рисуется его дѣтство, его Обломовка, этотъ мирный уголокъ, представляющій нѣчто въ родѣ сказочнаго «соннаго царства». Замѣчу также, что съ другой стороны, тому барскому воспитанію, которое раскрывается въ «Снѣ Обломова», можно бы было противопоставить многія черты изъ дѣтства простыхъ людей, рисуемыя Тургеневымъ въ «Бѣжиномъ Лугѣ». Крестьянскія дѣти, выведенныя въ этомъ произведеніи, лишены всякаго воспитанія, т. е. всякаго ухода за ними; но за то, предоставленныя самимъ себѣ, они рано дѣлаются самостоятельными, рано проявляютъ дѣятельность, на которую вызываетъ ихъ сама жизнь. Потребность помогать родителямъ, пасти стадо и при-этомъ не бояться звѣрей, дѣлаетъ ихъ преждевременно взрослыми; трудовая

доля, въ которую втянуты они съ самаго дѣтства, не даетъ молодымъ ихъ силамъ оставаться праздными,—и вотъ это-то и составляетъ для нихъ ту естественную воспитательную силу, воздѣйствія которой лишены дѣти, выросшія въ барствѣ. Широко понимая Обломова и объясняя его какъ произведеніе нашей барской среды, Добролюбовъ видѣлъ «Обломовщину» и во многихъ другихъ типахъ нашей литературы; онъ видѣлъ Обломова нетолько въ Гоголевскомъ Тентетниковѣ, который дѣйствительно можетъ быть признанъ прямымъ родоначальникомъ Ильи Ильича, онъ видѣлъ Обломова и въ такихъ типахъ, которые съ перваго взгляда вовсе на него не похожи, въ типахъ такихъ людей, которые, много толкуя о дѣлѣ, прямо считаютъ себя дѣльцами, но въ сущности мало, или совсѣмъ ничего не дѣлаютъ. Какъ извѣстно, Добролюбовъ, находилъ «Обломовщину» и въ Тургеневскомъ «Рудинѣ», и въ «Героѣ нашего времени» Лермонтова, и даже въ Пушкинскомъ «Онѣгинѣ». Добролюбовъ понималъ «Обломовщину» какъ жизнь внѣ всякихъ связей съ обществомъ, какъ исключительное погруженіе въ самого себя, при чисто-мечтательномъ, праздномъ сочувствіи общественнымъ интересамъ.

Если понимать Обломовщину такимъ образомъ, то зачатки ея представляетъ у самого Гончарова Александръ Адуевъ, точно такъ же, какъ Петръ Ивановичъ Адуевъ, дядюшка «Обыкновенной Исторіи», представляетъ немало общаго со Штольцемъ. Воспитаніе Александра Адуева и воспитаніе Обломова весьма сходно; оно связываетъ ихъ обоихъ, дѣтей XIX столѣтія, съ Фонъ-Визинскимъ Митрофанушкой. Далѣе, однакоже, оба они слушали курсъ наукъ въ университетѣ. Но я замѣтилъ уже въ прошлый разъ, что наша литература выставила немало людей, не вынесшихъ почти ничего изъ университетскаго курса.

Въ «Обломовѣ» Гончаровъ подробно говоритъ объ этомъ обстоятельствѣ и довольно ясно истолковываетъ его. По выходѣ Обломова изъ университета, «голова его представляла сложный архивъ мертвыхъ дѣлъ, лицъ, эпохъ, цифръ, религій, ничѣмъ не связанныхъ, политико-экономическихъ,

математическихъ или другихъ истинъ, задачъ, положеній.... у него между наукой и жизнью лежала цѣлая бездна, которой онъ не пытался перейти. Жизнь у него была сама по себѣ, а наука сама по себѣ».

Эта схоластическая мертвенность нашей университетской науки объясняется тѣмъ, что она долго оставалась у насъ только *прививною*—естественное неудобство нашей запоздалой образованности. Намъ приходилось на скорую руку только переносить къ себѣ готовое, усиленно повторять чужіе зады, прежде чѣмъ удалось наконецъ начать и самостоятельную работу. Весьма медленно становилась наша наука въ уровень съ требованіями нашей жизни, весьма неподатливо откликалась она на нихъ въ лицѣ нѣкоторыхъ своихъ представителей, которымъ и доставалось же за то отъ схоластиковъ: «помилуйте, да это вѣдь не наука; вы этимъ испортите молодежь» и т. п., тогда какъ, на самомъ дѣлѣ, эта такъ-называемая «порча молодежи» могла только помѣшать ей окончательно погрузиться въ ту или другую «Обломовщину».

Герой второго романа Гончарова, конечно, вынесъ изъ университетскихъ стѣнъ уже значительно болѣе, чѣмъ Александръ Адуевъ. Онъ вынесъ изъ нихъ довольно ясное пониманіе того, что̀ должно называть настоящимъ «дѣломъ» и что̀ «бездѣльемъ», только скрывающимся подъ личиною дѣла. Обломовъ въ своемъ сужденіи о другихъ выказываетъ весьма свѣтлые взгляды. Онъ не видитъ, напр., настоящаго дѣла въ простомъ составленіи себѣ карьеры, онъ не видитъ настоящаго дѣла и въ литературномъ подбираніи мелкаго житейскаго сора, въ ожесточенномъ ратованіи противъ пустяковъ, въ томъ, что̀ позднѣйшимъ сатирикомъ названо было «*литературнымъ пыкоснимательствомъ*». Въ Обломовѣ есть желаніе дѣятельности, но дѣятельности не механической, а самостоятельной, творческой, только эта творческая дѣятельность проявляется у него въ *мечтахъ:* онъ многое создаетъ, лежа у себя на постели. Обломовъ способенъ отдавать справедливость чужому труду, но, на бѣду, труда въ настоящемъ смыслѣ онъ не замѣчаетъ во-

кругъ себя. А трудъ просто ради труда, безъ всякой другой, высшей цѣли, ему непонятенъ; поэтому онъ готовъ бы, пожалуй, хотя и не рѣшается этого высказать, видѣть своего рода бездѣлье и въ трудолюбіи Штольца. Но сознаніе важности и цѣнности настоящаго труда такъ и остается въ немъ только *сознаніемъ*; онъ слишкомъ тяжелъ на подъемъ, для того чтобы, приглядѣвшись къ явленіямъ жизни, высмотрѣть себѣ практическую цѣль и начать для нея трудиться. Какъ по своему свѣтлому уму, ясно понимающему наше *дѣловое бездѣлье*, такъ и по барской неразвитости въ немъ самомъ *силы воли*, необходимой для настоящаго труда, Обломовъ самымъ непосредственнымъ образомъ связанъ съ Русскою жизнью. Если же связь эта и могла бы быть еще болѣе выяснена, то только при окончательномъ устраненіи тѣхъ условій нашей литературной дѣятельности, о которыхъ говоритъ Тургеневъ въ поэмѣ своей «*Разговоръ*» (упомянутой въ моей 1-й лекціи). Нельзя не удивляться послѣ этого самой возможности появленія критической статьи Писарева, въ которой утверждалось, будто-бы «Обломовщина» оказывается у Гончарова не явленіемъ общественнымъ, а простымъ результатомъ темперамента, несчастнаго тѣлосложенія героя романа.

Писаревъ, какъ извѣстно, дошелъ въ своей критикѣ до того, что усмотрѣлъ въ Обломовѣ какую-то «клевету на Русскую жизнь»; но вѣдь это нѣсколько отзывается тѣмъ направленіемъ, которое и въ Гоголевскихъ типахъ усматривало клевету!.. Вмѣстѣ съ тѣмъ Писаревъ какъ-будто обидѣлся Нѣмецкимъ происхожденіемъ Штольца; по крайней мѣрѣ онъ вложилъ въ уста Гончарову слѣдующую обидную для насъ мораль: «Россіяне, всѣ вы спите... всѣ вы до такой степени одурѣли отъ сна... что мнѣ, романисту, приходится, въ укоръ вамъ, брать своего положительнаго героя изъ Нѣмцевъ, подобно тому, какъ предки ваши, Новгородскіе Славяне, изъ Нѣмцевъ призвали себѣ великаго князя, собирателя Русской земли». «И Россіяне, продолжаетъ уже самъ критикъ, съ свойственною имъ однимъ добродушною наивностью, умиляются надъ геніаль-

нымъ произведеніемъ своего романиста, всматриваются въ утрированную до-нельзя фигуру Обломова и восклицаютъ съ добродѣтельнымъ раскаяніемъ: «да, да, вотъ наша язва», и т. д. Но Писаревъ правъ въ одномъ: Гончаровъ дѣйствительно видитъ образцовую личность въ Штольцѣ; въ этомъ нѣтъ никакого сомнѣнія. Чтобы онъ сочувствовалъ Петру Ивановичу Адуеву, на это, какъ мы видѣли, нѣтъ доказательствъ, но въ Штольцѣ онъ хотѣлъ выставить нѣчто въ родѣ идеала; онъ хотѣлъ представить въ немъ сочетаніе дѣлового направленія съ тою сердечною теплотою, съ тѣми поэтическими наклонностями, которыхъ почти нѣтъ у Петра Ивановича; но это, надо признаться, вовсе не удалось нашему романисту.

Гончаровъ, очевидно, думалъ представить въ Штольцѣ гармоническое сліяніе двухъ стихій — Нѣмецкой практичности съ Русской «широкой натурой». Вышло же только то, что Штольцъ тратитъ «по бюджету каждый день, какъ каждый рубль», что «въ организмѣ у него нѣтъ ничего лишняго», и что онъ наконецъ «ищетъ равновѣсія практическихъ сторонъ съ тонкими потребностями духа». Но эти тонкія потребности духа выражаются у него собственно въ томъ, что онъ охотно слушаетъ музыку и читаетъ Шиллера, т. е. это составляетъ для него извѣстную принадлежность того *комфорта*, стремленіе къ которому является, въ сущности, главною цѣлью Штольца. Въ чемъ выразилась у этого обрусѣлаго Нѣмца такъ-называемая «широкая Русская натура»—остается загадкой. Вообще попытка Гончарова выставить идеальнаго дѣлового человѣка кончилась почти также печально, какъ и болѣе ранняя попытка въ этомъ родѣ Гоголя.

Во второй части «Мертвыхъ душъ» онъ, какъ извѣстно, думалъ выставить образцовыхъ людей въ лицѣ такихъ пріобрѣтателей, какъ помѣщикъ Костанжогло и откупщикъ Муразовъ. Гончаровъ въ лицѣ Штольца хотѣлъ, повидимому, представить личность болѣе высокой пробы, которая, наживаясь, не забываетъ и высшихъ человѣческихъ стремленій; но на самомъ дѣлѣ вышелъ такой же «пріобрѣта-

тель», человѣкъ, который скоро составляетъ себѣ состояніе, принимая участіе въ разныхъ компаніяхъ, безпрестанно разъѣзжая съ мѣста на мѣсто и такимъ образомъ постоянно, повидимому, оставаясь дѣятельнымъ—но, въ сущности, только ради собственнаго интереса. Впрочемъ, нельзя не замѣтить, что Гончаровъ въ концѣ романа самъ почувствовалъ неудачность своего идеальнаго замысла, а потому и заставилъ Штольца испытать въ своей семейной жизни участь, отчасти напоминающую участь Петра Ивановича Адуева.

Та тоска, которая овладѣваетъ по временамъ Ольгой, несмотря на то, что она такъ счастлива со Штольцемъ, эта тоска доказываетъ, что и въ немъ она не нашла того, что ей нужно, тѣхъ высшихъ цѣлей, къ которымъ она постоянно стремилась, сначала какъ-бы инстинктивно, потомъ совершенно сознательно. Ольга представляетъ намъ въ высшей степени привлекательный, художественно обрисованный образецъ женщины, которая не удовлетворяется однимъ личнымъ счастьемъ, однимъ личнымъ чувствомъ любви.

Это выражается уже въ одномъ изъ первыхъ разговоровъ ея съ Обломовымъ, когда онъ, подъ вліяніемъ только-что охватившаго его чувства, говоритъ ей:

— Въ вашихъ глазахъ, въ улыбкѣ, въ этой вѣткѣ, въ casta diva—все здѣсь...
— Нѣтъ, не все—половина, отвѣчаетъ Ольга.
— Гдѣ же другая? что послѣ этого еще?
— Ищите.
— Зачѣмъ?
— Чтобы не потерять первой.

Ей нужна другая, высшая половина счастья, т. е. высшая жизненная цѣль. Только при этой высшей цѣли любовь можетъ быть постоянной, вѣчной; только такая любовь, которая соединяетъ людей во имя общаго служенія чему-то высшему, можетъ дать содержаніе цѣлой жизни; иначе, рано или поздно, она приведетъ къ той же скукѣ, къ какой привела Адуева съ Наденькой. Только предпо-

лагая эту, неистощимую въ своемъ содержаніи, лучшую половину жизни, Ольга спрашиваетъ Обломова: «ужели вы не шутя думаете, что можно разлюбить»? Оттого-то ее и поражаетъ вопросъ—пожертвовала-ли бы она ему тѣмъ, что всего дороже, честью?—«Никогда; на этомъ пути впослѣдствіи всегда разстаются, а я... разстаться съ тобой»!.. Но разлука съ нимъ представляется ей невозможною только до тѣхъ поръ, пока она вѣритъ въ возможность воскресить его, пробудить въ немъ дѣятельное стремленіе къ высшей цѣли и этимъ стремленіемъ, какъ рычагомъ, поднять его на ноги. Но ей приходится страшно разочароваться, и вотъ въ своей послѣдней бесѣдѣ съ Обломовымъ она говоритъ: «ты нѣженъ, какъ голубь, ты готовъ всю жизнь проворковать подъ кровлей, да я не такая: мнѣ мало этого, мнѣ нужно чего-то еще, а чего—я не знаю»! Она и сама вполнѣ ясно не сознаетъ, въ чемъ именно должна заключаться эта другая цѣль, но она ее страстно ищетъ.

Разочаровавшись въ Обломовѣ, Ольга поддержала себя вѣрою въ Штольца. Но когда она начала догадываться, что и его дѣятельность—только кажущаяся, потому что и въ ней никакой высшей цѣли нѣтъ,—поколебалась ея вѣра въ него, поколебалось и ея счастье. Это живое исканіе чего-то, дающаго широкое содержаніе жизни — черта дѣйствительно существующая въ человѣческой природѣ—совершенно вѣрно подмѣчена Гончаровымъ въ нашихъ женщинахъ, подобно тому, какъ многія въ высшей степени сочувственныя черты подмѣчены въ нихъ и Тургеневымъ. Это составляетъ замѣчательную черту въ нашей литературѣ. что, постоянно терпя неудачу въ идеальныхъ мужскихъ характерахъ, она дала намъ нѣсколько совершенно удачныхъ идеальныхъ характеровъ женскихъ. Но если мы сопоставимъ Ольгу Гончарова со многими женскими личностями Тургенева, то увидимъ, что хотя послѣднія большею частью богаты силами, но у многихъ изъ нихъ эти силы уходятъ сполна на одну только личную привязанность; не удалась имъ любовь — и все пропало, вся жизнь испорчена! Таковы напр. Маша въ «За-

тишьѣ», Вѣра въ «Фаустѣ», Лиза въ «Дворянскомъ Гнѣздѣ». Много говорилось въ нашей критикѣ объ ошибочныхъ понятіяхъ этихъ лицъ, (не о воспроизведеніи ихъ у Тургенева, совершенно вѣрномъ, вполнѣ художественномъ). Но ошибочность эта не въ томъ, что Вѣра не жертвуетъ своимъ долгомъ жены, что Лиза отступаетъ передъ правомъ другой, хотя и недостойной женщины; ошибочность въ томъ, что, испытавъ несчастіе въ любви, испытавъ необходимость разлуки съ тѣмъ, кого любишь, — онѣ затѣмъ никакой другой цѣли въ жизни не видятъ; — въ томъ, что вѣра въ «Фаустѣ» не находитъ поддержки себѣ въ долгѣ матери, что Лиза въ «Дворянскомъ Гнѣздѣ» умѣетъ только заживо схоронить себя въ монастырѣ. Стремленіе къ чему-то пошире одной личной любви замѣтно отчасти у Наташи въ повѣсти «Рудинъ». Но эти задатки высшихъ стремленій едва-ли не должны заглохнуть въ ней послѣ брака съ такимъ лицомъ, какъ Волынцевъ. Совершенно уже ясное стремленіе къ высшему оказывается въ Тургеневской Асѣ. «Дни уходятъ, жизнь уйдетъ», говоритъ она, «а что мы сдѣлали»? Или въ другой разъ: «Крылья у меня выросли—да летѣть некуда». Но мы не знаемъ, что постигло ее послѣ разлуки съ тѣмъ, кого она полюбила. Еще болѣе ясное стремленіе къ высшему видимъ мы въ повѣсти Тургенева «Наканунѣ», въ этой прекрасной повѣсти, такъ справедливо и такъ тепло оцѣненной Добролюбовымъ и такъ странно осмѣянной Писаревымъ. Съ Тургеневской Еленой всего болѣе находится въ нравственномъ родствѣ Ольга Гончарова; но судьба ихъ неодинакова: Елена нашла свой идеалъ въ Болгарѣ Инсаровѣ, Ольга не нашла своего идеала и въ Штольцѣ. Елена, лишась преждевременно Инсарова, находитъ себѣ дальнѣйшій исходъ въ служеніи той идеѣ, для которой жилъ онъ и страстная преданность которой надорвала его здоровье; какой же исходъ можетъ найти Ольга, послѣ того, какъ пошатнулась ея вѣра въ Штольца? Добролюбовъ въ своей критикѣ предполагалъ, что, разувѣрившись въ Штольцѣ, она оставитъ и его, какъ оставила

Обломова. Нѣтъ, она не оставитъ его, имѣемъ мы право сказать, зная то глубокое *семейное чувство*, которое такъ сильно развито въ Ольгѣ. У нея уже есть семья; къ семьѣ этой, какъ извѣстно, принадлежитъ и принятый на воспитаніе Штольцемъ сынъ умершаго Обломова. Ольга должна найти исходъ въ томъ, чтобы воспитательнымъ вліяніемъ своей личности не дать этому новому поколѣнію пойти по-стопамъ Обломова или Штольца.

Чего не доставало, чтобы поднять на ноги залежавшагося Илью Ильича, чтобы придать высшее значеніе Штольцу? Штольцъ говоритъ, что «любовь съ силою Архимедова рычага движетъ міромъ», т. е. онъ говоритъ это о личной любви; и что же? этотъ рычагъ, который доставался Обломову въ лицѣ Ольги, однакоже не поднялъ его на ноги. Та же личная любовь, которая затѣмъ въ полной мѣрѣ досталась Штольцу, не сдѣлала его такимъ, чтобы не дать тоскѣ закрасться въ душу Ольги. Выходитъ, что настоящимъ рычагомъ можетъ служить только другого рода любовь, болѣе обнимающая, болѣе и дающая,—любовь, къ другимъ людямъ, къ обществу, къ родинѣ. Вотъ тотъ жизненный выводъ, который приходится сдѣлать Ольгѣ. Она не станетъ воспитывать то юное поколѣніе, которое у нея на рукахъ, въ нравственномъ одиночествѣ, въ томъ барскомъ уединеніи, въ которомъ держали Обломова. Она будетъ умѣть завязать уже въ дѣтяхъ спасительныя для человѣка связи съ окружающимъ его міромъ. Она не станетъ откладывать ознакомленіе юнаго поколѣнія съ тѣмъ, что̀ значитъ человѣческое горе и человѣческая нужда, а поэтому въ немъ пробудится рано и потребность приходить на помощь другимъ и только въ этомъ и видѣть настоящую, полную содержанія жизнь. Семья, среди которой будетъ дѣйствовать Ольга, послужитъ для нея, такъ сказать, мастерской, гдѣ, подъ теплымъ вліяніемъ ея любящей женской природы, подготовятся будущіе общественные дѣятели. Вотъ тѣ заключенія, которыя могутъ быть сдѣланы на

основаніи романа Гончарова относительно воспитательныхъ мѣръ противъ «Обломовщины» *).

Проходитъ болѣе 12 лѣтъ и, наконецъ, появляется третье произведеніе нашего романиста,—«Обрывъ», въ которомъ затрогиваются, повидимому, новыя стороны жизни; но все же, вглядываясь, мы замѣчаемъ и тутъ дальнѣйшее развитіе старой темы. Что такое Райскій? Это, какъ и самъ онъ себя считаетъ, по преимуществу художникъ, но такой, который ни въ чемъ не можетъ достичь какихъ-нибудь удовлетворительныхъ результатовъ; это, какъ его очень мѣтко опредѣляетъ М. Волоховъ, — *неудачникъ*. Но если такъ, то что̀ онъ такое, какъ не тотъ же Обломовъ въ видѣ художника? Однако онъ уже не совершенно отрѣшенъ отъ общественныхъ симпатій; онъ считаетъ нужнымъ самъ пробуждать Бѣловодову къ жизни, говоря ей: «вы здѣсь наслаждаетесь всѣмъ, а подумали ли вы о тѣхъ людяхъ, которые вамъ доставляютъ доходъ?» Но Бѣловодова имѣетъ полное право отвѣтить на это, что онъ и самъ имѣетъ такихъ же подневольныхъ людей, а что̀ же онъ для нихъ слѣлалъ? Да, онъ только говоритъ о дѣятельности на пользу другимъ, настоящей же дѣятельной силы въ немъ нѣтъ, нѣтъ и настоящей любви даже къ тому искусству, которому онъ хочетъ служить, иначе эта любовь довела бы его до какихъ-нибудь болѣе удовлетворительныхъ результатовъ. Именно потому, что настоящей любви къ своему призванію въ немъ нѣтъ, онъ и остается всю свою жизнь неудачникомъ. Прямою, повидимому, противоположностью Райскаго представляется Аяновъ; это, собственно говоря, тотъ же дядюшка Петръ Ивановичъ; но тутъ Гончаровъ уже окончательно намъ доказываетъ, что въ людяхъ подобнаго рода онъ не видитъ ничего сочувственнаго; онъ прямо говоритъ, что

*) Но этимъ, конечно, не устраняются особыя, никакому воспитанію неподающіяся, причины *Обломовщины*, а вмѣстѣ и причины происхожденія *лишнихъ людей*, на неразъясненность которыхъ указалъ въ своемъ „Разговорѣ“ Тургеневъ.

*

вся цѣль этого человѣка—«повыситься изъ статскихъ въ дѣйствительные статскіе, а подъ конецъ, за долговременную и полезную службу и «неусыпные» труды... въ тайные совѣтники и бросить якорь въ портѣ—въ какой-нибудь нетлѣнной комиссіи или комитетѣ съ сохраненіемъ окладовъ, а тамъ, волнуйся себѣ человѣческій океанъ, мѣняйся вѣкъ, лети въ пучину судьба народовъ, царствъ,—все пролетитъ мимо его, пока апоплексическій или другой ударъ не остановитъ теченія его жизни». Словомъ, тутъ Гончаровъ совершенно ясно намъ обрисовываетъ, такъ сказать, *дѣловую Обломовщину* (хотя, по пріобрѣтательскимъ своимъ сторонамъ, она вмѣстѣ съ тѣмъ и *Штольцовщина*). Лицомъ, вполнѣ исполненнымъ любви къ своему дѣлу, къ своему художническому призванію, является въ «Обрывѣ» Кирилловъ. Да, но любя искусство, онъ отрѣшилъ его ото всего остального міра; онъ не живой человѣкъ, не художникъ-дѣятель,—онъ просто своего рода аскетъ, замкнувшійся въ художническую келью. Таковъ же и товарищъ Райскаго, Козловъ; онъ дѣйствительно любитъ свой предметъ, но оторванъ ото всего живого; съ дѣйствительнымъ міромъ связанъ онъ исключительно личною привязанностью къ женѣ: оставляетъ его эта женщина, — и вся прелесть, весь смыслъ жизни для него потеряны.

Лицомъ, въ своемъ родѣ дѣятельнымъ, любящимъ, является, повидимому, бабушка — эта сочувственнѣйшая личность изъ стараго поколѣнія «Обрыва». Да, но изъ той сферы, которую она обнимаетъ своимъ любящимъ сердцемъ, исключено очень многое: исключены ея крѣпостные люди, которыхъ она даже не считаетъ заслуживающими помощи доктора, а отсылаетъ къ старухѣ знахаркѣ. Наконецъ, ея во многихъ отношеніяхъ правдивое сердце долго не мѣшаетъ ей заискивать въ Нилѣ Андреевичѣ, о которомъ она сама говоритъ, что онъ достигъ своего положенія не совсѣмъ похвальными средствами.

Есть въ «Обрывѣ» одно лицо, принадлежащее молодому поколѣнію, которое называетъ себя «*грядущей си-*

лой». Но Райскій находитъ однако возможнымъ спросить Марка Волохова, — «почему онъ ничего не дѣлаетъ?», а Маркъ Волоховъ только и можетъ отвѣтить на это: «но и вы вѣдь ничего не дѣлаете». Впрочемъ, въ бесѣдѣ съ Вѣрой, Маркъ Волоховъ указываетъ на свое жизненное дѣло. «Это дѣло», говоритъ онъ, «вспрыскивать живой водой человѣческіе мозги». Такое вспрыскиваніе живой водой, какъ онъ его понимаетъ, должно вести къ тому, чтобы смыть съ человѣческихъ мозговъ все напускное; но, смывая съ нихъ многое слой за слоемъ, онъ наконецъ начинаетъ уже не смывать, а вытравливать и тѣ симпатическія стороны, которыя присущи человѣческой природѣ, и касаться которыхъ значитъ ее уродовать, — онъ касается тѣхъ связей, которыя соединяютъ человѣка съ человѣкомъ; онъ относитъ и эти во-вѣки нерасторжимыя связи къ числу искусственныхъ, напускныхъ явленій. Стремленіе Марка Волохова очистить человѣческій умъ ото всего, что онъ считаетъ *насильственно навязаннымъ*, даетъ ему, какъ конечное искомое, голое человѣческое *я*, предоставленное его влеченіемъ, которыя должны быть всѣ, безъ изъятія, слѣпо удовлетворяемы.

Вотъ съ такимъ-то человѣкомъ встрѣчается дѣвушка, которая начинаетъ работать надъ нимъ, какъ Ольга работала надъ Обломовымъ. Многое ей представляется привлекательнымъ въ Маркѣ Волоховѣ. Онъ не уживается съ общепринятыми правилами,—она и сама не мирится съ ними во многомъ. Она ничего не принимаетъ на вѣру,— она вѣритъ только тому, въ чемъ убѣждается (въ этомъ и отличіе ея отъ простодушной ея сестры — такъ живо обрисованный Гончаровымъ, Марѳинькой). Въ Маркѣ Волоховѣ привлекаютъ Вѣру свободныя отношенія ко всему установившемуся; она цѣнитъ въ немъ освободительныя стремленія, но ее отталкиваетъ то, къ чему приводятъ они Марка — это голое человѣческое *я*, предоставленное своимъ влеченіямъ. Въ этомъ, ничѣмъ не ограниченномъ *я* она видитъ только стихійную силу, а стихійная сила легко становится силой гнетущею. Чѣмъ внимательнѣе

вглядывается Вѣра въ Марка, тѣмъ болѣе убѣждается въ томъ, что стремленіе освободить свое *я* отъ всякихъ сдерживающихъ началъ невольно переходитъ у него въ стремленіе подчинить этому *я* все окружающее. Въ Маркѣ такимъ образомъ все болѣе и болѣе выясняется передъ нею крайній деспотъ, но она долго, упорно вѣритъ въ возможность раскрыть передъ нимъ то внутреннее противорѣчіе, въ которое онъ безсознательно попадаетъ, остановить его освободительную работу на томъ рубежѣ, переходя за который свобода становится самовластіемъ. Она хочетъ заставить его признать нѣчто высшее, чему онъ долженъ сознательно и съ любовью подчиниться; но это такъ же точно не удается ей, какъ Ольгѣ не удается пробужденіе къ дѣятельности Обломова. Высшее начало, по понятію Вѣры, это то, что̀ она (странное соотвѣтствіе съ ея именемъ) называетъ *вѣрой*, въ переводѣ же на обыкновенный житейскій языкъ — вѣровать значитъ признавать что̀-то, что̀-то выше своего собственнаго *я* и его произвольныхъ влеченій. Одно время ей показалось, что она можетъ въ этомъ смыслѣ пробудить вѣру въ Маркѣ, и тогда она была счастлива, находилась въ томъ состояніи, которое Райскій назвалъ экстазомъ. Но, послѣ рѣшительнаго свиданія съ Маркомъ, того свиданія, въ которомъ они должны были опредѣлить свои взаимныя отношенія,— ей пришлось разочароваться въ своихъ надеждахъ. Короткія отношенія свои къ Марку она понимала не иначе, какъ при участіи того высшаго начала, которое въ данномъ случаѣ является мыслію о *семьѣ*. Вѣра, какъ и Ольга, твердо вѣритъ въ возможность постоянной любви со стороны нравственно здороваго, неиспорченнаго человѣка. Но Маркъ Волоховъ не хочетъ признавать естественной возможности подобнаго постоянства; въ постоянной любви онъ видитъ любовь по приказу, по правиламъ, видитъ «пуды, надѣваемые на ноги»; «...я останусь еще въ этомъ болотѣ», говоритъ онъ, «не знаю, сколько времени, буду тратить силы вотъ тутъ,—но не для васъ, а прежде всего для себя, потому что въ настоящее время это стало моей

жизнью,—и я буду жить, пока буду счастливъ, пока буду любить. А когда охладѣю—я скажу и уйду, куда поведетъ меня жизнь, не унося съ собой никакихъ «долговъ», «правилъ» и «обязанностей»; я всѣ ихъ оставлю тутъ, на днѣ обрыва! Видите, я не обманываю васъ — я высказываюсь весь: скажу и уйду! и вы имѣете право сдѣлать то же. А вонъ тѣ мертвецы лгутъ себѣ и другимъ—и эту ложь называютъ «правилами». А сами потихоньку дѣлаютъ то же самое.

Но Вѣрѣ не легче оттого, что онъ, въ самомъ дѣлѣ, не лицемѣритъ, а поступаетъ честно: ей становится страшно и холодно отъ подобной честности, потому что она усматриваетъ въ этомъ отсутствіе настоящей, глубокой привязанности къ себѣ. При своемъ свѣтломъ умѣ, она не можетъ не понимать, что Маркъ, со своею предвзятою мыслію о невозможности постоянной любви, когда-нибудь просто *вообразитъ*, что любви уже нѣтъ, и станетъ тогда безсознательно ломать свое чувство—ради проповѣдуемой имъ свободы чувства, просто чтобъ доказать, что постояннаго чувства нѣтъ и не можетъ быть. Еслибы онъ дѣйствительно глубоко ее полюбилъ, должна она думать, онъ бы бросилъ свою предвзятую мысль, онъ бы увѣровалъ въ то же, во что вѣритъ она, въ начало семейное, которое должно освятить ихъ взаимныя отношенія. «Я говорила себѣ часто: сдѣлаю, что онъ будетъ дорожить жизнью... сначала для меня, а потомъ и для жизни, будетъ уважать... сначала опять меня, а потомъ и другое въ жизни, будетъ вѣрить мнѣ... а потомъ...»

— «Вы поймете жизнь—говоритъ она Марку—не будете блуждать въ-одиночку, со вредомъ для себя и безъ всякой пользы для другихъ... изъ васъ выйдетъ человѣкъ нужный, сильный...»

И во всемъ этомъ ей приходится окончательно разочароваться: онъ остается вѣренъ своему, правда, честно высказанному ученію о «влеченіяхъ» и «физическомъ процессѣ». По ея же взгляду, подчиняться только однимъ влеченіямъ, не ставя надъ ними рѣшительно ничего—

значитъ не имѣть разумной точки опоры, того, что называетъ она корнемъ, значитъ уродовать человѣческую природу. Но если вся работа Вѣры надъ Маркомъ оказывается неудачной, если она должна, наконецъ, сознаться, что ей не пересоздать его, то, при ея характерѣ, при ея нравственномъ закалѣ, ей остается сдѣлать съ нимъ то же, что сдѣлала Ольга съ Обломовымъ. Вѣрѣ остается только разстаться съ Маркомъ. Одно изъ двухъ: или она должна признать его взглядъ и отказаться отъ своего собственнаго, какъ ложнаго, — и тогда она неминуемо пойдетъ съ нимъ на дно обрыва; или она должна устоять въ своихъ убѣжденіяхъ, и тогда она не пойдетъ за нимъ—середины нѣтъ.

Нашъ авторъ какъ будто не понялъ этого, а потому романъ его къ концу представляетъ сплошную фальшивую ноту. Давъ Вѣрѣ устоять въ своихъ убѣжденіяхъ, онъ однакоже заставляетъ ее спуститься съ обрыва, т. е. теоретически она остается при своемъ ученіи, а практически, на дѣлѣ, она является какъ бы наглядным доказательствомъ несостоятельности его, примѣромъ, на который можетъ указать Маркъ, въ подтвержденіе своей мысли, что сила влеченья—верховная сила. Высоко поднявъ любимое лицо своего романа, Гончаровъ, по какой-то странной прихоти, взялъ да и сбросилъ его съ высоты въ обрывъ. Чѣмъ же объяснить такое поразительное явленіе у писателя съ такимъ глубокимъ чутьемъ психолога и художника? Это можно объяснить развѣ тѣмъ, что Гончаровъ въ своемъ послѣднемъ романѣ отчасти измѣнилъ той художественной объективности, которую такъ превозносилъ въ немъ Бѣлинскій. Онъ не выдержалъ ея тутъ, не удовлетворился безстрастнымъ воспроизведеніемъ жизненныхъ явленій въ той ихъ взаимной связи и цѣлостности, которыя уже сами по себѣ даютъ возможность читателю сдѣлать изъ нихъ подобающее заключеніе. Гончарову захотѣлось вложить въ свой романъ такую мораль, которая прямо бы била въ глаза, захотѣлось во всеуслышанье прокричать: «посмотрите, до чего можетъ дойти дѣвушка,

хотя и чрезвычайно умная, но не бѣгающая, какъ отъ чумы, отъ различныхъ «Марковъ»: ему захотѣлось предостеречь Русскихъ дѣвушекъ: «смотрите, подальше отъ нихъ, не то попадете на дно обрыва». И что же? Изъ прекрасно задуманнаго романа вышло подъ конецъ что-то въ родѣ той старинной «Кунигунды», которую бабушка, въ видахъ морали, заставляетъ читать вслухъ, и, какъ извѣстно, безъ малѣйшей пользы нетолько для Вѣры, но даже для Марѳиньки. Допустивъ преднамѣренную мораль, Гончаровъ невольно впалъ въ ту переполненность фальшивыми нотами, которою отличается 5-я часть романа. Все, что слѣдуетъ за «обрывомъ»,—продолжительное хожденіе бабушки, это странное, ни къ чему неведущее разыгрываніе ею роли какого-то «Вѣчнаго Жида», повинующагося постоянно звучащему надъ нимъ «иди! иди!», странное покаяніе той же бабушки въ ея старомъ грѣхѣ; почти граничащее съ комизмомъ (хотя авторъ. разумѣется, не хотѣлъ этого) посредничество между Вѣрой и Маркомъ Тушина,—все это такъ натянуто, все это своего рода tour de force, въ сущности, рѣшительно ни къ чему неведущій. Замѣчу наконецъ вообще про этого Тушина, котораго назначеніе современемъ изгладить воспоминанія объ обрывѣ», замѣчу, что ему кромѣ того предназначено въ романѣ осуществить идеалъ разумнаго практическаго дѣятеля. Но лицо это выходитъ безжизненнымъ, блѣднымъ; о немъ только говорится, что онъ очень много и очень хорошо что-то дѣлаетъ, но существенный смыслъ его практической дѣятельности изъ его собственныхъ словъ и поступковъ мы едва-ли можемъ узнать.

Въ концѣ романа Райскій, какъ извѣстно, начинаетъ писать романъ подъ заглавіемъ «Вѣра», и высказываетъ притомъ слѣдующія соображенія:

Какъ я напишу драму Вѣры, да не съумѣю обставить пропастями ея паденіе, а Русскія дѣвы примутъ ошибку за образецъ, да, какъ козы, одна за другой, пойдутъ скакать съ обрывовъ (!!!»).

Кажется, можно, по крайней мѣрѣ, пожелать, чтобы

въ новомъ изданіи своего романа Гончаровъ похерилъ эту странную фразу, въ которой мораль доходитъ до оскорбленія здороваго нравственнаго чувства. Такъ и хочется сказать автору: вы не туда совсѣмъ бьете! Поддерживайте вѣру въ человѣческое достоинство, вѣру въ достоинство женщины, и тогда не будутъ страшны никакіе обрывы. А развязкой вашего романа вы, даровитый авторъ, сами поколебали такую вѣру...

Но что же, въ концѣ концовъ, этотъ Маркъ, надъ пересозданьемъ котораго такъ неудачно трудилась Вѣра? Типъ этотъ, по своимъ основнымъ чертамъ, не новъ; Маркъ, очевидно, предназначался служить дорисовкою типа, выставленнаго Тургеневымъ въ лицѣ Базарова. Но даетъ-ли намъ Гончаровъ что-нибудь такое, чтобы болѣе выяснило этотъ типъ? Типъ Базарова, самъ по себѣ, — типъ совершенно ясный, цѣльный, живой. Онъ тоже хочетъ освободить себя ото всего, что считаетъ онъ напускнымъ, и при-этомъ невольно старается вырвать съ корнемъ и то, что составляетъ неотъемлемую принадлежность человѣческой природы. Не желая быть, какъ онъ выражается, *самоломаннымъ*, онъ безсознательно, на каждомъ шагу, ломаетъ себя, свою, въ сущности, вовсе несухую и нехолодную природу; но она въ немъ постоянно беретъ свое: мы видимъ, что онъ любитъ отца и мать, влюбляется въ Одинцову, наконецъ чувствуетъ себя близкимъ къ народу, несмотря на то, что говоритъ про себя: «я возненавидѣлъ этого послѣдняго мужика, Филиппа или Сидора, для котораго я долженъ изъ кожи лѣзть и который мнѣ даже спасибо не скажетъ... да и на что мнѣ его спасибо?» Онъ съ презрѣніемъ, съ высоты своего безпредразсудочного величія, глядитъ на народъ, но все это—и презрѣніе, и самое это величіе — только слѣдствіе того, что онъ не умѣетъ, не хочетъ умѣть «*отдаться*» — хотя бы даже народу, мысли о народномъ благѣ. И вотъ онъ съ презрѣніемъ отталкиваетъ отъ себя эту мысль, тогда какъ въ сущности его такъ и тянетъ къ народу, и онъ съ положительнымъ удовольствіемъ говоритъ Павлу Петровичу

Кирсанову: «спросите любого изъ вашихъ же мужиковъ, въ комъ изъ насъ—въ васъ или во мнѣ—онъ скорѣе признаетъ соотечественника. Вы и говорить-то съ нимъ не умѣете...» Базаровъ—не ходячая теорія; онъ живой человѣкъ, именно живыми своими сторонами обличающій многое въ своей теоріи и въ тоже время, несмотря ни на что, возбуждающій къ себѣ участіе, растворенное даже уваженіемъ.

Что же добавилъ къ этому типу Гончаровъ своимъ Маркомъ Волоховымъ? Маркъ Волоховъ знакомится съ Вѣрой, воруя яблоки изъ сада ея бабушки; онъ не знаетъ другой дороги, какъ черезъ заборъ или черезъ окно; онъ беретъ деньги взаймы, прямо говоря, что ихъ не отдастъ; онъ надѣваетъ чужое платье, чтобы оставить его за собою: поддѣлываясь подъ тонъ Вѣры, онъ, письмомъ отъ ея имени, выпрашиваетъ денегъ и платья у Райскаго; онъ вырываетъ страницы изъ книгъ, и притомъ изъ такихъ, которыхъ не можетъ не считать полезными, и закуриваетъ ими папиросы. Вотъ, стало быть, цѣлое множество новыхъ чертъ,—но все это нагроможденіе ихъ приводитъ только къ тому, что Маркъ оказывается карикатурой, а не живымъ человѣкомъ. И между тѣмъ до конца остается совершенно невыясненнымъ вопросъ, предложенный имъ самимъ Райскому: «отчего я такой? отвѣтьте, и тогда я, можетъ быть, вамъ отвѣчу, отчего я не буду ничего дѣлать» (т. е. ничего, кромѣ того *вспрыскиванія мозговъ*, которымъ онъ занимается). Правда, въ одномъ разговорѣ съ Вѣрой, Маркъ объясняетъ ей, изъ какого рода людей онъ и ему подобные (эта «новая, грядущая сила») вербуютъ себѣ послѣдователей. Онъ говоритъ, во-первыхъ, о *семинаристахъ*: «ихъ держатъ въ потемкахъ, умы питаютъ мертвечиной и въ добавокъ порютъ нещадно: вотъ, кто позадорнѣе изъ нихъ, да еще изъ *кадетъ*—этихъ вовсе не питаютъ, а только порютъ—и падки на новое, рвутся изъ всѣхъ силъ—изъ потемокъ къ свѣту... Народъ молодой, здоровый, свѣжій, проситъ воздуха и пищи, а намъ такихъ и надо».—«Кому *намъ*?»

спрашиваетъ Вѣра,—и вотъ этотъ-то вопросъ—все-таки такъ и остается вопросомъ и для читателя. Кто такіе *они*, эти вербующіе себѣ послѣдователей?.. Въ другомъ мѣстѣ авторъ говоритъ, что они «*ни вѣсть откуда взялись*»;—но вѣдь этого не можетъ быть, вѣдь должна же существовать *причина* ихъ появленія. У автора остается не разъясненнымъ и воспитаніе самого Марка. Дѣлаются намеки на то, что онъ былъ юнкеромъ, былъ, какъ будто, и въ университетѣ (хотя послѣднее возбуждаетъ сомнѣнье въ Козловѣ). Откуда же онъ? Отчего онъ такой?

Да, отчего онъ такой—въ этомъ-то и весь вопросъ, а Гончаровъ не даетъ на него отвѣта *). Но тотъ же типъ встрѣтится намъ еще не разъ у другихъ писателей, и мы будемъ имѣть случай увидѣть, отвѣтятъ-ли они намъ на тотъ же основной вопросъ, или нѣтъ? Во-первыхъ, мы встрѣтимся съ этимъ типомъ у Достоевскаго. Но прежде, чѣмъ мы дойдемъ до того, намъ предстоитъ разобрать многочисленныя произведенія еще незнающей этого типа—первой поры дѣятельности автора «Бѣдныхъ Людей».

ЛЕКЦІЯ III.

Достоевскій.—„Бѣдные люди“ и пр.—„Неточка Незванова“. — „Униженные и оскорбленные“.—„Записки изъ Мертваго Дома“.

Мы покончили съ произведеніями Гончарова. Въ продолженіи слишкомъ 20-ти лѣтъ, нашъ авторъ подарилъ намъ три большіе романа, между которыми замѣчается,

*) На вопросъ о происхожденіи этого типа вообще старался я, *по мѣрѣ возможности*, дать отвѣтъ въ моемъ подробномъ разборѣ „Отцовъ и Дѣтей“. (См. выше стр 65 — 77). Относительно же Марка Волохова замѣчу еще, что, по времени дѣйствія романа, онъ занимается своимъ „вспрыскиваніемъ мозговъ“ еще до освобожденія крестьянъ—но едвали типъ, въ который мѣтилъ Гончаровъ, успѣлъ уже вполнѣ обозначиться въ то время.

какъ мы видѣли, значительное соотвѣтствіе. Въ основѣ двухъ первыхъ произведеній лежатъ характеры, повидимому, совершенно несходные между собою, даже противоположные; но противоположность эта только кажущаяся. Собственно говоря, Александръ Адуевъ—это тотъ же самый Петръ Ивановичъ, только пока еще мечтающій; перестанетъ мечтать—будетъ тотъ же «дядюшка». Штольцъ—это, собственно говоря, «вѣчно двигающійся Обломовъ», Обломовъ въ томъ смыслѣ, что вся его дѣятельность, всѣ его усилія уходятъ на то, чтобы создать себѣ комфортабельное положеніе въ жизни, а жизнь его въ сущности, сколько ни старается ее идеализировать Гончаровъ,—жизнь пустая, лишенная всякихъ высшихъ цѣлей и въ этомъ смыслѣ *обломовская* (или даже ниже того, потому что Илья Ильичъ чувствуетъ пустоту своей жизни, а Штольцъ втянулся въ свою съ полнѣйшимъ самоуслажденіемъ).

Въ обоихъ романахъ выше остальныхъ дѣйствующихъ лицъ поставлены женщины, особенно же высоко—Ольга въ «Обломовѣ». Правда, одинъ критикъ,—весьма даровитый, но чрѣдко высказывавшій взгляды парадоксальные,—Аполлонъ Григорьевъ, высказалъ слѣдующее сужденіе объ Ольгѣ: изъ нея современемъ «выйдетъ преотвратительная барыня съ вѣчной и безцѣльной нервной тревожностью, истинная мучительница всего окружающаго, одна изъ жертвъ Богъ знаетъ чего»... Но мнѣніе это, смѣю сказать, оригинально и только...

Въ «Обрывѣ» мы замѣтили содержаніе болѣе сложное, чѣмъ въ двухъ первыхъ романахъ, но, въ сущности, и тутъ, съ одной стороны,—цѣлый рядъ «Обломовыхъ» разныхъ видовъ, съ другой—хотя и является личность уже совершенно иного рода, принадлежащая совершенно новому поколѣнію, но она осталась, при всей кажущейся подробности въ ея обрисовкѣ, рѣшительно невыясненною.

Въ «Обрывѣ» опять женщины поставлены выше другихъ дѣйствующихъ лицъ: въ старомъ поколѣніи бабушка, въ молодомъ—Вѣра. Но идеальная высота этихъ двухъ

женщинъ не выдержана до конца и не выдержана вовсе не ради опасенія погрѣшить противъ жизненной правды, а ради, какъ видѣли мы, посторонней *моральной* цѣли. Это тѣмъ болѣе прискорбно, что Гончаровъ въ своихъ женскихъ типахъ вообще умѣлъ достигать соединенія идеальныхъ сторонъ съ жизненною правдою. Если мы не могли не замѣтить *фальшивой идеализаціи* въ Штольцѣ, то не могли не признать совершенно вѣрнаго воспроизведенія идеальныхъ сторонъ въ Ольгѣ.

Это особенно замѣчательно по сравненію съ Гоголемъ, которому во II части «Мертвыхъ Душъ» положительно не удались не только идеальные мужскіе характеры, но и идеальный характеръ женскій—Улинька.

Между тѣмъ, само по себѣ, стремленіе Гоголя къ *идеальнымъ сторонамъ* жизни могло быть ошибочно развѣ въ томъ отношеніи, что выводило его за предѣлы той сферы, которая по преимуществу принадлежала ему по особенностямъ его таланта *). Само по себѣ, такое стремленіе вовсе не непремѣнно ведетъ къ *Маниловщинѣ*. Ошибочно только усматривать идеальное тамъ, гдѣ его нѣтъ. Жизненная правда въ широкомъ смыслѣ не только не исключаетъ идеальныхъ сторонъ, но и требуетъ воспроизведенія ихъ, насколько онѣ дѣйствительно проявляются въ жизни,—такого воспроизведенія, которое давало бы видѣть въ личностяхъ съ идеальной основой—живыхъ людей. Такою и представляется намъ Ольга у Гончарова; такою представилась-бы и Вѣра, если бы не несчастный «обрывъ». Не будь его, и она, наряду съ Ольгою и нѣкоторыми женскими типами Тургенева, была-бы однимъ изъ доказательствъ того рѣшительнаго шага впередъ, который, въ дѣлѣ созданія женскихъ характеровъ, сдѣланъ нашею литературою послѣ Гоголя.

Если обратить вниманіе на тотъ кругъ, изъ котораго

*) Хотя Гоголю удалось воспроизведеніе положительныхъ сторонъ въ художникѣ Пискаревѣ, главнымъ же образомъ во многихъ личностяхъ „Тараса Бульбы“.

по преимуществу беретъ свои типы Гончаровъ, то окажется, что это тотъ-же кругъ, изъ котораго вывелъ столькихъ своихъ героевъ Гоголь,—это кругъ помѣщичій и чиновничій. Людей изъ «народа», въ собственномъ смыслѣ слова, Гончаровъ не выводитъ; народъ является у него, какъ и у Гоголя въ его не-Малороссійскихъ произведеніяхъ, только въ лицѣ слугъ, и въ отношеніи къ этой части народа у Гончарова, какъ и у Гоголя, не замѣчается той теплой человѣчности, которою отличаются первыя произведенія Григоровича и Тургенева. Долго не подходилъ собственно къ народу и тотъ писатель, къ которому я теперь перейду,—долго не подходилъ къ нему и Достоевскій. Но съ первыхъ-же своихъ шаговъ на литературномъ поприщѣ Достоевскій обращается къ людямъ бѣднымъ, загнаннымъ, хотя и изъ класса чиновничьяго, къ тѣмъ изъ этого класса, для которыхъ, конечно, вовсе не «благодать» ихъ кличка: *чиновникъ*. Въ этомъ отношеніи Достоевскій является прямымъ продолжателемъ того направленія, которое выразилось въ повѣсти Гоголя «Шинель». Но въ романѣ «Бѣдные люди», сразу доставившему Достоевскому такую почетную извѣстность, нельзя не признать значительнаго шага впередъ противъ «Шинели». Гуманное отношеніе къ бѣднымъ, забитымъ людямъ тутъ проведено гораздо далѣе, чѣмъ у Гоголя. Не даромъ Бѣлинскій обратился къ Достоевскому съ такими сочувственными словами: «Честь и слава молодому поэту, муза котораго любитъ людей на чердакахъ и въ подвалахъ, и говоритъ о нихъ обитателямъ раззолоченныхъ палатъ: вѣдь это тоже люди, ваши братья!»

Конечно, уже и Гоголь сказалъ это психологическою постановкою героя «Шинели», который хотя и смѣшонъ, но такъ живо трогаетъ каждаго, сколько-нибудь по-человѣчески чувствующаго читателя. Тѣмъ не менѣе, герой Гоголя, такъ сказать, весь ушелъ самъ въ себя, въ продолжительныя заботы о томъ, для него значительномъ комфортѣ, какой онъ доставляетъ себѣ новой шинелью; сочувствіе къ нему читателя возбуждается собственно

тѣмъ, что авторъ даетъ понять, какъ дорого, цѣною какихъ долгихъ лишеній, достается маленькому человѣку и какое событіе въ его приниженной жизни составляетъ то, что̀ является у другого само собой въ ряду множества другихъ вещей, безъ которыхъ и обойтись нельзя, а маленькій человѣкъ обходится! Все то, что̀ предпринимаетъ Акакій Акакіевичъ для доставленія себѣ новой шинели—своего рода нравственный подвигъ, но подвигъ, который ведетъ къ его личному удовольствію и удобству. Гораздо болѣе представляютъ намъ «бѣдные люди» Достоевскаго. Въ лицѣ Макара Дѣвушкина, этого добряка-чиновника, переписывающагося съ героиней повѣсти, авторъ, по замѣчанію Бѣлинскаго, «показалъ намъ, какъ много прекраснаго, благороднаго и святого лежитъ въ самой ограниченной человѣческой натурѣ», т. е. въ тѣхъ симпатическихъ связяхъ, которыя соединяютъ бѣднаго, загнаннаго человѣка съ другимъ бѣднымъ, загнаннымъ существомъ.

Ту же глубоко-человѣческую черту усмотрѣлъ Бѣлинскій и въ другомъ лицѣ этой повѣсти, въ лицѣ эпизодическомъ, старикѣ Покровскомъ. «Подставной мужъ обманутой женщины, потомъ угнетенный мужъ разлихой бой-бабы, шутъ и пьяница—и онъ человѣкъ!» говоритъ Бѣлинскій.—Да, и онъ человѣкъ, даже въ лучшемъ смыслѣ слова, потому что онъ въ состояніи любить до самоотверженія. «Вы можете смѣяться надъ его любовью къ своему мнимому сыну», продолжаетъ Бѣлинскій, «напоминающею робкую любовь собаки къ человѣку; но если, смѣясь надъ нею, вы въ тоже время глубоко ею не трогаетесь, если изображеніе Покровскаго съ книгами въ карманѣ и подъ мышками, безъ шапки на головѣ, въ дождь и холодъ бѣгущаго за гробомъ смѣшно-любимаго имъ сына, не производитъ на васъ трагическаго впечатлѣнія, не говорите объ этомъ никому, чтобы какой-нибудь Покровскій, шутъ и пьяница, не покраснѣлъ за васъ, какъ за человѣка».

Все это сказано Бѣлинскимъ именно потому, что въ

Покровскомъ, какъ и въ Макарѣ Дѣвушкинѣ, несмотря на тотъ темный уголъ, въ который забиты они невзгодами жизни, ярко теплится та искра Божія, которая совершенно погасла не только въ Обломовѣ, но и въ Штольцѣ, потому что оба они не видятъ ничего далѣе — одинъ своего кабинета съ мягкой постелью и вѣчнымъ халатомъ, другой — своей нескончаемой суеты ради собственныхъ выгодъ и удовольствій. Искра Божія погасла въ нихъ—и потому-то приходится Ольгѣ отказаться отъ надежды нетолько сдвинуть съ мѣста Обломова, но и отыскать живительный смыслъ въ трудолюбіи Штольца. Напротивъ, что̀ касается Дѣвушкина и Покровскаго, то *Бѣлинскій находилъ даже, чего послѣ него не находили другіе критики, что Достоевскій «вовсе не хотѣлъ изобразить людей, у которыхъ умъ и способности придавлены, приплюснуты жизнью»*. И въ нихъ дѣйствительно не забито то, что̀ симпатически связываетъ человѣка съ человѣкомъ. Добролюбовъ въ своей статьѣ «Забитые люди» налегаетъ на другую сторону произведеній Достоевскаго,—на общественную приниженность главныхъ его героевъ со всѣми ея послѣдствіями. Къ числу ихъ Добролюбовъ совершенно справедливо относитъ то, что Дѣвушкинъ съ какимъ-то особеннымъ умиленіемъ умаляется передъ своимъ начальствомъ: «я вѣдь человѣкъ маленькій», говоритъ онъ, основывая на такомъ сознаніи всю свою практическую философію. Но, уживаясь самъ съ такой скромной долей, онъ не мирится съ мыслію, чтобы она могла удовлетворять и ту дѣвушку, къ которой онъ такъ привязанъ. Ея бѣдное, загнанное положеніе хотѣлъ бы онъ усладить, улучшить; и вотъ онъ отдаетъ послѣдніе гроши, чтобы доставитъ ей какое-нибудь удовольствіе, или хоть лакомство. Правда, во многихъ другихъ повѣстяхъ Достоевскаго мы уже не находимъ этой нравственно поддерживающей бѣдняка заботы о другихъ бѣднякахъ. Многіе «забитые люди» Достоевскаго, подобно Гоголевскому Акакію Акакіевичу, *загнаны въ самихъ себя* и такимъ образомъ окончательно являются жертвами своего положенія. Таковъ,

какъ совершенно вѣрно выяснилъ Добролюбовъ, герой повѣсти того-же названія, г. Прохарчинъ, котораго одна ошеломляющая мысль о томъ, что онъ можетъ быть выгнанъ изъ службы, доводитъ до пьянства и преждевременной смерти. Не менѣе печально кончаетъ личность, поставленная, повидимому, въ болѣе благопріятное положеніе, но, при большей развитости въ ней требованій отъ жизни, не уживающаяся съ мыслью, что ей никогда не достанется многое, такъ легко достающееся другимъ,—я разумѣю героя «Двойника», г. Голядкина. Если «Бѣдные люди» связаны съ Гоголевской «Шинелью», то «Двойникъ» не менѣе тѣсно связанъ съ «Записками Сумасшедшаго», только разница въ томъ, что Гоголь набросалъ свой психологическій очеркъ немногими мастерскими чертами, съ сжатостью, свойственною великому художнику, у Достоевскаго же замѣтна крайняя расплывчивость и растянутость. За то, съ другой стороны, если Добролюбовымъ вѣрно истолкованъ смыслъ, вложенный Достоевскимъ въ своего «Двойника», то произведеніе это, по глубинѣ мысли, превосходитъ «Записки Сумасшедшаго». Этотъ фантастическій двойникъ, по толкованію Добролюбова, есть не что иное, какъ внутреннее раздвоеніе одной и той-же личности. Голядкинъ сознаетъ, что для успѣха въ жизни ему нужно умѣніе заискивать въ людяхъ, нужны такія качества, какихъ въ немъ нѣтъ, — и вотъ эта-то практическая, недостающая ему способность подслуживанія и олицетворяется имъ въ лицѣ г. Голядкина младшаго, который своей пронырливостью постоянно перебиваетъ дорогу г. Голядкину старшему. Какъ-бы-то ни-было, герой повѣсти въ своемъ помѣшательствѣ постоянно занятъ столкновеніями со своимъ двойникомъ, т. е. съ другимъ, воображаемымъ *самимъ собою*, а это можетъ быть объяснено только такимъ предшествующимъ психическимъ состояніемъ, которое не выпускало его изъ заколдованнаго круга *личныхъ* заботъ и стремленій.

Извѣстно, что Добролюбовъ въ своей статьѣ, намѣтивъ основной смыслъ многихъ дѣйствующихъ лицъ Достоев-

скаго, упоминаетъ мимоходомъ и о той странной, хотя и не сходящей съ ума, но душевно далеко не здоровой личности, которая является въ повѣсти «Село Степанчиково» подъ именемъ Ѳомы Ѳомича. Личность эта представляетъ замѣчательный, съ психологической глубиной воспроизведенный нашимъ авторомъ переходъ изъ положенія человѣка оскорбленнаго, униженнаго—въ положеніе человѣка оскорбляющаго, при представившейся возможности забрать власть въ свои руки.

Ѳома Ѳомичъ, долго бывшій приживальщикомъ въ домѣ стараго самодура генерала, вдругъ переходитъ къ человѣку, который отличается самымъ кроткимъ, гуманнымъ характеромъ, и, пользуясь этимъ, приживальщикъ забираетъ въ руки не только хозяина, но и весь домъ. Онъ съ какимъ-то наслажденіемъ продѣлываетъ надъ другими то, что̀ самъ вынесъ: загнанность его прежняго положенія развила въ немъ эгоизмъ до послѣднихъ предѣловъ. Впрочемъ, въ концѣ повѣсти *(на это не обратила вниманія критика)*, ему представляется возможность подняться нравственно: отъ него зависитъ разстроить бракъ добряка полковника съ нѣжно привязавшейся къ нему гувернанткой и такимъ образомъ отомстить полковнику за то, что онъ, было, попытался нѣсколько пообуздать самоуправство Ѳомы Ѳомича;—но Ѳома Ѳомичъ вдругъ отказывается отъ мести, онъ великодушно содѣйствуетъ этому браку и такимъ образомъ изъ маленькаго тирана подчинившагося ему дома неожиданно превращается въ благодѣтеля.

Нѣкоторое психологическое соотвѣтствіе съ Ѳомой Ѳомичемъ представляетъ у нашего автора герой «Записокъ изъ Подполья», вымещающій на несчастной дѣвушкѣ всѣ тѣ униженія, которыя пришлось вытерпѣть ему самому отъ другихъ, вслѣдствіе загнанности своего положенія. Но когда эта дѣвушка не такъ понимаетъ его жестокую проповѣдь и думаетъ схватиться за него, чтобы подняться нравственно,—онъ сурово отталкиваетъ ее отъ себя, обнаруживая передъ нею всю бездну того эгоизма, который

развился въ немъ отъ ожесточенности приниженнаго человѣка.

Другія личности Достоевскаго не ожесточены, а просто запуганы своимъ положеніемъ и находятся подъ вліяніемъ подначальнаго страха даже тогда, когда бояться рѣшительно нечего, потому-что начальники ихъ—люди добрые. Такимъ является у нашего автора молодой чиновникъ, сходящій съ ума отъ мысли, что, увлекшись своимъ положеніемъ жениха, онъ не успѣетъ въ срокъ окончить работу, возложенную на него «его превосходительствомъ». Здѣсь, конечно, авторъ уже вдается въ крайность: у героя, какъ замѣтилъ Добролюбовъ, оказывается уже слишкомъ «*слабое сердце*» (таково и заглавіе повѣсти). Но и этотъ оттѣнокъ забитости получаетъ свое значеніе въ той общей картинѣ забитыхъ людей, какую рисуетъ намъ Достоевскій. Въ сущности такого же запуганнаго человѣка видимъ мы и въ повѣсти, озаглавленной «Скверный Анекдотъ», повѣсти, по юмористическому своему тону, довольно близко подходящей къ Гоголевскимъ произведеніямъ. Дѣло тутъ, какъ извѣстно, въ желаніи начальника порисоваться своей популярностію, гуманно отнестись къ подчиненному. Совершенно случайно его превосходительство попадаетъ на свадебный пиръ къ мелкому чиновнику своего департамента, попадаетъ съ другого пира, на которомъ онъ уже успѣлъ достаточно угоститься. Очутившись въ средѣ, для него слишкомъ низкой, и не зная, какъ-бы такъ, спустившись до нея, не утратить своего достоинства, онъ избираетъ благую часть—продолжаетъ и тутъ угощаться, но, хвативъ наконецъ черезъ край, попадаетъ въ положеніе, вовсе не выгодное для его «достоинства» и еще менѣе выгодное для подчиненнаго, котораго вздумалъ онъ «осчастливить». Свадебный пиръ кончается въ высшей степени неудобною болѣзнью его превосходительства и необходимостью тщательнаго ухода за его высокой персоной—тутъ-же, въ квартирѣ «осчастливленныхъ» молодыхъ. Но что составляетъ уже рѣшительно печальную сторону «скверная анекдота»—это дальнѣйшія послѣдствія конфуза его

превосходительства для подчиненнаго, у котораго сей конфузъ приключился. Печальна та логика, которая сейчасъ же заставляетъ подчиненнаго понять, что, сдѣлавшись ближайшимъ свидѣтелемъ критическаго положенія своего начальника, онъ уже не долженъ и думать показываться ему на глаза; и вотъ подъ вліяніемъ этой логики подчиненный спѣшитъ заглазно подать прошеніе о переводѣ въ другое мѣсто. Въ развязкѣ такимъ образомъ этотъ «анекдотъ»—по мнѣнію нѣкоторыхъ просто пустая, даже плоская, грязная шутка,—не лишенъ весьма серьезнаго смысла и находится, по послѣдствіямъ его для маленькаго человѣка, въ самой близкой связи съ другими картинами галлереи «забитыхъ людей» Достоевскаго.

Къ той-же галлереѣ, конечно, должны быть отнесены и учительскіе типы въ «Дядюшкиномъ Снѣ» и въ «Игрокѣ». Въ первомъ мы видимъ бѣднаго учителя уѣзднаго училища, забракованнаго въ качествѣ жениха именно изъ-за бѣдности. Между тѣмъ та, которую онъ любитъ и которая платитъ ему тѣмъ-же въ душѣ, сдается на постыдную торговую сдѣлку своей матери съ дряхлымъ сіятельнымъ богачомъ, успѣвшимъ, отъ слишкомъ весело проведенной жизни, потерять сознанье и память. И этотъ-то живой мертвецъ долженъ повести ее къ налою, между тѣмъ какъ отвергнутый ею молодой, честный труженикъ съ горя чахнетъ и умираетъ отъ чахотки. Въ «Игрокѣ» обрисовано подначальное положеніе учителя въ домѣ человѣка, который смотритъ на него какъ на какую-то, почему-то считающуюся необходимою, мебель. Не что иное, какъ желаніе выйти изъ этого подначальнаго положенія, заставляетъ рискнуть попытать счастіе въ соблазняющей его игрѣ на рулеткѣ. И какую яркую противоположность представляетъ при-этомъ азартная игра старухи тетки генерала съ игрою учителя. Старуха пускается на краю могилы въ игру—по барской прихоти и изъ желанія показать племяннику, разсчитывающему на ея наслѣдство, что она не только еще въ живыхъ, но и полна жизни и страсти, а главное, что она полновластная владычица сво-

его богатства: захочетъ, и спуститъ все въ одинъ день у него на глазахъ, не оставивъ ему ни копѣйки.—Это совсѣмъ не то, что̀ отчаянное «авось и я выйду въ люди» учителя, убѣдившагося въ томъ, какъ тяжелъ трудовой хлѣбъ. Къ тому-же у него тутъ примѣшивается и желаніе поправить своимъ выигрышемъ положеніе любимой имъ дѣвушки, падчерицы генерала. Не отнесись она къ нему такъ гордо, не оттолкни она протянутую къ ней руку, и онъ съумѣлъ-бы остановиться во̀-время, не втянулся-бы окончательно въ грязный омутъ игры. Униженіе, испытываемое имъ, бѣднякомъ, отъ Полины, — самое тяжелое изъ униженій, потому-что оно достается отъ существа любимаго,—доводитъ его до потери вѣры въ себя и въ другихъ, до совершеннаго нравственнаго паденія. А если мы наконецъ вспомнимъ послѣднюю встрѣчу его съ Англичаниномъ, достающіеся отъ него упреки въ пустотѣ, въ отсутствіи характера, обобщеніе, дѣлаемое Англичаниномъ,— «что всѣ-то вы, Русскіе,—пустые, безхарактерные люди»,— то не трудно будетъ понять, что, послѣ всего предшествующаго, такое окончательное униженіе могло только нравственно доконать несчастнаго молодого человѣка. Повѣсть остается какъ-бы оборванной, но можно предвидѣть, что героя ея ожидаетъ впереди только самоубійство...

Мы такимъ образомъ возобновили въ памяти цѣлый рядъ повѣстей, въ которыхъ выводятся униженные и забитые люди (я пополнилъ этотъ рядъ повѣстями, не отмѣченными у Добролюбова). Имѣя въ виду всѣ эти повѣсти, мы конечно не можемъ не согласиться съ вѣрностью сужденія, высказаннаго Добролюбовымъ, но должны восполнить его не менѣе вѣрнымъ сужденіемъ Бѣлинскаго. *Добролюбовъ обратилъ главное вниманіе на то, до какой степени всѣ эти люди придавлены жизнью; Бѣлинскій—на то, что по крайней мѣрѣ нѣкоторые изъ нихъ не дали окончательно подавить въ себѣ все человѣческое. Но для насъ особенно важенъ взглядъ самого Достоевскаго на то, что̀ составляетъ самое цѣнное въ человѣкѣ*; а взглядъ этотъ прямо выраженъ у него въ «Запискахъ изъ Подполья»: «Свое

собственное вольное и свободное «хотѣніе», говоритъ онъ тутъ, свой собственный, хотя-бы самый дикій капризъ, своя фантазія, раздраженная иногда хоть-бы даже до сумасшествія,—вотъ это-то и есть та самая, пропущенная, самая выгодная выгода, которая ни подъ какую классификацію не подходитъ». Но не надо пугаться этихъ словъ, этого *хотѣнія* ради *хотѣнія*. Достоевскій сейчасъ-же оговаривается: «*хотѣть можно и противъ своей собственной выгоды, а иногда и положительно должно*». Да, только способность и на такое хотѣнье доказываетъ, что человѣкъ владѣетъ своею личностью, какъ полнымъ своимъ имуществомъ,—захочетъ, и пожертвуетъ собою для другихъ. Въ своихъ «Зимнихъ Замѣткахъ о лѣтнихъ впечатлѣніяхъ» Достоевскій окончательно высказывается въ этомъ смыслѣ: «поймите меня—*самовольное, совершенно сознательное и никѣмъ не принужденное самопожертвованіе всего себя въ пользу всѣхъ есть, по моему, признакъ высочайшаго развитія личности, высочайшаго ея могущества, высочайшаго самообладанія, высочайшей свободы собственной воли* *). Добровольно пойти за всѣхъ на крестъ, на костеръ можно только при самомъ сильномъ развитіи личности». Вотъ что составляетъ идеалъ нашего писателя, и *на этотъ-то идеалъ указываетъ онъ отрицательно рядомъ людей, которымъ именно свободнаго обладанія своею личностью и не достаетъ*, въ которыхъ, повидимому, совершенно забито свободное человѣческое *хотѣніе*. Но Бѣлинскій не даромъ замѣтилъ, что въ Дѣвушкинѣ и Покровскомъ, не смотря на всю ихъ приниженность, вполнѣ сохранилась способность любить до самоотверженія, а Достоевскій именно въ этомъ и видитъ самое сильное проявленіе личности; стало быть, она тутъ не совершенно забита. *Въ лицахъ вполнѣ довольныхъ, успокоившихся на комфортѣ, убаюканныхъ удобствами жизни, скорѣе можетъ оказаться совершенно подавленною та свободная человѣческая личность, которая проявляется въ расширеніи своего «я» постояннымъ общеніемъ со всѣмъ ок-*

*) Курсивъ принадлежитъ мнѣ.

ружающимъ міромъ. Мы видѣли на Ал. Адуевѣ, на Обломовѣ, до какой степени самое воспитаніе можетъ вести къ тому, что личность въ этомъ лучшемъ, человѣчнѣйшемъ смыслѣ, такъ и останется непробужденною.

Достоевскій, напротивъ того, далъ намъ два дѣтскихъ типа, взятыхъ изъ той-же обиженной судьбою среды, съ которою онъ постоянно имѣетъ дѣло, и мы ясно видимъ на нихъ, что иной разъ именно раннее знакомство съ нуждою и горемъ и зажигаетъ въ душѣ тотъ священный огонь, который такъ часто остается навсегда чуждымъ людямъ, приголубленнымъ счастьемъ.

Неточка Незванова—главное лицо той прекрасной повѣсти Достоевскаго, которая осталась, какъ извѣстно, неоконченной вслѣдствіе постигшей его катастрофы, — Неточка Незванова выростаетъ уже вовсе не въ томъ блаженномъ невѣдѣніи жизни съ ея невзгодами, которое доводитъ и хорошихъ по природѣ людей до «Обломовщины». Рано, еще ребенкомъ, познакомилась она съ горемъ, рано почувствовала сильную жалость къ людямъ, представлявшимся ей униженными. Правда, она ошибалась на первыхъ порахъ: самымъ униженнымъ и оскорбительнымъ представлялся ей ея отчимъ, тогда какъ тѣ выговоры и попреки, которые доставались ему отъ жены, были имъ совершенно заслужены. Не понимая этого, считая мать обидчицей, Неточка привязывается къ отчиму, который, пользуясь этимъ, заставляетъ ее наконецъ утаивать деньги у матери. Читая романъ, невольно боишься, что этотъ человѣкъ развратитъ ея юную душу,—но то теплое, любящее начало, которое такъ громко говоритъ въ ней, служитъ лучшимъ ручательствомъ, что этого не случится. И мнимо загнанный отчимъ, и сосредоточенная въ себѣ, какъ-бы очерствѣвшая, страдалица мать умираютъ одинъ за другимъ. Неточка остается круглою сиротой и попадаетъ къ чужимъ людямъ; они ее хорошо одѣваютъ и кормятъ, но настоящей сердечной ласки она долго не встрѣчаетъ ни отъ кого, кромѣ какъ отъ князя, который, повидимому, и самъ играетъ какую-то печальную роль въ своемъ аристо-

кратическомъ домѣ. Но вотъ вдругъ къ Неточкѣ, во время ея болѣзни, приводятъ маленькую княжну, и мало-по-малу между этими двумя, такъ различно поставленными въ жизни дѣтьми, начинаетъ завязываться дружба. Достоевскій мастерски проводитъ психологическую черту, отдѣляющую ребенка, выросшаго въ нуждѣ и рано узнавшаго жизнь, отъ ребенка, воспитаннаго въ богатой семьѣ при блаженномъ невѣдѣніи жизни. Маленькая княжна долго не можетъ привыкнуть къ Неточкѣ; не зная, что̀ такое горе, она не можетъ понять, почему та все плачетъ. Долго Неточка кажется ей прескучнымъ, пренесноснымъ ребенкомъ. Княжна думаетъ развеселить ее разными лакомствами, но все понапрасну, и бѣдная Катя уже считаетъ свою подругу рѣшительно ни къ чему негодной. Но надо замѣтить, что въ этой Катѣ, при всей ея избалованности, съ другой стороны замѣтна и нѣкоторая ожесточенность. Мать ея, при своемъ чисто барскомъ своенравномъ характерѣ, часто поступаетъ съ нею несправедливо; отъ непомѣрнаго баловства она вдругъ переходитъ къ ненужной, ничѣмъ особеннымъ не вызываемой строгости, и въ ребенкѣ отъ этого развивается упорство и своего рода своенравная гордость. Понятно, что при такихъ качествахъ она долго не соглашается попросить прощенія у Неточки, которую огорчила тѣмъ, что слишкомъ любопытно ее разпрашивала, кто такіе были и какъ жили ея родители. Къ тому-же вѣдь самолюбіе заставляетъ маленькую княжну завидовать Неточкѣ: всѣ говорятъ, что она и лучше учится, и добрѣе,—и вотъ Катѣ хочется показать, что у нея за то есть такія преимущества, о которыхъ Неточка и думать не можетъ. Между-тѣмъ въ сердечко Кати уже невольно закралась привязанность къ Неточкѣ, но при своей такъ рано развившейся гордости и самолюбіи, она долго не хочетъ признаться въ этомъ и самой себѣ, а тѣмъ-менѣе выказать свое чувство. Она внутренно какъ будто-бы сознаетъ, до какой степени готова она подчиниться вліянію этой бѣдной дѣвочки, но гордость эгоизма, угнѣздившаяся въ избалованной дѣвочкѣ, долго не допускаетъ ее до подоб-

наго подчиненія. Но вотъ наконецъ Неточка рѣшительно побѣждаетъ ее тѣмъ, что со всѣмъ увлеченіемъ дѣтскаго самоотверженія беретъ на себя вину Кати, за что Неточку и сажаютъ въ ту мрачную комнату, которую дѣтское разыгравшееся воображеніе обращаетъ въ «темницу». Только съ той минуты, когда Катя увидѣла такую полную любовь къ себѣ со стороны своей подруги, и собственная привязанность Кати къ ней разомъ вышла наружу. Но именно тутъ-то, когда стала часъ отъ часу крѣпнуть и развиваться ихъ дѣтская дружба, когда еще неизвѣстное ей воспитательное начало стало проникать въ сердце Кати въ видѣ теплой любви къ такъ много уже испытавшему, въ своей маленькой жизни, ребенку,—именно тутъ, этому, можетъ быть еще первому, единственно-воспитательному началу въ ея воспитаніи—и оно, конечно, съ умысломъ—не даютъ развиться: Катю увозятъ въ Москву, а Неточку сдаютъ въ другой домъ. Она, какъ извѣстно, находитъ и тутъ лицо, къ которому привязывается тѣмъ крѣпче, что и это лицо—страдающее, несмотря на все приволье и блескъ своей обстановки; новая привязанность крѣпнетъ съ годами и вызываетъ новые самоотверженные поступки со стороны Неточки, уже дѣвицы... Но повѣсть, къ сожалѣнію, тутъ-то и обрывается...

Другой дѣтскій типъ Достоевскаго, которому онъ даетъ и умереть ребенкомъ послѣ всѣхъ, испытанныхъ имъ потрясеній, выведенъ имъ въ романѣ «Униженные и Оскорбленные». Недостатки этого романа, которыхъ дѣйствительно много,—неестественность постоянной любви Наташи къ этому отвратительному барченку — вертопраху-плаксѣ Алешѣ, неестественность потакательства имъ обоимъ Ивана Петровича, отсутствіе разнообразія въ языкѣ дѣйствующихъ лицъ, оказывающемся какъ-бы сплошь языкомъ самого автора, — все это въ свое время указано Добролюбовымъ. Я обращу вниманіе собственно на тотъ дѣтскій типъ, который выкупаетъ недостатки романа, на типъ маленькой Нелли. Она познакомилась съ горемъ, быть можетъ, даже короче, чѣмъ Неточка. Ей пришлось быть

свидѣтельницей оскорбленнаго положенія своей матери, которую бросилъ мужъ и отъ которой, за бракъ съ нимъ, отказался отецъ. Испытавъ всѣ возможные виды лишеній и огорченій, она наконецъ умираетъ на рукахъ у малютки дочери, которая остается затѣмъ на попеченіи женщины, едва не доводящей ее до конечной погибели. Но какъ ни много терпѣла отъ нея Нелли,— когда ее вырываютъ изъ рукъ этой вѣдьмы, дѣвочка готова вернуться къ ней, чтобы только не дать ей новаго повода попрекать свою покойную мать за даровой хлѣбъ: она хочетъ отслужить Бубновой за эти такъ называемыя *благодѣянія* ея страдалицѣ матери,— не думая о томъ, что вѣдьма, съ которою она имѣетъ дѣло, никогда не будетъ считать этого стараго долга уплаченнымъ. Любя самоотверженно людей оскорбленныхъ, благоговѣя предъ самою памятью ихъ, Нелли способна съ другой стороны такъ-же сильно и глубоко ненавидѣть людей оскорбляющихъ. Еще ребенокъ, она не вѣритъ уже въ безкорыстіе людей, которыхъ не знаетъ: ей кажется, что если ей дѣлаютъ добро — она сейчасъ-же должна заплатить за него, чтобы не попрекали. Вотъ чѣмъ объясняется ея образъ дѣйствія съ Иваномъ Петровичемъ, которому она обязана спасеніемъ своимъ отъ Бубновой. За то, когда она окончательно убѣждается въ его сердечной привязанности къ ней, недовѣрчивая холодность сразу обращается у нея въ горячую и безграничную преданность этому человѣку, причемъ въ ея молодую, преждевременно развившуюся душу западаетъ даже и ревность къ другому существу, о которомъ такъ много заботится онъ,—къ Наташѣ. Но когда онъ знакомитъ ее съ исторіей этой Наташи, въ которой она узнаетъ какъ-бы повтореніе исторіи своей матери, когда онъ умоляетъ Нелли перейти къ отцу Наташи съ тѣмъ, чтобы размягчить сердце озлобленнаго старика и привести его къ примиренію съ дочерью, Нелли изъявляетъ согласіе. Она забываетъ ревность, возникшую было въ ея душѣ; она подавляетъ въ себѣ и отвращеніе къ отцу Наташи, вызванное его суровостью къ дочери, она съ увлеченіемъ разсказываетъ этому страшному для

нея старику (напоминающему ей непреклоннаго ея дѣда), она съ жаромъ не по лѣтамъ разсказываетъ ему исторію своей матери и доводитъ его до того, что онъ съ отверстыми объятіями принимаетъ дочь свою. Но этотъ тяжелый разсказъ окончательно надрываетъ и безъ того уже истерзанное сердце дѣвочки: она, какъ бы тая, умираетъ жертвою могучаго жара, преждевременно переполнившаго ея душу. Но, дѣлаясь жертвой своей способности любить до самоотверженія — любить память матери, а съ тѣмъ вмѣстѣ любить и *чужую*, чуть-чуть не соперницу, изъ-за поразительнаго сходства въ ея судьбѣ съ судьбой матери, Нелли сохраняетъ до конца и способность безгранично ненавидѣть: она умираетъ, не прощая князя, погубившаго ея мать. А такое совмѣщеніе могучаго чувства съ не менѣе могучею страстью въ ребенкѣ,— это уже, конечно, не забитость личности, а преждевременное развитіе ея до крайнихъ предѣловъ. Послѣ этого намъ приходится окончательно признать вѣрнымъ приведенное выше сужденье Бѣлинскаго, не дождавшагося ни «Неточки», ни «Униженныхъ и Оскорбленныхъ», но какъ-бы заранѣе угадавшаго смыслъ и будущихъ произведеній Достоевскаго. Если-же другой, не менѣе даровитый и гуманный критикъ, Добролюбовъ, обратилъ вниманіе только на другую сторону этихъ произведеній, совершенную *забитость* большинства дѣйствующихъ въ нихъ лицъ, то это объясняется, надо думать, тѣмъ, что такія *не поддающіяся*, какъ Нелли, преждевременно гаснутъ, или же, если и выдерживаютъ до конца (чѣмъ должна кончить Неточка, мы не знаемъ), то, при всей силѣ самоотверженія, достигаютъ все-таки слишкомъ немногаго для поддержки подобныхъ себѣ «униженныхъ и оскорбленныхъ». Добролюбовъ, въ концѣ своей прекрасной статьи, доискивается причинъ того множества этого рода людей, какое представляетъ намъ жизнь, воспроизводимая Достоевскимъ; но онъ впадаетъ при этомъ въ односторонность, доискиваясь главнымъ образомъ мѣстныхъ причинъ этого печальнаго явленія. *Вопросъ, между тѣмъ, несравненно глубже: «униженные и оскорбленные»*

вслѣдствіе самаго своего положенія на нижнихъ ступеняхъ общественной лѣстницы, составляютъ явленіе не только мѣстное, но и обще-Европейское, обще-человѣческое. Глупо и безнравственно было-бы, разумѣется, утѣшать себя этимъ: будь явленіе только мѣстнымъ, — противъ него-бы скорѣе могли быть отысканы мѣры, ему-бы скорѣе можно было положить конецъ; явленіе же всеобщее, противъ котораго тщетно испытываетъ разныя мѣры весь «образованный міръ», должно корениться такъ глубоко, что невольно подрывается вѣра въ возможность искорененія. Повсемѣстность «униженныхъ и оскорбленныхъ», существованіе ихъ въ самыхъ «благоустроенныхъ» обществахъ объясняется тѣмъ, что нѣтъ еще во всемъ образованномъ мірѣ страны, гдѣ-бы была дѣйствительно ограничена власть величайшаго и самаго могущественнаго изъ тирановъ — капитала! Повсемѣстность такого явленія и доводила многихъ глубокихъ мыслителей до крайняго пессимизма и мизантропіи, до той мизантропіи, въ которой нерѣдко слышится гораздо болѣе любви къ человѣчеству, чѣмъ въ различныхъ идеальныхъ теоріяхъ: вѣдь эти теоріи такъ удобно приводятъ къ конечному благу и къ вѣрѣ въ неколебимое достоинство человѣка, потому что создаются въ комфортабельномъ кабинетѣ, послѣ обильнаго гастрономическаго стола!

Возвращаясь собственно къ типамъ Достоевскаго, мы можемъ теперь окончательно заключить, что, *кромѣ людей совершенно забитыхъ, онъ выводитъ и такихъ, въ которыхъ еще сохранилось сильнѣйшее проявленіе личности—самоотверженіе, или же такихъ, которыхъ подавленіе ея доводитъ до озлобленія.* Съ личностями послѣдняго рода нашему автору пришлось наконецъ стать лицомъ къ лицу въ «Запискахъ изъ Мертваго Дома». Первое впечатлѣніе, испытанное составителемъ этихъ записокъ при поступленіи въ «мертвый домъ», было самое тяжелое, самое безотрадное. Это множество людей, собравшихся не по доброй волѣ съ разныхъ концовъ обширной земли Русской въ одно разношерстное общество, трудящихся не по свободному выбору, не по собственному хотѣнію, — это общество и на

читателя производитъ сначала такое мрачное впечатлѣніе, что онъ готовъ повторить стихи Пушкина:

„Опасность, кровь, развратъ, обманъ
Суть узы страшнаго семейства;
Тотъ ихъ, кто съ каменной душой
Прошелъ всѣ степени злодѣйства;—
Кто рѣжетъ хладною рукой
Вдовицу съ бѣдной сиротой,
Кому смѣшно дѣтей стенанье,
Кто не прощаетъ, не щадитъ,
Кого убійство веселитъ
Какъ юношу любви свиданье..."

Но, приглядываясь къ людямъ, которые его окружаютъ, составитель записокъ мало по малу различаетъ между ними натуры, мало испорченныя или даже исполненныя самыхъ мягкихъ, самыхъ симпатическихъ качествъ. Такими чертами отличается напр. Сушиловъ, когда-то дворовый человѣкъ, Богъ вѣсть за что попавшій въ ссылку въ безотчетно-безправныя времена крѣпостничества, а въ самомъ ужасномъ отдѣленіи «мертваго дома» очутившійся по наивности, заставившей его «смѣниться» съ другимъ арестантомъ. Не менѣе сочувственнаго представляетъ и этотъ красивый мальчикъ Сироткинъ, любимецъ своей крестьянки-матери, прямо изъ-подъ ея, по крайней мѣрѣ теплаго крова попавшій въ рекруты; не помирившись со своей новой долей, онъ попытался сперва застрѣлиться, потомъ съ отчаянія, что это не удалось, вдругъ, въ порывѣ какого-то нравственнаго опьяненія, убилъ своего командира и послѣ этого мгновеннаго взрыва снова обратился въ кроткаго, тихенькаго ребенка. Другого рода оттѣнокъ представляетъ Акимъ Акимычъ, человѣкъ, постоянно съ величайшимъ усердіемъ исполнявшій всѣ обязанности службы, но разъ, по глупости, хватившій въ своемъ усердіи черезъ край: разстрѣлявъ мирнаго кавказскаго князька, стрѣлявшаго по Русскимъ крѣпостямъ, онъ безсознательно дошелъ до жестокости, поставленной ему въ вину и самимъ начальствомъ, въ сущности-же

остался предобродушнымъ малымъ. А Кавказецъ Нурра, котораго вина заключалась въ томъ, что, принадлежа къ числу «мирныхъ», онъ переходилъ къ «немирнымъ» и дѣйствовалъ противъ Русскихъ! Несмотря на этотъ горскій патріотизмъ, онъ въ острогѣ предобродушно относился къ своимъ Русскимъ товарищамъ, а автора записокъ привѣтствовалъ дружескимъ ударомъ по плечу, которымъ хотѣлъ, очевидно, выказать свое сердечное участіе къ «новичку». Или тотъ милый, кроткій Алей, о которомъ говоритъ авторъ, что «никогда его не забудетъ»,—этотъ младшій братъ въ семьѣ горцевъ, напавшій вмѣстѣ со старшими на караванъ съ цѣлью грабежа, но даже не знавшій при-этомъ, куда и зачѣмъ его ведутъ, а слѣдовавшій за братьями потому, что младшему, по понятіямъ горцевъ, нельзя разсуждать, когда велятъ старшіе. Самъ по себѣ Алей—мягкій, добрый юноша. Онъ зачитывается въ острогѣ евангелія и съ особеннымъ наслажденіемъ думаетъ угодить Христіанину тѣмъ, что говоритъ ему: «Иса былъ великій пророкъ!» А величавая фигура старика раскольника, сосланнаго за то, что̀, съ его точки зрѣнія, представляется религіознымъ подвигомъ, и свое пребываніе въ одномъ мѣстѣ съ каторжниками считающаго за спасительное мученичество! Понятна послѣ этого сила его нравственнаго вліянія на остальныхъ каторжныхъ, которые такъ ему довѣряютъ, что всѣ отдаютъ ему на сохраненіе свои деньги. Но, мало по малу вглядываясь и въ другія личности, авторъ и въ нихъ понемногу отыскиваетъ человѣческія черты. Такъ онъ замѣчаетъ въ нихъ жажду полезной работы, работы съ цѣлью, со смысломъ, и ту готовность, съ которой они принимаются за работу такого рода и стараются окончить ее непремѣнно къ сроку, потому что это даетъ имъ возможность выказать себя съ доброй стороны. Или усердное справленіе праздниковъ, чѣмъ арестанты какъ бы хотятъ сказать: «вѣдь и мы тоже люди, тоже Христіане!» Или эта почти дѣтская радость, что имъ разрѣшили театръ, который даетъ возможность обнаружить свои способности и внести хотя нѣко-

торое разнообразіе въ ихъ однозвучную жизнь; или то, что пожертвованные калачи дѣлятся у нихъ постоянно поровну; или мягкія отношенія каторжниковъ къ ссыльнымъ изъ иноземцевъ, чуждыя всякой исключительности и нетерпимости. Вспомнимъ наконецъ и сцену выпуска на волю орла съ подстрѣленнымъ крыломъ, котораго никакъ не удалось жителямъ «мертваго дома» сдѣлать ручнымъ и который, быть можетъ, именно этимъ и вызываетъ ихъ особенное сочувствіе.

— «Пусть хоть околѣетъ, да не въ острогѣ», говорили одни.

— Вѣстимо, птица вольная, суровая, не пріучишь къ острогу-то»,—поддакивали другіе.

— Знать онъ не такъ, какъ мы», прибавилъ кто-то.

— Вишь сморозилъ: то птица, а мы, значитъ, человѣки.

— Орелъ, братцы, есть царь лѣсовъ, и т. д.

И вотъ, несвободные сами, они по крайней мѣрѣ отпускаютъ на волю этого неподдавшагося острогу царя лѣсовъ и любуются, какъ онъ утекаетъ, несмотря на свое больное крыло.

— Вишь его!»—задумчиво проговорилъ одинъ.

— И не оглянется!»—прибавилъ другой.

— А ты думалъ благодарить воротится?» — замѣтилъ третій.

— Знамо дѣло, воля. Волю почуялъ.

— Слобода, значитъ.

— И невидать уже, братцы»...

Нельзя наконецъ не привести и слѣдующаго общаго замѣчанія составителя Записокъ: «Въ острогѣ было иногда такъ, что знаешь человѣка нѣсколько лѣтъ и думаешь про него, что это звѣрь, а не человѣкъ, презираешь его. И вдругъ приходитъ случайно минута, въ которую душа его невольнымъ порывомъ открывается наружу, и вы видите въ немъ такое богатство чувства, сердца, такое яркое пониманье и собственнаго и чужого страданья, что у васъ какъ бы глаза открываются и въ первую минуту

даже не вѣрится тому, что̀ вы сами увидѣли и услышали...»

Достоевскій вмѣстѣ съ тѣмъ показываетъ, до какой степени сколько-нибудь мягкое отношеніе начальства къ этимъ людямъ и малѣйшее выраженіе съ его стороны довѣрія къ нимъ способно укрѣплять въ нихъ человѣческія чувства. Говоря объ одномъ изъ такихъ добрыхъ начальниковъ, онъ утверждаетъ: «потеряй онъ тысячу рублей, я думаю, первый воръ изъ нашихъ, если-бы нашелъ ихъ, отнесъ-бы къ нему». Зато всякое выраженіе въ родѣ—«ты знаешь, я могу съ тобой все сдѣлать»—«я тебя въ бараній рогъ согну» доводитъ этихъ людей до совершеннаго ожесточенія. Въ отпоръ тѣмъ, кто способенъ такъ выражаться, а равно и дѣйствовать въ соотвѣтственномъ духѣ, острожники противопоставляютъ гордую терпѣливость при самыхъ ужасныхъ наказаніяхъ. Та же особаго рода гордость не позволяетъ имъ и сознаваться въ своей преступности. Такая гордость является со стороны арестантовъ мстительнымъ отпоромъ всему обществу, изъ-за котораго ихъ, какъ грозящихъ его безопасности, засадили въ острогъ. «Большинство совсѣмъ не винило себя; врядъ-ли кто изъ нихъ сознавался внутренно въ своей беззаконности» *). Между тѣмъ, авторъ представляетъ намъ и говѣніе арестантовъ, показываетъ, какъ они, при выходѣ священника съ чашей и произнесеніи имъ словъ: «помяни мя яко разбойника», всѣ вдругъ, гремя цѣпями, падаютъ на землю, съ чувствомъ несомнѣннаго, искренняго раскаянія. Откуда-же вдругъ такое пробужденіе чувства виновности? Но вѣдь тутъ ихъ зовутъ словами, *одинаковыми для всѣхъ* (съ разбойникомъ сравниваются тутъ *всѣ люди*), ихъ зовутъ къ пролившему свою кровь *за всѣхъ безъ изъятія*; тутъ, передъ этой *единой* чашей, они чувствуютъ себя дѣйствительно *равными со всѣми людьми*, тутъ и

*) Это вполнѣ подтверждается содержаніемъ тѣхъ *арестантскихъ пѣсенъ*, которыя приводятся С. В. Максимовымъ въ 1-й ч. его труда: „Сибирь и Каторга“.

они—не отверженники родной семьи, и вотъ это-то сознанье размягчаетъ ихъ ожесточившіяся сердца и они готовы признать себя виноватыми, потому что тутъ оказываются виноватыми *всѣ вообще*. Въ концѣ «Записокъ изъ Мертваго Дома» Достоевскій спрашиваетъ: «...И сколько въ этихъ стѣнахъ погребено напрасно молодости, сколько великихъ силъ погибло здѣсь даромъ! Вѣдь надо ужъ все сказать, вѣдь этотъ народъ,—необыкновенный былъ народъ, вѣдь это, можетъ быть, и есть самый даровитый, самый сильный народъ изъ всего народа нашего. Но погибли даромъ могучія силы, погибли ненормально, незаконно, безвозвратно. А кто виноватъ? То-то, кто виноватъ?»

Но и съ этимъ вопросомъ опять-таки мы должны, къ сожалѣнію, обратиться ко всѣмъ странамъ и ко всѣмъ народамъ, такъ какъ вездѣ преступленія являются, въ большей или меньшей степени, слѣдствіемъ несовершенства порядковъ общественныхъ. Многое въ «Запискахъ изъ Мертваго Дома» отзывается собственно нашей жизнью, связано съ нашими порядками, отчасти теперь уже упраздненными. Отжило крѣпостное право—и цѣлый многочисленный разрядъ ссыльныхъ сдѣлался послѣ того невозможнымъ. Смягчилась военная дисциплина, и все рѣже и рѣже должны становиться преступленія, вызывавшіяся прежнею крайнею строгостью. Новый судъ положилъ конецъ тому, что̀ такъ глубоко возмущало составителя «Записокъ изъ Мертваго Дома»,—необращенію вниманія на побудительныя причины, исключительному принятію въ разсчетъ только самаго *факта* преступленія. Право присяжныхъ—даже и признавая фактъ, оправдывать въ извѣстныхъ случаяхъ подсудимаго (право *священное*, безъ всякаго спора, хотя-бы на первыхъ порахъ и могли случаться злоупотребленія), въ свою очередь положило конецъ цѣлому разряду прежнихъ каторжниковъ. Подъ вліяніемъ дальнѣйшихъ преобразованій много должно явиться и другихъ подобнаго рода *изъятій и сокращеній* въ числѣ преступниковъ. Въ самомъ быту арестантовъ многое можетъ улучшиться, при введеніи той или другой новѣйшей, усовершенствованной пени-

тенціарной системы. Но впечатлѣніе, производимое книгой Достоевскаго, не потеряетъ основной своей силы и послѣ самыхъ рѣшительно-гуманныхъ преобразованій по тюремной части. Вчитываясь въ нее, такъ и чувствуешь, что, какъ-бы даже заключеннымъ ни было «хорошо» въ мѣстахъ заключенія, въ нихъ все-таки будетъ оставаться извѣстная доля озлобленія противъ общества, которое, видя въ нихъ враговъ своихъ, засадило ихъ хотя-бы и въ наикомфортабельнѣйшую клѣтку.

Выводъ, невольно остающійся у читателя по прочтеніи книги,—таковъ, что тюрьмы только ограждаютъ общество отъ опасныхъ членовъ, но ни при какихъ условіяхъ, сами по себѣ, не исправляютъ этихъ людей, а потому единственныя дѣйствительныя мѣры противъ преступленій—это мѣры ихъ *предупреждающія*. Такими-же мѣрами могутъ оказаться только тѣ, которыя вмѣстѣ съ тѣмъ привели-бы и къ сокращенію числа «униженныхъ и оскорбленныхъ»; но, для подобнаго сокращенія, жизнь должнабы устроиться на такихъ, широко-понимаемыхъ, началахъ справедливости и человѣчности, какихъ еще нѣтъ нигдѣ. И когда-то они хоть гдѣ нибудь будутъ!

Вотъ то заключеніе, которое придаетъ книгѣ Достоевскаго значеніе общечеловѣческое, и оно тѣмъ болѣе неотразимо, что авторъ не позволяетъ себѣ ни малѣйшей натяжки, ни малѣйшаго преувеличенія, нигдѣ не впадаетъ въ мелодраматизмъ или фальшивую идеализацію преступленія, а стремится только къ глубинѣ психическаго анализа, имъ вполнѣ и достигнутой. Это совсѣмъ не то, что̀ мы видимъ у нѣкоторыхъ Французскихъ писателей на ту же тему, у которыхъ преступники являются нерѣдко героями, а представители правосудія—какими-то мелодраматическими злодѣями. Дѣло вовсе не въ *злодѣяхъ*, а *въ цѣломъ и повсемѣстномъ порядкѣ вещей, жертвою котораго оказываются цѣлые разряды «преступниковъ»* *). У Достоев-

*) Есть, разумѣется, множество преступленій особаго рода, порождаемыхъ не *подавленіемъ личности*, а предоставленіемъ ей, иногда съ самаго

скаго эти послѣдніе, тѣмъ не менѣе, вовсе не являются образцами добродѣтели; они у него только остаются *людьми*, они у него—*несчастные*. Взглядъ Достоевскаго на преступника — это нашъ Русскій народный взглядъ, тотъ взглядъ, который заставляетъ каждаго изъ народа съ особеннымъ радушіемъ подавать свою трудовую копѣйку именно такому «несчастному». Но взглядъ этотъ, повидимому, вынесенъ изъ ученія, столь-же хорошо извѣстнаго и всему Христіанскому міру; взглядъ этотъ непосредственно основывается на словахъ: «не судите, да не судимы будете» — или: «кто изъ васъ безъ грѣха, тотъ первый подними камень и брось въ нее». Не мало было говорено о томъ, до какой степени слабо народъ нашъ усвоилъ себѣ столько уже вѣковъ тому назадъ доставшееся ему просвѣщеніе Христіанское. И дѣйствительно, мы замѣчаемъ за нимъ особенную наклонность къ одной обрядности, при несомнѣнныхъ остаткахъ привычекъ и суевѣрныхъ понятій чисто языческихъ; дѣйствительно, ненарушеніе поста нерѣдко соединяется у него съ самымъ вопіющимъ нарушеніемъ первыхъ основъ Христіанской, или даже и всякой, нравственности, и вовсе невыдуманными оказываются такіе случаи, что осѣняли себя крестомъ, приступая къ совершенію преступленія. Все это такъ, и никакая ложная сентиментальность въ отношеніяхъ нашихъ къ народу не должна намъ мѣшать признаваться въ этомъ. Но съ другой стороны нельзя не замѣтить, что нѣкоторыя стороны Христіанскаго нравственнаго ученія запали, должно быть, уже очень давно въ глубину души нашего народа и, однажды запавъ, прочно пустили тамъ корни. Вотъ этимъ-то объясняется и тотъ мягкій, сострадательный взглядъ на преступника, который доставилъ ему у насъ, разумѣется, при вліяніи множества историческихъ обстоятельствъ, нисколько не оскорбительное названье «несчастнаго».

дѣтства, *слишкомъ широкаго балующаго и развращающаго простора;* къ такому же широкому простору, въ силу реакціи, склонны стремиться и личности подавляемыя,—и вотъ ихъ-то и имѣетъ въ виду Достоевскій.

Далѣе намъ придется обратить вниманіе на то, выдержанъ-ли этотъ народно-Христіанскій взглядъ самимъ Достоевскимъ въ его дальнѣйшихъ произведеніяхъ.

ЛЕКЦІЯ IV.

Достоевскій.—„Преступленіе и наказаніе“.—„Идіотъ“.—„Бѣсы“.

Мы разсмотрѣли цѣлый рядъ произведеній Достоевскаго, черезъ который проходитъ одна основная, любимая его мысль,—мысль о людяхъ, названныхъ у него «униженными и оскорбленными». Люди эти, какъ мы видѣли, часто не выдерживаютъ своего положенія и преждевременно умираютъ, или же сходятъ съ ума; иные изъ нихъ, впрочемъ весьма немногіе, изъ оскорбленныхъ сами становятся оскорбителями; нѣкоторые находятъ себѣ нравственный исходъ въ сочувствіи чужому горю, въ томъ, чтобы, по возможности, по мѣрѣ силъ, услаждать положеніе другихъ, подобно имъ, униженныхъ и оскорбленныхъ. Наконецъ, въ «Запискахъ изъ Мертваго Дома» Достоевскій представилъ намъ цѣлый рядъ *озлобленныхъ*, доведенныхъ тѣмъ самымъ до *преступленія*. Тутъ мы видимъ какъ-бы рядъ глубокихъ психологическихъ этюдовъ, за которыми позже послѣдовала большая картина: «Преступленіе и Наказаніе». Къ ней-то я и обращусь теперь.

Задача этого романа была чрезвычайно трудна; она могла оказаться по силамъ только такому высоко даровитому автору, какъ Достоевскій. Изобразить въ 1-й части романа весь процессъ преступленія, затѣмъ, въ слѣдующихъ частяхъ,—не что̀ иное, какъ дальнѣйшее психологическое развитіе душевнаго состоянія преступника, сквозь которое проглядывало-бы и душевное настроеніе, предшествовавшее преступленію и его подготовившее—тема въ высшей степени тяжелая по своему гнетущему однообразію и по ужасному впечатлѣнію на читателя. И что̀-же?

читаешь—и духъ замираетъ, однако же, какъ всѣмъ хорошо извѣстно, не можешь оторваться отъ книги. Кто-же является тутъ преступникомъ?—Личность вполнѣ развитая—студентъ. Какое преступленіе совершаетъ онъ? Ни болѣе, ни менѣе, какъ убійство для грабежа. Нельзя не сознаться, какъ и замѣтила въ свое время критика, что это случай въ полномъ смыслѣ слова исключительный, нѣчто совершенно особенное, выходящее изъ ряда; между тѣмъ читаешь—и по неволѣ вѣришь, что все это возможно, до такой степени психологически вѣренъ весь процесъ развитія преступленія и его послѣдствій. Преступникъ—бѣднякъ, но бѣднякъ мыслящій, стало быть, такой, которому несравненно тяжелѣе всякаго другого бѣдняка. Онъ долженъ, для того чтобы только просуществовать въ свое учебное время, заниматься обученьемъ дѣтей за мѣдный грошъ. При томъ усиленномъ умственномъ трудѣ, какого требуетъ университетская наука, онъ лишонъ какихъ-бы то ни было удобствъ, лишонъ и высшихъ наслажденій, въ родѣ театра—всего, что доставляетъ человѣку совершенно законный отдыхъ отъ умственнаго труда. Бѣдность забила его въ душную кануру гдѣ-то на чердакѣ. Правда, онъ самъ говоритъ: «другіе трудятся, другіе выносятъ все это, и я могъ-бы еще трудиться; работаетъ же Разумихинъ»,—указываетъ онъ на выносливаго своего товарища, «да я озлился и не захотѣлъ. Я, какъ паукъ, къ себѣ въ уголъ забился».

Но авторъ умѣетъ показать намъ, что озлобленіе, доведшее Раскольникова до празднаго лежанія въ своемъ углу, до того, что онъ умышленно опустилъ руки и пересталъ работать,—это озлобленіе возникло не изъ однѣхъ только личныхъ причинъ. *Раскольниковъ—одна изъ тѣхъ натуръ, которыя любитъ Достоевскій,—одна изъ натуръ, исполненныхъ участія къ чужому горю.* Во время его процеса оказалось, что онъ, самъ бѣднякъ, въ продолженіи полугода поддерживалъ своего больного товарища; когда-же тотъ умеръ, онъ взялъ на свои руки его больного отца, помѣстилъ его въ больницу и похоронилъ на свои трудо-

выя деньги. При всей своей бѣдности, онъ хотѣлъ было жениться на дочери своей квартирной хозяйки, и что̀-же его привлекало къ ней? «Право не знаю», говоритъ онъ впослѣдствіи, уже послѣ ея смерти, «право не знаю, за что̀ я къ ней тогда привязался, кажется, за то, что всегда больная... Будь она еще хромая, или горбатая, я бы, кажется, еще больше ее полюбилъ»... И при этой-то сильно развитой сострадательности, при этой чуткости сердца, онъ долженъ постоянно удерживать руку, которая такъ и протягивается у него на помощь кому-бы то ни было; онъ долженъ ее удерживать потому, что у него самого ничего нѣтъ, и если онъ станетъ слишкомъ щедро дѣлиться своими трудовыми деньгами, то ему придется быть въ тягость своей матери, которая, сама бѣдная, готова ему отдать послѣднее. А между тѣмъ мало-ли видитъ онъ вокругъ себя такихъ рукъ, которымъ было-бы такъ легко протянуться къ переполненному сундуку, чтобы вынуть оттуда и не малую даже лепту на помощь ближнему, но руки эти преспокойно остаются себѣ неподвижными. А тутъ еще это ожесточающее впечатлѣніе, производимое старухой ростовщицей, къ которой Раскольникову, какъ и многимъ другимъ, приходится прибѣгать. Вспомните тотъ моментъ, когда онъ идетъ къ ней, чтобы заложить послѣднее, что̀ у него осталось—часы своего покойнаго отца. Съ какимъ хладнокровіемъ она оцѣниваетъ ихъ въ полтора рубля и при этомъ еще усчитываетъ проценты. У него же эти полтора рубля исчезаютъ рѣшительно незамѣтно, потому что онъ, по обыкновенію, сейчасъ-же дѣлится ими съ другими. За посѣщеніемъ ростовщицы, какъ извѣстно, слѣдуетъ страшная сцена въ распивочной, гдѣ является Мармеладовъ,—одна изъ тѣхъ сценъ, въ которыхъ кажущійся комизмъ рѣшительно поглощается самымъ ужаснымъ трагизмомъ. И какими глазами долженъ глядѣть Раскольниковъ на этого пьянаго Мармеладова, съ такой откровенностью высказывающаго все, что̀ у него на душѣ, нисколько себя не прикрашивая и не извиняя? Ему, конечно, невольно должно приходить въ голову: «не то же ли

довело этого человѣка до пьянства, что̀ меня довело до лежанія въ моей канурѣ?» Какъ не прійти къ подобному заключенію послѣ слѣдующаго обращенія Мармеладова къ содержателю распивочной: «Думаешь-ли ты, продавецъ, что этотъ полуштофъ твой мнѣ въ сласть пошелъ? Скорби, скорби искалъ я на днѣ его, скорби и слезъ, и вкусилъ, и обрѣлъ; а пожалѣетъ насъ Тотъ, Кто всѣхъ пожалѣлъ, и Кто всѣхъ и вся понималъ, Онъ единый, Онъ и Судія. Пріидетъ въ тотъ день и спроситъ: «А гдѣ дщерь, что мачихѣ злой и чахоточной, что дѣтямъ чужимъ малолѣтнымъ себя предала? Гдѣ дщерь, что отца своего земного, пьяницу непотребнаго, не ужасаясь звѣрства его, пожалѣла? И скажетъ: «Пріиди! Я уже простилъ тебя разъ... Простилъ тебя разъ — прощаются-же и теперь грѣхи твои многи, за то, что возлюбила много»...

Всего болѣе, конечно, должна поразить Раскольникова участь этой Сони, которая «для мачихи злой, для дѣтей чужихъ себя предала». И что-же? возвращаясь домой послѣ этой потрясающей сцены, онъ застаетъ письмо отъ матери, изъ котораго видитъ, что сестра его, проживая гувернанткою у г. Свидригайлова, чуть-чуть не попала въ положеніе Сони. Ей удалось спастись оттуда, но она рѣшается схватиться за выгодный бракъ съ г. Лужинымъ, «котораго она, конечно, не любитъ», какъ сознается сама мать въ письмѣ, «но который, кажется, человѣкъ хорошій». — «Это *кажется* всего великолѣпнѣе», восклицаетъ Раскольникъ, «и эта-же Дунечка за это-же *кажется* замужъ идетъ!» — Понятно послѣ этого дѣлаемое Раскольниковымъ сопоставленіе: «тутъ мы и отъ Сонечкина жребія пожалуй-что не откажемся! Сонечка, Сонечка Мармеладова, вѣчная Сонечка, пока міръ стоитъ! Жертву-то, жертву-то обѣ вы измѣрили-ли вполнѣ? Знаете-ли вы, Дунечка, что Сонечкинъ жребій ничѣмъ не скверніе жребія съ г. Лужинымъ? «*Любви тутъ не можетъ быть*, пишетъ маманя». Онъ человѣкъ достаточный; съ нимъ можно поправить свои обстоятельства — а также и обстоятельства брата... Но вѣдь то, что̀ предпринимаетъ Дунечка, про-

должаетъ внутренно разсуждать Раскольниковъ, «можетъ быть хуже, гаже, подлѣе того, что̀ выбрала Сонечка, потому что у васъ, сестрица, все-таки на излишекъ комфорта разсчетъ, а тамъ просто о голодной смерти дѣло идетъ»... А что̀ ежели этотъ разсчетъ—главнымъ образомъ для него, для милаго братца Родіона Романовича? «Не бывать тому!» рѣшаетъ онъ. «А что̀-же ты сдѣлаешь, чтобы этому не бывать? Всю судьбу свою, всю будущность свою имъ посвятишь, когда кончишь курсъ и мѣсто достанешь? Слышали мы это, да вѣдь это *буки*, а теперь»?...

И послѣ этого письма, обнажившаго передъ нимъ всю отталкивающую некрасоту его положенія — положенія человѣка, для котораго осмѣливаются приносить подобнаго рода жертвы—вдругъ эта нечаянная встрѣча на бульварѣ съ дѣвочкой, которую кто-то подпоилъ, и съ господиномъ, подстерегающимъ ее издали—конечно не изъ состраданія. И какая ужасающая иронія сказывается въ разсужденіи Раскольникова о тѣхъ двадцати копѣйкахъ, которыя далъ онъ городовому, чтобы нанять извощика и отвезти дѣвочку: «двадцать копѣекъ мои унесъ... ну пусть и съ того тоже возьметъ, да и отпуститъ съ нимъ дѣвочку, тѣмъ и кончится... И чего я взялся тутъ помогать! Ну мнѣ ли помогать? Имѣю-ли я право помогать? Да пусть ихъ переглотаютъ другъ друга живьемъ, — мнѣ-то чего! И какъ я смѣлъ отдать эти двадцать копѣекъ? Развѣ онѣ мои»? Дѣло въ томъ, что помощь, оказанная имъ,—«капля въ морѣ»; да и не глупо-ли такъ ребячески протестовать противъ неизбѣжнаго порядка вещей?! «Такой процентъ, говорятъ, долженъ уходить всякій годъ, куда-то... къ чорту, должно быть, чтобы остальныхъ освѣжать и имъ не мѣшать. Процентъ! Славныя, право, у нихъ словечки: они такія успокоительныя, научныя. Сказано—процентъ, стало быть и тревожиться нечего... А что̀, коль и Дунечка какъ-нибудь въ процентъ попадетъ! Не въ тотъ, такъ въ другой?...»

Вотъ послѣ этого-то и приходится ему случайно подслушать разговоръ между студентомъ и офицеромъ, одинъ

изъ тѣхъ разговоровъ, которые иногда происходятъ нечаянно и безъ всякихъ дальнѣйшихъ послѣдствій, — но тутъ, послѣ всего предшествующаго, чужой разговоръ получаетъ для Раскольникова роковое значеніе. Студентъ говоритъ о той-же ростовщицѣ, которая такъ хорошо знакома Раскольникову, выставляетъ эту гадкую, тщедушную старушонку мучительницею своей здоровой, крѣпкой, но кроткой и забитой сестры. Но что-же ожидаетъ и впередъ эту кроткую Лизавету за ея долговременное терпѣніе и тяжелую, трудовую жизнь? Старуха далека отъ мысли о томъ, чтобы, по крайней мѣрѣ, отказать ей послѣ себя хотя какую-нибудь частичку своихъ стяжаній. Все должно послужить для нея же самой по ту сторону гроба. Не даромъ-же она обходилась всю жизнь безъ удобствъ и только *копила*: посредствомъ накопленнаго она разсчитываетъ, въ религіозномъ своемъ эгоизмѣ, припасти себѣ тепленькое мѣстечко *тамъ*, для чего и отказываетъ все свое состояніе въ монастырь. А что, еслибы иначе употребить это состояніе?—вотъ вопросъ, невольно представляющійся студенту, разговаривающему съ офицеромъ. «Молодыя, свѣжія силы, пропадающія даромъ, безъ поддержки, и это тысячами, и это всюду! Сто, тысячу добрыхъ дѣлъ и начинаній, которыя можно устроить и поправить на старухины деньги, обреченныя въ монастырь! Сотни, тысячи, можетъ быть, существованій, направленныхъ на дорогу; десятки семействъ, спасенныхъ отъ нищеты, отъ разложенія, отъ гибели, отъ разврата... и все это на ея деньги съ тѣмъ, чтобы съ ихъ помощью посвятить потомъ себя на служеніе всему человѣчеству и общему дѣлу: какъ ты думаешь, не загладится-ли одно крошечное преступленьице тысячами добрыхъ дѣлъ? За одну жизнь – тысячи жизней, спасенныхъ отъ гніенія и разложенія; одна смерть— и сто жизней взамѣнъ,—да вѣдь тутъ ариѳметика!» Правда, на вопросъ, сдѣланный студенту офицеромъ: «убилъ-ли-бы онъ самъ старуху?» студентъ отвѣчаетъ: «Разумѣется нѣтъ... не во мнѣ тутъ дѣло». Но Раскольникову, послѣ всего, что онъ перечувствовалъ и переду-

малъ, невольно представляется мысль: не онъ-ли на это призванъ? Ему, конечно, случалось и прежде слышать подобные разговоры и никогда они не пропадали для него даромъ. Однажды онъ написалъ даже цѣлую статью о томъ, что многое только принято называть преступленіемъ, и что эта кличка удерживаетъ робкихъ людей отъ того, что̀ на самомъ дѣлѣ было-бы вовсе не преступленіемъ. Въ статьѣ этой развивалось софистическое ученіе о томъ, что̀ есть люди обыкновенные и есть люди необыкновенные. Необыкновенные люди—это «власть имущіе»; они имѣютъ право переступать ту черту, которая удерживаетъ другихъ. Необыкновенные люди одарены смѣлостью, которая и увѣнчиваетъ ихъ поступки успѣхомъ, обращающимъ эти поступки въ великія дѣла, въ подвиги; тогда какъ при неуспѣхѣ тотъ-же самый поступокъ представляется преступленіемъ. Для того, чтобы провести какую нибудь новую мысль, необыкновенные люди будто бы и могутъ, и должны всячески устранять всѣ преграды.

Вотъ ученіе, развитое Раскольниковымъ въ его статьѣ: вся сила только въ томъ, чтобы *умѣть «дерзнуть»*. Статья написана за нѣсколько мѣсяцевъ до преступленія, подготовлявшагося съ величайшею постепенностью. Статья, надо думать, обдумывалась въ тѣ дни, когда Раскольниковъ, повидимому, праздно лежалъ въ своей канурѣ, на самомъ-же дѣлѣ внутренно работалъ надъ тѣмъ, что̀ давалъ ему тяжелый жизненный опытъ. Долго статья эта могла имѣть для него только теоретическое значеніе. Для практическаго примѣненія она пригодилась ему лишь тогда, когда накопились новыя, но все въ томъ-же родѣ, жизненныя впечатлѣнія—впечатлѣнія отъ различныхъ роковыхъ встрѣчъ и отъ несчастнаго письма матери. Отъ этихъ встрѣчъ и этого письма созрѣвшая въ немъ мысль переходитъ въ жажду дѣла, которая и обращаетъ его наконецъ въ своего раба. Но авторъ, поставивъ своего героя на такую дорогу, заставивъ его этимъ путемъ прійти къ преступленію, сильно рисковалъ выставить его однимъ изъ тѣхъ мелодраматическихъ героевъ, какихъ мы можемъ найти не мало, особливо во

Французской литературѣ. Опасность, однако, вполнѣ избѣгнута нашимъ авторомъ. Раскольниковъ вовсе не становится героемъ; Достоевскій не поднимаетъ его на ходули — его преступленіе такъ и остается *преступленіемъ*. Но Раскольниковъ совершаетъ его какъ невольникъ всецѣло имъ овладѣвшей идеи, какъ своего рода мономанъ. Оттого и забываетъ онъ о необходимыхъ предосторожностяхъ,— прежде всего о томъ, что надо запереть дверь; въ эту-то дверь и входитъ несчастная Лизавета, которой приходится стать его второй, уже совершенно нечаянной жертвой. Съ Раскольниковымъ такимъ образомъ происходитъ то, что часто бываетъ въ подобныхъ случаяхъ: за однимъ, предумышленнымъ убійствомъ непосредственно слѣдуетъ другое, случайное: чувство самосохраненія, вдругъ пробудившееся въ Раскольниковѣ, заставляетъ его поразить роковымъ топоромъ и эту несчастную, которую самъ онъ всегда такъ жалѣлъ. Уже этого одного довольно, чтобы не дать ему возможности вообразить себя героемъ.

«О, какъ я ненавижу теперь эту старушонку!» говоритъ онъ впослѣдствіи,—«кажется-бы, другой разъ убилъ, еслибы очнулась!» Но удивить можетъ то, чему удивляется и онъ самъ — *почему онъ при этомъ почти не думаетъ о Лизаветѣ, точно и не убивалъ ее.* Это—психологическая тонкость, объясняемая тѣмъ, что въ сознаніи Раскольникова особенно живо то, что̀ входило въ первоначальный, долговременно выношенный замыселъ преступленія, а убійство Лизаветы—случайность, въ него не входившая. Но какъ тяготитъ его эта случайность въ тѣ минуты, когда она возникаетъ въ его сознаніи, видно изъ слѣдующихъ словъ: «...Бѣдная Лизавета! Зачѣмъ она тутъ подвернулась! . Лизавета! Соня! бѣдныя, кроткія, съ глазами кроткими, милыя!»...

Совершивъ уже вовсе неразсчитанное второе убійство, невольно вытекшее изъ перваго, онъ не рѣшается воспользоваться деньгами. Сперва, въ попыхахъ, онъ себѣ набиваетъ карманы, но, даже не глядя, много-ли имъ взято, спѣшитъ поскорѣе избавиться отъ награбленнаго,

поскорѣе зарыть это все, гдѣ-то тамъ, подъ камнемъ. *Авторъ, склонный къ мелодраматизму, совершенно иначе распорядился-бы этими деньгами; онъ заставилъ-бы своего героя тотчасъ-же употребить ихъ съ широкими цѣлями и этимъ употребленіемъ возвысить себя въ своихъ собственныхъ глазахъ.* А вѣдь поводъ къ тому представился очень скоро. За преступленіемъ слѣдуетъ несчастный случай съ Мармеладовымъ: на него наѣзжаетъ карета и разшибаетъ его до смерти. Раскольниковъ, какъ извѣстно, отвозитъ его домой, гдѣ онъ и умираетъ, оставляя окончательно нищими жену и дѣтей. Вотъ тутъ-то, казалось-бы, и воспользоваться старухиными деньгами, поспѣшить ихъ достать изъ подъ камня и отдать Мармеладовой, чтобы затѣмъ имѣть право сказать: «я, при всемъ моемъ преступленіи,—благодѣтель человѣческаго рода». Ничего подобнаго нѣтъ у нашего автора, просто и правдиво наблюдающаго человѣческую природу. Раскольниковъ даетъ вдовѣ тѣ трудовыя деньги своей матери, которыя она ему только что выслала. Но авторъ, съ другой стороны, показываетъ, нисколько все-таки не впадая въ ложный идеализмъ, что этотъ поступокъ на время доставляетъ отраду Раскольникову. «...Онъ сходилъ тихо, не торопясь (съ лѣстницы дома Мармеладовыхъ), весь въ лихорадкѣ, и не сознавая того, полный одного, новаго, необъятнаго ощущенія вдругъ прихлынувшей полной и могучей жизни. Это ощущеніе могло походить на ощущеніе приговореннаго къ смертной казни, которому вдругъ и неожиданно объявляютъ прощеніе...» Изъ подъ вліянія страшныхъ ощущеній, соединенныхъ съ убійствомъ, онъ вдругъ попадаетъ въ положеніе иного рода: онъ только-что утеръ другимъ людямъ слезы, онъ, стало быть,—нужный членъ въ человѣческой семьѣ. Вотъ онъ уходитъ, унося съ собою это живительное сознаніе, и его догоняетъ малютка Поленька, посланная старшей сестрой, чтобы узнать имя ихъ благодѣтеля. «Онъ положилъ ей обѣ руки на плечи и съ какимъ-то счастьемъ глядѣлъ на нее...». «...Тоненькія, какъ спички, руки ея обхватили его крѣпко, крѣпко,

голова склонилась къ его плечу, и дѣвочка тихо заплакала», прижимаясь лицомъ къ нему все крѣпче и крѣпче... «Папочку жалко!» проговорила она, съ такой чистой любовью повѣряя ему свое горе, вовсе въ немъ не подозрѣвая преступника, да и не зная даже, въ дѣтской своей чистотѣ, что на свѣтѣ есть преступленія.

Но душевное счастье, конечно, достается Раскольникову не на долго,—ощущеніе совершоннаго передъ тѣмъ преступленія опять полновластно занимаетъ мѣсто въ его душѣ. Вспомните картину поминокъ по Мармеладовѣ, картину, въ которой его вдова разыгрываетъ такую странную роль, кажущуюся сначала чуть не каррикатурною, но вполнѣ объясняющуюся помѣшательствомъ этой несчастной женщины. Вспомните то униженіе, которое приходится тутъ вынести Сонечкѣ, заподозрѣнной въ кражѣ г. Лужинымъ, подготовившимъ съ особеннымъ злостнымъ стараніемъ эту ужасную сцену;—и что же? — у Раскольникова не хватаетъ тутъ духу выступить защитникомъ Сонечки. Видя, что ея и безъ того уже горькая чаша окончательно переполнилась, онъ только удивляется ея терпѣнію и выносливости и думаетъ найти въ ней опору самому себѣ. Вмѣсто того, чтобы громко принять ея сторону, онъ только думаетъ про себя: пойду потомъ къ ней, разскажу ей все, ей одной исповѣдаю все, что я совершилъ; она одна это вынесетъ, она одна поддержитъ меня. Прійдя къ ней и ставъ передъ ней на колѣни, онъ цѣлуетъ ея ноги и говоритъ: «*я не тебѣ поклонился, а всему страданію человѣческому поклонился*». Черта эта, отдѣльно взятая, можетъ показаться нѣсколько изысканною, но въ связи со всѣмъ остальнымъ она является совершенно естественною: поклонъ этотъ усладителенъ для Раскольникова, потому-что это поклонъ существу, также заклейменному печатью отверженія, потому-что это поклонъ тому, изъ чего вытекаетъ множество преступленій и чѣмъ эти преступленія выкупаются. Въ этомъ поклонѣ Раскольникова нѣтъ ни малѣйшей рисовки, разсчета на эффектъ; это окончательно подтверждается тѣмъ, что слѣдуетъ да-

лѣе. Вспомните всю эту картину: убійца и грѣшница въ пустой, холодной комнатѣ, при догорающемъ огаркѣ—какая опять благородная почва для мелодрамы! Какъ много они могли-бы сказать громкихъ фразъ, въ родѣ напримѣръ, такихъ: «да, мы преступники, но мы выше, мы лучше всѣхъ остальныхъ!» Но у Достоевскаго ничего этого и въ поминѣ нѣтъ: онъ заставляетъ Сонечку прочесть Раскольникову главу о воскресеніи Лазаря, по книгѣ, которую не за долго до своей смерти принесла ей бѣдная Лизавета, убитая этимъ самымъ Раскольниковымъ, безотвѣтно слушающимъ теперь чтеніе изъ этой книги, горячее чтеніе глубоко-проникнутой вѣрою грѣшницы.

Но тутъ онъ еще не открывается Сонѣ; онъ къ ней приходитъ вторично и тогда лишь высказываетъ ей все, а она отвѣчаетъ простыми, вырвавшимися изъ сердца словами: «Нѣтъ, нѣтъ тебя несчастнѣе никого теперь въ цѣломъ свѣтѣ!»; т. е. она сердцемъ постигаетъ тотъ взглядъ на преступника, который, какъ видѣли мы, проведенъ Достоевскимъ черезъ «Записки изъ Мертваго Дома». Раскольниковъ, открываясь Сонѣ, нисколько не старается прикрасить преступленіе благовидными побужденіями; напротивъ, онъ производитъ у нея на глазахъ самый страшный разлагающій анализъ самого себя, и все сколько нибудь-благовидное, способное благопріятно подѣйствовать на нее, положительно въ себѣ отрицаетъ. «Не для того, говоритъ онъ, чтобы матери помочь, я убилъ—вздоръ!.. Не для того я убилъ, чтобы, получивъ средства и власть, сдѣлаться благодѣтелемъ человѣчества... другое толкало меня подъ руки: мнѣ надо было узнать тогда и поскорѣй узнать, смогу-ли я *переступить*, или не смогу? Тварь-ли я дрожащая или право имѣю?»... Вотъ что онъ говоритъ ей, этой рѣшительно чуждой разсудочныхъ ухищреній Сонѣ; еслибы онъ хотѣлъ рисоваться, то долженъ бы былъ говорить совершенно другое, потому что именно этого «право имѣю» она и не въ состояніи понять. «...Право кровь проливать!» говоритъ она ему съ ужасомъ. Еслибы онъ хотѣлъ оправдать себя передъ ней, онъ бы ей сталъ гово-

рить о тѣхъ симпатическихъ чувствахъ, которыхъ въ немъ дѣйствительно много, но которыхъ онъ какъ-будто уже и не сознаетъ въ себѣ. Онъ знаетъ, что̀ ее привело въ ея унизительное положеніе, что̀ дало ей силу «позоръ принять» и «съ жизнію не покончить»; онъ знаетъ, что силу эту дала ей любовь, самоотверженная любовь къ бѣднымъ чужимъ дѣтямъ, къ полусумасшедшей мачихѣ. Соня требуетъ отъ него, чтобы онъ пошелъ и объявилъ о томъ, что̀ онъ сдѣлалъ: съ ея точки зрѣнія иначе онъ поступить не можетъ. — «Пойди, поцѣлуй землю, которую ты обагрилъ кровью, и скажи — «я убилъ», говоритъ она ему. «Зачѣмъ пойду, что имъ скажу?» отвѣчаетъ онъ, такъ смиренно поклонившійся ей и въ лицѣ ея человѣческому страданію, но не способный, какъ она, совершенно смириться. Дѣло въ томъ, что къ нему, сравнительно съ нею, можно-бы было примѣнить извѣстный эпитетъ Апп. Григорьева—*хищный*. Онъ хищенъ и гордъ своею хищностью въ томъ-же смыслѣ, въ какомъ горды его герои «Мертваго Дома». «Что имъ скажу? Они сами милліонами людей изводятъ, да еще за добродѣтель почитаютъ» говоритъ Раскольниковъ. Кончается однако-же тѣмъ, что онъ идетъ и объявляетъ о своемъ преступленіи, какъ дѣлаетъ это многое множество преступниковъ, остающихся тѣмъ-неменѣе и гордыми, и озлобленными въ глубинѣ души. Таже гордость и озлобленіе сохраняются и въ Раскольниковѣ и во время суда, и долгое время на каторгѣ. «Его гордость сильно была уязвлена, онъ судилъ себя, и ожесточенная совѣсть его не нашла никакой особенно ужасной вины въ его прошедшемъ, кромѣ развѣ простого промаха».

Только мало-по-малу это озлобленіе уступаетъ вліянію несчастной многолюбящей Сони, которая слѣдуетъ за нимъ и на каторгу, гдѣ она умягчительно дѣйствуетъ и на сердца другихъ, вовсе ей незнакомыхъ, каторжниковъ. «Матушка, Софья Семеновна, мать ты наша, нѣжная, болѣзная!» обращались къ ней эти грубые люди, столь чуткіе, какъ мы знаемъ по «Мертвому Дому», къ малѣйшему

проявленію человѣчности въ обращеніи съ ними. Ея-то беззавѣтная любовь къ людямъ пробуждаетъ наконецъ и въ Раскольниковѣ угасшую вѣру въ человѣка; въ немъ происходитъ то, что онъ самъ какъ-бы предвидѣлъ заранѣе, заставивъ ее прочесть себѣ о воскресеніи Лазаря. То нравственное чудо, которое совершается въ церкви «мертваго дома» высшею Христіанскою любовью, призывающею и преступниковъ, наравнѣ съ другими, къ одной уравнивающей всѣхъ чашѣ,—то-же чудо совершается тутъ надъ Раскольниковымъ неотразимымъ вліяніемъ его спутницы, несмотря ни на что не озлобившейся, не переставшей «много любить».

Но въ «Преступленіи и Наказаніи» есть и другіе характеры, служащіе болѣе или менѣе для того, чтобы, при сопоставленіи съ ними, ярче выдавалась впередъ личность Раскольникова. Вотъ, во-первыхъ, въ высшей степени приличный, трудомъ себѣ проложившій дорогу, строго нравственный, какъ онъ думаетъ самъ и какъ думаютъ о немъ люди, Петръ Петровичъ Лужинъ;—но авторъ живо даетъ почувствовать, что этою благовидностью поступковъ, съ которою, разумѣется, онъ никогда не попадетъ подъ судъ, прикрывается самый отвратительный, всепоглощающій эгоизмъ. Совершенно другое лицо Свидригайловъ — широкая необузданная натура, человѣкъ не разъ называющій себя, въ глаза Раскольникову, «одного съ нимъ поля ягодой», и, конечно, не безъ извѣстнаго основанія. Раскольниковъ вліяніемъ различныхъ жизненныхъ впечатлѣній доведенъ до теоріи, по которой вся сила въ томъ, чтобы «дерзнуть»; — Свидригайловъ безъ всякихъ теорій давно и постоянно «дерзалъ», практически предоставивъ себѣ свободу, незнающую закона самоограниченія. Но въ натурѣ этого человѣка существуютъ и симпатическія поползновенія: передъ смертью онъ вдругъ, ни съ того ни съ сего, обеспечиваетъ семейство Мармеладовыхъ. Къ Дунечкѣ, какъ мы убѣждаемся, онъ питалъ постоянную, глубокую страсть, которая проникается наконецъ и уваженіемъ къ ней, заставляющимъ его пощадить свободу ея

воли, а потомъ, съ отчаянія въ томъ, что любилъ безотвѣтно, покончить съ самимъ собою. Свидригайловъ служитъ въ романѣ и къ тому, чтобы окончательно не допустить поднять на пьедесталъ Раскольникова, и къ тому, чтобы не дать подняться рукѣ съ побивающимъ камнемъ даже и на самыхъ, повидимому, развращенныхъ людей.

Наиболѣе выдающимся лицомъ послѣ Раскольникова является постоянно противопоставляемый ему въ романѣ товарищъ его Разумихинъ; но въ этой личности, т. е. въ ея художественномъ воспроизведеніи, могутъ легко быть различены двѣ стороны. Разумихинъ — это добрякъ, прямая душа, притомъ дѣловикъ, постоянно трудящаяся, выносливая и неувлекающаяся натура; это одинъ изъ тѣхъ людей, которые не пропадутъ никогда и нигдѣ. Всѣ эти черты такъ стройно соединены въ немъ, что изъ нихъ слагается вполнѣ живой человѣкъ. Но съ другой стороны ему приписаны авторомъ многіе взгляды, которыхъ назначеніе, очевидно, служить только отпоромъ для взглядовъ Раскольникова, а равно и выраженіемъ взглядовъ самого автора. Разумихинъ много говоритъ о нашей «недѣловитости», о томъ, что мы «чуть не двѣсти лѣтъ какъ отъ всякаго дѣла отучены», т. е., надо думать, со временъ Петровской реформы отучены отъ всякой самостоятельной дѣятельности. Онъ не разъ возвращается къ этой точкѣ зрѣнія, въ сущности вовсе не вытекающей ни изъ его характера, ни изъ его положенія. «Всѣ вы, до единаго, болтунишки и фанфаронишки!» говоритъ онъ Раскольникову; «заведется у васъ страданьице—вы съ нимъ, какъ курица съ яйцомъ, носитесь! Даже и тутъ воруете чужихъ авторовъ, — ни признака жизни въ васъ самостоятельной!» Другой разъ называетъ онъ Раскольникова «переводомъ съ иностраннаго», а обо всѣхъ насъ вообще говоритъ, что мы «и соврать-то своимъ умомъ не умѣемъ». «Всѣ-то мы, всѣ безъ исключенія, по части науки, развитія, мышленія, идеаловъ, желаній, либерализма, всего... еще въ первомъ предуготовительномъ классѣ гимназіи сидимъ! Понравилось чужимъ умомъ пробавляться, — въ-

лись!»... Все это, взятое само по себѣ, далеко не лишено правды, но въ романѣ это своего рода Славянофильство слабо вяжется съ Разумихинымъ, какъ съ живымъ человѣкомъ, представляется чѣмъ-то со стороны въ него вложеннымъ, съ цѣлью — указать на то, что Раскольниковъ дѣйствовалъ подъ вліяніемъ «чужихъ книжекъ». Но вѣдь это, мнѣ кажется, противорѣчитъ тому глубокому психологическому анализу, который, составляя всю силу романа, такъ ясно показываетъ, до какой степени преступленіе Раскольникова подготовлялось жизненными впечатлѣніями. *Софистическія страницы, вычитанныя изъ книжекъ, имѣли тутъ значеніе только потому, что психическое состояніе Раскольникова представляло для нихъ вполнѣ благодарную почву.* Да и откуда берутся тѣ или другія ученія? Конечно, они возникаютъ изъ жизни. Возникновеніе ихъ на Западѣ доказываетъ, что имъ есть изъ чего возникать тамъ; если же, переносимыя къ намъ, они не проносятся мимо а прививаются — то имъ, значитъ, есть къ чему прививаться.

Не мало было говорено о смѣнѣ различныхъ напускныхъ направленій въ нашей запоздалой и наскоро догоняющей другихъ образованности; съ указанія на это даже и началъ я свои лекціи. Но, схвативъ на лету нѣсколько періодовъ чужого развитія, мы, наконецъ, чувствуя себя уже пробѣжавшими большую часть дороги, стали менѣе торопиться, болѣе вдумываться въ заимствуемое, притомъ проникать уже въ самую сущность, а нетолько скользить по поверхности. Уже Байронизмъ оказался у насъ не только формальнымъ явленіемъ — онъ у насъ нетолько скользнулъ, а до извѣстной степени привился, хотя и на время и сильно видоизмѣнившись, привился потому, что многія мѣстныя наши обстоятельства содѣйствовали подобной прививкѣ. То-же было потомъ, и будетъ, можетъ быть, еще долго и со многими другими заимствованными, новѣйшими «*измами*». И теперь объяснять себѣ дѣло исключительно тѣмъ, что все это берется откуда-то съ вѣтру, значило-бы напускать себѣ туману въ глаза и подавать

поводъ къ неосновательнымъ, а практически даже и несовсѣмъ полезнымъ выводамъ.

Въ эпилогѣ романа герой видитъ сонъ, рѣшительно отзывающійся *придуманностью*: «появились какія-то новыя трихины, существа микроскопическія, вселявшіяся въ тѣла людей. Но эти существа были духи, одаренные умомъ и волей. Люди, принявшіе ихъ въ себя, становились сейчасъ-же бѣсноватыми или сумасшедшими». Подъ этими трихинами, очевидно, разумѣются опять-таки различныя идеи, вычитанныя изъ чужихъ книжекъ; но если сравнивать эти идеи съ заразой, то развѣ съ такою, которая пристаетъ только къ людямъ, внутренно къ тому предрасположеннымъ *).

Между тѣмъ сонъ Раскольникова составляетъ прямой переходъ къ дальнѣйшимъ произведеніямъ Достоевскаго,— къ «Идіоту» и «Бѣсамъ». Тутъ, сколько я, по крайней мѣрѣ, понимаю, нашъ авторъ окончательно попадаетъ не на свою дорогу, уклоняясь отъ той, которая дала ему возможность такъ глубоко проявить свое прекрасное дарованіе и свое гуманное сердце. Достоевскій увлекся примѣ-

*) Сонъ Раскольникова представляется „холодною аллегоріею“ и даровитому автору критики романа, помѣщенной вскорѣ послѣ его появленія въ „Отечественныхъ Запискахъ“. Это однакоже не помѣшало критику считать Раскольникова, въ сущности, жертвою подобныхъ *трихинъ*: называетъ-же онъ его „ожесточеннымъ *въ своей отвлеченности*“; видитъ-же онъ въ немъ „болѣе глубокое *уклоненіе отъ жизни*, чѣмъ въ личностяхъ другихъ писателей, „касавшихся *нигилизма*“. Я же, во первыхъ, вижу коренное отличіе Раскольникова отъ „нигилистовъ“ въ томъ, что онъ вовсе не подавляетъ въ себѣ *симпатическихъ наклонностей*, какъ дѣлаютъ тѣ, видя въ этомъ *романтизмъ*; во-вторыхъ, я не произвожу и такъ называемаго *нигилизма* отъ *трихинъ*, а считаю его явленіемъ, вытекшимъ *изъ нашей жизни*, и въ этомъ смыслѣ вовсе *не отвлеченнымъ*. Думаю, что еслибы уважаемый мною (не смотря на разногласіе съ нимъ во многомъ) Н. Н. Страховъ (авторъ упомянутой критики) не *началъ* съ выраженія своего взгляда, отъ котораго только потомъ уже *перешелъ* онъ къ подкрѣпительнымъ выпискамъ изъ романа, а поступилъ-бы на оборотъ, то у него было-бы болѣе обращено вниманія на тѣ *жизненныя впечатлѣнія*, которыя главнымъ образомъ подготовили преступленіе Раскольникова и при которыхъ оказались только сподручными *чужія теоріи*.

ромъ другихъ—обратился къ тому ряду явленій, которыя вызвали въ нашей литературѣ типы въ родѣ Базарова, Марка Волохова и др. Это-бы еще ничего, это было-бы даже прекрасно, если-бы онъ посмотрѣлъ на нихъ со своей характеристической точки зрѣнія; но нашъ симпатическій авторъ, къ сожалѣнію, сталъ испытывать въ это время вліяніе особаго литературнаго круга, относящагося къ этимъ явленіямъ слишкомъ односторонне. Съ своей прежней точки зрѣнія, Достоевскій посмотрѣлъ-бы на многихъ людей, выведенныхъ имъ въ «Идіотѣ» и въ «Бѣсахъ», какъ на тѣхъ-же «несчастныхъ». Съ новой, усвоенной имъ отъ другихъ, точки зрѣнія, онъ началъ смотрѣть на нихъ, какъ на бѣсноватыхъ и сумасшедшихъ. Въ «Идіотѣ» Достоевскій еще не утвердился на этой новой дорогѣ, въ «Бѣсахъ» онъ окончательно укрѣпляется на ней. «Идіотъ» въ художественномъ отношеніи слабѣе, онъ страшно растянутъ, мѣстами однообразенъ и скученъ, но за то во многомъ тутъ еще вполнѣ чувствуется прежній Достоевскій, съ его любовью къ «униженнымъ и оскорбленнымъ», братски протягивающимъ руку всѣмъ, раздѣляющимъ ту же участь. Въ «Бѣсахъ» эта симпатическая его сторона сказывается уже весьма слабо, хотя въ художественномъ отношеніи этотъ романъ стоитъ выше чѣмъ «Идіотъ».

Основной характеръ «Идіота» служитъ прекраснымъ дополненіемъ къ прежней галлереѣ лицъ Достоевскаго. Что такое этотъ князь Мышкинъ, послѣдній потомокъ захудалаго рода, круглый сирота, воспитывающійся въ уединеніи за-границей по милости друга своего отца, болѣзненный мальчикъ, потомъ юноша, котораго всѣ считаютъ за идіота, тогда какъ на самомъ дѣлѣ онъ даже очень уменъ, но прямодушенъ и чистъ какъ ребенокъ? Это, можно сказать, художественное воспроизведеніе темы, весьма распространенной въ безъискусственной народной словесности—это тотъ же любимый народомъ сказочный *Иванушка-дурачокъ*, оказывающійся, какъ извѣстно, только человѣкомъ не «себѣ на умѣ», невыносящимъ зрѣлища

посторонняго горя, постоянно забывающимъ себя для другихъ. Съ точки зрѣнія многихъ изъ числа тѣхъ свѣтскихъ людей, въ кругу которыхъ приходится наконецъ очутиться князю Мышкину, онъ дѣйствительно представляется идіотомъ. Вся его любовь къ Настасьѣ Филипповнѣ, этой, въ сущности, той же, (только съ роскошною обстановкой), Сонечкѣ, есть не болѣе, какъ жалость, принимаемая имъ за любовь (это напоминаетъ и любовь Раскольникова къ больной дочери своей квартирной хозяйки). Ему жалко ее, потому что она такъ много вынесла, жалко, что ее хотятъ сбыть на руки человѣку, который посредствомъ брака съ ней разсчитываетъ поправить свое состояніе. И вотъ князь, пользуясь внезапнымъ поправленіемъ своихъ обстоятельствъ, предлагаетъ ей свою руку. Но это не можетъ не вызвать въ ней, продолжающей, какъ всѣ личности Достоевскаго, чувствовать, во многихъ отношеніяхъ, по человѣчески, это не можетъ не вызвать въ ней душевной борьбы, воспроизведенной у нашего автора съ его обычною психологическою глубиною. Она полюбила князя, въ него она только и вѣритъ, она хватается за него, чтобы поддержать въ себѣ вѣру и вообще въ человѣческое достоинство, но она боится его погубить, ей совѣстно принять съ его стороны жертву — а ничѣмъ инымъ, кромѣ жертвы, не можетъ она объяснить его рѣшимость связать съ нею свою участь — отсюда въ ней безконечныя колебанія. Но возникающее затѣмъ чувство ревности къ другой, глубокое сознаніе униженія, которому ее подвергаетъ эта другая, желаніе ей отомстить— все это доводитъ Настасью Филипповну до того, что она рѣшается даже сама снова вызвать наружу, (чтобы окончательно ею воспользоваться), ту жалость къ себѣ, которая принимается за любовь «идіотомъ». А тамъ опять мысль, что она его этимъ губитъ, а подъ вліяніемъ этой мысли бѣгство изъ подъ вѣнца! Вотъ основная тема этого романа, и еслибы однимъ развитіемъ ея и ограничился авторъ, онъ далъ-бы намъ произведеніе, прекраснѣйшимъ

образомъ дополняющее прекрасный рядъ его прежнихъ произведеній.

Прекрасенъ и взятый отдѣльно эпизодъ «Идіота»,— разсказъ князя Мышкина о презираемой всѣми, за свой полуневольный грѣхъ, Мари, объ этой несчастной дѣвушкѣ, на которую даже пасторъ, проповѣдующій на похоронахъ ея матери, считаетъ нужнымъ указать пальцемъ: «смотрите, это она ее довела до гроба». Подъ вліяніемъ старшихъ, и дѣти глумятся надъ бѣдной Мари, возбуждающей состраданіе только въ «идіотѣ». Но ему удается растолковать малюткамъ, какъ жестоко поступилъ пасторъ, какъ неугодно Богу такое обращенье съ несчастной, какой грѣхъ и съ ихъ стороны — издѣваться надъ ней. И вотъ, когда она умираетъ отъ быстро развившейся въ ней чахотки, тѣ же дѣти украшаютъ ея гробъ цвѣтами и несутъ его на кладбище. Этотъ эпизодъ, по глубокой гуманности основной мысли, можетъ быть поставленъ наравнѣ съ разсказомъ гр. Л. Н. Толстого «*Люцернъ*», въ которомъ Русскій путешественникъ поражонъ отношеніемъ свободныхъ Швейцарскихъ гражданъ и не менѣе гордыхъ своими свободными учрежденіями туристовъ-Англичанъ къ бѣдному странствующему музыканту: долго слушая его игру, они не даютъ ему ничего, а презрительно поглядываютъ на человѣка, который ввелъ его въ залу ресторана и гостепріимно его угощаетъ. Авторъ даетъ почувствовать, что и въ самой свободной странѣ возможно своего рода рабство передъ золотымъ тельцомъ и безчеловѣчная гордость въ отношеніи къ людямъ, невзысканнымъ его милостью; т. е., что сами по себѣ никакіе либеральные кодексы еще не даютъ того настоящаго духа свободы и человѣчности, который долженъ прежде всего заключаться въ нравственномъ существѣ человѣка.

Совершенно такъ же и Достоевскій, примѣромъ этого пастора, въ пылу религіозной ревности проповѣдующаго *ненависть* къ грѣшницѣ, указываетъ на то, что и живая религіозность не вычитывается изъ религіозныхъ кодек-

совъ (пасторъ-ли не перечиталъ ихъ вдоль и поперекъ, онъ-ли не обдумывалъ всевозможныхъ проповѣдей на всѣ тексты!), а должна, такъ сказать, войти въ самый нравственный организмъ человѣка.

Къ сожалѣнію, этотъ прекрасный эпизодъ вставленъ Достоевскимъ въ романъ, въ которомъ слишкомъ много сторонъ, несоотвѣтствующихъ особенностямъ его таланта и мѣшающихъ впечатлѣнію, производимому основною личностью. Да и самая эта личность надѣлена, какъ и Разумихинъ, взглядами, не вытекающими непосредственно изъ ея существа. Авторъ заставляетъ своего князя Мышкина высказывать взгляды отчасти славянофильскіе, какъ въ послѣдствіи ими же надѣлилъ онъ и Шатова въ «Бѣсахъ». И этотъ послѣдній, и «идіотъ»,—славянофильствуютъ ради отпора, даваемаго самимъ авторомъ тѣмъ направленіямъ, которыя вычитаны изъ «чужихъ книжекъ». Въ «Идіотѣ» эти направленія являются какъ эпизодъ; въ «Бѣсахъ» они занимаютъ уже самое видное мѣсто. Въ «Идіотѣ» мы видимъ эти вычитанныя направленія только въ той молодежи, которая окружаетъ князя и думаетъ воспользоваться долей въ его наслѣдствѣ, опираясь на какое-то право; когда же это право оказывается совершенно мнимымъ, но князь самъ предлагаетъ имъ подѣлиться съ ними,—они съ чувствомъ собственнаго достоинства отвергаютъ то, къ чему сами стремились на основаніи не настоящаго, а вымышленнаго права. Изъ круга этой молодежи, отличающейся дикимъ смѣшеніемъ самыхъ разношерстныхъ понятій, особенно выдается чахоточный юноша Ипполитъ. Но онъ уже окончательно боленъ нетолько физически, но и нравственно. Вспомните повѣсть, которую написалъ онъ на прощанье съ людьми: это непонятное смѣшеніе человѣколюбивыхъ и религіозныхъ чувствъ съ мнѣніемъ, что человѣкъ долженъ думать только о себѣ, и что всякая благотворительность глупа и вредна. И эта дикая смѣсь читается передъ тѣмъ моментомъ, когда Ипполитъ, по давно-составленному имъ плану, не дожидаясь столь уже недалекой отъ него, какъ отъ чахоточнаго,

естественной смерти, долженъ самъ себя лишить жизни; но самоубійство должно произойти отъ пистолета, въ которомъ не достаетъ капсюля! И неужели весь этотъ нравственный сумбуръ, весь этотъ рядъ аномалій объясняется только тѣмъ, что въ воздухѣ появились какія-то трихины и что наше юное поколѣніе ихъ наглоталось?

Въ «Бѣсахъ» такіе-же странные люди выходятъ уже на широко-задуманную практическую дорогу, на поприще такъ называемой политической агитаціи, которой дозволены всѣ средства. Вотъ передъ нами—уже просто маніакъ Кирилловъ, человѣкъ помѣшанный на величественности самоубійства; вотъ баричъ Ставрогинъ, способный на хорошее и дурное, смотря по капризу, то спокойно выносящій пощечину, то вызывающій на дуэль и стрѣляющій при этомъ на воздухъ, женящійся изъ жалости на идіоткѣ, а потомъ безпощадно ее бросающій. А вотъ и какой-то вѣчно пьяный Толкаченко; вотъ говорящій постоянно несообразности съ разсчетомъ произвести эффектъ—въ особомъ смыслѣ юродствующій Лихутинъ и т. п. Всѣми-же заправляетъ нравственное чудовище, остающееся такъ-же мало разъясненнымъ, какъ и другія лица. И что-же дѣлаютъ всѣ эти люди? Не говорю уже объ этомъ странномъ литературномъ вечерѣ, о карикатурной личности Кармазинова (неужели нашъ авторъ хотѣлъ тутъ сдѣлать намекъ на одного высокоуважаемаго Русскаго писателя?)... Но за вечеромъ слѣдуетъ поджогъ и убійство Марьи Тимоѳеевны,—для чего-же? Для того, чтобы оказать услугу Ставрогину, чтобы этой услугой удержать такую выдающуюся личность въ кружкѣ! Далѣе—убійство Шатова изъ боязни, что онъ донесетъ, уговариваніе Кириллова, чтобы онъ взялъ это убійство на себя и рѣшился на то, къ чему уже давно готовился — на самоубійство. Перебирая все это, мы наконецъ узнаемъ тутъ одно дѣйствительно совершившееся уголовное преступленіе, но мы вѣдь совсѣмъ не того ожидаемъ отъ художественнаго произведенія: тутъ вѣдь мало одной фактической правды, одной *реляціи* о томъ, что случилось;—нужно уловить смыслъ,

нужно показать, какъ могло все это произойти, изъ чего все это возникло,—а вотъ этого-то мы и не видимъ. Въ концѣ только повторяется мысль, высказанная въ эпилогѣ «Преступленія и Наказанія», но повторяется въ нѣсколько иномъ видѣ. Степанъ Трофимовичъ Верховенскій, эта положительно лучшая, въ художественномъ отношеніи, личность романа, во время своего бѣгства, велитъ себѣ читать Евангеліе, и, попадая на повѣствованіе о бѣсахъ, говоритъ, что «эти бѣсы, выходящіе изъ больного и входящіе въ свиней—это всѣ язвы, всѣ міазмы, вся нечистота, всѣ бѣсы и бѣсенята, накопившіеся въ великомъ и миломъ нашемъ больномъ, въ нашей Россіи, за вѣка и вѣка». Но вѣдь это не объясненіе; все, о чемъ тутъ говорится, появилось-же не безъ особыхъ причинъ. Личность самого Степана Трофимовича совершенно ясна. Это человѣкъ, котораго всю жизнь не покидаетъ льстящая ему мысль, что онъ потерпѣлъ за либерализмъ, потому-что когда-то нашли что-то предосудительное въ какомъ-то его публичномъ чтеніи, тогда какъ этотъ самый «либералъ» когда-то упекъ въ рекруты своего крѣпостного (о чемъ и напоминаютъ ему на публичномъ чтеніи послѣ его словъ о томъ, что искусство выше освобожденія крестьянъ и т. п.) Но Степанъ Трофимовичъ, подъ конецъ, самъ себя вѣрно опредѣляетъ, говоря, на основаніи Апокалипсиса, что нужно быть или холоднымъ, или горячимъ, а не только теплымъ. Онъ понимаетъ, что онъ былъ *только теплъ*, что онъ былъ «середка на половинкѣ», а потому и вышло отъ него такъ немного проку. Такіе люди дѣйствительно были,—это праздные идеалисты сороковыхъ годовъ. Были въ томъ поколѣніи, разумѣется, и другіе люди, заслуги которыхъ никогда не будутъ забыты. Достоевскій, въ лицѣ Степана Трофимовича, не польстилъ этому поколѣнію *отцовъ*; но что-же такое его *сынъ*, этотъ Петръ Верховенскій?—какимъ образомъ сложился его уже совершенно иной характеръ и его вполнѣ своеобразное направленіе—этого нашъ авторъ не разъясняетъ. Мы видимъ только, что Степанъ Трофимовичъ, какъ и всѣ *подобные ему* «идеалисты»—вообще

плохой воспитатель; но чтобы съ его *яблони* должно было непремѣнно упасть *такое яблоко*, какъ его Петруша, этого мы рѣшительно не усматриваемъ. Въ концѣ своего «Мертваго Дома» Достоевскій, какъ мы видѣли, говоритъ: «сколько людей пропадаетъ даромъ! а кто виноватъ?» Можетъ быть вѣрнѣе было-бы спросить: *что* виновато? т. е. какія причины всего этого? Маркъ Волоховъ также задаетъ вопросъ: «отчего я такой?» И вопросъ этотъ, какъ мы знаемъ, не рѣшонъ Гончаровымъ; столь-же мало рѣшонъ Достоевскимъ невольно представляющійся вопросъ: «отчего-же такой Петръ Верховенскій»? Но если мы не хотимъ, не умѣемъ, или не можемъ отвѣтить на такіе вопросы, то лучше и не дѣлать нѣкоторыхъ явленій предметомъ художественныхъ произведеній. Въ художественномъ произведеніи, какъ извѣстно, все должно быть вполнѣ ясно, вытекать самымъ непосредственнымъ образомъ одно изъ другого; личности загадочныя, какъ-бы исключительныя, какъ-бы диковинныя, не принадлежатъ къ этой вполнѣ-опредѣленной области.

Но если мнѣ пришлось, относительно послѣднихъ произведеній Достоевскаго, прійдти къ подобному заключенію, то это не даетъ намъ права забыть заслуги автора «Бѣдныхъ Людей». Онъ оставилъ намъ столько прекрасныхъ произведеній,—произведеній, въ которыхъ онъ далъ намъ такъ глубоко заглянуть въ душу униженныхъ и оскорбленныхъ, наконецъ и въ душу преступниковъ;—онъ такъ смѣло будилъ въ насъ широкія человѣческія симпатіи, не давалъ намъ заснуть въ нравственномъ сибаритствѣ, въ духовной Обломовщинѣ. Подобный писатель несомнѣнно заслуживаетъ того, чтобы мы сказали ему отъ всего сердца: спасибо! Съ тѣмъ-же сердечнымъ словомъ, думаю я, обратятся къ нему и будущія поколѣнія!

ЛЕКЦІЯ V.

Писемскій.

Переходя отъ Достоевскаго къ Писемскому, я позволю себѣ сдѣлать еще одно заключительное замѣчаніе о первомъ. Достоевскій несомнѣнно принадлежитъ къ числу самыхъ выдающихся представителей нашей новѣйшей литературы, къ числу тѣхъ, которые по-преимуществу заслуживали бы того, чтобы ихъ перевесть на иностранные языки. Конечно, изъ его сочиненій иностранцы узнали бы не такъ много о явленіяхъ собственно *нашей* жизни, какъ изъ произведеній другихъ нашихъ современныхъ писателей. Вопросы объ униженныхъ и оскорбленныхъ, о преступленіяхъ и объ ихъ причинахъ, такъ живо затрогиваемые повѣстями Достоевскаго,—*вопросы положительно общечеловѣческіе*. Но, познакомившись съ нашимъ писателемъ, иностранцы навѣрное были бы поражены тою полнѣйшею простотою, тою жизненною правдою, тѣмъ отсутствіемъ всякой риторики и всякаго мелодраматизма, которыми отличаются произведенія Достоевскаго и которыхъ такъ часто не достаетъ даже весьма даровитымъ иностраннымъ писателямъ, избиравшимъ ту же тему.

Другое значеніе имѣютъ произведенія Писемскаго. Это опять одинъ изъ тѣхъ авторовъ, по произведеніямъ которыхъ можетъ быть по преимуществу изучаемъ извѣстный рядъ явленій нашей отечественной жизни во всемъ его характеристическомъ своеобразіи. Эти явленія воспроизводятся у Писемскаго съ нѣкоторыми, ему собственно свойственными пріемами. Особенность пріемовъ, можно сказать, отличила Писемскаго уже при первомъ появленіи его на литературномъ поприщѣ. У Писемскаго, какъ хорошо извѣстно всѣмъ, читавшимъ его внимательно, мы вовсе не находимъ того тонкаго психологическаго анализа, какимъ отличается Достоевскій; онъ не заглядываетъ глубоко въ душу человѣка, не обращаетъ вниманія на ту предварительную работу, которая происходитъ въ ней

прежде, чѣмъ человѣкъ совершитъ тотъ или другой поступокъ. Писемскаго занимаетъ совершенно другое,—его занимаетъ собственно *міръ дѣяній* въ ихъ послѣдовательности, въ неразрывномъ сцѣпленіи причинъ и слѣдствій. Онъ можетъ быть названъ по-преимуществу писателемъ «эпическимъ», т. е. строго выдерживающимъ повѣствовательный характеръ. У него вы почти не встрѣтите монологовъ, въ которыхъ человѣкъ высказываетъ наединѣ съ самимъ собой все то, что происходитъ въ его сознаніи и въ его чувствованіяхъ. Какъ направленіе чисто эпическое, направленіе Писемскаго вмѣстѣ съ тѣмъ есть и по-преимуществу объективное. Правда, по временамъ попадаются у него вставки полулирическаго, полуфилософскаго свойства—въ родѣ тѣхъ, какія, какъ извѣстно, встрѣчаются и у Гоголя, но подобныя отклоненія отъ господствующаго пріема по большей части оказываются у Писемскаго неудачными.

По содержанію, произведенія Писемскаго находятся въ самой непосредственной связи съ Гоголемъ. Достоевскій, какъ видѣли мы, связанъ собственно съ нѣкоторыми изъ Гоголевскихъ произведеній,—съ тѣми, гдѣ Гоголь рисуетъ тѣхъ маленькихъ людей, которые возбуждаютъ не только смѣхъ, но и жалость. Писемскій находится въ кровномъ родствѣ съ самой сущностью большей части произведеній Гоголя. Если тему Гоголя составляла пошлость и грязь нашей жизни, то Писемскій продолжаетъ далѣе разрабатывать эту же тему, пользуясь бо̀льшимъ просторомъ, предоставленнымъ намъ въ новѣйшее время. Благодаря такому простору, онъ могъ значительно раздвинуть свои рамки. Гоголю приходилось, какъ извѣстно, дѣлать намеки на то, что такія личности, какъ городничій, Хлестаковъ, Чичиковъ и др. попадаются не только въ томъ провинціальномъ кругу, откуда ихъ взялъ Гоголь, но что они существуютъ и въ другихъ сферахъ. Писемскій выдвигаетъ передъ нами цѣлый рядъ чисто-Гоголевскихъ личностей на высшихъ общественныхъ ступеняхъ—въ видѣ какихъ-

нибудь губернаторовъ, или многовліятельныхъ лицъ изъ Петербургскаго beau-mond'a.

Въ ряду различныхъ пошлыхъ явленій, накопившихся въ нашей жизни, Гоголь затронулъ и ту пошлость, которая безобразитъ нашу семейную жизнь. Въ нѣсколько карикатурномъ видѣ онъ коснулся этой темы въ «Женитьбѣ». Здѣсь онъ показалъ, до какой степени грубо-легко рѣшается у насъ одинъ изъ самыхъ важныхъ вопросовъ—вопросъ о бракѣ. Писемскій на эту тему написалъ цѣлый рядъ произведеній; къ нимъ относится и то, которое обратило на него на первыхъ порахъ особое вниманіе публики, хотя ему предшествовало нѣсколько другихъ, также замѣчательныхъ: я разумѣю повѣсть «Тюфякъ», написанную именно на эту семейную тему. Къ сожалѣнію, герой повѣсти, Бешметевъ, не заблагоразсудилъ поступить такъ, какъ поступилъ Гоголевскій Подколесинъ,—онъ не выпрыгнулъ изъ окна, а преспокойно воспользовался невѣстою, которую высватали за него противъ ея воли. Дѣло въ томъ, что самъ онъ ее любилъ, т. е. любилъ чисто-внѣшней любовью. До женитьбы онъ видѣлъ ее всего нѣсколько разъ, даже не говорилъ съ ней, и она ему издали понравилась. Подумать о томъ, какого она о немъ мнѣнія, по всей вѣроятности, ему помѣшалъ его странный характеръ, который и доставилъ Бешметеву прозвище «тюфяка». Характеръ этотъ въ повѣсти Писемскаго объясняется прежде всего темпераментомъ. Зависимость подобнаго рода характера отъ барской среды, по моему, гораздо яснѣе показана въ «Обломовѣ» Гончарова, чѣмъ въ «Тюфякѣ» Писемскаго. Я совершенно несогласенъ въ этомъ отношеніи съ Писаревымъ, въ сужденіи котораго о «Тюфякѣ» и объ «Обломовѣ» должна быть, я думаю, сдѣлана перестановка: то, что̀ говорится Писаревымъ объ Обломовѣ, должно быть отнесено къ Бешметеву, и наоборотъ. Только неограниченною властью надъ Бешметевымъ именно темперамента—и можетъ быть объяснена та рѣшимость, съ какой соглашается онъ на бракъ съ Жюли. Бешметевъ—человѣкъ развитой, человѣкъ съ уни-

верситетскимъ образованіемъ, — склоняется на торговую сдѣлку, придуманную раззорившимся отцомъ невѣсты и поддерживаемую разными провинціальными барынями. Но жертвой этой сдѣлки, по крайней мѣрѣ, является дѣвушка довольно пустая, а потому и не возбуждающая особеннаго состраданія, хотя Писемскій, раскрывая передъ нами всѣ послѣдствія ея насильнаго брака, заставляетъ насъ наконецъ страдать вмѣстѣ съ нею. Гораздо большее состраданіе возбуждаетъ другая личность—въ повѣсти, написанной ранѣе, а именно въ «Боярщинѣ». Тамъ лицо нѣжное, симпатичное становится спутницей жизни такого человѣка, который ни въ какомъ смыслѣ не подходитъ къ ней,—совершенно грубаго, чисто-животнаго Задоръ-Мановскаго. Извѣстно, какова была судьба ея съ нимъ.

Въ произведеніяхъ перваго періода литературной дѣятельности Писемскаго (сюда-же относятся «Бракъ по страсти», «Богатый женихъ») мы постоянно встрѣчаемъ женщину, совершившую, въ особомъ конечно, смыслѣ,—«подвигъ» Сонечки Мармеладовой. Вспомните, что̀ говоритъ Раскольниковъ про сестру, когда узнаетъ, что она должна выйти замужъ за Лужина: «да вѣдь тутъ и отъ Сонечкина жребія не далеко! Сонечка,—вѣчная Сонечка! пока міръ стоитъ»... И дѣйствительно, эта «Сонечка» повторяется въ цѣломъ рядѣ произведеній Писемскаго. Понятно, какова должна быть семья, когда служащій ей основою бракъ является просто сдѣлкой. Налегая на это явленіе, Писемскій раскрываетъ одну изъ глубокихъ язвъ нашей жизни: онъ указываетъ на то, что̀ въ свою очередь отравляетъ и нашу общественную среду, потому что вѣдь въ семьѣ подготовляются общественные дѣятели, а что̀ могутъ они вынести изъ нея, если она основана на торговой сдѣлкѣ? Но въ повѣстяхъ и романахъ Писемскаго не одна только женщина, выходя замужъ, является Сонечкой Мармеладовой;—онъ представляетъ намъ и мужчину, разыгрывающаго ту же роль. Такимъ оказывается Калиновичъ, герой «Тысячи Душъ», который, какъ извѣстно,—въ томъ и сущность романа,—женится на этой тысячѣ душъ, при-

носимой ему въ приданое кривобокой Полиной. Что-же заставляетъ его поступить такимъ образомъ? Нашъ авторъ разъясняетъ это довольно подробно: «...Болѣе всего произвелъ на него впечатлѣніе комфортъ, который онъ видѣлъ всюду въ домѣ генеральши. Надобно сказать, что комфортъ въ умѣ моего героя всегда имѣлъ огромное значеніе; и для кого-же, впрочемъ, изъ солидныхъ, благоразумныхъ и образованныхъ молодыхъ людей нашего времени не имѣетъ онъ этого значенія? Онъ одинъ нашъ идолъ, и въ жертву ему приносится все дорогое, хотя-бы для этого пришлось оторвать самую близкую часть нашего сердца, разорвать главную артерію и кровью изойти, но только близенько, на подножіи нашего золотого тельца. Для комфорта десятки лѣтъ изгибаются, кланяются, кривятъ совѣстью; для комфорта берутъ взятки и совершаютъ наконецъ преступленія»...

У Достоевскаго мы видѣли человѣка, который дошелъ до ужаснаго преступленія, — до убійства, но онъ дошелъ до него не потому, чтобы желалъ комфорта, а потому, что у него и у многихъ вокругъ него не хватало самаго необходимаго, самаго существеннаго. Калиновичъ у Писемскаго ради комфорта совершаетъ цѣлый систематическій рядъ преступленій, но не такихъ, за которыя ссылаютъ на каторгу. Онъ съумѣлъ не дойти и до того, до чего дошелъ Гоголевскій Чичиковъ, — до тѣхъ поступковъ, вслѣдствіе которыхъ Павелъ Ивановичъ угодилъ наконецъ въ острогъ. Преступленія Калиновича совершенно другого рода. Это преступленія не уголовнаго свойства; онъ только, какъ извѣстно, другихъ подводитъ, и даже очень искусно, подъ уголовщину. Его преступленія свойства чистонравственнаго; тѣмъ не менѣе, онъ остается Чичиковымъ въ новомъ вкусѣ, Чичиковымъ съ университетскимъ образованіемъ.

Писемскій не говоритъ такъ подробно о воспитаніи своего героя, какъ Гоголь о воспитаніи Павла Ивановича, но онъ ясно указываетъ на то, что Калиновичу, какъ и Чичикову, пришлось самому пробивать себѣ дорогу, и что

въ дѣтствѣ онъ испыталъ сильный отцовскій гнетъ, подъ вліяніемъ чего и проявилось въ немъ желаніе добиться наконецъ довольства и свободнаго положенія въ жизни. Но неужели Калиновичъ не вынесъ уже рѣшительно ничего изъ тѣхъ «святыхъ стѣнъ университета», о которыхъ онъ упоминаетъ впослѣдствіи, въ разговорѣ съ однимъ изъ своихъ подчиненныхъ, также бывшимъ студентомъ? Изъ стѣнъ университета онъ вынесъ до нѣкоторой степени *утонченное* понятіе о комфортѣ. Въ понятіе о комфортѣ вошла у Калиновича потребность почета, потребность играть роль, выдвинуть себя поступками, заслуживающими почтенія, потребность власти, и, при помощи этой власти, проведенія, какъ онъ ихъ называетъ, «святыхъ убѣжденій». Но эти «святыя убѣжденія» нужны Калиновичу только для того, чтобы *выказаться* при помощи ихъ. Если онъ впослѣдствіи, достигнувъ своей цѣли, т. е. довольно значительнаго положенія, становится слишкомъ неосторожнымъ и вслѣдствіе того попадаетъ въ бѣду, — то тутъ съ его стороны вовсе нѣтъ благороднаго увлеченія честными убѣжденіями,—онъ увлекается только своимъ властолюбіемъ. Представьте себѣ Калиновича сознающимъ, что, проводя «святыя убѣжденія», онъ рискуетъ потерять свое видное положеніе, а съ нимъ и комфортъ—и вы не усомнитесь сказать, что онъ въ такомъ случаѣ не подорожитъ убѣжденіями. Правда, Писемскій нѣсколько облагородилъ Калиновича тѣмъ, что далъ ему сознаніе черноты своихъ поступковъ, такое сознаніе, котораго у Чичикова нѣтъ. Чичиковъ того мнѣнія, что все, совершаемое имъ, совершенно въ порядкѣ вещей; не даромъ отецъ еще въ дѣтствѣ ему внушалъ, что стремленье къ наживѣ—верховный двигатель. Но вѣдь и Калиновичъ, хотя онъ и сознаетъ черноту своихъ поступковъ, вовсе не удерживается такимъ сознаніемъ отъ дальнѣйшихъ поступковъ такого-же рода. Онъ сходится съ Чичиковымъ въ томъ, что, по его мнѣнію, «безъ этого вѣдь нельзя». Вспомните письмо, написанное имъ изъ Петербурга къ Настенькѣ, которой онъ далъ при прощаньи,

надъ могилою ея матери, клятву вернуться, чтобы жениться на ней, но, давая эту клятву, заранѣе зналъ, что ее нарушитъ. Въ письмѣ изъ Петербурга онъ говоритъ ей: «дѣлаясь лжецомъ и обманщикомъ, я поступалъ не какъ вѣтренный и пустой мальчишка, а какъ человѣкъ, глубоко-сознающій всю черноту своего поступка, который омывалъ его кровавыми слезами, но поступить иначе не могъ». Далѣе, говоря уже совершенно прямо, что онъ все-таки на ней не женится, онъ тѣмъ не менѣе проситъ, чтобы она пріѣхала къ нему, и она дѣйствительно пріѣзжаетъ—въ силу той привязанности, которую Писемскій, съ обычною незатѣйливостію своихъ выраженій, называетъ *собачьей*. (Есть дѣйствительно что-то нечеловѣческое въ такой привязанности—несмотря ни на что). А Калиновичъ, послѣ новаго рѣшительнаго шага съ ея стороны (вспомните, что это сводитъ въ могилу ея добраго отца), совершаетъ у нея на глазахъ цѣлый рядъ новыхъ подлостей! Литературный трудъ, на который разсчитывалъ онъ въ Петербургѣ, оказывается плохою опорой; рекомендательное письмо князя къ директору департамента, на которое онъ не менѣе возлагалъ надеждъ, также не приводитъ ни къ чему положительному. Надежды рушатся, а жажда комфорта, въ виду столичныхъ соблазновъ, все болѣе и болѣе овладѣваетъ Калиновичемъ. Расхаживая по Петербургу, онъ не можетъ отдѣлаться отъ мысли, какъ-бы добиться того, чтобы и ему можно было жить припѣваючи, какъ другіе. Подъ неотразимымъ вліяніемъ этой мысли онъ пользуется неожиданной встрѣчей съ княземъ, и уже самъ напрашивается на то, отъ чего когда-то рѣшительно отказался—на бракъ съ кривобокой Полиной. Чтобы достигнуть цѣли, онъ добровольно подвергаетъ себя цѣлому ряду нравственныхъ униженій. Вспомните, какъ князь, пользуясь выгодою своего положенія, даетъ ему почувствовать, что надо было раньше объ этомъ подумать, что теперь уже, можетъ быть, поздно. При-этомъ князь съ такимъ язвительно-самодовольнымъ многословіемъ говоритъ о томъ, какъ трудно жить литературнымъ трудомъ,

и какое ребячество на него разсчитывать. И Калиновичъ долженъ все это выслушать, самымъ заискивающимъ образомъ обращаясь съ княземъ, который наконецъ беретсятаки быть посредникомъ между нимъ и Полиной. Но тутъ, какъ извѣстно, начинается новый рядъ еще болѣе низкихъ поступковъ. Вспомните, что Калиновичъ выдаетъ князю вексель на 50 тысячъ въ счетъ тѣхъ благъ, которыя получитъ онъ отъ Полины. Вспомните, что когда Полина его разспрашиваетъ объ его отношеніяхъ къ Настенькѣ, онъ, не колеблясь, выдумываетъ про эту беззавѣтно отдавшуюся ему дѣвушку, будто бы она ему измѣнила. Далѣе Настенькѣ, въ видѣ вознагражденія, посылается 25 тысячъ рублей, которыхъ она, разумѣется, не беретъ. Затѣмъ дается взятка баронессѣ, черезъ которую Калиновичъ надѣется получить мѣсто, и баронесса, разумѣется, беретъ эту взятку. Столь же благополучно, на вечерѣ у той же баронессы, другая взятка, въ видѣ проигрыша, дается графу. Послѣ всего этого Калиновичъ имѣетъ полное право сказать: «а мы съ вами, князь, ужаснѣйшіе мошенники!» Князь совершенно съ этимъ согласенъ, удивляясь только наивности Калиновича: «...все зло, говоритъ онъ, лежитъ въ вашемъ глупомъ университетскомъ воспитаніи, гдѣ набиваютъ голову всякаго рода великолѣпными чувствительными идейками, которыя никогда и нигдѣ въ жизни неприложимы...» Но, видно, университетское зло не очень глубоко въѣлось въ Калиновича. Чувствуя нравственное паденіе своего героя, авторъ старается указать на то, что многіе люди, способные его упрекнуть, въ сущности нисколько не лучше его. Слѣдуетъ большая лирическая, или лирико-сатирическая тирада, которая оканчивается словами. «...А васъ, старцы, любящіе только героевъ добродѣтельныхъ, я не беру въ присяжные: вонъ изъ судилища! Вся жизнь ваша была запятнана еще худшимъ! Всѣ ваши мечты были направлены на пріобрѣтеніе, какимъ бы то ни было путемъ, благоустроенныхъ имѣній, каменныхъ домовъ и очаровательныхъ дачъ. Вы и теперь о томъ только молите Бога,

*

чтобы для дѣтей вашихъ вышла такая же линія!» И авторъ, разумѣется, правъ въ томъ, что грязныя качества Калиновича—качества чрезвычайно распространенныя, что его дрянность есть общественная наша дрянность. Публика, повидимому, поняла это: Гоголь уже пріучилъ ее къ пословицѣ «на зеркало нечего пенять...» Она отнеслась къ роману съ полнѣйшимъ сочувствіемъ; критика отозвалась о немъ, по большей части, съ тѣмъ же сочувствіемъ. Только, если не ошибаюсь, въ «Русской Бесѣдѣ» появилась статья, въ которой указано было на нѣкоторыя слабыя стороны романа. Съ другой стороны весьма знаменательно, что такой критикъ, какъ Добролюбовъ, не посвятилъ этому роману подробнаго разбора, а затронулъ его только вскользь въ своемъ превосходномъ разборѣ Тургеневской повѣсти «Наканунѣ». Въ этомъ отношеніи, какъ и во многихъ другихъ, Добролюбовъ совершенно разошелся съ Писаревымъ, который отнесся къ «Тысячѣ Душъ» съ полнѣйшимъ сочувствіемъ. Вспомнимъ, что̀ сказалъ Добролюбовъ про романъ Писемскаго: «О «Тысячѣ Душъ» мы вовсе не говорили, потому что̀, по нашему мнѣнію, вся общественная сторона этого романа насильно пригнана къ заранѣе сочиненной идеѣ. Стало быть, тутъ не о чемъ толковать, кромѣ того, въ какой степени ловко составилъ авторъ свое сочиненіе. Положиться на правду и живую дѣйствительность фактовъ, изложенныхъ авторомъ, невозможно, потому что отношеніе его къ этимъ фактамъ не просто и не правдиво...»

Съ сущностью этого приговора, быть можетъ, нельзя согласиться; но спрашивается, что̀ же могло вызвать у такого критика, какъ Добролюбовъ, подобнаго рода приговоръ? Мнѣ думается, что честная, гуманная натура Добролюбова почувствовала въ нѣкоторыхъ мѣстахъ романа извѣстнаго рода фальшивыя ноты. Авторъ, напримѣръ, указывая на то, что герой его сознаетъ черноту своихъ поступковъ, не разъ увѣряетъ, будто-бы его постоянно и страшно мучитъ совѣсть. Такъ, она, будто-бы, его мучитъ послѣ того, какъ онъ ложно поклялся Настенькѣ;

но несмотря на то, онъ, предъ прощаньемъ съ ней, «въ послѣдній разъ», увѣряетъ авторъ, блаженствуетъ и «блаженству, казалось, не было конца». Но вѣдь одно изъ двухъ — или блаженство, и тогда нѣтъ угрызеній совѣсти, или угрызенія совѣсти, и тогда, т. е. одновременно съ ними, не можетъ быть блаженства. А Калиновичъ, все еще продолжая мучиться совѣстью и помня послѣднее свое блаженство съ Настенькой, по пріѣздѣ въ Петербургъ создаетъ себѣ новый Магометовъ рай у Амальхенъ. Зато послѣ свадьбы съ кривобокой Полиной его ожидаетъ такое «блаженство», что онъ кидается на пожарище и изъ пламени выноситъ женщину; но онъ спасаетъ ее случайно,—въ виду у него было—погибнуть на этомъ пожарѣ. Тутъ уже желаніе искупить грѣхи своего героя его нравственными страданіями доводитъ нашего автора до того, чего бы, казалось, отъ него-то и нельзя было ждать,—до положительной мелодрамы. Далѣе, послѣ 10 лѣтъ брачной жизни съ Полиной, послѣ того, какъ Калиновичу удалось посадить въ острогъ устроителя своего счастія — князя, къ нему снова является, какъ извѣстно, Настенька—уже провинціальной актрисой. Что же долженъ при-этомъ чувствовать человѣкъ, которому она вполнѣ отдалась и которую онъ, любя, оклеветалъ, которой швырнулъ деньги, добытыя продажею имъ себя Полинѣ, человѣкъ, совершившій затѣмъ рядъ другихъ величайшихъ гнусностей—все изъза комфорта и изъ-за власти? Авторъ думаетъ, что неожиданный пріѣздъ Настеньки дастъ ему на время забыть всю тяжесть служебной борьбы и дѣятельности. «Боже!» говоритъ Калиновичъ, «благодарю Тебя, что Ты посылаешь мнѣ этого ангела-хранителя!» — «Какъ бы посреди холодной и мертвящей вьюги», замѣчаетъ уже самъ Писемскій, «вдругъ на него пахнуло весной. Десятилѣтней отвратительной семейной жизни и суровыхъ служебныхъ хлопотъ какъ-будто бы и не бывало...» Послѣ той длинной цѣпи низкихъ поступковъ, какою опуталъ себя Калиновичъ, возможна еще эта весна, будто бы на него пахнувшая! Готовя читателя къ сценѣ свиданія Калиновича съ

Настенькой, авторъ говоритъ: «Я съ полной радостью и любовью обращаю умственное око въ грядущую перспективу событій, гдѣ мелькнетъ, хоть не на долго, для моего героя въ его суровой жизни такое полное, искреннее и молодое счастье...»

Казалось бы, молодость чувствъ можетъ быть сохранена до старости только при жизни, остающейся нравственно-молодою; если же молодость рано запятнана грязью поступковъ, то едвали она можетъ вернуться въ той прежней своей чистотѣ, безъ которой невозможно и настоящее молодое счастье. Самая сцена съ Настенькой, какъ мнѣ кажется, заключаетъ въ себѣ много невѣрныхъ нотъ: едвали можно такъ легко, такъ полушутливо встрѣтиться съ женщиной, которую мы столько разъ обманули, едвали и сама она можетъ такъ легко отнестись къ тому, кто ее обманывалъ. Вотъ эти-то фальшивыя ноты, думается мнѣ, и вызвали у Добролюбова вышеприведенный приговоръ, слишкомъ сжатый, а потому и не довольно точный, но отзывающійся несомнѣннымъ нерасположеніемъ въ «Тысячѣ Душъ». Всѣ же эти фальшивыя ноты произошли у Писемскаго отъ того, что онъ измѣнилъ тутъ своей объективности, которую такъ превознесъ въ немъ Писаревъ, измѣнилъ ей не менѣе, чѣмъ Гончаровъ въ «Обрывѣ». Автору захотѣлось опоэтизировать своего окончательно помятаго прозою жизни героя,—и отсюда явилась фальшь, которая нарушаетъ стройное гармоническое впечатлѣніе, производимое цѣлымъ. Нѣкоторые критики нашли нужнымъ напасть на Писемскаго въ другомъ отношеніи: высказано было мнѣніе, что онъ будто бы оскорбилъ Московскій университетъ тѣмъ, что вывелъ изъ него такого запятнаннаго героя. Совершенно вѣрно замѣтилъ на это Дружининъ, что ни Московскій, ни другіе университеты не могутъ же считать свои стѣны непремѣнно оберегающими *всякаго*, проведшаго въ нихъ узаконенное число лѣтъ, отъ нравственной порчи.

Но нашему обществу не мѣшало бы задуматься надъ тѣмъ, что и въ другихъ повѣстяхъ Писемскаго, а также

и во многихъ произведеніяхъ другихъ отечественныхъ писателей, являются, какъ мы уже видѣли, личности, для которыхъ ихъ университетскіе годы проходятъ почти совершенно даромъ. Бешметевъ въ «Тюфякѣ», — тоже студентъ Московскаго университета, а это не мѣшаетъ ему, какъ мы знаемъ, жениться, не справясь съ тѣмъ, любитъ ли его невѣста, а потомъ тиранить ее за то, чему онъ самъ причиной. Эльчаниновъ въ «Боярщинѣ» тоже бывшій студентъ, а какъ поступаетъ онъ съ той несчастной женщиной, которая только у него и могла бы найти спасенье отъ двухъ ей грозящихъ чудовищъ: отъ грубаго звѣря — мужа, и утонченнаго, съ лапами въ бархатѣ, но все-таки звѣря—графа? Если мы возвратимся къ Достоевскому, то изъ университета же выведенъ у него «игрокъ»— личность не безъ добрыхъ стремленій, но безъ твердаго нравственнаго закала, а потому и становящаяся жертвой игры. Изъ университета же, какъ мы знаемъ, и преступникъ Раскольниковъ. А у Гончарова? — Праздношатающійся, при всѣхъ своихъ талантахъ, Райскій; весьма умный, но постоянно ничего недѣлающій Обломовъ, вѣчно суетящійся, но исключительно для одной наживы, Штольцъ,—все это люди, которые не стали болѣе дѣльными отъ университетскаго образованія. А Александръ Адуевъ, этотъ заоблачный мечтатель «Обыкновенной Исторіи», у котораго подъ мечтаніями скрывается только стремленіе въ карьерѣ и фортунѣ? А у Тургенева Рудинъ, нѣкоторыми изъ нашихъ критиковъ поднятый, правда, на пьедесталъ, но въ сущности весь состоящій только изъ прекрасныхъ желаній; потомъ Лаврецкій, малодушно опускающій руки и уже не видящій никакой цѣли въ жизни вслѣдствіе того, что личное счастіе ему измѣнило — развѣ всѣ они не студенты университета? Второстепенныя личности у Тургенева, взятыя также изъ студенчества, въ родѣ Михалевича или Берсенева, значительно выше, но и въ нихъ вѣдь настоящей жизненной силы не много. Если посравнить, да пообдумать, то едва-ли не лучшими изъ всѣхъ упомянутыхъ лицъ придется признать Илью

Ильича Обломова и Раскольникова. Обломовъ, правда, ничего не дѣлаетъ, но зато *онъ очень вѣрно понимаетъ, что дѣловая жизнь многихъ, его окружающихъ, въ сущности — то же бездѣлье.* Раскольниковъ совершаетъ страшное преступленіе, но зато *онъ ясно сознаетъ, что вокругъ него постоянно и систематически совершается множество преступленій, которыя только преступленіями не считаются.*

Дѣйствительно, есть надъ чѣмъ призадуматься: вѣдь это плохой признакъ состоянія общества, если и высшее образованіе не исключаетъ возможности цѣлаго множества такихъ цивилизованныхъ типовъ, какіе выведены въ нашей литературѣ. Вѣдь университетское образованіе заключаетъ въ себѣ такія начала, которыя, повидимому, должны бы были дѣйствовать вполнѣ воспитательно. Въ немъ прежде всего нѣтъ той сословной исключительности, того духа привиллегіи, который въ воспитательномъ смыслѣ дѣйствуетъ всегда крайне дурно. А высокій научный уровень? Развѣ онъ въ свою очередь не долженъ бы былъ и нравственно возвышать людей? Да, но нашимъ университетамъ такъ долго недоставало того, что составляетъ *душу живу* — свободы преподаванія и строя. Не оттого-ли и оставались долго столь мало удовлетворяющими плоды нашего университетскаго образованія, если судить о нихъ по личностямъ, рядъ которыхъ выведенъ въ нашей литературѣ? Не оттого-ли нашей университеской наукѣ и не удавалось совладать съ дурною закваской, пріобрѣтаемой нами дома, въ семьѣ, которая, какъ показываетъ Писемскій во многихъ своихъ романахъ, стоитъ у насъ такъ не высоко—мы знаемъ уже почему.

Въ одномъ изъ дальнѣйшихъ своихъ произведеній, въ «Взбаламученномъ Морѣ», Писемскій выводитъ опять студента — въ лицѣ Бакланова, который такимъ образомъ описываетъ свои университетскіе годы: «на первомъ курсѣ я занятъ былъ глупой любовью къ кокеткѣ-дѣвочкѣ, потомъ, съ горя отъ неудачи въ этой любви, на второмъ и на третьемъ курсахъ пьянствовалъ, и, наконецъ, этотъ годъ—глупѣйшаго ужь и вообразить нельзя—что дѣлалъ?

клакеромъ былъ»... Далѣе онъ сваливаетъ всю вину на свое домашнее воспитаніе: «у меня, бывало, матушка только и говоритъ: «Сашенька, батюшка, не учись, боленъ будешь!.. Сашенька, батюшка, покушай! Сашенька, поколоти двороваго мальчишку; — что это онъ тебѣ грубіянитъ»;— вотъ и вынянчили себѣ на шею». При этомъ, Баклановъ, баричъ-студентъ, не безъ зависти указываетъ на товарища своего Проскриптскаго: «...онъ идетъ, куда слѣдуетъ; знаетъ до пяти языковъ, пропасть научныхъ свѣдѣній имѣетъ, а отчего? Оттого, что семинаристъ; его и дома, можетъ быть, и въ ихней тамъ семинаріи въ дугу гнули, характеръ покрайней мѣрѣ въ человѣкѣ выработали и трудиться пріучили». Въ другой разъ онъ указываетъ на другого своего товарища: «или Варегинъ вонъ у насъ — совсѣмъ настоящій человѣкъ; уменъ, трудолюбивъ, добръ, куда хочешь поверни, а тоже отчего?—уличнымъ мальчишкой выросъ».

И такъ, барская закваска домашняго воспитанія,— вотъ еще что мѣшало падать на добрую почву тѣмъ сѣменамъ, которыми все-же должна была насъ надѣлять, хотя-бы и не вполнѣ свободная, университетская наука. Этой барской закваски незамѣтно у Разумихина въ романѣ Достоевскаго (хотя и не видно, чтобъ онъ былъ именно семинаристъ), оттого-то онъ такой дѣловой, прямой, честный человѣкъ. Да, но если внимательно посмотрѣть и на превозносимое, какъ-бы не безъ зависти, барчукомъ Баклановымъ, семинарское «гнутье въ дугу», то развѣ оно не приводитъ съ другой стороны очень многихъ къ жесточайшему озлобленію?

По выходѣ изъ университета Баклановъ поступаетъ на службу—такъ, машинально, и на первыхъ порахъ приходитъ въ величайшій конфузъ отъ своей неумѣлости, поставляемой ему на видъ необразованными, но болѣе его опытными чиновниками, тогда какъ было-бы не мудрено понять, что вся ихъ опытность заключается въ одномъ пустомъ формализмѣ. Но Баклановъ, вмѣстѣ съ тѣмъ,

продолжаетъ заниматься и тѣми сердечными дѣлами, на которыя ушли первые годы его университетской жизни; мало того, покончивъ со службой, онъ участвуетъ въ неизглаголанныхъ оргіяхъ Іоны Цинпка,—этой отвратительной, но, къ несчастію, не невозможной личности Писемскаго. Преждевременно разсоривъ свои чувства, Баклановъ рѣшается на женитьбу, но ошибается въ выборѣ,—не сходится, какъ онъ старается себѣ объяснить, съ женой. Въ сущности-же, размѣнявшись на мелкія и грязненькія ухаживанія за женщинами, онъ уже не въ состояніи любить постоянно. Мимоходомъ удовлетворяя своей жаждѣ разнообразія, онъ доводитъ до смерти старую знакомку свою Казиміру. Растроивъ свое состояніе и состояніе своихъ дѣтей, онъ спѣшитъ какъ бы съ отчаянія заграницу вмѣстѣ съ прежнимъ предметомъ своей страсти, Софи, и въ такомъ-то положеніи застаетъ его великая, начавшаяся у насъ на глазахъ, пора преобразованій. Сначала, прослышавъ о крестьянской реформѣ, онъ съ практической точки зрѣнія промотавшагося помѣщика спрашиваетъ: «но что же намъ дадутъ? заплатятъ-ли по-крайней мѣрѣ?» А нѣкоторое время спустя тотъ же самый человѣкъ рѣшается провозить самыя красныя прокламаціи. Не зная, за что схватиться, онъ кидается, очертя голову, въ ту политическую агитацію, которая и является у Писемскаго «взбаламученностью моря». За эту послѣднюю часть романа, за то, что пора нашего возрожденія выставлена тутъ съ самыхъ слабыхъ, съ самыхъ больныхъ ея сторонъ, на Писемскаго обрушились ожесточеннѣйшія нападки. Публика, а еще болѣе критика, превознесшая его за «Тысячу Душъ», охладѣла къ нему послѣ «Взбаламученнаго Моря». Но мнѣ кажется, что Писемскій въ этомъ случаѣ далеко не въ той мѣрѣ заслуживаетъ упрека, какъ другіе, бравшіеся за ту-же тему: онъ показалъ себя болѣе безпристрастнымъ, чѣмъ многіе изъ нихъ. Во первыхъ, онъ указалъ очень ясно, въ томъ же самомъ романѣ, въ прежнемъ поколѣніи, въ прежнихъ порядкахъ—множество

явленій, гораздо болѣе отталкивающихъ *), нежели тѣ, которыя рисуетъ онъ въ концѣ романа: вмѣстѣ съ тѣмъ онъ съумѣлъ прагматической связью своего разсказа показать, что отъ тѣхъ порядковъ и отъ того поколѣнія должны были неминуемо произойти именно *такія* новыя явленія, именно *такое* новое поколѣніе, со всѣми болѣзненными ихъ уродливостями.

«Въ обществѣ, непривыкшемъ къ самомышленію, явно уже начиналось», говоритъ Писемскій, «послѣ рабскаго повиновенія властямъ и преданіямъ, такое же насильственное и безотчетное подчиненіе моднымъ идейкамъ». Если съ этими идейками стали соединяться и грязненькіе инстинкты, то и это получаетъ свое объясненіе у Писемскаго: «При нахлынувшемъ со всѣхъ сторонъ болѣе свободномъ воздухѣ, въ комъ какіе были инстинкты, тѣ и начали заявлять себя»... Накопились же эти грязненькіе инстинкты мало по малу, въ прежнюю «благодатную» пору; теперь же появилось только стремленіе создать изъ нихъ цѣлую теорію. «...То, что̀ мы дѣлали крадучись, чему потихоньку симпатизировали», говоритъ Варегинъ, «они возвели въ принципъ, въ систему; это наши собственныя сѣмена, только распустившіяся въ букетъ». Если-же нашъ авторъ затронулъ исключительно пошленькую сторону нашей эпохи преобразованій, то вѣдь самое свойство его таланта таково, что онъ по преимуществу склоненъ изображать именно это.

Въ другомъ своемъ романѣ, «Люди Сороковыхъ Годовъ», онъ пытался затронуть и другую сторону той же многознаменательной эпохи, которая наступаетъ въ концѣ романа, послѣ давшей ему заглавіе трудной эпохи сороковыхъ годовъ. Но задача оказалась не по средствамъ автора, и романъ этотъ, безъ сомнѣнія, принадлежитъ у него къ числу самыхъ слабыхъ. По заглавію можно было ожидать, что «людьми сороковыхъ годовъ» окажутся тутъ

*) Вспомните, наприм., сцену *дворянскихъ выборовъ*, личность стараго сановника, мистика-ловеласа Ливанова и т. п.

не только пустозвонные фразеры, но и тѣ честные дѣятели той поры, которые многое намъ подготовили. Между тѣмъ кого мы тутъ видимъ? На первомъ планѣ—вышедшій опять-таки изъ университетскихъ стѣнъ, но вынесшій изъ нихъ, въ свою очередь, крайне мало, Вихровъ, главная спеціальность котораго—все тѣже сердечныя дѣла. Правда, онъ кидается наконецъ на литературное поприще, но первый его шагъ на немъ остается и послѣднимъ: повѣсть его, затрогивающая крестьянскій вопросъ, оказывается неудобною для печати, а его самого посылаютъ на исправительную службу въ провинцію подъ начальство къ губернатору, проводящему время на вечерахъ у г-жи Пиколовой, и прикрывающему своимъ авторитетомъ разныя, сомнительнаго свойства, дѣлишки. Въ видахъ радикальнаго излѣченія отъ вольнодумства, Вихрову предписываютъ закрыть раскольничью молельню, и что же?—Человѣкъ, написавшій такую повѣсть и, стало быть, подававшій надежды на что-то высшее—безпрекословно исполняетъ возложенное на него дѣло, хотя его обезпеченное положеніе давало ему полную возможность не бояться исключенія изъ службы. Видно и онъ не вынесъ изъ университетскихъ стѣнъ настоящей любви къ народу, которая, стало быть, проглянула у него только мелькомъ въ повѣсти изъ крѣпостного права. Будь въ немъ хоть капля этой настоящей любви,—и ни за какія блага вселенной у него не поднялась бы рука на то, что составляетъ для народа святыню. Позже Вихрову, это правда, все-таки приходится рѣшиться на смѣлый шагъ и тѣмъ вооружить противъ себя начальника,—но вотъ тутъ-то и начинается совершенно неожиданно преобразовательное движеніе конца пятидесятыхъ годовъ, начинается новая жизнь, и Вихрову открывается полнѣйшій просторъ печатать свои произведенія.

Но именно эти годы, уже не сороковые, а пятидесятые и слѣдующіе за ними, именно они-то и нарисованы въ романѣ особенно слабо. Мы не видимъ тутъ всесторонняго воспроизведенія той смѣси добра и зла, отрадныхъ и

печальныхъ явленій - той смѣси, которою неизбѣжно характеризуется всякая переходная эпоха; все это у Писемскаго скомкано въ одну слишкомъ слегка набросанную картину. Но все-таки, сопоставляя этотъ хотя и слабый романъ со «Взбаламученнымъ Моремъ», т. е. сопоставляя воспроизведенный въ первомъ переходъ отъ сороковыхъ годовъ къ исходу пятидесятыхъ, съ воспроизведенными во второмъ романѣ болѣзненными явленіями шестидесятыхъ годовъ, мы можемъ сдѣлать выводъ такого рода, что эти болѣзненныя явленія, какъ и однородныя съ ними, затронутыя Гончаровымъ въ «Обрывѣ» и Достоевскимъ въ «Бѣсахъ», составляютъ внутренній, давно у насъ крывшійся и вышедшій наконецъ наружу недугъ. Внимательно прочитавъ лѣтопись нашей внутренней жизни за послѣднія десятилѣтія, представляемую намъ Писемскимъ, мы никакъ не станемъ искать объясненія событій въ какихъ-то трихинахъ, будто-бы нами проглоченныхъ, или въ какихъ-то бѣсахъ, будто-бы въ насъ вселившихся. Если дѣло въ заразѣ, то нужно строить карантины; если мы имѣемъ дѣло съ бѣсноватыми,—то ихъ приходится сажать на цѣпь. Если-же болѣзнь оказывается внутреннею, — то нужны другія, просто гигіеническія средства. Мнѣ невольно припоминаются при этомъ слова великаго Германскаго поэта: «свѣта, больше свѣта!» Да, и побольше свѣжаго, вольнаго воздуха, — тогда только выздоровѣетъ больной!

Мнѣ остается сказать еще нѣсколько словъ о послѣднемъ романѣ Писемскаго: «Въ Водоворотѣ».

Тутъ, какъ извѣстно, затронутъ такъ-называемый женскій вопросъ. Для того, чтобы понять тѣ явленія, которыя рисуетъ тутъ Писемскій, — явленія, сводимыя главнымъ образомъ къ практическому протесту противъ ограниченія круга дѣятельности женщины одною семьей, надо припомнить ту картину нашей издавней семейной пустоты и безнравственности, которую нарисовалъ тотъ же Писемскій въ своихъ прежнихъ произведеніяхъ; одно является естественнымъ слѣдствіемъ другого. Но мы мо-

жемъ быть совершенно спокойны за начало семейное: какъ бы ни было оно у насъ издавна позорно извращено, и до какого бы крайняго озлобленія ни доходилъ вслѣдствіе того протестъ противъ этого начала,—оно въ основѣ своей устоитъ, уцѣлѣетъ, потому что оно въ природѣ человѣка. Несомнѣнно уцѣлѣютъ и основные, изъ самой природы вытекающіе, а потому и неустранимые нравственные оттѣнки, отличающіе женщину отъ мущины. Вслѣдствіе того, что «женственность» долгое время усматривалась только въ стремленіи къ нарядамъ, къ веселостямъ, къ блеску и т. п., явилось, изъ презрѣнія къ такому понятію о женственности, ревностное стремленіе совершенно ее уничтожить, сдѣлать женщину—нетолько *равноправною* (требованіе вполнѣ законное и которое рано или поздно будетъ удовлетворено), а просто *равною*, т. е. *тожественною* съ мужчиной. Но мы можемъ быть и въ этомъ отношеніи совершенно спокойны: женственность, какъ естественное слѣдствіе совокупности извѣстныхъ физіологическихъ и психическихъ особенностей женской природы, нетолько сохранится, но и будетъ далѣе развиваться по мѣрѣ общаго развитія человѣчества, потому что она составляетъ въ немъ одну изъ такихъ стихій, безъ которыхъ его жизнь должна-бы остаться одностороннею и неполною.

Елену въ «Водоворотѣ» можно сопоставить съ Базаровымъ: оба они стараются совершенно освободиться отъ всего напускного, доставшагося по преданію. Но, зарываясь въ этомъ стремленіи сбросить съ себя все лишнее, они сбрасываютъ и то, чего окончательно сбросить нельзя: они начинаютъ подавлять свои естественныя свойства. Базаровъ хочетъ совершенно вытравить въ себѣ всякое поэтическое чувство, всякую симпатическую наклонность, связывающую его съ другими людьми — тогда какъ они составляютъ принадлежность его богатой природы. Елена, вооружаясь противъ семейнаго гнета, готова совершенно отвергнуть семью; а между тѣмъ чувства *жены* и *матери* такъ и сказываются въ ней, отвергающей *женственность*. Но про нее, какъ и про Базарова, мы во всякомъ случаѣ

должны сказать, что это типы сильные, стойкіе въ своихъ правилахъ, и въ этомъ смыслѣ цѣльные. Въ концѣ романа замѣчено про Елену, что «она говорила и поступала такъ, какъ думала и чувствовала». Здоровая сторона въ ней, при всѣхъ ея крайностяхъ, — это стремленіе къ труду, дающему возможность нравственной независимости и вносящему въ жизнь женщины ту высшую цѣль, которая должна воспитательно дѣйствовать и на подрастающее вокругъ нея поколѣніе. Появленіе такихъ личностей, несмотря на всѣ угловатыя ихъ увлеченія, важно уже какъ несомнѣнный признакъ того, что наступаетъ конецъ «женской Обломовщинѣ». Въ заключеніе моей первой лекціи я сказалъ, что сколько бы ни было ошибочнаго въ стремленіяхъ молодого поколѣнія вообще, если въ основаніи ихъ лежитъ твердая вѣра въ возможность сыскать вѣрный путь—то путь этотъ рано или поздно, но будетъ отысканъ. То же самое слѣдуетъ сказать и о стремленіи женщины выбиться изъ патріальныхъ путъ и завоевать себѣ разумный просторъ. Сколько бы ни было тутъ невѣрныхъ шаговъ, но при искренности стремленія и женщина отыщетъ-же наконецъ свою прямую жизненную задачу.

«Ищите и найдете» сказано вѣдь не даромъ.

ЛЕКЦІЯ VI.

Романы докладывающаго направленія. — Бурсацкіе типы у Стебницкаго, Помяловскаго и Рѣшетникова. — Простонародные типы у Рѣшетникова, Писемскаго, гр. Л. Н. Толстого и др.—Значеніе хроники: „Война и Миръ“.—„Въ Лѣсахъ“ А. Печерскаго.

Мы уже познакомились съ нѣсколькими представителями нашей литературы послѣ Гоголя и не могли не замѣтить болѣе или менѣе общаго всѣмъ имъ стремленія — уловить все, происходящее въ современной жизни. При такомъ стремленіи, наши писатели спѣшили воспроизво-

дить и явленія, только-что у насъ возникающія. Но, ставъ на эту дорогу, они наконецъ принялись и за такія явленія нашей жизни, которыя могутъ привлекать къ себѣ вниманіе не однихъ только читателей, не одного только общественнаго мнѣнія, но и вниманіе—съ другой стороны. Воспроизводя эти явленія, наши писатели не всегда указывали, какъ мы видѣли, на ихъ основныя причины. Но при такомъ неумѣніи, нехотѣніи или же просто невозможности разъяснить эти причины, наша литература стала, такъ сказать, выходить за предѣлы собственно-литературной сферы.

Всѣмъ извѣстно, что первымъ, воспроизведшимъ только-что народившееся тогда, такъ называемое нигилистическое направленіе былъ Тургеневъ; но ему, за его «Отцовъ и Дѣтей», по справедливости еще не могъ бы быть сдѣланъ упрекъ въ выступленіи за предѣлы литературные. Тургеневу, можетъ быть, не удалось разъяснить основныя причины явленія, но невидно ни изъ чего, чтобы онъ считалъ ихъ разъясненіе лишнимъ, а вполнѣ достаточнымъ одно указанье на то, что такое явленіе существуетъ. Недаромъ же Тургеневъ, связавъ *дѣтей* съ *отцами*, оцѣнилъ безпристрастно тѣхъ и другихъ, безъ малѣйшаго склоненія вѣсовъ на какую-либо сторону. Онъ умѣлъ вполнѣ воздержаться и отъ того нагроможденія подробностей, которое, при отсутствіи объяснительной психологической связи, невольно представляется преднамѣреннымъ преувеличеніемъ. Къ сожалѣнію, нельзя сказать, чтобы въ ошибку этого рода не впали Гончаровъ въ «Обрывѣ» и Достоевскій въ «Бѣсахъ». Что̀ касается Писемскаго въ «Взбаламученномъ Морѣ», въ «Людяхъ 40-хъ годовъ» и въ «Водоворотѣ», то я старался указать на зависимость *психологической* неразъясненности у него современныхъ явленій отъ особенности его по преимуществу *повѣствовательнаго* пріема, а равно и на то, что, внимательно вникая въ *прагматическую* связь этихъ явленій, достаточно ясную у Писемскаго, читатель можетъ прійти къ вѣрному уразумѣнію ихъ причинъ.

Но у насъ есть еще два произведенія на ту же тему, о которыхъ я долженъ сказать хотя нѣсколько словъ: это «Некуда» Стебницкаго и «Панургово Стадо» Всеволода Крестовскаго. Что̀ касается перваго, то прежде всего, какъ мнѣ кажется, справедливость не позволяетъ отказать автору въ положительномъ дарованіи. Противоположность между двумя главными женскими его типами, Дженни и Лизой,—проведена чрезвычайно послѣдовательно. Дженни можно отнести къ разряду тѣхъ типовъ, которые на нѣсколько условномъ, но въ своемъ родѣ мѣткосвоеобразномъ языкѣ Апп. Григорьева, назывались типами «*смирными*»; Лизу же къ тѣмъ, которые онъ называлъ «*хищными*». Авторъ говоритъ про Дженни, что желаніе ея было: «пусть всѣмъ хорошо будетъ»... «Жить каждому въ своемъ домикѣ»—такъ рѣшила она въ своей незамысловатой программѣ. «Она только не знала, что нельзя всѣмъ построить собственные домики и безмятежно жить въ нихъ, пока двужильный старикъ Захватъ Ивановичъ сидитъ на большой коробкѣ да похваляется, а свободная человѣческая душа ему молится: научи, молъ, меня, батюшка Захватъ Ивановичъ, какъ самому мнѣ Захватомъ стать». Впослѣдствіи Дженни должна была убѣдиться въ томъ, что на свѣтѣ живется не такъ-то легко, какъ ей думалось; но, узнавъ это, она повидимому, безъ труда помирилась съ такимъ порядкомъ вещей: вѣдь натура у нея была «смирная». Лиза, со своей «хищной» натурой, не могла примириться съ тѣмъ, что представлялось ей ненормальнымъ. Но, попавъ въ тотъ новый кругъ, въ которомъ она ищетъ исхода изъ прежняго своего положенія, она, при своей прямой, правдивой натурѣ и своемъ проницательномъ умѣ, сейчасъ же узнаетъ въ главномъ заправщикѣ круга, Бѣлоярцовѣ, человѣка, вполнѣ способнаго молиться Захвату Ивановичу, чтобы тотъ научилъ его—Захватомъ стать. Разгадавъ настоящаго хозяина того «дома», въ который она перешла, она охладѣваетъ и къ его населенію, слишкомъ уже беззавѣтно довѣрившемуся этому хозяину, и находитъ пріютъ для своихъ вѣ-

рованій въ личности вполнѣ чистой, являющейся искреннимъ представителемъ свободнаго направленія—въ этомъ полу-Швейцарцѣ, полу-Русскомъ Райнерѣ. Въ немъ она видитъ въ настоящемъ впдѣ то, что̀ такъ извращено и опошлено Бѣлоярцевымъ.

Блужданія Лизы, исканіе ею чего-то иного, лучшаго, вполнѣ объясняется у автора тѣмъ, что ея прежняя среда не отвѣчала на тѣ запросы, которые такъ рано въ ней пробудились. «Семья не поняла (ея) чистыхъ порывовъ, люди ихъ перетолковывали: друзья старались ихъ усыпить; мать кошекъ чесала, отецъ младенчествовалъ. Все обрывалось; некуда было дѣться». И это нетолько *сказано*, но и съ достаточною ясностью *показано* въ романѣ. Но въ концѣ его авторъ говоритъ также и про мужскія свои личности: «некуда было итти силамъ, онѣ и пошли въ кривостъ». Но вотъ это такъ и осталось у него только *сказаннымъ*, а вовсе не *показаннымъ* въ самомъ дѣйствіи романа. Мужскія лица Стебницкаго вѣдь не оставались въ томъ замкнутомъ кругу, въ которомъ томилась Лиза: они съ дѣтства жили за предѣлами семьи, воспитывались въ общественныхъ заведеніяхъ, испытывали различныя жизненныя вліянія; почему же все это привело къ тому, что и имъ некуда было дѣться? Это остается у автора совершенно невыясненнымъ, такъ что одна существенная сторона задачи—причины кривороста нашихъ мужскихъ силъ, вовсе не тронута имъ, а видно только, что этотъ «кривостъ» его сердитъ. Но вѣдь такое писанье *съ-сердцовъ* ни къ чему не приводитъ: это все равно, какъ еслибы докторъ, вмѣсто опредѣленія болѣзни, ограничился только однимъ распеканіемъ больного за то, что онъ заболѣлъ.

Но Стебницкій затронулъ еще одну сторону въ своемъ романѣ,—сторону, которую затрогивали и другіе писатели, въ томъ числѣ и Писемскій въ «Водоворотѣ»: я разумѣю такъ-называемую «Польскую пропаганду», съ ея такъ-называемыми «Русскими жертвами». Писемскій въ лицѣ князя Григорова выставилъ человѣка, который ни-

сколько не поддается этой пропагандѣ; вполнѣ ею увлекается только Елена, сама на половину Полька. Она ввѣряется Жуквичу, выдающему себя за дѣятеля Польской справы, на самомъ же дѣлѣ оказывающемуся обманщикомъ, но сама она дѣйствуетъ съ искреннимъ увлеченіемъ новообращенной. Въ лицѣ Елены мы видимъ примѣръ женщины, которая изъ состоянія ищущей, подобно Лизѣ, *чего-то* иного, лучшаго — вдругъ переходитъ въ состояніе успокоившейся на *готовой* почвѣ народности, рѣшающейся съ этихъ поръ самоотверженно дѣйствовать въ ея лонѣ. Въ этомъ отношеніи личность Елены оттѣняетъ многіе Русскіе женскіе типы, повидимому, вовсе не имѣющіе отечества.

Въ другомъ романѣ, появившемся болѣе или менѣе около того же времени, въ «Маревѣ» Клюшникова, мы видимъ *Русскую* женщину, которая увлекается *Польскимъ* патріотизмомъ (подобно тому, какъ Елена у Тургенева увлекается патріотизмомъ *Болгарскимъ*). Крестовскій въ «Панурговомъ Стадѣ» выводитъ нѣсколько Русскихъ мужчинъ, которые становятся Польскими патріотами. Вотъ эта-то податливость Русскихъ людей и представляется ему такимъ состояніемъ, которое онъ думаетъ опредѣлить словами: «Панургово Стадо» — отсюда и заглавіе романа. Но сущность этого явленія такова, что въ него слѣдовало бы вникнуть глубже; относиться къ нему такъ слегка, поверхностно, какъ отнеслись упомянутые писатели, едвали дѣльно. Вѣдь вся наша ошибка въ томъ, что въ этомъ Польскомъ патріотизмѣ, которымъ у насъ увлекались, не замѣчали большого пробѣла—не замѣчали отсутствія того, безъ чего немыслима никакая народность—отсутствія самого народа, оставшагося позабытымъ у большинства Польскихъ патріотовъ. Но наши беллетристы и публицисты напали собственно не на это: имъ представлялась легкомыслiемъ и малодушіемъ наша способность сознавать свои «историческія вины». А между тѣмъ вѣдь подобная способность,—хотя бы вины эти понимались нами невѣрно, хотя бы мы ихъ преувеличивали и старались загладить

*

ихъ уже слишкомъ очертя голову, — есть такая черта въ нашемъ народномъ характерѣ, которую надо умѣть цѣнить. Нашимъ беллетристамъ и публицистамъ извѣстной школы хотѣлось-бы во что бы ни стало навязать намъ національную нетерпимость и исключительность! Но это не въ нашей натурѣ: добровольно, со смакомъ, мы никогда не будемъ Захватъ Ивановичами.

Съ другой же стороны, безпрерывно говорить о томъ, что наше умственное броженіе, со всѣми его крайностями и уродливостями, есть только результатъ чужой пропаганды, что мы тутъ только стадо, что внутреннихъ глубокихъ причинъ такого броженія у насъ нѣтъ, — вѣдь это значитъ систематически мѣшать намъ взглянуть, такъ сказать, прямо въ глаза окружающимъ насъ явленіямъ. Правда, Крестовскій въ одномъ мѣстѣ своего романа говоритъ о томъ броженіи, которое онъ рисуетъ: «это было прямое и естественное слѣдствіе причинъ историческихъ, начиная съ Гатчиновщины, Аракчеевщины и кончая долговременнымъ гробовымъ молчаніемъ, это была расплата за прошлое». Если-бы все это дѣйствительно было въ романѣ *показано*, если бы мы видѣли, какимъ образомъ бичуемыя авторомъ явленія вытекли изъ тѣхъ историческихъ причинъ, о которыхъ онъ говоритъ, тогда-бы романъ этотъ имѣлъ большое значеніе; но дѣло въ томъ, что все это въ немъ только *сказано*, а ничего не *показано*. Мы видимъ рядъ безобразій, уродливостей, страшную неурядицу, берущуюся Богъ знаетъ откуда (объяснять все это только чужимъ вліяніемъ, какъ дѣлаетъ авторъ, значитъ собственно ничего не объяснить). Кромѣ того—какія преувеличенія, какая карикатурность — ради тенденціи! Вотъ, напримѣръ,—учитель Полякъ, который высказывается въ пользу исключенія изъ гимназіи ученика за непозволительное чтеніе въ публичномъ мѣстѣ. Учитель Русскій возстаетъ противъ подобнаго исключенія, какъ противъ мѣры безчеловѣчной, и сгоряча называетъ Поляка подлецомъ. Между ними должна произойти дуэль, но Полякъ вдругъ отказывается отъ нея, говоря, что Русскій — шпі-

онъ, а съ такими людьми на дуэль не выходятъ. И что-же? Всѣ, начиная отъ гимназистовъ и кончая учителями, вѣрятъ клеветѣ Поляка и отворачиваются отъ Русскаго, стоявшаго въ педагогическомъ совѣтѣ за вполнѣ гуманное отношеніе къ ученику;—до того, видите-ли, забористъ дурманъ, поднесенный намъ Польскою пропагандой! А привязанность Лубяновской въ Полуярову, въ своемъ родѣ напоминающая *собачью* привязанность Настеньки къ Калиновичу? Правдоподобна-ли такая привязанность у Крестовскаго? И что такое этотъ Полуяровъ, далеко превосходящій карикатурностью Марка Волохова? Въ Полуяровѣ какъ бы собралъ авторъ все, что есть самаго нехорошаго въ человѣческой натурѣ, и все это смазалъ либерализмомъ. Нахалъ, когда-то замаравшійся объ откупа, а потомъ доходящій до того, что пишетъ самъ себѣ письма отъ эмигрантовъ, самъ на себя доноситъ, чтобы прославиться, а потомъ самъ же и труситъ,—вотъ Полуяровъ. Есть-ли въ подобной личности хоть одна черта, которая могла-бы возбудить къ нему страсть такой дѣвушки, какъ Лубяновская? Привязанность Вѣры къ Марку Волохову объясняется тѣмъ, что ей хочется надъ нимъ поработать, что она надѣется его пересоздать, между тѣмъ какъ героиня Крестовскаго поддается Полуярову вполнѣ беззавѣтно, съ какимъ-то опьяненіемъ раболѣпствуя передъ этимъ деспотомъ-пошлякомъ. Очевидно, всѣ подобныя несообразности нагромождены для того, чтобы сказать: «посмотрите, что у насъ творится»! Романъ наконецъ совершенно перестаетъ быть романомъ; онъ обращается въ какую-то реляцію о студенческой исторіи, о петербургскихъ пожарахъ; дальнѣйшее развитіе характеровъ совершенно прекращается и забывается,—словомъ мы получаемъ полнѣйшій образчикъ той литературы, которая, по деликатному выраженію нѣкоторыхъ, признана «докладывающею».

Пальма первенства между беллетристами этой школы безспорно принадлежитъ Всев. Крестовскому, утратившему, благодаря ей, многіе признаки дарованія, которые у него несомнѣнно были. Печать дарованія, какъ видѣли мы,

гораздо яснѣе сохранилась у Стебницкаго въ «Некуда». Въ послѣднее время тотъ же авторъ проявилъ это дарованіе на другомъ полѣ, избравъ тему, которая еще очень мало разработана у насъ съ той стороны, которой коснулся онъ. Правда, въ его «Соборянахъ» также встрѣчаются личности, карикатурностью своего изображенія и своими извѣстнаго рода замашками напоминающія личности Крестовскаго, но главный интересъ этой «Старгородской хроники» заключается, конечно, въ первенствующемъ лицѣ протопопа Туберозова. Лицо это совершенно ясно выражается уже въ той главѣ романа, которая носитъ названіе: «Домикотоновая книга протопопа Туберозова». Этотъ его дневникъ—несомнѣнно лучшій отдѣлъ романа, остальныя главы котораго даютъ развѣ очень немного для дальнѣйшаго выясненія характера почтеннаго протопопа. Языкъ и содержаніе дневника таковы, что совершенно избавляютъ автора отъ малѣйшаго упрека въ ложной идеализаціи: онъ выставляетъ личность сочувственно, но не ставитъ ее на ходули. Читая этотъ дневникъ, мѣстами улыбаешься, но при этомъ невольно любишь и уважаешь честнаго и умнаго протопопа. Вотъ что̀ отмѣчаетъ онъ, напримѣръ, въ своемъ дневникѣ о выступленіи своемъ на пастырское поприще: «Проповѣдывалъ впервые въ соборѣ послѣ архіерейскаго служенія. Темой проповѣди избралъ текстъ притчи о сыновьяхъ вертоградаря... Свелъ сіе ко благимъ дѣйствіямъ и благимъ намѣреніямъ, позволяя себѣ нѣкоторые намеки на служащихъ, присягающихъ и о присягѣ своей небрегущихъ, давая самъ тонкіе намеки чиноначаліямъ и властямъ... Владыка одобрили сію мою пробу пера. Однакоже впослѣдствіи его преосвященство призывалъ меня къ себѣ, и, одобряя мое слово вообще, въ частности указалъ, дабы въ проповѣдяхъ прямого отклоненія къ жизни дѣлать опасался, особливо же насчетъ чиновниковъ...»

Такимъ образомъ, желаніе честнаго протопопа внести живое начало въ дѣло проповѣди на первыхъ же порахъ встрѣчаетъ преграду. Но онъ попадаетъ на такое мѣсто,

гдѣ съ одной стороны встрѣчается съ *расколомъ*, а съ другой съ *католическою пропагандой*. Ему хочется живымъ, гуманнымъ образомъ отнестись къ раскольникамъ: «Представлялъ репортомъ»,—пишетъ онъ,—«о дозволеніи имѣть на Пасхѣ словопреніе съ раскольниками, въ чемъ и отказано»... Вмѣсто словопренія нужно совсѣмъ другое: у него добиваются, отчего онъ не дѣлаетъ никакихъ *донесеній* о раскольникахъ. Въ отвѣтъ на это, какъ значится въ его дневникѣ, онъ «добавилъ... въ репортѣ, что наиглавнѣе всего, что церковное духовенство находится въ крайней бѣдности, и того для, по человѣческой слабости, не противодѣйственно подкупамъ, и даже само не мало потворствуетъ расколу, какъ и другіе прочіе оберегатели православія, пріемля даянія раскольниковъ. Заключилъ, что не съ иного чего надо бы начать, къ исправленію скорбей церкви, какъ съ изъятія самаго духовенства изъ-подъ тяжкой зависимости»... Послѣ такого смѣлаго замѣчанія, что у насъ не съ того конца начинаютъ, онъ «вторично получилъ выговоръ и замѣчаніе и вызванъ къ личному объясненію». Далѣе ему наставнически замѣтили, «что и самъ Господь нашъ не имѣлъ гдѣ главы восклонить, а къ сему учить не уставалъ»... Совѣтовали читать книгу «О подражаніи Христу». Вслѣдъ за тѣмъ въ дневникѣ Туберозова описывается «зрѣлище страшное, непристойное и поистинѣ возмутительное» (это то самое зрѣлище, которое у Писемскаго достается на долю Вихрову—разрушеніе раскольничьей молельни). Онъ думалъ дѣйствовать проповѣдью, а пришлось, чтобы не ослушаться начальства (а ослушаться было бы для него несравненно труднѣе, чѣмъ для Вихрова), — пришлось оскорблять религіозное чувство раскольниковъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ и свое собственное.

Подъ 25-мъ августа Туберозовъ заноситъ въ дневникъ слѣдующія строки: «Какая огромная радость! Ксендзы по Литвѣ учредили общество трезвости; они проповѣдуютъ противъ пьянства, и пьянство престаетъ, и народъ остепеняется, а откупщики-кровопійцы лопаются. Ахъ какъ

бы хотѣлось въ семъ родѣ проповѣдничать!» Нѣсколько же далѣе мы читаемъ (5 сентября): «Въ нѣкоторыхъ православныхъ обществахъ заведено то же. Боюсь, не утерплю, и скажу слово. Говорилъ бы по мысли Кирилла Бѣлозерскаго: како крестьяне ся пропиваютъ, а души гибнутъ!» Но что̀ можно было во время оно Кириллу Бѣлозерскому, того нельзя протопопу Туберозову, и онъ пишетъ далѣе: «...Какъ проповѣдывать безъ цензуры не смѣю, то хочу интригой учредить у себя общество трезвости. Что̀ дѣлать? За неволю и патеру Игнатію Лойолѣ слѣдовать станешь, когда прямой дорогою хода нѣтъ». Вскорѣ Туберозову приходится пойти по дорогѣ сдѣлокъ со своею совѣстью и еще далѣе: «Поляки у насъ,—пишетъ онъ,—словно господами нашими дѣлаются... Чего съ роду не хотѣлъ сдѣлать, то нынѣ сдѣлалъ: написалъ на нихъ порядочный доносъ». Но этотъ послѣдній поступокъ остается въ романѣ недостаточно выясненнымъ психологически: точно-ли обстоятельства должны были непремѣнно привести къ нему Туберозова, или же это только навязано ему авторомъ подъ вліяніемъ взглядовъ извѣстнаго лагеря, по которымъ въ борьбѣ съ врагами будто бы и нельзя обойтись безъ доносовъ? Что протопопъ Туберозовъ, съ другой стороны, впадаетъ въ апатію, что онъ начинаетъ находить удовольствіе въ томъ, чтобы выпить, получше поѣсть и подольше поспать, потому что живая дѣятельность стала для него плодомъ запретнымъ,—все это, конечно, совершенно понятно, полно психологической правды. Какъ бы то ни было, хотя бы въ дневникѣ Туберозова было съ одной стороны что̀-нибудь пересказано, съ другой—недосказано, характеръ протопопа намѣченъ вообще вѣрно и дневникъ представляетъ самъ по себѣ замѣчательное литературное произведеніе. Авторъ довольно глубоко заглянулъ въ душу—въ сущности весьма свѣтлой личности изъ нашего бѣлаго духовенства, и въ нѣкоторомъ смыслѣ дневникъ Туберозова (не говорю: «Соборяне» вообще) можетъ быть поставленъ наравнѣ съ произведеніемъ писателя, къ сожалѣнію, уже умершаго, раскрывшаго другую сторону въ

жизни нашего духовенства,—то воспитаніе, которое оно получаетъ: я разумѣю «Очерки Бурсы» Помяловскаго.

Тутъ, какъ извѣстно, съ безпощадной откровенностью выставлены всѣ старыя язвы этого воспитанія. Сопоставляя «Очерки Бурсы» съ «дневникомъ Туберозова», мы должны прійти къ заключенію, что личности въ родѣ Туберозова не могутъ принадлежать къ числу заурядныхъ, выходящихъ изъ бурсы. Мы видѣли указаніе студента-барича Бакланова на тѣхъ крѣпышей и дѣловиковъ-студентовъ, которые собственнымъ упорнымъ трудомъ выходятъ въ люди; онъ объясняетъ ихъ дѣловитость тѣмъ, что они прошли черезъ бурсу. И дѣйствительно, оттуда выходятъ такіе крѣпыши, которые найдутся на всякой дорогѣ, не пропадутъ нигдѣ. Но, съ другой стороны, вникая въ тѣ явленія, которыя рисуетъ Помяловскій въ своихъ «Очеркахъ Бурсы», нельзя не убѣдиться въ томъ, что послѣ такого воспитанія во многихъ личностяхъ должно развиваться нѣчто совершенно другое, а именно—сильнѣйшее озлобленіе. Счастливыя натуры выносятъ этотъ тяжелый искусъ, не ожесточаясь и не падая духомъ; другія совершенно тупѣютъ или пошлѣютъ; третьи, наконецъ, ожесточаются. Писаревъ въ одной изъ своихъ лучшихъ статей сравнилъ, какъ извѣстно, «Очерки Бурсы» Помяловскаго съ «Записками изъ Мертваго Дома» Достоевскаго, и сравненіе это проведено имъ убійственно вѣрно. Критикъ доказываетъ, между прочимъ, что въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ бурса, этотъ мертвый домъ, куда попадаютъ *дѣти*, чтобы въ немъ, въ этомъ *мертвомъ* домѣ, подготовиться къ *жизни*,—что она оказывается еще болѣе сдавливающею, чѣмъ острогъ. «Тамъ,—говоритъ онъ про послѣдній,—не толкутъ воды; тамъ все-таки возможно работать». Между тѣмъ, долбня, которая такъ долго господствовала въ бурсѣ, представлялась дѣйствительно для свѣжихъ молодыхъ способностей своего рода «толченіемъ воды», а за то, что эта долбня не нравилась—доставалась страшнѣйшая порка. Я нахожу совершенно лишнимъ указывать на подробности,—кто не читалъ «Очерковъ Бурсы»? Вспомните еще другую

сторону, чрезвычайно ярко выставленную у Помяловскаго,—именно, что эти самые бурсаки, которыхъ заставляли только долбить, которыхъ такъ безпощадно пороли, въ которыхъ, съ одной стороны, все притуплялось, съ другой являлась упорная ожесточенность и одичалость,—что они еще въ стѣнахъ бурсы изъ положенія школьниковъ попадали въ положеніе жениховъ.

Какая отталкивающая сцена, когда къ инспектору бурсы является вдова священника съ дочерью и приноситъ ему убогіе подарки, въ томъ числѣ цѣлковый, слезно прося достать жениха ея дочери, за которою закрѣплено отцовское мѣсто. «У насъ на Руси не рѣдкость, замѣчаетъ Помяловскій, что бракъ устраивается потому, что женихъ получитъ повышеніе по службѣ и приданое, а невѣста пристроится, получитъ имя жениха и чинъ его». Не мало сходныхъ явленій видѣли мы въ повѣстяхъ Писемскаго, но Помяловскій прибавляетъ: «нигдѣ святость брака не была такъ попрана, какъ въ сферѣ бурсацкихъ типовъ. Здѣсь нарушеніе брака, извращеніе его узаконено и освящено обычаемъ»... «Въ свѣтскихъ искусственныхъ бракахъ, говоритъ онъ въ другомъ мѣстѣ, большею частью оскорбляется женщина; но въ бурсацкихъ и женщина, и мужчина. Въ свѣтскихъ мужчина говоритъ: «я сытъ и есть у меня имя, иди за меня—ты будешь сыта и получишь имя»; въ бурсацкихъ-же не то: женихъ кричитъ: «ѣсть нечего»; невѣста кричитъ: «съ голоду умираю»—и исходъ одинъ: соединиться обѣимъ сторонамъ». Объясняя это поражающее явленіе, которое держалось у насъ такъ долго и посѣяло столько зла, авторъ продолжаетъ: «Русскіе священники, діаконы, причетники—представители православнаго пролетаріата, у нихъ нѣтъ собственности... До поступленія на мѣсто, всякій попъ нашъ гладенъ и хладенъ, при поступленіи—приходъ его кормитъ... Вотъ это-то пролетаріатство духовенства, безземельность, необезпеченность извратили всю его жизнь».—«Чтобы не дать умереть съ голоду осиротѣвшимъ семействамъ духовныхъ лицъ, рѣшились пожертвовать однимъ изъ высочайшихъ учрежденій человѣческихъ—бра-

комъ. Мѣсто *закрѣпляютъ*,—техническое, замѣтьте, чуть не офиціальное выраженіе». Словомъ, то широко понимаемое положеніе Сонечки Мармеладовой, о которомъ говоритъ Достоевскій, оказывалось постояннымъ, какъ-бы узаконеннымъ явленіемъ въ жизни нашего духовенства! Конечно, въ настоящее время явленіе это уже не считается узаконеннымъ,—оно, напротивъ, осуждено новѣйшими мѣропріятіями. Но много еще пройдетъ времени прежде, чѣмъ потеряютъ силу тѣ замѣчанія Помяловскаго, которыя относятся вообще къ пролетаріатству нашего духовнаго класса со всѣми его послѣдствіями: противъ этого зла вообще настоящія мѣры вѣдь еще и не приняты, а потому и бракъ по неволѣ *на дѣлѣ* еще останется нерѣдкимъ явленіемъ въ жизни нашего духовенства.

Какова-же должна быть семейная жизнь послѣ подобнаго брака? Понятно, что тѣ человѣческія отношенія, которыя существуютъ у Стебницкаго между протопопомъ Туберозовымъ и его женой—не могутъ быть господствующимъ явленіемъ. Такимъ явленіемъ скорѣе должно быть признано то, что̀ рисуетъ намъ другой писатель на туже тему, Рѣшетниковъ, въ своемъ «Ставленникѣ». Да, заурядною скорѣе должна быть признана та—нетолько холодность, но почти ненависть, какую питаетъ тутъ мужъ-ставленникъ къ доставшейся ему по разсчету женѣ. А каково должно быть при такой обстановкѣ воспитаніе дѣтей! И послѣ такого-то семейнаго воспитанія эти дѣти попадали въ бурсу, гдѣ ихъ воспитывали такъ, какъ это описано Помяловскимъ, съ тѣмъ, чтобы нерѣдко уже въ стѣнахъ той-же бурсы они заранѣе обрекали себя на ту же насильную брачную жизнь, которая давала существованіе новому поколѣнію, обреченному, разумѣется, опять на такое-же воспитаніе, опять на такую-же дальнѣйшую участь, и т. д. и т. д. изъ поколѣнія въ поколѣніе! Понятно, что при подобныхъ порядкахъ не часто могли выходить изъ стѣнъ бурсы Туберозовы и Проскиптскіе, а нерѣдко должны были выходить Базаровы. Если въ чемъ-нибудь можетъ быть сдѣланъ упрекъ Тургеневу, то соб-

ственно въ томъ, что онъ не объяснилъ всѣхъ особенностей этого типа—тою средою, въ которой Базаровъ родился и долженъ былъ получить первоначальное, до-университетское воспитаніе и образованіе. Но Тургеневъ, какъ извѣстно, отнесся къ Базарову безъ малѣйшей злобы; другіе-же послѣ него обращались къ этого рода типу съ пѣною у рта, тогда какъ надо было не злиться (этому могла-бы научить хотя-бы даже *эстетика* со своею теоріею спокойнаго и успокаивающаго творчества), а удовлетворительно разъяснить происхожденіе типа. Надо было писать такъ, чтобы вышелъ наружу настоящій источникъ такъ-называемаго *нигилизма*—различныя наши общественныя неустройства, въ томъ числѣ и пролетаріатъ духовенства... Вмѣсто того, чтобы говорить: «у насъ нѣтъ пролетаріата, у насъ его быть не можетъ», надо было понять и доказать другимъ, что хотя оно должно бы быть такъ по всѣмъ нашимъ даннымъ,—пролетаріатъ и у насъ все же есть, но только въ особомъ видѣ... Вмѣсто того, чтобы бить въ набатъ объ опасности отъ чужихъ книжекъ, надо было постоянно показывать, что продолжать, не уставая, итти прямою дорогой спокойнаго внутренняго усовершенствованія—единственное дѣйствительное средство отъ всякихъ *трихинъ и бѣсовъ*.

Къ числу писателей, вѣрно и честно указывавшихъ настоящую причину болѣзней преимущественно бурсацкой среды, принадлежитъ, вслѣдъ за Помяловскимъ, и столь-же рано умершій Рѣшетниковъ. Оба они не даромъ испытали на самихъ себѣ гнетущее вліяніе этой среды, изъ которой, какъ вѣрно показываютъ ихъ сочиненія, рвутся и не могутъ не рваться даровитыя силы. Но Рѣшетниковъ, въ нѣкоторыхъ своихъ повѣстяхъ, указываетъ намъ на такое-же стремленіе вырваться изъ гнетущихъ обстоятельствъ также и другой среды,—той, съ которою значительная часть нашего духовенства поставлена, такъ сказать, съ глазу на глазъ,—среды простонародной. Создать себѣ новое положеніе, сыскать себѣ мѣсто «гдѣ лучше»—вотъ что составляетъ содержаніе большого романа Рѣшет-

никова, такъ и озаглавленнаго этимъ вопросомъ,—романа, по выполненію уступающаго другимъ произведеніямъ того-же писателя, но замѣчательнаго по своей основной мысли. Гораздо выше, по выполненію, извѣстный этнографическій очеркъ Рѣшетникова: «Подлиповцы», рисующій въ самомъ безотрадномъ свѣтѣ положеніе народа въ одномъ изъ самыхъ глухихъ угловъ нашего отечества. Авторъ, конечно, не безъ умысла выбралъ именно такую мѣстность, гдѣ, по самымъ климатическимъ условіямъ, человѣкъ поставленъ въ положеніе нечеловѣческое. «Пробовали, сказываютъ Подлиповцы, за хлѣбушкомъ ходить, да все не въ толкъ; только начинаетъ созрѣвать хлѣбъ,—баско!—вдругъ дожди, заморозки, снѣгъ... Поплачешь, погорюешь, да и скосишь травку Божью, измелешь и ѣшь такъ съ горячей водой, либо настоящей мучки смѣшаешь или коры осиновой, либо липовой наскоблишь»... При такомъ состояніи постояннаго голоданія,—у жителей этой глухой мѣстности Чердынскаго уѣзда замѣтно, съ другой стороны, и полное отсутствіе духовнаго хлѣба. Еще недавно крещеные, они хотя-бы и съ дѣтства были крещены, все же были-бы только по имени Христіанами. Священнику, получающему за требы ковригу хлѣба, некогда думать о томъ, чтобы кормить духовной пищей свою паству. Сгущая мрачныя краски въ своей картинѣ безвыходнаго положенія Подлиповцевъ, Рѣшетниковъ, между прочимъ, представляетъ намъ голодныхъ и окоченѣлыхъ дѣтей, которыхъ положили въ печь потому, что тамъ теплѣе, и которыхъ убиваетъ вывалившійся изъ внутренности печи камень. А родные и не чувствуютъ своей потери: напротивъ, они почти рады, что двумя ртами меньше. Авторъ идетъ еще дальше: онъ дѣлаетъ намеки на то, что и самая выдающаяся между Подлиповцами личность—Пила, какъ будто-бы просто не сознаетъ, что̀ такое «дочь»,—а его сыновья нимало не сознаютъ, что̀ такое «отецъ». Тутъ, разумѣется, авторъ, въ своемъ желаніи ярче обрисовать весь ужасъ нравственнаго отупѣнія людей, зашелъ уже слишкомъ далеко. Но его гуманная натура и его дарованіе удержали его отъ окончательнаго впаденія

въ крайность. На повѣрку и Подлиповцы все-же оказываются не вполнѣ отупѣлыми: человѣческая природа сказывается и тутъ въ томъ, что въ нихъ неугасло желаніе лучшаго, что они рвутся изъ своей безвыходной обстановки. Пила подговариваетъ ихъ итти на Волгу бурлачить, и они легко поддаются надеждѣ на хорошіе заработки, которую онъ имъ выставляетъ на видъ. Надежда эта, какъ извѣстно, обманываетъ несчастныхъ Подлиповцевъ:—бичева, за которую они тянутъ суда, разрывается, и они, разшибаясь при паденіи, платятся жизнью за неудачную предпріимчивость, возбужденную въ нихъ Пилой. Такая ихъ гибель—черта, можетъ быть, нѣсколько изысканная, такъ какъ это все-таки лишь случайность. Съ другой стороны, можетъ быть, авторъ слишкомъ возвысилъ насчетъ остальныхъ собственно одного этого Пилу, который у него говоритъ: «вотъ, значитъ, я сила. Не я бы, такъ не то бы было съ вами». А вся его сила въ томъ, что онъ любящая душа. Такихъ же любящихъ душъ могло бы, можетъ быть, отыскаться и между Подлиповцами поболѣе, такъ что авторъ едва-ли не попадаетъ въ ложное возвеличеніе личности, говоря: «Онъ одинъ изъ Подлиповцевъ понялъ, что, ничего не дѣлая, жить нельзя; онъ какъ-нибудь старался пріискать себѣ работу и сбыть ее, а главное услужить своимъ Подлиповцамъ. Если въ городѣ ничего не покупали, Пила шелъ сбирать ради Христа и потомъ дѣлился съ Подлиповцами». Едва-ли есть достаточныя причины считать до такой степени исключительною эту естественную способность думать о другихъ, жить для нихъ, дѣлиться съ ними послѣднимъ, ту способность, которую такъ любилъ подмѣчать Достоевскій въ своихъ забитыхъ,—т. е., стало быть, не совершенно забитыхъ людяхъ.

У Рѣшетникова эта глубоко психологическая черта выставлена уже слабѣе въ другомъ произведеніи, въ упомянутомъ выше романѣ «Гдѣ лучше?» Тутъ вообще психологическая сторона человѣка развита мало: тутъ мы видимъ скорѣе эпическій реализмъ во вкусѣ Писемскаго,—рядъ событій, поступковъ, а душевная сторона дѣй-

ствующихъ лицъ остается скрытою въ своихъ подробностяхъ, на виду же только одно основное стремленіе ихъ— добиться, «гдѣ лучше?» То же самое служитъ руководящимъ началомъ (при такомъ же отсутствіи тонкаго психологическаго анализа) и въ повѣсти «Между людьми». Здѣсь, какъ и въ концѣ «Ставленника», ищущими лучшаго являются личности изъ духовнаго класса; достичь своей цѣли они разсчитываютъ въ столицѣ. Но авторъ умѣлъ показать, какъ непривѣтливо относится къ бѣдняку эта превознесенная столица со всей ея роскошью и со всѣми ея удобствами. Суровый пріемъ, ожидающій въ ней бѣдныхъ тружениковъ, выставленъ у Рѣшетникова съ тою «трезвою правдою», которую Тургеневъ считаетъ существеннымъ свойствомъ этого писателя.

Не всѣ однако лица изъ провинціи, хотя бы и лица изъ простого народа, испытываютъ только неудачу въ своей столичной жизни. Писемскій въ разсказѣ «Питерщикъ» выставилъ личность, которой повезло въ Петербургѣ. Среда, его произведшая—промышленное, смѣтливое, находчивое крестьянское населеніе Костромской губерніи. Впрочемъ, Питерщику повезло въ Петербургѣ только въ первый разъ; во второй ему уже не повезло, — но въ совершенно особомъ смыслѣ: онъ не избѣгъ развращающаго вліянія столичной широкой жизни, хотя и этого бы съ нимъ не случилось, еслибы не особыя домашнія обстоятельства. Счастливый въ своемъ первомъ бракѣ, въ который онъ вступилъ по любви, Питерщикъ является во второмъ жертвою приказа отца; вотъ онъ съ горя и ѣдетъ опять въ столицу, гдѣ спускаетъ рѣшительно все въ развеселомъ житьѣ; но здоровая натура беретъ опять верхъ, и онъ трудомъ наживаетъ себѣ новое состояніе. Такимъ образомъ Писемскій въ этомъ типѣ умѣлъ съ различныхъ сторонъ отнестись къ нашей простонародной средѣ, оставшись одинаково далекимъ и отъ ложной идеализаціи, и отъ крайняго сгущенія мрачныхъ красокъ. Въ другомъ извѣстномъ его разсказѣ: «Батька», выставлена уже исключительно мрачная сторона жизни нашего простона-

родья, т. е. собственно его семейныхъ нравовъ, рисуемыхъ тутъ въ ужасающемъ видѣ,—къ сожалѣнію, можетъ быть, не преувеличенномъ, хотя подобныя явленія, разумѣется, не являются заурядными (да Писемскій и не думаетъ выставлять ихъ такими). Въ «Плотничьей Артели» тотъ же авторъ показываетъ намъ, до какой степени извращеннымъ можетъ оказываться и такое превосходное бытовое учрежденіе, какъ артель: надъ ней господствуетъ тутъ «кулакъ» Пузичъ, хотя съ другой стороны на него оказываетъ умѣряющее вліяніе умная, дѣловитая личность Петра, вполнѣ сознающаго себя силою и относящагося даже къ барину съ тѣмъ неподобострастіемъ Русскаго человѣка, которую удавалось ему сохранить и въ принижающія времена крѣпостного права. Такое же точно воспроизведеніе и здоровыхъ сторонъ народа, и тѣхъ болѣзненныхъ, которыя на немъ наросли подъ вліяніемъ различнаго рода печальныхъ причинъ историческихъ,—такое же точно многостороннее отношеніе къ народному быту и нравамъ обнаруживаетъ и Левъ Толстой. Вспомните его умнаго, образованнаго и самыми лучшими намѣреніями преисполненнаго молодого помѣщика, а рядомъ съ нимъ, въ лицѣ различныхъ крестьянъ — народный практическій умъ, такъ мѣтко обличающій практическую несостоятельность барина—исключительно теоретика («Утро молодого Помѣщика»). Вспомните тотъ разсказъ, гдѣ на первомъ планѣ оказывается просто пьяница, на котораго всѣ махнули рукой. Но авторъ съумѣлъ показать, какъ въ этомъ пьяницѣ пробуждается вдругъ желаніе проявить свое человѣческое достоинство. Вслѣдствіе благосклоннаго къ нему каприза помѣщицы, ему поручаютъ отвезти въ городъ значительную сумму денегъ. Исправнымъ исполненіемъ порученія Поликушка разсчитываетъ доказать, что на него положиться можно; но случайная пропажа ввѣренной ему суммы (пропажа, которую, разумѣется, припишутъ его поведенію) доводитъ несчастнаго до самоубійства.

Гр. Л. Н. Толстой, какъ извѣстно, не любитъ налегать на одно изъ господствующихъ явленій въ жизни нашего

народа — на его невѣжество. Самый отъявленный врагъ всего напускного, всего искусственнаго, всей той сѣти условныхъ понятій, которая опутала жизнь нашихъ въ довольствѣ живущихъ классовъ, врагъ всего «приподнятаго», какъ выразился Ап. Григорьевъ въ своей статьѣ о Л. Н. Толстомъ, нашъ авторъ любитъ въ отпоръ всему этому выставлять простоту народныхъ отношеній,—здоровую, какъ ему представляется, первобытность его нравовъ и его понятій: въ этомъ и сила Толстого,—въ этомъ и его слабость. Въ своей хроникѣ «Война и Миръ», которая года два тому назадъ послужила для меня предметомъ особыхъ лекцій *), Л. Толстой расширилъ свою любимую мысль до того, что ему рѣшительно представлялась опасность дойти до крайней и ложной идеализаціи народа. Но трезвое чувство художника и притомъ художника-*реалиста* — такимъ совершенно справедливо признаетъ его и Н. Н. Страховъ **)—удержало его отъ этого. Дѣло въ томъ, что всѣ событія 1812 г. излагаются у Л. Толстого такимъ образомъ, что мы видимъ полнѣйшую неподготовленность къ нимъ нашего образованнаго класса. Толстой цѣлымъ рядомъ образовъ, взятыхъ изъ различныхъ слоевъ этого класса, показываетъ намъ, что они были, такъ сказать, застигнуты 1812 годомъ врасплохъ, а сдѣлалъ свое дѣло, *вывезъ* собственно простой народъ, тѣ мужики Карпъ и Власъ, которые жгли свое сѣно, вмѣсто того, чтобы продавать его по дорогой цѣнѣ Французамъ. Но Толстой при-этомъ ни мало не скрываетъ и тѣхъ мрачныхъ сторонъ народа, которыя вовсе не сгладились и въ тяжелую годину испытанія. Онъ даетъ намъ почувствовать, что отдѣльныя личности могутъ оставаться плохими или даже

*) См. выше стр. 86—160.

**) Въ статьѣ его, напечатанной въ „Зарѣ“ (а потомъ и отдѣльно) и заключающей въ себѣ много вѣрнаго, какъ и другія статьи того же критика, которому мѣшаетъ только до крайности доведенное мнѣніе, что „искусство не отъ міра сего“, и литературныя связи со школой, *пишущею съ сердцовъ*.

совсѣмъ дурными, но что и онѣ не могутъ устоять противъ того общаго и всемогущаго чувства, которымъ въ извѣстныя годины проникается весь народъ, спасающійся именно такимъ *общимъ* чувствомъ. Простое дружное чувство самообороны—вотъ что понялъ въ своемъ народѣ и самъ Кутузовъ, котораго все величіе, по мнѣнію Л. Толстого, и заключается въ такомъ пониманіи своего народа. Въ своемъ обращеніи къ войску и къ ополченію, во время уже начавшагося бѣгства Французовъ, Кутузовъ у нашего автора умѣетъ воспользоваться нашей народной способностью почувствовать пощаду къ врагу, но вмѣстѣ съ тѣмъ и не дать совершенно погаснуть пока еще все таки нужному озлобленію противъ него. Заставивъ Кутузова не переставать видѣть просто человѣка въ нашемъ Русскомъ солдатѣ, Толстой, въ лицѣ Платона Каратаева, постарался съ особенною ясностью показать намъ простую, мягкую крестьянскую натуру вполнѣ сохранившеюся подъ носимою имъ уже такъ давно солдатской шинелью. «Онъ любилъ, и любовно жилъ, говоритъ авторъ, со всѣмъ, съ чѣмъ его сводила жизнь, и въ особенности съ человѣкомъ. Жизнь его, какъ онъ самъ смотрѣлъ на нее, не имѣла смысла какъ отдѣльная жизнь. Она имѣла смыслъ только какъ частица цѣлаго, которое онъ постоянно чувствовалъ». Эта же самая черта еще ранѣе была подмѣчена въ нашемъ народѣ Тургеневымъ. Она выставлена имъ еще въ «Запискахъ Охотника»—въ Калинычѣ и Касьянѣ изъ Красивой Мечи;—она, наконецъ, еще ярче обрисовалась въ такъ долго остававшемся заброшеннымъ и только недавно напечатанномъ очеркѣ—въ этой, заживо умершей, Лукерьѣ, прозванной «живыми мощами» *). Отрѣзанная ото всего остального міра своей болѣзнью, она въ самой себѣ, при всей своей необразованности, умѣетъ создать себѣ цѣлый маленькій міръ; она связана сочувственными нитями со всею природой, но по преимуществу, какъ и Пл. Каратаевъ, съ человѣческимъ міромъ; она постоянно думаетъ

*) См. сборникъ „Складчина“.

о другихъ, что̀ сказывается и въ ея просьбѣ къ барину объ уменьшеніи оброка крестьянамъ, и въ простодушно перетолкованной ею и такъ ей понравившейся чужой, но со своей общечеловѣческой стороны такъ легко усвоенной ею легендѣ объ Орлеанской дѣвѣ, положившей свою жизнь *за другихъ людей*. Но вѣдь та же самая черта въ нашемъ народномъ характерѣ подмѣчена и представителемъ «трезвой правды», по выраженію Тургенева,—покойнымъ Рѣшетниковымъ, у котораго она такъ ярко сказалась, какъ видѣли мы, въ этомъ во многихъ отношеніяхъ только получеловѣкѣ — Подлиповцѣ Пилѣ. Вотъ такіе то простые люди, чувствующіе свою связь съ остальными людьми, по объясненію Толстого, и вывезли Россію въ 1812 г.

Все картинно-величавое, эффектное совершенно снято съ этой эпохи Толстымъ, какъ снято оно имъ же и съ великой Севастопольской драмы (въ его «Севастопольскихъ Очеркахъ). «Кто злодѣй? Кто герой? спрашиваетъ онъ въ очеркѣ: «Севастополь въ Маѣ.» Всѣ хороши и всѣ дурны...» «Герой моей повѣсти, котораго я люблю всѣми силами моей души, котораго старался воспроизвести во всей красотѣ его, и который всегда былъ, есть и будетъ прекрасенъ—*правда*».

Гоголь, въ свое время, говорилъ, что никѣмъ незамѣченное свѣтлое лицо въ его произведеніяхъ — *смѣхъ*; это тотъ правдивый смѣхъ, прямымъ наслѣдникомъ котораго и является въ нашей современной литературѣ герой упоминаемый Толстымъ—*правда*.

Въ заключеніе укажу на произведеніе, печатаемое по частямъ въ «Русскомъ Вѣстникѣ». Это, какъ скромно его называетъ авторъ, «разсказъ,»—на самомъ же дѣлѣ, своего рода эпопея изъ быта раскольниковъ, озаглавленная «Въ Лѣсахъ», принадлежащая перу автора, скрывающагося подъ давно уже разгаданнымъ псевдонимомъ А. Печерскаго *). Тутъ рисуется картина той, вообще мало у насъ извѣстной жизни, которая скрывается въ Заволж-

*) Впослѣдствіи вышло отдѣльно въ 4-хъ частяхъ.

скихъ лѣсахъ. Ложной идеализаціи нѣтъ, какъ нѣтъ и преднамѣреннаго проведенія по всему мрачныхъ красокъ. Съ одной стороны мы видимъ тутъ представителей настоящаго раскольничьяго благочестія, съ другой — проявленіе уживающагося съ такимъ благочестіемъ страшнаго семейнаго произвола, доходящаго до того, что невѣста, сосватанная за сына, вдругъ дѣлается женою отца (Марья Гавриловна). Но тутъ-же мы встрѣчаемъ и самую любящую личность въ лицѣ старика Потапа Семеновича, щадящаго завѣтъ умирающей дочери — простить человѣка, который ее погубилъ; личность, относящуюся съ такой всепрощающей любовью къ ея и своему обидчику. Въ этихъ же «Лѣсахъ» мы находимъ наконецъ картину народной артели въ ея настоящемъ, неизвращенномъ видѣ, (не въ томъ, въ какомъ представляется она у Писемскаго) въ видѣ настоящей маленькой общины, крѣпко сплоченной. Одинъ изъ представителей этой артели (Артемій) даетъ намъ заглянуть въ глубину историческихъ воспоминаній, основанныхъ, конечно, не на чемъ иномъ, какъ на преданіяхъ и пѣсняхъ. Въ своемъ разговорѣ съ купцомъ, который попадаетъ въ эти лѣса, онъ даетъ почувствовать, что эта артель, которая такъ озлобляетъ купца своей стойкостью,—что она обломокъ цѣлаго порядка вещей, когда-то господствовавшаго по Волгѣ. «Было золотое время, да по грѣхамъ нашимъ миновало... Сѣрые люди жили на всей вольной волюшкѣ, сладко ѣли, пьяно пили, цвѣтно платье носили; — житье было разудалое, развеселое... Въ стары козачьи годы не купецкіе люди Волжскимъ раздольемъ владали, а наша братья голытьба ...Голытьба въ стары годы по нашимъ лѣсамъ жила, голытьба жила и промежъ полей»... Мало по малу обстоятельства измѣнили значеніе этой *голытьбы*, которая только послѣ такой перемѣны и могла получить это имя. «Кормиться стало нечѣмъ, хлѣба недородъ, подати большія, отъ бояръ да отъ приказныхъ людей утѣсненье... И побѣжала голытьба врозь, стали вольными казаками... Которая голытьба на Украину пошла,—та Ляховъ да басурмановъ побивала, свою казац-

кую кровь за Христову вѣру проливала... Которая голытьба на Сибирь махнула, та Сибирскія мѣста полонила и великому государю Сибирскимъ царствомъ поклонилась...».

Эти воспоминанія наводятъ на многіе вопросы изъ Русской исторіи, но намъ не время на нихъ останавливаться. Насъ ждетъ въ слѣдующій разъ поэтъ народной нужды и скорби, тотъ поэтъ, который назвалъ самъ свою музу «музой мести и печали».

ЛЕКЦІЯ VII.

Некрасовъ. Произведенія перваго періода (до 1861 г.).

Представители нашей нравоописательной повѣсти мною уже разобраны. То, что̀ сказалъ Гр. Л. Н. Толстой о своихъ произведеніяхъ, что герой ихъ, незамѣчаемый многими,—«правда», т. е. правдивое воспроизведеніе жизни, тоже самое могли-бы сказать и прочіе лучшіе представители нашей нравоописательной повѣсти о своихъ произведеніяхъ, за тѣми немногими исключеніями, которыхъ я не скрывалъ. И вотъ эта-то именно сторона въ новѣйшей нашей литературѣ — ея вообще правдивыя отношенія къ жизни, должна-бы была обратить на нее вниманіе и заграницей.

До сихъ поръ особеннымъ сочувствіемъ пользуется тамъ собственно И. С. Тургеневъ, вѣрно ознакомившій иностранцевъ со многими явленіями Русской жизни. Я уже указывалъ на то, что неменьшаго вниманія заслуживалъ-бы отъ иностранцевъ Ѳ. М. Достоевскій, по той особенной, не всегда дающейся иностраннымъ писателямъ, жизненной правдѣ, съ какою разработана имъ его основная—въ сущности совершенно общечеловѣческая тема. Не меньшее впечатлѣніе долженъ-бы былъ произвести и переводъ главныхъ произведеній гр. Л. Н. Толстого—по особенно-

сти тѣхъ пріемовъ, съ какими относится онъ къ великимъ міровымъ событіямъ, теряющимъ подъ его перомъ всю свою героическую величавость и эфектность. Двѣнадцатый годъ, Севастопольская война — являются у Толстого со всею тою мелкою игрою страстей, которая не прекращается, какъ умѣетъ онъ показать, и въ самыя великія эпохи, потому что и тутъ продолжаютъ дѣйствовать тѣ же обыкновенные люди со своими обычными интересами, а на степень такихъ обыкновенныхъ людей сведены у Толстого и самые первенствующіе дѣятели. Мы видѣли, что развѣнчивая великихъ людей и выдвигая на первый планъ значеніе массъ, Л. Толстому было легко вдаться въ ложную идеализацію народа, сдѣлать его «приподнятымъ» (употребляя выраженіе Ап. Григорьева), но главный герой нашей литературы—«правда»—его удержалъ отъ этого. Между тѣмъ Русской литературѣ предстояла также опасность и съ другой стороны,—съ другой точки зрѣнія фальшиво отнестись къ народу. Мы видѣли направленіе, въ силу котораго приходилось особенно налегать на забитость и отупѣлость народа; но что же? Одинъ изъ главныхъ представителей этого направленія, Рѣшетниковъ, правдиво умѣлъ показать намъ присутствіе свѣтлаго человѣческаго начала даже въ одномъ изъ своихъ, казалось бы, вполнѣ отупѣлыхъ Подлиповцевъ.

Посмотримъ теперь, какъ относится къ народу, къ его жизни и быту главнѣйшій представитель нравоописательнаго направленія въ нашей *поэзіи*. Конечно, и все то, что мы до сихъ поръ разсматривали, всѣ эти романы и повѣсти,—тоже поэзія, но теперь я разумѣю ее въ смыслѣ нетолько внутреннемъ, но и внѣшнемъ—въ смыслѣ *стихотворства*. Я обращаюсь теперь къ тому стихотворцу, который одинъ только и включенъ въ этотъ курсъ потому, что стихи его самымъ непосредственнымъ образомъ связаны съ тѣмъ стремленіемъ къ дѣйствительной жизни, которое рѣшительно водворено у насъ Гоголемъ. Въ наше время есть и другіе стихотворцы, которые по таланту, быть можетъ, не ниже Некрасова, но я устраняю

ихъ потому, что они представляются мнѣ болѣе связанными съ Пушкинскими, чѣмъ съ Гоголевскими преданіями. Нѣтъ никакого сомнѣнія въ томъ, что преданій этихъ, во многихъ отношеніяхъ, вовсе нельзя считать устарѣлыми: поэзія не обязана непремѣнно держаться исключительно того реально-современнаго направленія, которое особенно выдвинулось у насъ со временъ Гоголя *). Она можетъ, какъ понималъ ее Пушкинъ, оставаться эхомъ, откликающимся на все—на всякаго рода явленія всевозможныхъ временъ и мѣстъ. Но я разсматриваю Гоголевское направленіе въ нашей литературѣ, — и вотъ почему мною включенъ въ этотъ курсъ единственно Некрасовъ. Поэты въ родѣ Майкова, Полонскаго, гр. А. К. Толстого и др. заслуживаютъ полнаго вниманія, но о нихъ, какъ о многомъ другомъ, мнѣ, быть можетъ, еще представится случай говорить—когда-нибудь современемъ **). Некрасовъ въ своихъ стихахъ шелъ совершенно въ тонъ съ господствующимъ направленіемъ нашей послѣ-Гоголевской литературы; онъ внесъ это направленіе и въ стихи, и вотъ главная причина, что даже въ тотъ переходный моментъ, когда вовсе не читали у насъ стиховъ, Некрасова не только не переставали читать, но и читали на расхватъ. Уже одно это, одна такая популярность его произведеній должна дать ему видное мѣсто въ исторіи Русской литературы.

Извѣстно, что Некрасовъ по преимуществу считается у насъ стихотворцемъ, воспѣвающимъ народную долю. Дѣйствительно онъ сталъ ее воспѣвать издавна, затрогивая при этомъ такія стороны, которыя даже и несовсѣмъ удобно и безопасно было затрогивать въ тѣ времена. Онъ, подобно Тургеневу, Григоровичу и др., въ этомъ смыслѣ

---

*) Вспомните, что у самого Гоголя есть „Тарасъ Бульба".

**) Вполнѣ устарѣвшимъ считаю я только безпредметное щебетаніе г. Фета, хотя извѣстный талантъ у него есть. Объ А. К. Толстомъ, какъ лирическимъ поэтѣ я напечаталъ статью въ „В. Европы" 1875 г. въ Декабрѣ.

далеко опередилъ своихъ робкихъ, оробѣвшихъ, или-же нечуткихъ, слишкомъ отвлеченно глядѣвшихъ предшественниковъ. Некрасовъ, какъ извѣстно, въ своихъ первыхъ, возбудившихъ вниманіе публики, произведеніяхъ (самыя первыя, псевдонимныя, когда-то такъ неблагосклонно принятыя Бѣлинскимъ, я опускаю), затронулъ отживающее крѣпостное право, хотя ни онъ, ни Тургеневъ, ни Григоровичъ, конечно, не могли тогда знать, что оно близко къ концу. Некрасовъ смѣло коснулся этого явленія въ своихъ извѣстныхъ пьесахъ: «Въ дорогѣ», «Забытая Деревня», «Огородникъ». Особенно сильно впечатлѣніе, какъ извѣстно, произвело небольшое стихотвореніе: «Въ дорогѣ». Читателей невольно затронула за-живое несчастная доля крестьянской дѣвушки, воспитанной по-барски, а потомъ отосланной обратно въ ту же среду, изъ которой ее по господской прихоти вырвали и съ которой теперь у нея уже ничего нѣтъ общаго. Между тѣмъ ее даже выдаютъ замужъ за вполнѣ неразвитого человѣка. Въ «Огородникѣ» затрогивается уже совершенно другое: тутъ мы видимъ простого крестьянина, который полюбился барышнѣ и поплатился за то забритіемъ лба и острогомъ,— конечно, безъ всякаго суда, — какъ оно велось въ крѣпостную пору *). А «Забытая Деревня», со всѣми насущными ея вопросами, которые ждутъ безотлагательнаго рѣшенія, но все откладываются до пріѣзда помѣщика. Вотъ онъ наконецъ является, но только для того, чтобы схоронить своего отца, и опять укатить, не рѣшивъ ни одного вопроса. Или «Псовая Охота»,— съ цѣлымъ штатомъ полуголодныхъ людей, служащихъ помѣщику для того, чтобы онъ могъ отдыхать отъ житейской прозы; не даромъ-же онъ говоритъ, что

...Лай музыкальный
Душу уноситъ въ тотъ міръ идеальный,
Гдѣ ни уплатъ въ опекунскій совѣтъ,
Ни безпокойныхъ исправниковъ нѣтъ.

*) Въ сущности тутъ таже тема, что и въ народной былинѣ о *Ванькѣ Клюшничкѣ*, недавно сдѣлавшейся предметомъ драматическаго воспроизведенія.

Или «Записки графа Гаранскаго», (написанныя всего за три года до уничтоженія крѣпостного права), въ которыхъ этотъ милый графъ, пораженный тѣмъ, что народъ такъ много работаетъ, говоритъ:

„Должно-бы вразумлять корыстныхъ мужиковъ,
„Что изнурительно излишество въ работѣ.
„Не такова-ли цѣль въ Нѣмецкихъ сюртукахъ
„Особенныхъ фигуръ, бродящихъ между ними?
„Нагайки у иныхъ замѣтилъ я въ рукахъ...
„Какъ быть! Не вразумишь ихъ средствами другими,
„Натуры грубыя!“...

Съ той-же самой наивностью, заставившей его вообразить, что нагайки употребляются собственно для того, чтобы умѣрять излишній пылъ крестьянъ къ работѣ,—съ тою-же наивностью онъ и далѣе наблюдаетъ изъ окна своей кареты:

„Да, бытъ крестьянина отъ нищеты далекъ!
„По собственнымъ моимъ владѣньямъ проѣзжая,
„Созвалъ я мужиковъ: составили кружокъ
„И гаркнули: „ура“... Съ балкона наблюдая
„Спросилъ: довольны-ли?—Кричатъ: довольны всѣмъ!“...

Нѣкоторыя стихотворенія показываютъ намъ то жгучее нетерпѣніе, съ какимъ ожидалъ народъ своего освобожденія.

Такъ, напримѣръ, стихотвореніе «Знахарка» оканчивается словами:

„Ты намъ тогда предскажи нашу долю,
Какъ отъ господъ отойдемъ мы на волю.“

Въ стихотвореніи же «Деревенскія Новости», пріѣзжій, выспрашивающій объ этихъ новостяхъ, наконецъ нетерпѣливо перебивается словами:

„Ну, говори поскорѣй,
Что ты слыхалъ про свободу?“

Но основная тема Некрасова оказывается далеко не отжившею и съ уничтоженіемъ крѣпостного права. Тема эта — трудовая, въ безысходномъ трудѣ изнывающая

жизнь крестьянина — отживетъ, конечно, еще не такъ скоро: зло, пустившее глубокіе корни, сразу не уничтожается. Потому-то всю свою силу сохраняетъ еще и теперь «*Несжатая Полоса*», или же «Калистратъ», относящійся съ добродушной ироніей Русскаго человѣка къ своей горькой долѣ:

„Надо мной пѣвала матушка,
„Колыбель мою качаючи:
—„Будешъ счастливъ, Калистратушка,
„Будешь жить ты припѣваючи!“

Предсказанье вполнѣ сбылось. Калистратъ продолжаетъ:

„Въ ключевой водѣ купаюся,
„Пятерней чешу волосыньки,
„Урожаю дожидаюся
„Съ непосѣянной полосыньки!“

Неизбѣжное слѣдствіе нужды—огрубѣніе нравовъ, проявляющееся, между прочимъ, въ дикомъ семейномъ деспотизмѣ. Мы можемъ судить объ этомъ и по собственнымъ пѣснямъ народа—напримѣръ по пѣснямъ свадебнымъ, въ которыхъ, правда, замѣтны и очевидные признаки смягченія нравовъ; но, рядомъ съ такими признаками, свидѣтельствующими о движеніи впередъ, мы встрѣчаемъ тутъ и кидающуюся въ глаза дикость, отчасти сохранившуюся въ пѣсняхъ (какъ оно часто бываетъ) отъ древнѣйшихъ временъ, отчасти же и позже налегшую даже на смягченный ихъ слой подъ вліяніемъ тѣхъ неблагопріятныхъ историческихъ обстоятельствъ, которыя нетолько задерживали дальнѣйшее развитіе народа, но даже возвращали его назадъ къ допотопной грубости. Вотъ это-то обратное впаденіе въ огрубѣлость, это совершившееся вновь, подъ вліяніемъ нужды и неволи, очерствѣніе чувствъ представляетъ намъ и Некрасовъ. Смотритъ-ли онъ на крестьянскую красавицу, вотъ какія мысли внушаетъ она ему:

Завязавши подъ мышки передникъ,
Перетянешь уродливо грудь,
Будетъ бить тебя мужъ привередникъ
И свекровь въ три погибели гнуть,

И въ лицѣ твоемъ, полномъ движенья,
Полномъ жизни—появится вдругъ
Выраженье тупого терпѣнья
И безсмысленный, вѣчный испугъ...

Подъ вліяніемъ нужды исчезаютъ мало по малу и безкорыстныя отношенія къ людямъ. Самое чувство печали по умершимъ принимаетъ своего рода эгоистическій, утилитарный оттѣнокъ. Вспомните стихотвореніе: «Въ деревнѣ» и плачущую тамъ по сынѣ крестьянку мать. Вотъ вѣдь на что̀ она собственно жалуется:

„Кто приголубитъ старуху безродную—
„Вся обнищала въ конецъ!
„Въ осень ненастную, въ зиму холодную
„Кто запасетъ мнѣ дровецъ?
„Кто, какъ доносится теплая шубушка,
„Зайчиковъ новыхъ набьетъ?
„Умеръ, Касьяновна, умеръ, голубушка—
„Даромъ ружье пропадетъ!“

Подъ вліяніемъ нужды и неволи далеко не всѣ сохраняютъ тѣ симпатическія отношенья къ другимъ, которыя такъ любитъ выставлять Достоевскій въ обиженныхъ судьбою людяхъ, и которыя такъ вѣрно подмѣчены во многихъ представителяхъ нашего простонародья Тургеневымъ, Л. Н. Толстымъ, Рѣшетниковымъ. Въ цѣломъ множествѣ зашибленныхъ нуждой и неволей людей развивается, напротивъ того, эгоизмъ; сердце черствѣетъ, съуживается и замыкается въ самомъ себѣ, становится даже способнымъ пользоваться невзгодами ближняго. Отсюда развитый въ народѣ до самыхъ, подчасъ, безобразныхъ размѣровъ типъ *кулака*, *міроѣда*; типъ этотъ рисуетъ намъ и Некрасовъ въ своемъ «Власѣ», до совершившагося въ немъ религіознаго превращенія. Про него разсказывается, что онъ

. . . . . Побоями
Въ гробъ жену свою вогналъ,
Промышляющихъ разбоями
Конокрадовъ укрывалъ;
У всего сосѣдства бѣднаго
Скупитъ хлѣбъ, а въ черный годъ

Не повѣритъ гроша мѣднаго,
Втрое съ нищаго сдереть!

Но и самое, какъ я несовсѣмъ точно назвалъ его, «религіозное превращеніе» Власа—въ сущности вовсе не превращеніе. Онъ только вспомнилъ (можетъ быть, взглянувъ на картину страшнаго суда, когда-то испугавшую Владиміра и многихъ другихъ владыкъ, тѣмъ самымъ и побужденныхъ къ крещенію), онъ только вспомнилъ, что за все это онъ долженъ будетъ отвѣтить, что за все это его будутъ мучить, и вотъ подъ вліяніемъ опять-таки чисто-эгоистическаго чувства страха, а вовсе не въ силу внутренняго переворота, не въ силу того, чтобы черствая душа его размягчилась, онъ надѣваетъ вериги, предается усиленному посту и ходитъ за сборомъ на церковь.

Само собой разумѣется, что не малая доля отвѣтственности за такую нравственную порчу народа падаетъ на всѣхъ насъ, сытыхъ, въ довольствѣ живущихъ людей, пользующихся высшими наслажденіями, между тѣмъ какъ народъ совершенно лишенъ всего этого. Некрасовъ это глубоко чувствуетъ;—въ небольшомъ отрывкѣ, написанномъ *на сонъ грядущій*, онъ желаетъ тому доброй ночи,

„Чьи работаютъ грубыя руки,
Предоставивъ почтительно намъ
Погружаться въ искусства, въ науки,
Предаваться мечтамъ и страстямъ;
Кто бредетъ по житейской дорогѣ
Въ безразсвѣтной, глубокой ночи,
Безъ понятья о правѣ, о Богѣ,
Какъ въ подземной тюрьмѣ безъ свѣчи".

Еще ярче выражается это виновное сознаніе тяготы народной доли въ большомъ прекрасномъ стихотвореніи «На Волгѣ». Мнѣ невольно припоминаются при-этомъ тѣ черты изъ народныхъ пѣсенъ, тѣ заимствованныя изъ нихъ воспоминанія, которыя Печерскій влагаетъ въ уста своему Артемію,—воспоминанія о той вольной жизни, которая такъ долго держалась на той же самой Волгѣ. Некрасовъ рисуетъ намъ уже явленіе позднѣйшее—картину

Волжскаго бурлачества, въ своемъ родѣ мастерски нарисованную, только не въ стихахъ, и Рѣшетниковымъ *), не даромъ посвятившимъ Некрасову своихъ «Подлиповцевъ».

...Почти пригнувшись головой
Къ ногамъ, обвитымъ бичевой,
Обутымъ въ лапти, вдоль рѣки
Ползли гурьбою бурлаки,
И былъ невыносимо дикъ,
И страшно ясенъ въ тишинѣ
Ихъ мѣрный, похоронный крикъ,—
И сердце дрогнуло во мнѣ.
Унылый, сумрачный бурлакъ!
Какимъ тебя я въ дѣтствѣ зналъ,
Такимъ и нынѣ увидалъ.
Все ту же пѣсню ты поешь,
Все ту же лямку ты несешь,
Въ чертахъ усталаго лица—
Все та жъ покорность безъ конца...

Эту долговременность явленія Некрасовъ объясняетъ тѣмъ, что

Прочна суровая среда,
Гдѣ поколѣнія людей
Живутъ безсмысленнѣй звѣрей.

Между тѣмъ, мы видѣли въ прошлый разъ, что въ этой жизни бурлаковъ думаютъ найти чуть-ли не своего рода обѣтованный край тѣ дѣйствительно близкіе къ животному состоянью Подлиповцы, которыхъ намъ рисуетъ Рѣшетниковъ. Но мы видѣли также, что и эти въ конецъ обиженные судьбой люди въ сущности оказываются далеко не животными, такъ какъ и въ нихъ есть и желаніе лучшаго, и желаніе помочь ближнему. Такая справка съ «трезвою правдой» Рѣшетникова невольно заставляетъ насъ заключить, что Некрасовъ, подъ вліяніемъ столькихъ картинъ народной нужды и народнаго упадка, впалъ въ невольное преувеличеніе, сказавъ, что бурлаки «безсмысленнѣй звѣрей».

*) А кистью—Рѣпинымъ.

Но тотъ же самый Некрасовъ умѣетъ такъ ярко выставлять на видъ и вполнѣ человѣческія черты въ народѣ. Вспомните у него привлекательный образъ «Арины солдатской матери»: съ какимъ теплымъ чувствомъ встрѣчаетъ она возвращающагося сына, который съ своей стороны доказываетъ ей свою привязанность тѣмъ, что совсѣмъ ужь больной, близкій къ смерти, собираетъ послѣднія силы, чтобы починить ей избенку. (Надо замѣтить, что *мать* вообще очень часто и съ особенною любовью упоминается у Некрасова; съ этимъ словомъ связывается у него особенно ему дорогое, личное воспоминаніе). Крестьянская мать и крестьянская жена, при всей трудности своей доли, постоянно выставляются у нашего поэта не падающими духомъ. Вспомните у него женщину, которая, работая въ полѣ, услышала крикъ оставленнаго ею въ сторонѣ и заснувшаго было ребенка; вспомните и слова, съ какими обращается къ ней поэтъ:

„Пой ему мѣсню о вѣчномъ терпѣніи,
Пой, терпѣливая мать“!

Но Некрасовъ выставляетъ въ народѣ не одну только силу *родственнаго* чувства, но, подобно Рѣшетникову, и теплую заботливость простыхъ людей *о чужихъ*. Вспомните «Школьника»; тутъ вѣдь нетолько

Батька на сынишку
Издержалъ послѣдній грошъ...

Но и

... старая дьячиха
Отдала четвертачекъ,
Что проѣзжая купчиха
Подарила на чаекъ.

А какъ отрадно дѣйствуетъ у нашего поэта свѣтлая картина «Крестьянскихъ Дѣтей» *), которая можетъ быть поставлена, по своей основной мысли, на ряду съ «Бѣжинымъ Лугомъ» Тургенева. Вспомните веселыя, добродуш-

*) Стихотвореніе это относится уже къ 1861 году.

ныя головки крестьянскихъ малютокъ, заглядывающія въ тотъ шалашъ, гдѣ отдыхаетъ подкарауленный ими охотникъ.

Счастливый народъ! Ни науки, ни нѣги
Не вѣдаютъ въ дѣтствѣ они.

Подъ словомъ «наука» поэтъ, очевидно, понимаетъ ту педагогическую муштру, то выкраиваніе дѣтей по своей мѣркѣ, которое такъ часто мѣшаетъ свободно развиваться дѣтской натурѣ, такъ часто ее уродуетъ на всю жизнь. Столь же развратительно дѣйствуетъ и та нѣга, въ которой ростутъ дѣти баричей, становясь вслѣдствіе этого Александрами Адуевыми и Обломовыми. Прямую противоположность знаменитой картинѣ дѣтства Ильи Ильича представляетъ у Некрасова въ концѣ стихотворенія такъ глубоко западающій въ память мужиченко въ огромныхъ сапогахъ и рукавицахъ, погоняющій цѣлый возъ. — «У насъ въ семьѣ два мужика, отецъ да я» — говоритъ онъ. «А сколько тебѣ лѣтъ?»—«Шестой».

Но наглядно выставляя намъ своего рода преимущества подобнаго воспитанія трудомъ, поэтъ не вдается однакоже въ идеализацію этого воспитанія; онъ говоритъ далѣе:

Положимъ, крестьянскій ребенокъ свободно
Ростетъ, не учась ничему,
Но выростетъ, ежели Богу угодно,
А сгибнуть ничто не мѣшаетъ ему.

Во всякомъ случаѣ, положеніе крестьянскихъ дѣтей, ростущихъ хотя и безъ присмотра (да къ тому же и при трудѣ, такъ часто оказывающемся непосильнымъ), но зато половину года на вольномъ воздухѣ,—представляетъ привлекательную противоположность съ положеньемъ другихъ дѣтей изъ того же класса, тѣхъ,—которыя съ нѣжныхъ лѣтъ замучены однообразнымъ трудомъ въ духотѣ какой-нибудь фабрики. Поэтъ заставляетъ ихъ говорить:

„Намъ гулять не довелося,
„По полямъ, по нивамъ золотымъ:
„Цѣлый день на фабрикахъ колеса
„Мы вертимъ,—вертимъ,—вертимъ".

Существуетъ мнѣніе, что нашъ простой народъ, въ дѣтствѣ привязанный къ раздолью полей и золотыхъ нивъ, съ лѣтами становится глухъ къ голосу природы;—Некрасовъ представляетъ намъ дѣло съ нѣсколько другой стороны. Вспомните его стихотвореніе «Зеленый Шумъ», рисующее умягчительное вліяніе приближающейся весны на душу простого человѣка. Зимній мракъ и дикіе звуки зимней вьюги поддерживали въ немъ мысль о преступленіи; онъ оскорбленъ, какъ семьянинъ, и рука его уже поднимается на существо его обманувшее, но вотъ вдругъ:

„Идетъ-гудетъ зеленый шумъ,
„Зеленый шумъ, весенній шумъ!
„Слабѣетъ дума лютая,
„Ножъ валится изъ рукъ,
„И все мнѣ пѣсня слышится
„Одна - въ лѣсу, въ лугу:
„—Люби, покуда любится,
„Терпи, покуда терпится,
„Прощай, пока прощается,
„П—Богъ тебѣ судья!“

Но такое-же точно прощающее настроеніе, такая же мягкая готовность не осуждать ближняго во вниманіе къ тому, что могли быть особенныя причины, побудившія его къ преступленію — хотя бы такому, какъ самоубійство, особенно осуждаемое народомъ—такая же человѣчная снисходительность сказывается у Некрасова въ сердцѣ простолюдина въ стихотвореніи «Похороны».

„Почивай себѣ съ миромъ, съ любовію,
„Почивай, Богъ тебѣ судья,
„Что обрызгалъ ты грѣшною кровію
„Неповинныя наши поля!
„Кто дознаетъ, какою кручиною
„Надрывалося сердце твое
„Передъ вольной твоею кончиною,
„Передъ тѣмъ, какъ спустилъ ты ружье.“

А вотъ наконецъ и проявленіе глубокаго человѣческаго чувства въ преступникѣ, проявленіе въ немъ того свѣжаго, юнаго чувства любви, которое, повидимому,

должно было замереть въ немъ на-вѣки, но которое вдругъ пробуждается у него *въ больницѣ* (такъ и озаглавлено, какъ извѣстно, это стихотвореніе).

Наша сидѣлка къ нему подошла,
Вздрогнула вдругъ,—и ни слова...
Въ странномъ молчаньи минута прошла,
Смотрятъ одинъ на другого.
Кончилось тѣмъ, что угрюмый злодѣй,
Пьяный, обрызганный кровью,
Вдругъ зарыдалъ передъ первой своей
Свѣтлой и честной любовью.

Понятно, что эта родная сидѣлка съ особеннымъ усердіемъ относится къ больному; въ ея душѣ поднимается цѣлый рой давно позабытыхъ чувствъ, — ей хотѣлось-бы вернуть старое—но уже поздно!

Онъ уже былъ бездыханенъ,
А всепрощающій голосъ любви,
Полный мольбы безконечной,
Тихо надъ нимъ раздавался: „живи,
Милый, желанный, сердечный!“

Не мало, стало быть, въ различныхъ стихотвореніяхъ Некрасова затронуто мягкихъ, вполнѣ человѣческихъ проявленій въ народной жизни. Но въ этой больницѣ, которой посвятилъ онъ особое стихотвореніе, съ людьми изъ простого народа сходятся вѣдь и люди образованныхъ классовъ. Стихотвореніе даже начинается разсказомъ о томъ, какъ

...„Свѣтя, показалъ
Въ уголъ намъ сонный смотритель.
Трудно и медленно тамъ угасалъ
Честный бѣднякъ сочинитель“.

Бѣдность, болѣзнь, несчастіе дѣйствительно сводятъ всѣхъ въ одну грустную семью! Некрасовъ вообще сочувственно касается положенія тѣхъ людей, къ какому-бы классу они ни принадлежали, которыхъ и онъ, вслѣдъ за Достоевскимъ, могъ бы назвать «униженными и оскорбленными». Какъ часто мы встрѣчаемся у него съ чело-

вѣкомъ порочнымъ, чувствующимъ бездну своего паденія, и уже не могущимъ подняться, — но поэтъ при-этомъ даетъ намъ понять причину такого паденія, и осуждающій голосъ сострадательно умолкаетъ у насъ въ груди. Вспомнимъ, напримѣръ, этого «Пьяницу», которому такъ хотѣлось-бы

То славы соблазнительной,
То страсти, то труда.

Вспомнимъ стихотвореніе: «Убогая и Нарядная», въ которомъ выводятся двѣ совершенно различныя «Сонечки Мармеладовы», и про первую, т. е. про убогую, говорится:

Нѣтъ, тебѣ состраданья не встрѣтить,
Нищеты и несчастія дочь!
Свѣтъ тебя предаетъ поруганью
И охотно прощаетъ другой,
Что торгуетъ собой по призванью,
Безъ нужды, безъ борьбы роковой.

Въ пьесѣ: «Ѣду-ли ночью по улицѣ темной» мы видимъ женщину, которой не на что похоронить ребенка и у которой вдругъ находятся для того деньги — опять таже «вѣчная Сонечка Мармеладова!» Эта женщина передъ тѣмъ испытала довольство — въ смыслѣ богатства: она досталась въ жены человѣку, который могъ надѣлить ее всѣмъ, кромѣ счастія, и котораго она такъ неблагоразумно бросила! Но Ап. Григорьевъ имѣлъ полнѣйшее основаніе замѣтить, что это стихотвореніе, оскорбляющее нѣкоторыхъ пуританъ, въ основѣ своей совершенно нравственно. Несчастная семейная доля, отравляющая жизнь самыхъ богатыхъ людей и сближающая ихъ съ самыми обиженными судьбою, затрогивается Некрасовымъ и въ такихъ пьесахъ, какъ «Гадающей Невѣстѣ», «Дешевая Покупка», «Прекрасная Партія». Вспомните безпощадное предсказанье поэта:

У него прекрасные манеры,
Онъ не глупъ, не бѣденъ и хорошъ;
Что̀ гадать? ты влюблена безъ мѣры,
И судьбы своей ты не уйдешь.

Онъ твои плѣнительные взоры,
Нѣжность сердца, музыку рѣчей,
Все отдастъ за плоскія рессоры
И за пару кровныхъ лошадей.

А что̀ составляетъ предметъ *дешевой покупки?* Что̀? Еще такъ недавно-изготовленное приданое дочери богатыхъ родителей, которое ловкій супругъ успѣлъ уже все спустить въ какіе-нибудь полгода. Не лучшая участь ожидаетъ и дочку г. Долгова послѣ «прекрасной» партіи съ человѣкомъ, который

Разстроилъ тысячу крестьянъ,
Чтобъ какъ нибудь забыться...
Пуста душа и пустъ карманъ—
Пора, пора жениться!

Кому-нибудь изъ подобныхъ-же господъ должна будетъ достаться и та модная красавица, вокругъ которой увиваются свѣтскіе львы, тогда какъ къ ней не смѣетъ и подступить человѣкъ, дѣйствительно ее любящій, но рисующій себя такъ:

„...войду, какъ потерянный,—
„И ударится въ пятки душа!
„На ногахъ словно гири желѣзныя,
„Какъ свинцомъ налита голова,
„Странно руки торчатъ безполезныя,
„На губахъ замираютъ слова“.

Стихотвореніе это, какъ извѣстно, озаглавлено: «Застѣнчивость»—нерѣдкая принадлежность людей, которыхъ не особенно балуетъ судьба! Та же застѣнчивость—только въ другомъ родѣ и въ другомъ случаѣ, — т. е. такая-же точно растерянность бѣднаго человѣка, составляетъ содержаніе извѣстнаго стихотворенія «Филантропъ». Оробѣлъ бѣднякъ, не съумѣлъ въ точности, въ видѣ рапорта, разсказать о своемъ положеніи, сбился — и принятъ за пьяницу! А вѣдь онъ еще имѣетъ дѣло съ человѣкомъ хотя и изъ сытаго, обыкновенно надутаго класса, но сравнительно склоннымъ къ добру, только склоннымъ совершенно холодно, какъ-бы прописывая себѣ это, а потому и

готовымъ воспользоваться всякимъ предлогомъ къ отказу. Отсутствіе настоящей сердечной теплоты, настоящаго нравственнаго чувства — вотъ что̀ рисуетъ Некрасовъ въ лицѣ своего «Филантропа» *). Отсутствіе настоящаго нравственнаго чувства, скрывающееся подъ внѣшнею нравственною благовидностью, подъ ходячею свѣтскою моралью—это опять одна изъ любимыхъ темъ нашего поэта. Люди по горло сытые, не знававшіе горя, любятъ требовать отъ другихъ безупречной нравственности, идеальныхъ добродѣтелей. Въ «Современной Одѣ» Некрасовъ затрогиваетъ одного изъ такихъ господъ: съ какимъ достоинствомъ онъ себя держитъ, не заискивая ни въ комъ, какъ онъ благодушенъ, какая у него полная и открытая чаша для всякаго «порядочнаго» человѣка, словомъ—какой онъ привлекательный образецъ добра! Поэту рѣшительно не хотѣлось бы разочаровываться.

Не спрошу я, откуда явилося,
Что̀ теперь въ сундукахъ твоихъ есть;
Знаю: съ неба къ тебѣ все свалилося
За твою добродѣтель и честь!

Но послѣ того, какъ все съ неба свалилось, вѣдь не очень и трудно сдѣлаться, а особливо прослыть, добродѣтельнымъ! А стихотвореніе «Нравственный Человѣкъ»? Вспомните, съ какою наивностью онъ увѣренъ въ томъ, что ему только незадача съ родными и близкими, а самъ онъ никогда никого не обидѣлъ. Жена отъ него уходитъ; пріятеля пришлось ему заключить въ долговое, гдѣ онъ и умеръ; поваръ чѣмъ-то преглупо обидѣлся и порѣшилъ съ собой; дочка влюбилась было въ учителя, но потомъ покорилась отцовской волѣ и вышла за богача,—только все что-то чахла и умерла отъ чахотки. У него совершенно

*) Я оставляю въ сторонѣ въ свое время распространенные толки о томъ, что тутъ затронута личность, вовсе не заслуживавшая подобнаго отношенія къ ней, теперь уже умершая и оставившая по себѣ свѣтлую память... Я разсматриваю это стихотвореніе совершенно независимо отъ какихъ-либо *личностей* и нахожу, что оно, взятое *отвлеченно*, вовсе не заключаетъ въ себѣ той фальши, которую въ немъ находили иные.

искренно нѣтъ и капли подозрѣнія, ужъ не самъ-ли онъ причиной всего этого?

Извѣстно, что Ап. Григорьевъ находилъ въ этой пьесѣ что-то водевильное—что-то забавно-придуманное въ той откровенности, съ какою обо всемъ этомъ тутъ говорится въ первомъ лицѣ; но взглядъ критика едва-ли справедливъ, если разсматривать пьесу Некрасова въ связи съ другими сатирическими выходками его противъ фальшивой морали. Ненадобно также забывать, что слова «нравственнаго человѣка»—вовсе не драматическій монологъ, а потому въ нихъ и можетъ проглядывать *иронія* самого автора. Таже иронія слышна и въ стихотвореніи—«На Улицѣ», въ словахъ того сытаго господина, который, разъѣзжая на лихачѣ, замѣчаетъ человѣка, стянувшаго отъ голода калачъ съ лотка; и что-же? Это зрѣлище поднимаетъ въ сытомъ цѣлый взрывъ нравственнаго негодованія, а вмѣстѣ съ тѣмъ и религіозно его настраиваетъ, такъ что онъ

„...Богу поспѣшилъ молебствіе принесть
За то, что у него наслѣдственное есть".

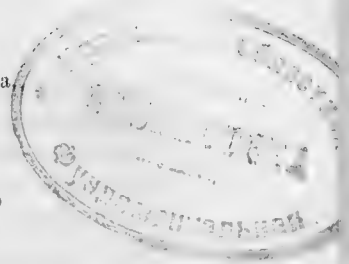
Въ пылу озлобленія противъ этой фарисейской морали, чтобы хорошенько разсердить людей, которые ея держатся, и посильнѣе имъ показать презрѣніе—написано стихотвореніе: «Вино». Тѣмъ, кто нападаетъ на извѣстный народный порокъ, тутъ указываются такіе случаи, когда вино, заставляя забыться, удерживаетъ человѣка отъ худшаго, именно отъ преступленія. Здѣсь, можетъ быть, и есть своего рода натянутость, но все это вполнѣ объясняется злобнымъ намѣреніемъ сатирика—уколоть, за ихъ нечеловѣческую мораль, въ довольствѣ живущихъ людей. Мысль поэта та, что подъ такою кажущеюся моралью, подъ такою проповѣдью дешевой добродѣтели, скрывается безсердечіе, отсутствіе той любви къ людямъ, которая только и служитъ основой настоящей морали. Будь въ нихъ хоть капля этой послѣдней,—они постарались бы разгадать причины той безнравственности бѣдняка, на которую они такъ нападаютъ. Имъ невольно запалъ бы въ душу вопросъ: не

могъ ли бы этотъ бѣднякъ быть удержанъ отъ многаго, еслибы они, богачи, дали ему стать на другую дорогу? Но, вовсе не заботясь объ этомъ, ни мало не ограничивая своего права на широкую жизнь правомъ другихъ людей, какъ бы не признавая за ними и простого права—не умереть съ голоду и имѣть возможность оставаться вполнѣ людьми, широко живущіе люди, съ другой стороны, лишаютъ самихъ себя цѣлаго ряда такихъ наслажденій, которыя и немыслимы безъ живой любви къ людямъ, только и сообщающей настоящую полноту человѣческой жизни. Въ этомъ — основная мысль «Размышленія у Параднаго Подъѣзда», у котораго скопилось такъ много по-напрасну дожидающихся мужиковъ. Многія строфы этой сатиры служатъ какъ бы современнымъ видоизмѣненіемъ «Вельможи» Державина. Какъ знаменитый лирикъ-сатирикъ Екатерининскаго времени, такъ и нашъ современный поэтъ обращается тутъ къ тому беззаботно нѣжащемуся вельможѣ, отъ котораго жирный швейцаръ только что прогналъ мужиковъ-просителей:

Ты, считающій жизнью завидною
Упоеніе лестью безстыдною,
Волокитство, обжорство, игру,
Пробудись! Есть еще наслажденіе—
Вороти ихъ! въ тебѣ ихъ спасеніе!..
Но счастливые глухи къ добру!

Передъ нами такимъ образомъ уже опредѣлились основныя черты Некрасовской поэзіи. Но въ нѣкоторыхъ стихотвореніяхъ Некрасовъ самъ въ точности опредѣляетъ ее. Возьмемъ напр. стихотвореніе «Родина»; причемъ, какъ и въ другихъ случаяхъ, не надо забывать, что, говоря отъ своего имени, поэтъ вовсе не непремѣнно рисуетъ именно себя, свое собственное положеніе, — онъ можетъ говорить отъ своего лица во имя цѣлаго множества людей въ томъ же положеніи: вмѣсто *я* смѣло можно читать *мы*.

И вотъ они опять, знакомыя мѣста,
Гдѣ жизнь отцовъ моихъ, безплодна и пуста,



Текла среди пировъ, безсмысленнаго чванства,
Разврата грязнаго и мелкаго тиранства;
Гдѣ рой подавленныхъ и трепетныхъ людей
Завидовалъ житью собакъ и лошадей,
Гдѣ было суждено мнѣ Божій свѣтъ увидѣть,
Гдѣ научился я терпѣть и ненавидѣть,
Но, ненависть въ душѣ постыдно притая,
Гдѣ иногда бывалъ помѣщикомъ и я,
Гдѣ отъ души моей, довременно растлѣнной,
Такъ рано отлетѣлъ покой благословенный,
И не ребяческихъ желаній и тревогъ
Огонь томительный до срока сердце жогъ...

То же самое могли бы сказать о себѣ и многіе изъ нашихъ поэтовъ до Некрасова *). Въ такой же точно средѣ выросъ и Пушкинъ: — это однако не мѣшало посѣщенію его въ дѣтствѣ тою беззаботною музой, которая забыла у него свою свирѣль, и подъ вліяніемъ которой онъ пѣлъ

То гимны важные, внушенные богами,
То пѣсни мирныя Фригійскихъ пастуховъ.

Некрасовъ, въ другомъ извѣстномъ стихотвореніи, описываетъ намъ *свою* музу, и при-этомъ говоритъ:

Нѣтъ, музы ласково поющей и прекрасной
Не помню надъ собой я пѣсни сладкогласной.
Въ небесной красотѣ, неслышимо какъ духъ,
Слетая съ высоты, младенческій мой слухъ
Она гармоніи волшебной не учила,
Въ пеленкахъ у меня свирѣли не забыла!

Нашъ современный поэтъ уже съ самыхъ юныхъ лѣтъ былъ совершенно иначе настраиваемъ посѣщеніями

Другой, неласковой и нелюбимой музы,
Печальной спутницы печальныхъ бѣдняковъ,
Рожденныхъ для борьбы, страданья и трудовъ,
Той музы плачущей, скорбящей и болящей,
Всечасно жаждущей, униженно просящей...

---

*) Нѣкоторые изъ нихъ и говорили въ томъ же духѣ; — особенно сильно Грибоѣдовъ устами Чацкаго.

Изъ того, что я такимъ образомъ оттѣняю словами Некрасова его поэзію отъ Пушкинской, вовсе, конечно, не слѣдуетъ, чтобы я ставилъ Некрасова выше Пушкина, а слѣдуетъ только, что Некрасовъ занимаетъ въ ходѣ развитія нашихъ литературныхъ понятій дальнѣйшую и болѣе высокую ступень. «Поэзія не отъ міра сего» до того отжила свой вѣкъ, что для насъ въ настоящее время уже совершеннымъ анахронизмомъ звучитъ другое стихотвореніе Некрасова—

Блаженъ незлобивый поэтъ,
Въ комъ мало желчи, много чувства:
Ему такъ искренъ привѣтъ
Друзей спокойнаго искусства.

—

Любя безпечность и покой,
Гнушаясь дерзкою сатирой,
Онъ прочно властвуетъ толпой
Съ своей миролюбивой лирой.

Нѣтъ, въ настоящее время именно онъ-то и не можетъ уже никакъ «властвовать толпой»; въ настоящее время оказывается совершенно правымъ другой поэтъ, написавшій стихотвореніе съ прямо-противоположнымъ взглядомъ:

Блаженъ озлобленный поэтъ,
Будь онъ хоть нравственный калѣка.
Ему вѣнцы, ему привѣтъ
Дѣтей озлобленнаго вѣка.
Невольный крикъ его—нашъ крикъ,
Его страданья—наши, наши!
Онъ съ нами пьетъ изъ общей чаши,
Какъ мы—отравленъ и великъ! *).

Некрасовъ окончательно опредѣляетъ свою поэзію сравнительно съ Пушкинскою въ пьесѣ «Поэтъ и Гражданинъ», которая можетъ быть прямо противопоставлена извѣстной пьесѣ Пушкина: «Чернь». Вмѣсто этой *черни*, обращающейся тамъ къ поэту со своими упреками, у Не-

*) Стихи Я. П. Полонскаго въ сборникѣ „Складчина“.

красова въ той же упрекающей роли является *гражданинъ:* знаменательная перемѣна словъ, прямо указывающая на перемѣну въ самомъ взглядѣ на эту упрекающую роль. Отвѣтъ, который даетъ на упреки гражданина поэтъ Некрасова, совершенно иной, чѣмъ у Пушкина: онъ вполнѣ согласенъ съ требованіями гражданина, — согласенъ, что поэтъ, какъ и всѣ, долженъ служить обществу, но онъ чувствуетъ, что самъ онъ этой службы уже сослужить не можетъ. Если Некрасовъ въ этомъ случаѣ говорилъ отъ своего лица, то онъ, можно думать, взвелъ на себя напраслину. Въ началѣ его прекрасной поэмы—«Саша» выражается чисто-гражданское настроеніе поэта, его горячее стремленіе къ родинѣ. Вспомните, что онъ говоритъ тутъ:

Родина мать! я душою смирился,
Любящимъ сыномъ къ тебѣ воротился.
Сколько бъ на нивахъ безплодныхъ твоихъ
Даромъ ни сгинуло силъ молодыхъ,
Сколько бы ранней тоски и печали
Вѣчныя бури твои ни нагнали
На боязливую душу мою,—
Я побѣжденъ предъ тобою стою!

Правда, далѣе онъ сознается:

Жизнью измятъ я и скоро я сгину...
Мать не враждебна и къ блудному сыну...

Но вотъ и послѣдствія его возвращенія въ ея лоно:

Только-что я ей объятья раскрылъ,
Хлынули слезы, *прибавилось силъ.*

Но въ этой же самой поэмѣ Некрасовъ выставляетъ намъ на показъ и фальшиваго представителя «гражданскихъ мотивовъ» въ лицѣ Агарина; и замѣчательно, что это было въ то самое время, когда Тургеневъ затронулъ нѣчто подобное въ своемъ «Рудинѣ». (Ап. Григорьевъ, мнѣ кажется, напрасно возставалъ противъ сходства между этими типами). Сашѣ, этой деревенской дѣвушкѣ, ростущей на лонѣ природы, ничего простодушно незнающей, такъ какъ родители ея самые простые люди, вовсе даже

не позаботившіеся объ ея воспитаніи, — Сашѣ приходится вдругъ встрѣтить человѣка, который забрасываетъ въ нее сѣмена стремленій ей еще непонятныхъ, поднимаетъ передъ нею вопросы, о которыхъ она никогда и не думала—

...Онъ ей книжки читалъ.
Словно брала ихъ чужая кручина,
Все разсуждали: какая причина,
Вотъ ужъ который теперича вѣкъ,
Бѣденъ, несчастливъ и золъ человѣкъ?
Но, говоритъ, не слабѣйте душою:
Солнышко правды взойдетъ надъ землею.

Агаринъ, значитъ, забросилъ въ нее доброе сѣмя, и Саша становится совершенно другой: прошли тѣ времена, когда она если и умѣла горевать, то развѣ о какомъ нибудь лѣсѣ. Теперь она начинаетъ лѣчить крестьянъ, помогать бѣднымъ. Рудинъ, конечно, не производилъ такого сильнаго практическаго дѣйствія на Наташу. Но что же далѣе? Агаринъ, возвращаясь и узнавая, что совершилось съ Сашей отъ его проповѣди, съ насмѣшкой говоритъ о ней:

Тѣшится новой игрушкой дитя;
Оба тогда мы болтали пустое,
Умные люди рѣшили другое:
Родъ человѣческій низокъ и золъ!

Авторъ объясняетъ намъ такую перемѣну тѣмъ, что онъ начитался новыхъ книжекъ:

Что ему книжка послѣдняя скажетъ,
То на душѣ его сверху и ляжетъ.

Они оба съ Рудинымъ «люди книжекъ», потому что оба они выросли баричами, живущими въ *отвлеченномъ мірѣ*; разница только въ томъ, что онъ читаетъ болѣе разнообразныя книги, чѣмъ Рудинъ.

Книги читаетъ, да по свѣту рыщетъ,
Дѣла себѣ исполинскаго ищетъ;
Благо, наслѣдье богатыхъ отцовъ
Освободило отъ малыхъ трудовъ,
Благо, итти по дорогѣ избитой
Лѣнь помѣшала да разумъ развитой.

Да, будничной домашней работы они знать не хотятъ, потому что тутъ началась бы дѣйствительная работа. Вспомните еще слѣдующія разсужденія Агарина:

Нѣтъ, я души не растрачу моей
На муравьиной работѣ людей:
Или подъ бременемъ собственной силы
Сдѣлаюсь жертвою ранней могилы,
Или по свѣту звѣздой пролечу!
Міръ, говоритъ, осчастливить хочу!

Оно вѣдь почетнѣе—да и легче: міръ ихъ не спрашиваетъ, до человѣчества, къ которому, въ цѣломъ его объемѣ, они такъ любятъ простирать руки, имъ не достать—значитъ, одними стремленіями, заманчивыми для самолюбія, все и покончится. Да, герой Некрасова, какъ и Рудинъ,—баричъ; жизнь его не коснулась, онъ витаетъ, онъ сибаритствуетъ. Этотъ типъ рѣзко отдѣляется отъ другихъ типовъ,—отъ Базарова и Раскольникова. На этихъ людей, испытавшихъ такъ много въ жизни, книжки такого *единовластнаго* вліянія не имѣютъ; изъ книжекъ люди эти почерпаютъ только то, къ чему ихъ подготовила сама жизнь. Только люди, выросшіе въ барствѣ, и могутъ дѣйствовать, или воображать, что дѣйствуютъ, подъ *исключительнымъ* вліяніемъ книжекъ. Некрасовъ, какъ и Тургеневъ, вполнѣ знаетъ цѣну книжкамъ, но не считаетъ ихъ *чудотворными* ни въ хорошую ни въ дурную сторону:

Въ наши великіе трудные дни
Книги не шутка: укажутъ они
Все недостойное, дикое, злое,
Но не дадутъ они силъ на благое,
Но не научатъ любить глубоко...
Дѣло вѣковъ поправлять не легко!

У насъ въ послѣднее время явилось стремленіе отстаивать нѣкоторыя личности, представленныя, такъ сказать, мишурными у нашихъ писателей. Мы видѣли стараніе нѣкоторыхъ критиковъ отстоять Рудина противъ самого Тургенева, неоцѣнившаго будто бы золотыхъ сторонъ своего героя. Но Некрасовъ отнесся къ своему Агарину, думается

мнѣ, еще строже; защитить эту, такъ рѣшительно развѣнчанную имъ личность едва-ли кому удалось бы; между тѣмъ Агаринъ все-таки вѣдь очень сходенъ съ Рудинымъ *). Въ другой поэмѣ, написанной нѣсколько позже,—«Несчастные», Некрасовъ попытался нарисовать идеальную личность, руководимую искреннимъ и дѣятельнымъ гражданскимъ чувствомъ. Но, чтобы вполнѣ оцѣнить это произведеніе, слѣдуетъ сопоставить его съ «Записками изъ Мертваго Дома» Достоевскаго. И тутъ и тамъ—«несчастные»—въ томъ именно смыслѣ, въ какомъ ихъ понимаетъ народъ — но у Достоевскаго они списаны съ натуры, оттого на его картину быта и нравовъ «Мертваго Дома» и слѣдуетъ обращать особенное вниманіе и этими картинами провѣрять другія.

Вотъ что̀ разсказывается у Некрасова (извѣстно, что у него, какъ и у Достоевскаго, весь разсказъ веденъ въ первомъ лицѣ отъ имени одного изъ заключенныхъ), вотъ что̀ разсказывается про передовую личность между «несчастными»:

Межъ нами былъ одинъ: его
Не полюбили мы сначала—
Не говорилъ онъ ничего,
Работалъ медленно и мало.
Кряхтя, копается весь день,
Какъ кротъ—мы такъ его и звали—

---

*) Новое нападеніе на Тургенева изъ за Рудина сдѣлано въ даровито написанной книжкѣ Экса (псевдонимъ покойнаго проф. Чебышева-Дмитріева): „*На пол-пути*“, въ письмѣ ко мнѣ по поводу моихъ лекцій о Тургеневѣ, остававшемся до тѣхъ поръ не напечатаннымъ. Но если ужъ нападать на Тургенева, то слѣдовало бы затронуть и Некрасова, еще прямѣе объясняющаго дѣло *барствомъ*. Эксъ полагаетъ, что дѣло главнымъ образомъ не въ томъ, а въ „стѣснительныхъ условіяхъ“ 40-хъ годовъ, которыя по неволѣ дѣлали лучшихъ людей *праздными идеалистами*. Авторъ правъ относительно этихъ *лучшихъ людей*, только едва-ли Рудинъ можетъ быть отнесенъ къ числу ихъ. Рудинъ—въ сущности тотъ же Степанъ Трофимовичъ г. Достоевскаго. Степанъ Трофимовичъ дѣйствительно любилъ вспоминать о томъ, какъ его преслѣдовали за его идеи. Но какъ же воспользовался онъ тѣмъ значительно большимъ просторомъ, до кото-

А толку нѣтъ: не то чтобъ лѣнь,
Да силы скоро измѣняли...
. . . . . .
Его дежурный погонялъ,
И было намъ сначала любо
Смотрѣть, какъ губы онъ кусалъ,
Когда съ нимъ обходились грубо...
. . . . . .
Бывало, подойдемъ гурьбой,
Повалимъ будто ненарокомъ,
Кричимъ: „не хочешь-ли домой“?
Онъ только поглядитъ съ упрекомъ
И покачаетъ головой.
Не пьетъ, не балагуритъ съ нами;—
Но скоро часъ его насталъ..

Этотъ часъ насталъ, когда ему представился случай выказать свое нравственное превосходство передъ своими товарищами по несчастію и сразу пріобрѣсть надъ ними вліяніе...

Былъ вечеръ; скрежеща зубами,
Одинъ изъ нашихъ умиралъ—
Куда дѣваться въ подземельи?
Кричимъ: скорѣй! мѣшаешь спать!“
И стали въ бѣшенномъ весельи
Его мы хоромъ отпѣвать:
„Умри! намъ всѣмъ одна дорога,
Другой не будетъ изъ тюрьмы!“
Вдругъ кто-то крикнулъ: „нѣтъ въ васъ Бога!“
И пѣсни не допѣли мы.

Но дѣйствительно-ли нуженъ этотъ голосъ передового человѣка, слабаго тѣломъ, но сильнаго духомъ *Крота*, чтобы дать умирающему острожнику спокойно закрыть глаза? Отвѣтомъ на это можетъ послужить слѣдующая картина смерти въ острогѣ, написанная съ натуры Достоев-

---

раго ему пришлось дожить? Онъ понесъ восторженную рацею о томъ, что искусство выше освобожденія крестьянъ и т. п., а когда его не безъ основанія освистали, счелъ себя какимъ-то страдальцемъ за правду; въ концѣ же концовъ, какъ мы видѣли, Апокалипсисъ надоумилъ его, что онъ былъ „*только* тепелъ“. Тоже бы могъ сказать и Рудинъ.

скимъ: «ярко припоминается мнѣ одинъ умирающій, чахоточный... умеръ онъ не въ памяти, и тяжело, долго отходилъ, нѣсколько часовъ сряду... Его хотѣли какъ нибудь облегчить, видѣли, что ему очень тяжело... За полчаса до смерти его, всѣ у насъ какъ будто притихли, стали разговаривать чуть не шепотомъ. Кто ходилъ—ступалъ какъ-то неслышно. Разговаривали между собой мало о вещахъ посторонннхъ, изрѣдка только взглядывали на умирающаго, который хрипѣлъ все болѣе и болѣе». Послѣ этой картины, гдѣ ничто не бьетъ на эфектъ, Некрасовское описаніе смерти въ острогѣ не можетъ не представиться мелодрамой,—къ тому же такою, которая взводитъ напраслину на всѣхъ вообще «несчастныхъ» для бо̀льшаго возвеличенія *одного*.

Нѣтъ, какъ бы ни былъ неразвитъ, и умственно, и нравственно, простой нашъ людъ, какъ бы, положимъ, окончательно низко ни упадали тѣ изъ него, которые попадаютъ въ разрядъ «несчастныхъ» (хотя и они, соотвѣтственно этому прозвищу, далеко вѣдь не всѣ дѣйствительно такъ уже низко падаютъ), всеже, чтобы дать спокойно умереть своему товарищу по несчастію, они вовсе не нуждаются въ наставленіяхъ передового «неровни», какъ называютъ они у Некрасова превозносимаго имъ *Крота*. Если же допустить, что они уже такъ глубоко испорчены, то трудно признать возможнымъ то быстрое, можно сказать, чудотворное вліяніе на нихъ словъ этого «Крота», о которомъ говорится у Некрасова:

Смутились мы. Какая сила
Ему строптивыхъ покорила—
Богъ вѣсть! Но грубые умы
Онъ умилилъ, обезоружилъ,
Онъ намъ ту бездну обнаружилъ,
Куда стремглавъ летѣли мы.

Во всемъ этомъ рѣшительно слышится фальшивая нота, особливо, если вспомнить свидѣтельство Достоевскаго о томъ страшномъ разрывѣ, который существуетъ въ кругу «несчастныхъ» между простолюдиномъ и человѣкомъ,

вышедшимъ изъ образованнаго класса. Составитель «Записокъ изъ Мертваго Дома» прямо говоритъ, что всѣ его усилія засыпать ту бездну, которая отдѣляла его отъ другихъ острожниковъ, оставались тщетными: до конца въ немъ враждебно видѣли *неровню барина*. Послѣ этого должно представиться едва ли возможнымъ то, что̀ говорится у Некрасова далѣе—

Закоренѣлаго невѣжду
Спроси, и тотъ отдать бы радъ
Свою послѣднюю надежду—
Подъ небо родины возвратъ—
За мигъ единый облегченья
Его тоски, его мученья...

Т. е. тоски и мученья этого образованнаго «Крота», одного изъ тѣхъ, къ которымъ, по свидѣтельству Достоевскаго, каторжники простолюдины обыкновенно относятся не иначе, какъ: «муходавы!»... «имъ вездѣ рай». «Тутъ каторга, а они калачи ѣдятъ да поросятъ покупаютъ.» «Ты вѣдь собственное ѣшь;—чего-же сюда лѣзешь», т. е. чего ты это вздумалъ вмѣстѣ съ нами, обыкновенными каторжниками, объявлять претензію на столъ, бунтовать?.. «Какой ты намъ товарищъ?»... «Ты иди своей дорогой, а мы своей» — вотъ что̀ хотѣли они этимъ сказать, по объясненію Достоевскаго.

Мнѣ пришлось такимъ образомъ указать на нѣкоторыя фальшивыя ноты въ поэмѣ Некрасова; спѣшу изгладить это впечатлѣніе указаніемъ на стихотвореніе «Тишина», написанное, кажется, вскорѣ послѣ «Несчастныхъ», сочиненныхъ въ Римѣ. Поэма «Тишина» рисуетъ намъ возвращеніе поэта на родину:

Все рожь кругомъ, какъ степь живая;
Ни замковъ, ни морей, ни горъ.
Спасибо, сторона родная,
За твой врачующій просторъ!
За дальнимъ средиземнымъ моремъ,
Подъ небомъ ярче твоего,
Искалъ я примиренья съ горемъ—
И не нашелъ я ничего!..

Какъ это напоминаетъ то, что̀ говоритъ Тургеневъ въ своихъ воспоминаніяхъ о Бѣлинскомъ, не за долго до смерти поѣхавшемъ за-границу. Бѣлинскій, всегда тяготѣвшій къ западу, пріѣзжаетъ туда и страшно тоскуетъ, тоска его тянетъ на родину, и Тургеневъ объясняетъ это тѣмъ, что «ужъ очень онъ былъ Русскій человѣкъ». Тоже самое произошло и съ нашимъ поэтомъ; вотъ какъ продолжаетъ онъ противополагать чужіе края родинѣ:

Я тамъ не свой,—хандрю, нѣмѣю,
Не одолѣвъ мою судьбу;
Я тамъ погнулся передъ нею,
Но ты дохнула—и съумѣю,
Быть можетъ, выдержать борьбу!

Горе какъ-то легче выносится у себя дома: оно тутъ выносится заодно со своими! Какъ-бы ни-было хорошо тамъ, за моремъ,—сердце нравственно здороваго человѣка тяготѣетъ къ родинѣ. Онъ выдержалъ-бы разлуку съ нею только въ томъ случаѣ, еслибы убѣдилъ себя въ томъ, что, живя съ нею врознь, онъ только вѣрнѣе сослужитъ свою службу—ей-же. Вотъ въ этомъ-то духѣ поэтъ и говоритъ далѣе:

Я твой. Пусть ропотъ укоризны
За мною по пятамъ бѣжалъ,—
Не небесамъ чужой отчизны—
Я пѣсни родинѣ слагалъ.
И нынѣ жадно повѣряю
Мечту любимую мою,
И въ умиленьи посылаю
Всему привѣтъ... Я узнаю
Суровость рѣкъ, всегда готовыхъ
Съ грозою выдержать войну,
И ровный шумъ лѣсовъ сосновыхъ,
И деревенекъ тишину,
И нивъ широкіе размѣры...

Словомъ—рисуется отличающійся просторомъ, но незатѣйливый родной ландшафтъ, представляющійся Некрасову столько-же обаятельнымъ, сколько въ свое время Пушкину и Лермонтову. Но въ Некрасовѣ пробуждается тутъ и бо-

лѣе глубокое желаніе *слиться душою съ роднымъ народомъ*— искать утѣшенія въ томъ-же, въ чемъ народъ его ищетъ...

...Храмъ Божій на горѣ мелькнулъ
И дѣтски чистымъ чувствомъ вѣры
Внезапно на душу пахнулъ.
Нѣтъ отрицанья, нѣтъ сомнѣнья!
И шепчетъ голосъ неземной:
„Лови минуту умиленья,
„Войди съ открытой головой!
„Какъ ни тепло чужое море,
„Какъ ни красна чужая даль,—
„Не ей поправить наше горе,
„Размыкать Русскую печаль!
„Храмъ воздыханья, храмъ печали,—
„Убогій храмъ земли твоей—
„Тяжеле стоновъ не слыхали
„Ни римскій Петръ, ни Колизей!
„Сюда народъ, тобой любимый,
„Своей тоски неодолимой
„Святое бремя приносилъ—
„И облегченный уходилъ.
„Войди! Христосъ наложитъ руки
„И сниметъ волею святой
„Съ души оковы, съ сердца муки,
„И язвы съ совѣсти больной!“..
Я внялъ, я дѣтски умилился...
И долго я рыдалъ и бился
О плиты старыя челомъ,
Чтобы простилъ, чтобъ заступился,
Чтобъ осѣнилъ меня крестомъ
Богъ угнетенныхъ, Богъ скорбящихъ,
Богъ поколѣній, предстоящихъ
Предъ этимъ скуднымъ алтаремъ!..

Далѣе, какъ извѣстно, слѣдуетъ обращеніе къ Севастополю, только что покрывшему насъ тогда, такъ нерѣдко достававшеюся намъ на долю, «славой страданія». На этотъ разъ страданіе служило предвѣстіемъ внутренняго благодѣтельнаго перелома. Поэту, переносящемуся мыслію въ родную непривѣтную глушь, уже какъ-будто-бы чуется впереди упраздненіе, когда-то омрачившаго его дѣтство, крѣпостного права:

Тамъ можно жить не отравляя
Ни Божьихъ, ни ревнивскихъ душъ,
И, трудъ любимый довершая,
Тамъ стыдно будетъ унывать
И предаваться грусти праздной,
Гдѣ пахарь любитъ сокращать
Напѣвомъ трудъ однообразный.
Его-ли горе не скребетъ? —
Онъ бодръ, онъ за сохой шагаетъ,
Безъ наслажденья онъ живетъ—
Безъ сожалѣнья умираетъ.

Вотъ въ чемъ окончательно находитъ себѣ опору и назиданье поэтъ,—въ томъ чувствѣ бодрости, которое не оставляетъ народа:

Его примѣромъ укрѣпись
Сломившійся подъ игомъ горя;—
За личнымъ счастьемъ не гонись,
И Богу уступай не споря!..

Итакъ, вотъ окончательное его заключеніе: личное горе должно утонуть въ этомъ морѣ общенароднаго горя, при существованіи котораго подло и глупо-бы было думать о личномъ счастьи. Не трудно замѣтить, что, по *основному скорбному своему настроенію*, Некрасовъ довольно близокъ съ міровымъ поэтомъ скорби Байрономъ (степень дарованія у того и другого оставляю я въ сторонѣ). Но Байронъ выставлялъ главнымъ образомъ скорбь особенно выдающихся личностей, *нравственныхъ аристократовъ*, въ которыхъ выражаетъ онъ себя самого. До обыкновенныхъ людей, до обыкновеннаго, но, конечно, не менѣе тяжелаго горя народной массы Англійскій поэтъ не спускается, оно было-бы слишкомъ *мало* для его нравственно-аристократической натуры. Совершенно другое видимъ мы у Некрасова—у него мы знакомимся со скорбью обыкновенныхъ людей, со скорбью *человѣческаго большинства*, передъ которою, по сознанью нашего поэта, должны замолкнуть всякія *личныя* жалобы. У Байрона—ропотъ могучей, широко развившейся личности; у Некрасова въ его лучшихъ произведеніяхъ—личность готова молчать о самой себѣ, слиться съ общимъ

человѣческимъ ропотомъ *). Въ этомъ выражается у него народный, вовсе не аристократическій нашъ характеръ. Личность, умаляющая себя, сливающаяся съ цѣлымъ, давно уже является идеаломъ въ народномъ эпосѣ. Наши представители нравоописательной повѣсти выставляли намъ ту-же самоотверженную личность: мы видѣли ее у Тургенева, у Л. Н. Толстого, видѣли, наконецъ, и между Подлиповцами у Рѣшетникова.

Но какъ помирить это съ тѣмъ, что̀ такъ часто встрѣчается намъ въ жизни? Не напрасны вѣдь жалобы, что въ нашемъ обществѣ страшно развитъ эгоизмъ; но нерѣдко такой же эгоизмъ проявляется и въ простомъ народѣ. Какъ же согласить это съ тѣмъ, что̀ выражали наши писатели, что̀ выразилъ намъ народный эпосъ? Придется прибѣгнуть къ сравненію, которое, какъ и всѣ сравненія, объяснитъ, конечно, далеко не все. Какъ часто мы видимъ прекрасные всходы, но потомъ наступаетъ и долго держится холодъ: все зампраетъ, глохнетъ. Но стòитъ только снова настать настоящему теплу—и все опять оживаетъ. То-же самое и въ нравственномъ мірѣ: добрые всходы могутъ быть заглушены, пришиблены; но пусть только снова повѣетъ тепломъ—и все опять отойдетъ и распустится пышнымъ цвѣтомъ **).

---

*) Такое сужденье о Байронѣ сравнительно съ Некрасовымъ явилось у меня не вслѣдствіе какого-нибудь мгновеннаго увлеченія во время лекціи (повторяю, я говорю только о *направленіи*, а не о *степени таланта*). Я успѣлъ уже до того прочесть нѣсколько лекцій о Байронѣ и подробный разборъ его произведеній привелъ меня къ тому сужденію о немъ, которое я только повторилъ въ сжатомъ видѣ въ настоящей лекціи. Я надѣюсь въ скоромъ времени напечатать о Байронѣ особое изслѣдованіе.

**) Прекрасное стихотвореніе Я. П. Полонскаго: „Въ дурную погоду“, напечатанное въ свое время „Недѣлѣ“, можетъ въ свою очередь послужить объясненіемъ моей мысли. Перепечатываю его здѣсь.

Пусть говорятъ, что наша молодежь
Поэзіи не знаетъ,—знать нѣ хочетъ,
И что ее когда нибудь подточитъ
Подъ самый пòдъ корень практическая ложь;
Пусть говорятъ, что это ей пророчитъ

*

ЛЕКЦІЯ VIII.

Некрасовъ.—Произведенія второго періода (съ 1861 г.).

Первый періодъ дѣятельности Некрасова разсмотрѣнъ мною въ прошлый разъ;—онъ, конечно, и самый важный. Второй, во многихъ отношеніяхъ, представляетъ повтореніе прежнихъ темъ, при значительно большемъ, однако же, противъ прежняго развитіи одной стороны—сатирической. Но эту послѣднюю, представляющую у Некрасова во многихъ случаяхъ черты, общія съ Щедринымъ, мнѣ придется затрогивать впослѣдствіи, при разборѣ той или другой сатиры Щедрина. Теперь же я обращаюсь къ тѣмъ произведеніямъ Некрасова, относящимся ко второму періоду, въ которыхъ затрогивается его прежняя, любимая тема: положеніе народа и всѣхъ вообще людей, связанныхъ съ народомъ своей участью. Первый періодъ заканчивается началомъ шестидесятыхъ годовъ. 1861 годъ, съ его великимъ событіемъ—освобожденіемъ крестьянъ, не могъ не вызвать у нашего поэта сочувственнаго стихотворенія. И дѣйствительно, онъ привѣтствовалъ эту многознаменательную пору стихами:

Одинъ безплодный путь къ безславію, что ей
Безъ творчества, какъ ржи безъ теплыхъ, ясныхъ дней,
Не вызрѣть. .
Выхожу одинъ я въ чисто поле,
И чувствую—тоска! и дрогну поневолѣ—
Такъ сыро, сиверко!.. И что это за рожь!..
Мѣстами зелена, мѣстами низко клонитъ
Свои колосики къ разрыхленной землѣ,
И точно смята вся; а въ блѣдно-сѣрой мглѣ
Лохмотья тучъ надъ нею вѣтеръ гонитъ...
Когда же наконецъ дождусь я теплыхъ дней!
Поднимется ль опять дождемъ прибитый колосъ!
Иль никогда среди родимыхъ мнѣ полей
Не отзовется мнѣ ретивой жницы голосъ
И не мелькнетъ вѣнокъ изъ полевыхъ цвѣтовъ
Надъ пыльнымъ золотомъ увѣснстыхъ сноповъ!

Родина мать! по равнинамъ твоимъ
Я не ѣзжалъ еще съ чувствомъ такимъ...

Замѣчая на рукахъ у матери-крестьянки ребенка, онъ обращается къ нему съ такими свѣтлыми предсказаніями:

Въ добрую пору дитя родилòсь,
Милостивъ Богъ! не узнаешь ты слезъ.
Съ дѣтства никѣмъ не запуганъ, свободенъ,—
Выберешь дѣло, къ которому годенъ.
Хочешь—останешься вѣкъ мужикомъ,
Сможешь—подъ небо взовьешься орломъ.

Далѣе поэтъ, однако, чувствуетъ необходимость поудержать свой восторгъ:

Въ этихъ фантазіяхъ много ошибокъ:
Умъ человѣческій тонокъ и гибокъ.
Знаю: на мѣсто сѣтей крѣпостныхъ
Люди придумали много иныхъ.

Въ концѣ, какъ извѣстно, онъ утѣшаетъ себя тѣмъ, что эти новыя сѣти будетъ, однако, легче распутать. Но, кромѣ этихъ новыхъ сѣтей, придуманныхъ тою человѣческою изобрѣтательностью въ злѣ, отъ которой человѣчество нигдѣ, ни въ какой странѣ не умѣло еще избавиться,—кромѣ того остаются еще слѣды, глубокіе, не скоро заживающіе слѣды отъ старыхъ оковъ, вслѣдствіе чего нетолько большая часть произведеній Некрасова, написанныхъ до 1861 г., все-таки не устарѣла и не можетъ скоро устарѣть, но у него могли и послѣ того появляться стихотворенія на прежнюю печальную тему. Такъ, напримѣръ, въ 1867 г. написано имъ небольшое, но много содержащее стихотвореніе: «Съ работы». Считаю нужнымъ напомнить нѣсколько строфъ. Крестьянинъ возвращается съ работы и говоритъ женѣ:

„Экъ я умаялся!.. Что, обрядила?
«Дай-ко горяченькихъ щецъ.
—„Печи я нынче, родной, не топила,
„Не было, знаешь, дровецъ.“
„Ну, и безъ щей поснѣдаю я, грѣшный,
„Ты овсеца бы савраскѣ дала,—

„Въ лѣто одинъ онъ управилъ, сердешный,
„Шашки четыре тягла.
„Трудно и нынче намъ съ бревнами было,
Портится путь... Инъ и хлѣбушка нѣтъ?..
—„Вышелъ, родной... у сосѣдей просила,—
„Завтра сулили чѣмъ свѣтъ!—
„Ну, и безъ хлѣба улягусь я, грѣшный,
„Кинь подъ савраску соломки, жена.
„Въ зиму-то вывезъ онъ, вывезъ сердешный,
„Триста четыре бревна!..

Какая простота, какая, употребляя выраженіе Тургенева про Рѣшетникова, «трезвая правда»,—и какое въ своемъ родѣ высокое впечатлѣніе производитъ эта выносливость крестьянина - труженика, исполненная такой мягкости относительно жены и такой нѣжной заботливости прежде всего объ этомъ общемъ кормильцѣ—савраскѣ!

Между тѣмъ еще въ прошлый разъ, уже въ произведеніяхъ перваго періода, мнѣ пришлось замѣтить у нашего поэта и нѣкоторыя, какъ мнѣ, по крайней мѣрѣ, кажется, не совсѣмъ вѣрныя ноты;—главнымъ образомъ въ поэмѣ «Несчастные».

Около того-же времени, т. е. во 2-й половинѣ пятидесятыхъ годовъ, Некрасовымъ начатъ тотъ рядъ стихотвореній, который носитъ общее названіе: «О погодѣ»; я ихъ не затрогивалъ именно потому, что они въ то время были только начаты, а продолжались позже, уже въ половинѣ шестидесятыхъ годовъ, причемъ все болѣе и болѣе принимали сатирическій характеръ. Первое изъ этихъ стихотвореній еще полно лиризма и посвящено любимой Некрасовской темѣ—положенію бѣднаго человѣка; но и въ этомъ стихотвореніи мнѣ опять слышатся нѣкоторыя не совсѣмъ вѣрныя ноты. Дѣло, какъ извѣстно, состоитъ въ томъ, что, при съѣздѣ съ моста, коляска наѣзжаетъ на дроги и опрокидываетъ ихъ,—гробъ падаетъ и раскрывается. Что подобный случай возможенъ—въ этомъ, конечно, нѣтъ никакого сомнѣнія; но есть ли надобность прибѣгать къ *случаямъ*, когда достаточно и того, что̀ дѣлается каждый день, помимо всякой случайности, что̀ вошло въ обыкно-

венный порядокъ вещей, но что̀ не у каждаго на глазахъ, а потому и не всѣхъ поражаетъ. Вполнѣ достаточно и этихъ заурядныхъ явленій, которыя должны быть только собраны съ разныхъ сторонъ и выставлены на показъ всѣмъ, чтобы самое безпечное сердце перевернулось, чтобы самому равнодушному человѣку сдѣлалось жутко. Выставленьемъ случайностей только дается поводъ ему, этому такъ неохотно тревожащемуся человѣку, отдѣлаться именно тѣмъ, что вѣдь это только *случайности;* а поэтъ нашъ далѣе въ томъ же стихотвореніи представляетъ намъ цѣлое сгроможденіе несчастныхъ случайностей, не невозможное, разумѣется, но все-же, по своей рѣдкости, дающее поводъ сказать, что это *придумано.* Оказывается, что бѣднякъ-чиновникъ, котораго вывалили изъ гроба,—что онъ съ самаго начала не нашелъ себѣ покоя и въ немъ: въ то время, когда гробъ стоялъ еще въ комнатѣ, произошелъ пожаръ; въ теченіе же своей жизни погоралъ онъ 14 разъ! На кладбищѣ, въ довершеніе всего, онъ попадаетъ въ могилу, наполненную водой, что̀ подаетъ поводъ провожающей его старушкѣ замѣтить:

„ . . . . вчера погоралъ,
„А сегодня, изволите видѣть,
„Изъ огня прямо въ воду попалъ.“

И авторъ, который приводитъ все это, какъ очевидецъ, тутъ только замѣчаетъ, что этой старушкѣ жаль своего несчастнаго жильца. Между тѣмъ, для читателя это представляется несомнѣннымъ съ самаго начала, по самому тону ея лишь повидимому равнодушнаго разсказа, а потому и представляется неумѣстнымъ вопросъ, съ которымъ обращается къ ней вначалѣ авторъ:

„И тебѣ его будто не жаль?“

Очевидно, что вопросъ этотъ заданъ съ цѣлью вызвать у нея отвѣтъ:

„Что̀ жалѣть? Намъ жалѣть не досужно...“

Тогда какъ ей рѣшительно незачѣмъ говорить это: читатель и самъ изъ всего ея разсказа вывелъ бы, что *сам-*

тиментальничать дѣйствительно ей не къ лицу, не по ея положенію—но что только этимъ-то и объясняется ея кажущееся равнодушіе. Итакъ, уже въ нѣкоторыхъ произведеніяхъ, предшествующихъ второму періоду, до извѣстной степени замѣчается у нашего поэта изысканность, преувеличенность, неполнота жизненно-художественной правды. Съ другой стороны, мы замѣчаемъ и во 2-мъ періодѣ произведенія, служащія прямымъ продолженіемъ лучшихъ сторонъ перваго. Къ 1861 г. относится поэма «Коробейники», отличающаяся отъ другихъ поэмъ Некрасова особымъ, живымъ и веселымъ тономъ, преобладающимъ въ ней почти до конца, т. е. до той трагической развязки, которая тѣмъ болѣе насъ поражаетъ. Въ своей существенной части поэма рисуетъ намъ своего рода оживленіе, вносимое этими ходячими торговцами-коробейниками въ однообразную народную жизнь. Впрочемъ, свѣтлое ея впечатлѣніе еще въ серединѣ поэмы до нѣкоторой степени нарушается обычнымъ Некрасовскимъ настроеніемъ: онъ совершенно естественнымъ образомъ представляетъ намъ то смѣшеніе веселаго съ грустнымъ, которое такъ часто встрѣчается въ жизни. Грустную сторону представляетъ разсказъ о крестьянинѣ, который случайно, по ошибкѣ, былъ усаженъ въ острогъ, и та печальная пѣсня странника, которая и сама по себѣ должна быть отнесена къ лучшимъ произведеніямъ Некрасова. Это та, весьма извѣстная, пѣсня, которой каждый куплетъ оканчивается стихами:

„Холодно, странничекъ, холодно!
„Голодно, родименькій, голодно!“

Нѣсколькими годами позже (1863) написана другая поэма: «Морозъ Красный Носъ», отличающаяся почти вся сплошь самымъ грустнымъ тономъ, но при-этомъ и искренностью и задушевностью, вполнѣ напоминающею лучшія произведенія перваго періода. Личность крестьянской жены и матери, какъ мы знаемъ, не разъ выдвигалась Некрасовымъ и въ прежнихъ его произведеніяхъ; здѣсь этотъ

образъ развитъ еще съ большей подробностью и съ особенно сочувственными чертами:

Есть женщины въ Русскихъ селеньяхъ
Съ спокойною важностью лицъ,
Съ красивою силой въ движеньяхъ,
Съ походкой, со взглядомъ царицъ.
Ихъ развѣ слѣпой не замѣтитъ,
А зрячій о нихъ говоритъ:
„Пройдетъ—словно солнцемъ освѣтитъ!
„Посмотритъ—рублемъ подаритъ."
Въ ней ясно и крѣпко сознанье,
Что все ихъ спасенье въ трудѣ,
И трудъ ей несетъ воздаянье,—
Семейство не бьется въ нуждѣ,
Всегда у нихъ теплая хата,
Хлѣбъ выпеченъ, вкусенъ квасокъ,
Здоровы и сыты ребята,
На праздникъ есть лишній кусокъ.

Вотъ одну изъ такихъ женщинъ и рисуетъ Некрасовъ въ этой поэмѣ, но онъ рисуетъ ее въ годину испытанія, застигнутую нежданною-негаданною бѣдою. На рукахъ у нея умираетъ мужъ, сокрушенный долговременною болѣзнью, умираетъ преждевременно, еще во цвѣтѣ лѣтъ; это вноситъ совершенное разстройство въ ея хозяйство и доводитъ ее, подъ вліяніемъ заботъ, до совершеннаго изнеможенія. Вотъ чѣмъ и объясняется, что, возвратившись съ похоронъ, она не находитъ дровъ, которыя, при хорошо идущемъ хозяйствѣ, должны-бы быть припасены во время. Между тѣмъ проголодавшіяся дѣти тѣмъ болѣе могутъ потерпѣть отъ холода, и вотъ усталая, сама голодная, съ разбитымъ сердцемъ, она все-таки ѣдетъ въ лѣсъ за дровами. Развязка извѣстна. Тутъ Некрасовъ воспользовался прекраснымъ мотивомъ Русской сказки, осуществивъ морозъ въ образѣ живого существа, принимающаго бѣдную женщину въ свое холодное царство. Подобное замерзаніе, пожалуй, и не совсѣмъ рѣдкій случай въ народномъ быту, хотя обыкновенно оно происходитъ вдали отъ жилья, вслѣдствіе занесшей дорогу вьюги. Въ нашей

поэмѣ ничего этого нѣтъ, и съ перваго взгляда можетъ показаться, что поэтъ представляетъ и тутъ какое то исключительное явленіе. Но если мы примемъ во вниманіе, что Дарья возвращается съ похоронъ усталая, безсознательно-голодная, что сердце ея разбито, то становится понятнымъ, почему она могла, во время рубки дровъ, прислониться къ дереву, чтобы хотя нѣсколько отдохнуть и отдаться своимъ грустнымъ мыслямъ: такимъ образомъ замерзаніе оказывается достаточно обусловленнымъ, не представляется странной мелодраматической случайностью. Некрасовъ въ своемъ посвященіи поэмы: «Морозъ Красный Носъ» сестрѣ называетъ эту поэму своей «послѣдней пѣснью»; дѣйствительно, это послѣдняя большая поэма изъ народнаго быта, которую можно съ начала до конца прочесть съ однимъ и тѣмъ-же чувствомъ удовлетворенности.

Къ 1864 году относится стихотвореніе: «Желѣзная Дорога». Тутъ совершенно вѣрно схваченъ одинъ изъ новыхъ видовъ неволи, придуманный «тонкимъ и гибкимъ умомъ человѣка»; народъ, уже освобожденный изъ крѣпостной зависимости, попадаетъ въ нелегкую также зависимость отъ тѣхъ *строителей*, которые думаютъ только о набиваніи своихъ кармановъ. Все это выражено въ видѣ разсказа учителя маленькому мальчику, который, вмѣстѣ съ нимъ и съ отцомъ, ѣдетъ по желѣзной дорогѣ. Есть люди, которые находятъ поведеніе этого учителя не педагогическимъ. «Зачѣмъ», говорятъ они, «смущать свѣтлую душу ребенка такими картинами?» Взгляды на воспитаніе, конечно, бываютъ различны; кому нравится выдѣлывать изъ своихъ дѣтей нѣженокъ, не знающихъ жизни Адуевыхъ, или отворачивающихся отъ нея Обломовыхъ, тотъ не можетъ не возставать противъ пріемовъ Некрасовскаго учителя. Но и тѣ, которые сочувственно отнесутся къ его словамъ, открывающимъ ребенку глаза, дающимъ ему почувствовать, что̀ такое трудъ, какъ дорого стоитъ, не въ одномъ только денежномъ смыслѣ, эта дорога, по которой ему такъ удобно и весело ѣхать, — даже и такіе люди не могутъ не признать въ этой поэмѣ кое-чего совер-

шенно лишнимъ, впадающимъ въ мелодраму, или, вѣрнѣе сказать,—въ балладу. Все, что говоритъ учитель, само по себѣ прекрасно:

„Трудъ этотъ, Ваня, былъ страшно громаденъ—
„Не по плечу одному.
„Въ мірѣ есть царь: этотъ царь безпощаденъ,—
„Голодъ“ названье ему.
„Онъ-то согналъ сюда массы народныя.
„Многіе, въ страшной борьбѣ,
„Къ жизни воззвавъ эти дебри безплодныя,
„Гробъ обрѣли здѣсь себѣ.
„Прямо дороженьки—насыпи узкія,
„Столбики, рельсы, мосты,
„А по бокамъ-то все косточки Русскія;
„Сколько ихъ, Ваничка, знаешь-ли ты?“

Совершенно, къ несчастью, вѣрна и другая, уже «веселенькая» картина, которую онъ рисуетъ потомъ, чтобы удовлетворить отца, недовольнаго мрачнымъ тономъ первой,—картина расплаты съ трудящимися крестьянами и всѣхъ ея послѣдствій:

...Рабочій народъ
Тѣсно гурьбой у конторы собрался...
Крѣпко затылки чесали они.
Каждый подрядчику долженъ остался,—
Стали въ копѣйку прогульные дни!
Все заносили десятники въ книжку,
Былъ-ли на баню, лежалъ-ли больной:
„Можетъ и есть тутъ теперича лишку,
Да, вотъ, поди ты!..“ Махнули рукой..
Въ синемъ кафтанѣ—почтенный лабазникъ,
Толстый, присадистый, красный какъ мѣдь,
Ѣдетъ подрядчикъ по линіи въ праздникъ,
Ѣдетъ работы свои посмотрѣть.
. . . . . .
„Съ Богомъ, теперь по домамъ—проздравляю!
„(Шапки долой, коли я говорю)—
„Бочку рабочимъ вина выставляю
„И—недоимку дарю!..“

Но къ чему было выводить въ этой поэмѣ, по основной своей мысли совершенно правдивой, — къ чему было

выводить этотъ хоръ мертвецовъ, заставлять ихъ вставать по краямъ дороги и скрежетать зубами? То чувство правды, которое такъ рѣшительно водворено въ нашей литературѣ со временъ Гоголя и которое такъ замѣтно и въ лучшихъ произведеніяхъ Некрасова, — должно бы было оградить его отъ такой напряженной неестественности.

Послѣднее большое произведеніе Некрасова изъ народнаго быта, это — «Кому на Руси жить хорошо». Во всей поэмѣ, какъ извѣстно, соблюденъ даже народный размѣръ, но нельзя не сознаться, что Некрасовъ пользуется имъ не особенно удачно: онъ у него отличается крайнимъ однообразіемъ, тогда какъ народъ умѣетъ его видоизмѣнять. Только въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ у Некрасова попадаются прямыя заимствованія изъ народныхъ пѣсенъ, нѣсколько нарушается однообразіе этого размѣра. Содержаніе нѣсколько сходно съ пріемами народныхъ сказокъ, и этими пріемами можетъ быть извинено то, что̀ безъ этого могло бы представиться нѣсколько натянутымъ: странствованіе мужиковъ, бросившихъ работу, семью и бродящихъ по свѣту, чтобы узнать, кому на Руси хорошо живется? Если крестьяне отправляются странствовать въ романѣ Рѣшетникова «Гдѣ лучше?» или въ «Подлиповцахъ» — то тамъ ихъ руководитъ практическій интересъ, а не одно простое любопытство. Но у Некрасова народъ рисуется въ сказочной обстановкѣ, при участіи скатерти-самобранки и нѣкорыхъ другихъ принадлежностей чудеснаго міра; самая же основа поэмы нѣсколько напоминаетъ тѣ народныя сказки, въ которыхъ происходитъ споръ изъ-за того, что̀ первенствуетъ въ мірѣ—«правда» или «кривда»? и для рѣшенія этого спора тоже совершается странствованіе. Несмотря на такую *сказочность* формы, поэма Некрасова, по своему содержанію, вполнѣ отражаетъ въ себѣ нашу современность — а именно многія изъ явленій поры, непосредственно слѣдовавшей за освобожденіемъ крестьянъ, и, подобно всякой переходной порѣ, представляющей много тяжелаго. Вспомните встрѣчи крестьянъ, отправившихся развѣдать, кому на Руси лучше живется, съ различными

лицами, разсказывающими имъ о своемъ положеніи. Тутъ прежде всего выдается разсказъ священника, напоминающій нѣкоторыя черты у Рѣшетникова, у Помяловскаго и у Стебницкаго (въ «Соборянахъ»). Разсказъ этотъ съ полною откровенностью выставляетъ личное положеніе священника ухудшившимся послѣ того, какъ помѣщичье величіе потерпѣло подрывъ:

„Перевелись помѣщики,
Въ усадьбахъ не живутъ они
И умирать на старости
Уже не ѣдутъ къ намъ.
Богатыя помѣщицы,
Старушки богомольныя,—
Которыя повымерли,
Которыя пристроились
Вблизи монастырей.
Никто теперь подрясника
Попу не подаритъ!
Никто не вышьетъ воздуховъ...
Живи съ однихъ крестьянъ...

А какъ тяжело приходится жить съ нихъ однихъ, это видно изъ дальнѣйшихъ словъ священника, въ которыхъ проглядываетъ его въ сущности доброе и честное сердце:

Напутствуешь усопшаго
И поддержать въ оставшихся
По мѣрѣ силъ стараешься
Духъ бодръ. А тутъ къ тебѣ
Старуха мать покойника,
Глядь—тянется съ костлявою
Мозолистой рукой.
Душа переворотится,
Какъ звякнутъ въ этой рученькѣ
Два мѣдныхъ пятака!
Конечно дѣло чистое:
За требу воздаяніе
Не брать—такъ не чѣмъ жить,
Да слово утѣшенія
Замретъ на языкѣ,
И словно какъ обиженный
Уйдешь домой...

Не менѣе сильно дѣйствуетъ и появленіе помѣщика, его испугъ при видѣ толпы крестьянъ, обращающейся къ нему съ совершенно мирнымъ вопросомъ: кому жить лучше? — испугъ, объясняемый тѣмъ, что ему мерещится, «ужъ не бунтъ-ли это?» Затѣмъ, когда онъ приходитъ въ себя, какъ натурально это величанье имъ крестьянъ «господами», съ предложеніемъ, чтобы они садились, при иронической просьбѣ-вопросѣ:

„И мнѣ присѣсть позволите?"

Кому не приходилось быть свидѣтелемъ подобныхъ сценъ въ первые годы послѣ освобожденія крестьянъ?

Въ высшей степени замѣчательна и та глава поэмы, которая озаглавлена «Послѣдышъ»: этотъ старикъ помѣщикъ, до такой степени не могущій помириться съ новыми порядками, что у него отъ нихъ дѣлается ударъ; эти родственники, которые стараются его успокоить тѣмъ, что вся реформа отмѣнена, и все опять установилось по старому; эта комедія, которую, по просьбѣ родственниковъ помѣщика, разыгрываютъ крестьяне, чтобы наглядно его убѣдить въ возстановленіи крѣпостного права; — все это, конечно, явленія исключительныя, но нарисованныя такими красками, что трудно не вѣрить возможности всего этого. Съ другой стороны, изъ ряда людей, принадлежащихъ самому народу, въ поэмѣ Некрасова выдвигается такая личность, какъ Ермилъ. Снискавъ своею честностью довѣріе другихъ крестьянъ, онъ, несмотря на молодость, выбранъ въ бурмистры; наконецъ, довѣріе къ нему крестьянъ такъ велико, что они въ одинъ часъ собираютъ тысячу рублей, чтобы выручить его изъ нужды. Но и онъ однажды провинился передъ міромъ:

Былъ случай, и Ермилъ мужикъ
Свихнулся: изъ рекрутчины
Меньшого брата Митрія
Повыгородилъ онъ...

Но зато же и замучила его послѣ этого совѣсть, зато же и каялся онъ передъ міромъ, а міръ послѣ этого по-

каянія сталъ только болѣе ему довѣрять... И загладилъ Ермилъ свое прегрѣшеніе еще болѣе вѣрною службою міру, за которую наконецъ... и попалъ въ острогъ (дѣло было еще въ крѣпостное время). Это образъ совершенно живой, возможный, хотя въ основѣ своей и идеальный.— Съ другой стороны, въ этой же самой поэмѣ проявляется у Некрасова и реализмъ, доведенный до своихъ крайнихъ предѣловъ. Вспомните картину народнаго пьянства, которая слѣдуетъ за описаніемъ ярмарки:

По всей по той дороженькѣ
И по окольнымъ тропочкамъ,
Докуда глазъ хваталъ,
Ползли, лежали, ѣхали,
Барахтался пьяные
И стономъ стонъ стоялъ.

Далѣе слѣдуютъ подробности:

Садятся два крестьянина,
Ногами упираются,
Крехтятъ—на скалкѣ тянутся,
Суставчики трещатъ!
На скалкѣ не поправилось:
„Давай теперь попробуемъ
„Тянуться бородой!“
Когда порядкомъ бороды
Другъ дружкѣ поубавили,
Вцѣпились за скулы!
Пыхтятъ, краснѣютъ, корчатся,
Мычатъ, визжатъ, а тянутся!

Во первыхъ нельзя не замѣтить, что пьяный человѣкъ не всегда же только дерется; нѣкоторые, опьянѣвъ, становятся особенно дружелюбны, цѣлуются, обнимаются; что бы, хоть для разнообразія, въ общей картинѣ пьяныхъ, выставить нѣсколько и такихъ? Нагроможденіе однихъ въ высшей степени безобразныхъ проявленій народнаго разгула, и награможденіе ихъ въ такомъ количествѣ можетъ быть объяснено только особеннымъ умысломъ — указать на то, до чего доходитъ народъ въ своемъ невѣжественномъ весельи. Но вѣдь подобныя указанія могутъ

оказаться совершенно сподручными для людей, руководимыхъ особыми цѣлями, — совершенно, конечно, не тѣми, какія могли быть у нашего поэта. Правда, далѣе онъ заставляетъ одного крестьянина высказать многое въ защиту народа, который упрекается тутъ за свою слабость дворянином Веретенниковымъ; но крестьянинъ, можно сказать, держитъ передъ нимъ цѣлую защитительную рѣчь, которая, и по своей длинноте, и по своему тону, отзывается мѣстами риторикой. Нельзя не замѣтить и крайняго преувеличенія въ подробностяхъ той грубой комедіи, которую разыгрываютъ передъ «послѣдышемъ», чтобы увѣрить его въ томъ, что крѣпостное право возобновлено. Агапъ, осмѣлившійся сказать ему «грубость», долженъ быть *для вида* наказанъ; чтобы онъ исправнѣе кричалъ, его спаиваютъ, и что же? Комедія кончается его смертью, происходящею съ перепою. Можно бы было, мнѣ кажется, обойтись и безъ этой совершенно случайной трагической развязки, подающей только поводъ говорить о *придуманности* и заподозрѣвать вѣрность всей вообще картины.

Въ особомъ отдѣлѣ той-же поэмы, носящемъ названіе: «Крестьянка», есть много прекраснаго, вѣрнаго, но отдѣльныя черты опять-таки отличаются нѣкоторой изысканностью. Въ числѣ бѣдствій, которыя приходится испытать этой бѣдной крестьянкѣ, замѣшивается и такое, какъ смерть ея маленькаго сына, сдѣлавшагося жертвою прожорливости свиней, — случай, конечно, возможный въ крестьянскомъ быту, но все-таки *случай*. Въ другомъ мѣстѣ поэмы упоминается о расправѣ, происходившей еще въ помѣщичьи времена. Мать хочетъ избавить отъ наказанія своего сынишку, провинившагося въ томъ, что не съумѣлъ спасти отъ волка овцу, или, лучше сказать, — отдалъ ему овцу, видя, что овца уже мертвая. Мальчика ведутъ на судъ къ помѣщику, который признаетъ, что онъ, какъ ребенокъ, не виноватъ, и велитъ его оставить въ покоѣ, но вмѣсто него наказать его мать. Что подобный случай, какъ онъ ни рѣдокъ по своей странности,

все-таки возможенъ при самодурствѣ помѣщичьяго самоуправства, это, конечно, не подлежитъ сомнѣнію; но вспомнимъ, съ какой осторожностью поступалъ Тургеневъ — въ «Запискахъ Охотника», которыя оттого и произвели такое неотразимое дѣйствіе, что въ нихъ воспроизведены только совершенно обыкновенныя, каждый день, на каждомъ шагу встрѣчавшіяся черты крѣпостного времени, такъ что ни про одну изъ нихъ нельзя было сказать: это рѣдкость или исключеніе.

Нашъ поэтъ въ послѣдней своей поэмѣ, какъ и въ нѣкоторыхъ другихъ случаяхъ, напротивъ того, имѣлъ, очевидно, въ виду подобрать черты, особенно выдающіяся по своей крайности, а потому и могущія, какъ онъ думалъ, особенно поразить. Но чѣмъ объяснить появленіе въ его поэмѣ добродѣтельной губернаторши, нѣсколько отзывающейся—да простятъ мнѣ такое сравненіе съ старинной—сентиментализмомъ повѣстей Карамзинскаго періода? А вѣдь отъ этой идеальной губернаторши даже получило свое прозвище главное дѣйствующее лицо въ отдѣлѣ: «Крестьянка», Матрена Тимоѳеевна. Въ лицѣ этомъ многое подмѣчено совершенно вѣрно, но оно далеко не такъ художественно обработано, не производитъ того впечатлѣнія, какъ Дарья въ поэмѣ «Морозъ красный носъ».

Упомянутыя поэмы были послѣдними собственно изъ народнаго быта. Затѣмъ Некрасовъ дѣлаетъ рѣзкій переходъ къ другому кругу: отъ простой Русской женщины, удрученной горемъ, онъ обращается къ Русскимъ женщинамъ изъ высшаго класса, которыхъ сблизило съ народомъ внезапно постигшее ихъ несчастіе. Поэтъ показываетъ на примѣрѣ этихъ двухъ княгинь, неполными фамиліями которыхъ озаглавлены оба отдѣла поэмы «Русскія Женщины», какіе богатые задатки нравственныхъ силъ могутъ скрываться въ глубинѣ души и, не заглохнувъ отъ великосвѣтскаго воспитанія, выйти наружу подъ вліяніемъ вызывающихъ на борьбу обстоятельствъ.

Эта поэма — одно изъ тѣхъ послѣднихъ произведеній Некрасова, въ которыхъ онъ выходитъ на новую дорогу,

и выходитъ такъ что мы вполнѣ узнаемъ его прежнюю поэтическую силу. Можетъ быть, двѣ-три черты отзываются и преувеличеніемъ, аффектаціей: можно было обойтись безъ нѣсколько натянутаго проклятія, которымъ угрожаетъ княгинѣ В—ской ея отецъ, а тѣмъ болѣе безъ цѣлованія ею оковъ своего мужа; правдивѣе было бы, если бы она просто бросилась ему на шею, вмѣсто того, чтобы картинно опускаться на колѣни и прижимать его оковы къ губамъ. Но все это выкупается прекраснымъ впечатлѣніемъ отъ цѣлаго, а также и многими прекрасными подробностями, къ которымъ нельзя не отнести задушевнаго отзыва княгини В—ой о простыхъ Русскихъ людяхъ, о ихъ добротѣ и ихъ сострадательности. — При разборѣ поэмы «Несчастные» мнѣ пришлось указать на то, что вліяніе на простой народъ рѣдко можетъ у насъ имѣть образованный человѣкъ — по причинамъ, указаннымъ Достоевскимъ, всегда представляющійся народу какимъ-то *неровней*, а въ каторжникахъ изъ народа вызывающій какое-то съ завистью смѣшанное презрѣніе, какъ существо, до извѣстной степени и на каторгѣ оказывающееся *бѣлоручкою*. Но этимъ вовсе не исключается возможность состраданія, участія простыхъ людей къ горю людей изъ другого класса. Участіе, выказанное княгинѣ В—ой въ Сибири простыми солдатами, вполнѣ возможно, вполнѣ въ духѣ нашего простолюдина, а потому и нельзя не повторить съ полнымъ сочувствіемъ слѣдующихъ словъ:

„Въ дорогѣ, въ изгнаньи, гдѣ я ни была,
„Все трудное каторги время,
„Народъ, я бодрѣе съ тобою несла
„Мое неносильное бремя.
. . . . . .
„Ты любишь, несчастнаго, Русскій народъ!
„Страданія насъ породнили.
. . . . . .
„Примите мой низкій поклонъ, бѣдняки,
„Спасибо вамъ всѣмъ посылаю,
„Спасибо!.. Считали свой трудъ ни во что
„Для насъ эти люди простые,

„Но горечи въ чашу не подлилъ никто,
„Никто—изъ народа, родные!“

Съ «Русскими Женщинами» нѣкоторую связь представляетъ другая Некрасовская поэма, написанная нѣсколько ранѣе, — поэма «Дѣдушка». Въ высшей степени счастливая мысль—въ этомъ сопоставленіи стараго дѣда, т. е. стараго годами, но молодого душой, — съ маленькимъ внукомъ—въ той трогательной дружбѣ, которая ихъ связываетъ. Въ высшей степени отрадное впечатлѣніе производитъ этотъ старикъ, нисколько не помятый годами, сочувствующій всему новому, свѣтлому, совершающемуся у него передъ глазами: въ этомъ новомъ онъ видитъ только осуществленіе того, къ чему самъ онъ стремился еще въ молодыя лѣта. Нашу литературу много обвиняли въ несочувствіи къ «отцамъ», въ стремленіи унизить ихъ передъ «дѣтьми»; но въ этой Некрасовской поэмѣ мы видимъ такое полное сочувствіе даже къ «дѣдамъ», послѣ котораго всѣ подобные упреки должны бы потерять силу. Дѣдушка, выведенный Некрасовымъ, съ самой искренней радостью привѣтствуетъ давно ожидаемую имъ эпоху освобожденія крестьянъ (онъ возвращается подъ самый конецъ крѣпостного времени), привѣтствуетъ и всякія другія перемѣны къ лучшему.

„Зрѣлище бѣдствій народныхъ
Невыносимо, мой другъ;
Счастье умовъ благородныхъ—
Видѣть довольство вокругъ.
Нынче полегче народу:
Стихъ, притаился въ тѣни
Баринъ, прослышавъ свободу...
Ну, а какъ въ наши-то дни!“

Вотъ что говоритъ дѣдушка своему внучку. Далѣе онъ подробно ему объясняетъ, какъ тяжело было прежде крестьянину, какъ тяжело было прежде и солдату; намекаетъ и на послѣдствія той чрезмѣрной тяготы, которую пришлось выносить народу.

Каждой странѣ наступаетъ
Рано иль поздно чередъ,

Гдѣ не покорность тупая,
Дружная сила нужна...
. . . . . .
Горе странѣ разоренной,
Горе странѣ отсталой!..
Войско одно не защита;
Да вѣдь и войско, дитя,
Было въ то время забито,
Лямку тянуло крехтя...“

А какъ хороши затѣмъ его пѣсни—съ воспоминаніями о прежнихъ боевыхъ подвигахъ и о жизни тамъ, вдали:

Пѣлъ онъ о славномъ походѣ
И о великой борьбѣ;
Пѣлъ о свободномъ народѣ
И о народѣ рабѣ;
Пѣлъ о пустыняхъ безлюдныхъ
И о желѣзныхъ цѣпяхъ;
Пѣлъ о красавицахъ чудныхъ
Съ ангельской лаской въ очахъ;
Пѣлъ онъ объ ихъ увяданьи
Въ дикой, далекой глуши
И о чудесномъ вліяньи
Любящей женской души...
О Трубецкой, о Волконской
Дѣдушка пѣлъ и вздыхалъ,
Пѣлъ—и тоской Вавилонской
Келью свою оглашалъ...“

Не могу также не отмѣтить того, что̀ онъ говоритъ о горсти раскольниковъ, отправленныхъ на житье въ Сибирь: ихъ предоставили самимъ себѣ, имъ дали землю, дали возможность управиться собственными своими силами,—и вотъ какую прекрасную картину народнаго довольства рисуетъ намъ этотъ юный душою старикъ:

„Какъ тамъ воздѣланы нивы,
„Какъ тамъ обильны стада!
„Высокорослы, красивы
„Жители, бодры всегда,—
„Видно, ведется копѣйка!
„Бабу тамъ холитъ мужикъ:
„Въ праздникъ у ней душегрѣйка—
„Изъ соболей воротникъ!“

Кое-гдѣ только и въ этой поэмѣ замѣтны кое-какія подробности лишнія, впадающія въ другой, нѣсколько изысканный тонъ, напр. омовеніе ногъ старика, совершаемое при его возвращеніи сыномъ; — оно слишкомъ отзывается чѣмъ-то библейскимъ-патріархальнымъ, также точно какъ и цѣлованіе возвращающимся родной земли. Можно бы также исключить нѣкоторыя отдѣльныя выраженія, съ которыми дѣдъ обращается къ внуку; — напримѣръ, едвали вразумительное для ребенка наставленіе:

„Честью всегда дорожи!

Но такіе незначительные недостатки не портятъ цѣлаго. Вообще нельзя не привѣтствовать съ самымъ полнымъ сочувствіемъ выхода нашего поэта на новую дорогу въ «Русскихъ Женщинахъ» и въ «Дѣдушкѣ». То, что̀ составляло его любимую тему—непосредственное описаніе страданій народа и вообще бѣдняковъ,—уже имъ исчерпано, не потому, чтобы подобная тема сама по себѣ когда-либо могла быть вполнѣ исчерпана, а потому, что поэтъ нашъ сталъ какъ-то повторяться, когда принимается за эту тему. Дѣло объясняется, я полагаю, просто: чтобы, возвращаясь къ этой темѣ, не повторяться, надо продолжать очень близко стоять къ народу, надо постояннымъ общеніемъ съ нимъ поддерживать свѣжесть впечатлѣній. Извѣстно, что̀ стало случаться съ другимъ нашимъ славнымъ писателемъ — И. С. Тургеневымъ: съ тѣхъ поръ, какъ онъ долго живетъ за-границей, мы почти вовсе не видимъ новыхъ типовъ въ его произведеніяхъ; — чтобы создавать ихъ, нужно слѣдить за ихъ зарожденіемъ *). — Тоже болѣе или менѣе можно примѣнить и къ Некрасову. Чтобы, говоря о положеніи народа, не повторяться, недо-

*) Исключеніе составляетъ развѣ «Пунинъ и Бабуринъ» въ «Вѣстникѣ Европы“ за 1876 годъ. Но зато эта повѣсть, особливо къ концу, осталась какимъ-то *наброскомъ*,—замысломъ чего-то новаго, но все-таки только *замысломъ*. P. S. Большое исключенье, конечно, „Новь“, но едва ли эта повѣсть можетъ стоять на ряду съ лучшими произведеніями Тургенева.

статочно, сидя у себя въ кабинетѣ — только припоминать его себѣ такимъ, какимъ мы его когда-то знали. При отсутствіи живого общенія съ тѣмъ, что̀ воспроизводитъ художникъ, у него не можетъ не появиться нѣкоторая сдѣланность, его произведенія не могутъ не отзываться заказнымъ тономъ.

Въ концѣ прошлой лекціи я противопоставилъ Некрасова Байрону въ томъ смыслѣ, что, хотя скорбь развита у обоихъ въ сильнѣйшей степени, Байронъ не затрогивалъ скорби простыхъ людей, а Некрасовъ именно съ нею-то главнымъ образомъ и имѣетъ дѣло.

Но для того, чтобы эта народная скорбь выражалась у него съ прежнею силою, ему не слѣдовало-бы самому привыкать къ благамъ жизни. Между тѣмъ изъ поэтовъ Англіи выдаются нѣкоторые, вышедшіе изъ среды народа и сохранившіе съ нимъ связь до конца. Такимъ, напримѣръ, является во второй половинѣ прошлаго столѣтія Борнсъ, собственная доля котораго была до конца вполнѣ трудовая, полная скорби, несчастій, и который такъ-преждевременно умеръ вслѣдствіе этого. Съ другой стороны, мы видимъ тамъ человѣка, который родился въ бѣдности, хотя и не отъ простолюдиновъ; впослѣдствіи онъ составилъ себѣ хорошее положеніе, но обязанность сельскаго священника постоянно связывала его съ народомъ и вообще съ страдающими, а его рѣдкая благотворительность заставляла его еще болѣе, и уже вполнѣ добровольно, скрѣпить эту связь;—то былъ, какъ вы, конечно, догадываетесь — Краббъ. И что̀ же? У этихъ двухъ поэтовъ вы едвали-ли найдете фальшивыя ноты.

Съ другой же стороны, у нихъ замѣтна способность съ любовью останавливаться и на тѣхъ свѣтлыхъ лучахъ, которыми озаряется иногда народная жизнь. Ихъ тонъ не исключительно скорбный, не исключительно поющій объ одной нуждѣ, объ однихъ лишеніяхъ, какъ мы видимъ это у Некрасова—преимущественно во 2-мъ періодѣ. Но и у насъ были поэты, непосредственно вышедшіе изъ народа и сохранившіе съ нимъ связь, — сто̀итъ только

вспомнить Кольцова, Шевченка. У нихъ у обоихъ до конца все оставалось просто, все непосредственно выливалось изъ души, ничто не написано на заданную себѣ тему; у нихъ у обоихъ среди мрака, среди скорби, сгустившихся надъ народною жизнью, появляются, особенно у Кольцова—и лучи свѣта.

Мы видимъ у нашего поэта-прасола не однѣ только жалобы на нужду и семейный деспотизмъ, не одинъ разгулъ съ отчаянья; мы видимъ у него и свѣтлую удаль, и нѣжное чувство любви, и надежду съ вѣрой въ возможность лучшаго порядка вещей, видимъ наконецъ веселость въ самомъ процессѣ труда:

«Весело на пашнѣ—
Ну, тащися сивка!
Я самъ другъ съ тобою,
Слуга и хозяинъ,
Пашеньку мы рано
Съ сивкою распашемъ,
Зернышку сготовимъ
Колыбель святую.
Заблеститъ нашъ серпъ здѣсь,
Зазвенятъ здѣсь косы;
Сладокъ будетъ отдыхъ
На снопахъ тяжелыхъ.
Съ тихою молитвой
Я вспашу, посѣю;
Уроди мнѣ, Боже,—
Хлѣбъ, мое богатство".

Общій тонъ Шевченка, конечно, болѣе скорбный. Крѣпостное право, деспотизмъ семейный, несчастная любовь при бѣдности,—все это любимыя его темы; но при-этомъ у него живо слышится и нѣжность чувства, вниканіе въ жизнь природы, желаніе ея красотами хотя сколько-нибудь отвести себѣ душу, наконецъ, хотя и полная опять грусти, но живая и теплая, — стало быть ободрительная, *свѣтлая* вѣра. Главными же лучами свѣта являются у у Шевченка воспоминанія историческія, величавое прошлое его Малороссіи:

„Было время — на Украйнѣ
Въ пляску шло и горе:
Какъ вина да меду вдоволь —
По колѣна море!
Да, жилось когда-то славно
И теперь вспомянешь,—
Какъ-то легче станетъ сердцу,
Веселѣе взглянешь“ *).

Присутствіе свѣтлой струи въ поэзіи людей, вышедшихъ изъ народа, совершенно понятно: тоже самое замѣчаемъ мы и въ настоящей народной поэзіи. Шевченко недаромъ, описывая своего кобзаря, говоритъ про него, что онъ

Самъ кручинится, а людямъ
Горе разгоняетъ **).

Недаромъ говоритъ онъ, что дума пѣвца облетаетъ весь міръ —

„И снова на небо—подальше отъ горя“ ***).

Послѣ этого мы не можемъ не сознаться, что то опредѣленіе пѣсни нашего народа, которое дѣлаетъ Некрасовъ въ концѣ своего стихотворенія «У Параднаго Подъѣзда» — оказывается слишкомъ одностороннимъ. Сначала онъ говоритъ собственно о пѣснѣ бурлаковъ —

---

*) Этотъ прекрасный (хотя и не буквальный) переводъ г. Михайлова не уступитъ, мнѣ кажется, въ силѣ подлиннику:

Було колись — въ Украинѣ
Лихо танцевало;
Журба въ шинку — медъ горілку
Поставцемъ кружала.
Було колись добре жити
Нашій Украіні...
А згадаймо! може, сердце
Хоть трохи спочине.

(Иванъ Підкова).

**) Вінъ імъ тугу разгоняе,
Хочъ самъ світомъ нудить.

***) И знову на небо, бо на земли горе.

(Перебендя, Пер. Гербеля).

Выдь на Волгу: чей стонъ раздается
Надъ великою Русской рѣкой?
Этотъ стонъ у насъ пѣсней зовется,
То бурлаки идутъ бичевой.

И относительно *ихъ* пѣсень это опредѣленіе вѣрно. Но далѣе Некрасовъ обращается вообще къ Русскому народу:

Гдѣ народъ, тамъ и стонъ. Эхъ, сердечный!
Что же значитъ твой стонъ безконечный?
Ты проснешься, исполненный силъ,
Иль, судебъ повинуясь закону,
Все, что могъ, ты уже совершилъ,—
Создалъ пѣсню, подобную стону,
И духовно навѣки почилъ!..

Но сводить все содержаніе Русской народной поэзіи къ одному только стону невозможно: въ ней есть совершенно другія ноты, — въ ней есть широкая, могучая удаль,—во множествѣ пѣсенъ; въ ней есть идеалы силы, не покоряющейся ничему, кромѣ міра-народа — въ героическомъ эпосѣ; въ ней есть вѣра въ конечную правду, въ ея непремѣнное, рано или поздно настающее торжество — въ цѣломъ рядѣ сказокъ. Такая многосторонность болѣе или менѣе замѣтна въ устной поэзіи всякаго народа, и это совершенно понятно. Въ жизни народа такъ много горькаго, что ему необходимо усладить свою долю хотя бы въ воображеніи, внести какой-нибудь лучъ свѣта въ окружающую его тьму; — вотъ онъ и свѣтится для него во многихъ произведеніяхъ его творчества. Еслибы и они оставались исключительно мрачными, еслибы и въ нихъ онъ постоянно только стоналъ, ему бы пришлось окончательно изнемочь подъ гнетомъ своего положенія. Поэты, непосредственно вышедшіе изъ народа и сохраняющіе съ нимъ связь, сохраняютъ и эту потребность *свѣта* въ своихъ созданіяхъ. Ее можно не ощущать только въ томъ случаѣ, если заживешься въ своемъ кабинетѣ, гдѣ и безъ того такъ свѣтло и тепло. Переносясь изъ него мечтой въ лачугу крестьянина, можно долго выдерживать въ стихахъ скорбный тонъ, обращающійся наконецъ въ поэтическую

привычку. Въ такую привычку можетъ обратиться самое безвыходно-мрачное настроеніе, потому что *на самомъ дѣлѣ выходъ вѣдь всегда есть*... Стоитъ только прервать процессъ творчества, отдохнуть — возвратившись къ себѣ, къ дѣйствительной жизни со всѣми ея удобствами и усладами. Вотъ психологическое объясненіе той односторонности и того однообразія, которыми нѣсколько страдаютъ произведенія нашего поэта — преимущественно позднѣйшія — сравнительно съ поэтами, стоящими постоянно близко къ народу и сравнительно съ поэзіею самого народа.

Въ заключеніе я долженъ привести нѣсколько стихотвореній Некрасова, въ которыхъ нельзя не видѣть его самопризнаній; но при этомъ я долженъ еще разъ напомнить о томъ, что, когда поэтъ говоритъ отъ своего лица, говоритъ: *я*, слѣдуетъ читать—*мы*. Видѣть въ его признаніяхъ только личную его исповѣдь мы не имѣемъ никакого права,—это вмѣстѣ съ тѣмъ исповѣдь всего общества, исповѣдь цѣлаго поколѣнія. Я разумѣю, вопервыхъ, стихотвореніе подъ названіемъ «Рыцарь на часъ», находящееся въ непосредственной связи съ стихотвореніемъ «Поэтъ и Гражданинъ». Тамъ поэтъ на призывъ гражданина отвѣчаетъ смиреннымъ признаніемъ, что онъ считаетъ себя неспособнымъ на службу общественную;—здѣсь мы видимъ цѣлую исповѣдь поэта, исповѣдь передъ тѣнью его матери, которая такъ часто, какъ мы уже знаемъ, и съ такою любовью упоминается у него. Но изъ-за этой матери какъ-бы виднѣется тутъ и другая мать — родина, и поэтъ нашъ кается передъ той и другой:

Я кручину мою многолѣтнюю
На родимую грудь изолью,
Я тебѣ мою пѣсню послѣднюю,
Мою горькую пѣсню спою.
О прости! то не пѣснь утѣшенія—
Я заставлю страдать тебя вновь,
Но я гибну—и ради спасенія
Я твою призываю любовь!
Я пою тебѣ пѣснь покаянія,
Чтобы кроткія очи твои

Смыли жаркой слезою страданія
Всѣ позорныя пятна мои!
Чтобъ ту силу свободную, гордую,
Что въ мою заложила ты грудь,
Укрѣпила ты волею твердою
И на правый наставила путь.

Вспоминая о врагахъ, которые радуются пятнамъ на его совѣсти и указываютъ на нихъ рукою, поэтъ продолжаетъ:

Что враги? пусть клевещутъ язвительнѣй—
Я пощады у нихъ не прошу;
Не придумать имъ казни мучительнѣй
Той, которую въ сердцѣ ношу!
. . . . . .
Выводи на дорогу тернистую.
Разучился ходить я по ней,
Погрузился я въ тину нечистую
Мелкихъ помысловъ, мелкихъ страстей.
Отъ ликующихъ, праздно болтающихъ,
Обагряющихъ руки въ крови
Уведи меня въ станъ погибающихъ
За великое дѣло любви!
Тотъ, чья жизнь безполезно разбилася,
Можетъ смертью еще доказать,
Что въ немъ сердце не робкое билося,
Что умѣлъ онъ любить...

Эти послѣдніе стихи напоминаютъ то Байроновское настроеніе, которое наконецъ довело великаго поэта до того, что онъ бросился въ борьбу за Греческую независимость, чтобы этимъ загладить множество пятенъ, накопившихся на немъ въ его короткую, но бурную жизнь. Но такое настроеніе въ стихотвореніи Некрасова является не на долго;—отсюда-то и заглавіе: «Рыцарь на часъ».

Все, что въ сердцѣ кипѣло, боролось,
Все лучъ блѣднаго утра спугнулъ,
И насмѣшливый внутренній голосъ
Злую пѣсню свою затянулъ:
„Покорись,—о ничтожное племя!
Неизбѣжной и горькой судьбѣ;—
Захватило васъ трудное время
Неготовыми къ трудной борьбѣ.

Вы еще не въ могилѣ—вы живы,
Но для дѣла вы мертвы давно,
Суждены вамъ благіе порывы,
Но свершить ничего не дано".

Этому мучительному признанію можетъ быть противопоставлено то, что̀ написано Некрасовымъ въ память такъ рано умершаго, близкаго къ нему отечественнаго писателя, отличавшагося другимъ закаломъ. Вотъ какъ обращается къ нему Некрасовъ:

Суровъ ты былъ, ты въ молодые годы
Умѣлъ разсудку страсти подчинять,
Училъ ты жить для славы, для свободы,
Но болѣе училъ ты умирать.
Сознательно мірскія наслажденья
Ты отвергалъ, ты чистоту хранилъ,
Ты жаждѣ сердца не далъ утолѣнья,
Какъ женщину, ты родину любилъ;
Свои труды, надежды, помышленья
Ты отдалъ ей; ты честныя сердца
Ей покорялъ...

Въ стихотвореніи, носящемъ названіе «Возвращеніе», поэтъ говоритъ опять отъ своего лица, т. е., на самомъ дѣлѣ, отъ лица цѣлаго поколѣнія. Онъ возвращается на родину, въ тѣ грустныя мѣста, гдѣ онъ родился, и которыя когда-то такъ сильно на него дѣйствовали; но что-же? Онъ сознается, что связь между нимъ и родиной почти порвана:

И вѣтеръ мнѣ гудѣлъ неумолимо:
Зачѣмъ ты здѣсь, изнѣженный поэтъ?
Чего отъ насъ ты хочешь? Мимо! мимо!
Ты намъ чужой, тебѣ здѣсь дѣла нѣтъ!

Вотъ что̀ слышится ему при этомъ напрасномъ возвратѣ!.. И самые, вслѣдъ затѣмъ доносящіеся до него звуки родимой пѣсни только поднимаютъ въ его душѣ безплодныя угрызенія совѣсти:

И пѣсню я услышалъ въ отдаленьи;—
Знакомая, она была горька,
Звучало въ ней безсильное томленье,
Безсильная и вялая тоска

Съ той пѣсней вновь въ душѣ зашевелилось,
О чемъ давно я позабылъ мечтать,
И проклялъ я то сердце, что̀ смутилось
Передъ борьбой—и отступило вспять!

Съ окончательною ясностью мысль эта выражена въ стихахъ, которые называются—«Неизвѣстному Другу, приславшему мнѣ стихотвореніе «Не можетъ быть». Поэтъ сначала оправдывается обстоятельствами:

На мнѣ года печальныхъ впечатлѣній
Оставили неизгладимый слѣдъ.
Какъ мало зналъ свободныхъ вдохновеній,
О родина, печальный твой поэтъ!
Какихъ преградъ не встрѣтилъ мимоходомъ
Съ своей угрюмой музой на пути.
За каплю крови общую съ народомъ
И малый трудъ въ заслугу мнѣ сочти!

Но вслѣдъ за оправданіями и указаньемъ своихъ заслугъ—вотъ и признанье въ винахъ:

Не торговалъ я лирой, но, бывало,
Когда̀ грозилъ неумолимый рокъ,
У лиры звукъ невѣрный исторгала
Моя рука... Давно я одинокъ...

Это одиночество служитъ поэту опять оправданьемъ во многомъ:

Тѣ жребіемъ постигнуты жестокимъ,
А тѣ прешли уже земной предѣлъ...
За то, что я остался одинокимъ,
Что я, друзей теряя съ каждымъ годомъ,
Встрѣчалъ враговъ все больше на пути—
За каплю крови общую съ народомъ
Прости меня, о родина, прости!

Мы видѣли, что, описывая свое печальное «Возвращеніе», Некрасовъ устами этой родины называетъ себя «изнѣженнымъ поэтомъ»; въ концѣ стихотворенія, которое должно было, по возможности, оправдать его передъ укоряющимъ другомъ, онъ говоритъ, обращаясь къ своему народу:

Я призванъ былъ воспѣть твои страданья,
Терпѣньемъ изумляющій народъ,

И бросить хоть единый лучь сознанья
На путь, которымъ Богъ тебя ведетъ;
Но, жизнь любя, къ ея минутнымъ благамъ
Прикованный привычкой и средой,
Я къ цѣли шелъ колеблющимся шагомъ,
Я для нея не жертвовалъ собой.

Тутъ уже прямо высказывается необходимость самопожертвованія, отреченья отъ жизненныхъ благъ. Но что̀ это? неужели запросъ на старый подвижническій идеалъ?— Да;—отжила вѣдь лишь та его сторона, которая когда-то заставляла людей удаляться въ пустыню для такъ-называемаго «спасенія *своей* души». Но никогда не должна отжить другая сторона этого идеала, заставляющая насъ умѣть отказываться отъ личныхъ наслажденій — не ради тѣмъ-большихъ наслажденій въ будущемъ, а ради вѣрнѣйшаго служенія обществу. Да, ради этого служенья всегда надо будетъ умѣть довести себя до того, чтобы всѣ приманки жизни: блескъ, роскошь, даже обыкновенныя, въ привычку обратившіяся, удобства могли быть поставлены ни во что̀, а цѣну для насъ сохранялъ только тотъ внутренній, никѣмъ неотъемлемый, міръ, о которомъ еще въ отдаленнѣйшей древности сказалъ мудрый: «все мое я ношу съ собою». Да, и теперь, и во вѣки вѣковъ только тотъ, кто будетъ имѣть право повторить это, т. е. оказаться закаленнымъ противъ всякихъ угрозъ и всякихъ искушеній, только тотъ и сможетъ стойко послужить правдѣ, вѣрно постоять за свою идею!

Повторяю еще разъ: въ стихахъ нашего поэта мы не имѣемъ ни малѣйшаго права видѣть исключительно его личную исповѣдь;—это исповѣдь цѣлаго поколѣнія. Но что̀ касается мольбы поэта о прощеніи, то повторить ее за нимъ съ надеждою на услышаніе можетъ, конечно, не всякій изъ насъ. Право на это имѣютъ только тѣ, которымъ по совѣсти можно признать за собой хоть что̀-нибудь общее съ народомъ. Да, только они могутъ повторить съ поэтомъ:

„За каплю крови общую съ народомъ
Всѣ, всѣ вины *намъ*, родина, прости“!

ЛЕКЦІЯ IX.

Щедринъ. „Губернскіе Очерки.“—„Сатиры въ прозѣ“.—„Невинные разсказы.“

Посвятивъ двѣ лекціи Некрасову, я старался въ нихъ откровенно выразить взглядъ свой на нашего первенствующаго поэта. Сопоставляя первый періодъ его поэтической дѣятельности со вторымъ, мнѣ приходилось во многихъ отношеніяхъ видѣть въ этомъ послѣднемъ повтореніе прежнихъ мотивовъ, при замѣтномъ ослабленіи поэтической силы, обнаруживающемся въ нѣкоторой искусственной напряженности, въ нѣкоторой, такъ-сказать, придуманности. Я старался, наконецъ, объяснить это ослабленіемъ связи между поэтомъ и народною жизнью. Послѣ всего, мною сказаннаго на основаніи многочисленныхъ выписокъ у поэта, каждый, мнѣ кажется, можетъ безъ особеннаго труда прійти къ заключенію о томъ, на сколько правды заключается въ тѣхъ словахъ, которыми закончилъ свою статью о Некрасовѣ А. Григорьевъ: «великая, но попорченная народная сила,—эта муза мести и печали». Но мы видѣли въ концѣ лекціи, что въ нѣкоторыхъ произведеніяхъ второго періода Некрасовъ обращается къ новымъ предметамъ и обращается съ самымъ блестящимъ успѣхомъ. Мы видѣли его обращеніе къ недавнему прошлому въ «Русскихъ Женщинахъ» и въ «Дѣдушкѣ»; мы любовались въ этихъ поэмахъ неослабленностью его поэтической силы, снова сказавшейся въ воспроизведеніи тѣхъ личностей прежняго поколѣнія, которыя пламенно желали того, что̀ совершилось у насъ на глазахъ и до чего лишь немногіе изъ нихъ дожили: освобожденья крестьянъ и другихъ явленій современной эпохи преобразованій.

Съ другой стороны, во-второмъ періодѣ у Некрасова болѣе развивается сатирическая струна. Она не могла не развиться именно подъ вліяніемъ этой эпохи, потому что каждая такая эпоха, выдвигающая новыя задачи, вызываетъ для ихъ рѣшенія и новыхъ людей, а вмѣсто того на вызовъ иногда откликаются люди прежніе,—«въ новые

мѣха», какъ выражается текстомъ Щедринъ, «вливается вино старое», и вотъ это-то противорѣчіе подаетъ поводъ къ смѣшному, вотъ отсюда-то и широкій просторъ для сатиры, этой непремѣнной спутницы всякой переходной поры. Какъ сатирикъ, Некрасовъ, затрогиваетъ многое, затрогиваемое и Щедринымъ, и мнѣ поэтому еще придется по-временамъ возвращаться къ нему отъ сатиръ Щедрина.

Но у этого послѣдняго есть и съ другой стороны нѣчто общее съ нашимъ поэтомъ, замѣчаемое преимущественно въ первомъ періодѣ Щедрина, томъ періодѣ, о которомъ и буду я говорить сегодня; я разумѣю теплое участіе Щедрина къ народной жизни, къ народному быту, порою доходящее въ этомъ первомъ періодѣ до настоящаго лиризма и обнаруживающее въ Щедринѣ пониманіе народа, иногда, можетъ быть, даже болѣе многостороннее, чѣмъ у Некрасова.

Къ этому періоду относятся прежде всего «Губернскіе Очерки», сразу обратившіе на себя вниманіе публики. Они находятся въ самой тѣсной связи съ Гоголевскими картинами провинціальной жизни; но Щедринъ въ значительной мѣрѣ раздвинулъ Гоголевскую рамку, включивъ въ свои «Губернскіе Очерки» также и личности изъ народа и посмотрѣвъ на нихъ не съ той только внѣшней стороны, съ какой смотрѣлъ на нихъ Гоголь, а съумѣвъ заглянуть имъ глубоко въ душу (въ этомъ отношеніи Щедринъ пошелъ по стопамъ другихъ писателей, появившихся послѣ Гоголя и въ этомъ смыслѣ далеко опередившихъ своего родоначальника). Остальные Щедринскіе типы представляютъ очень много общаго съ типами Гоголя, но они взяты изъ эпохи болѣе поздней, а потому и не могутъ не отличаться нѣкоторыми видоизмѣненіями. Хотя провинціальная наша жизнь развивалась медленно, но и въ провинцію отчасти уже заносилось вѣяніе кое-чего иного. Правда, пора, которую затрогиваетъ Щедринъ въ своихъ «Очеркахъ», это еще пора до-реформенная, — но это, такъ сказать, самый финалъ до-реформенной поры: провинція какъ будто-бы уже почуяла страхъ грядущихъ

вдали реформъ, этихъ новыхъ, еще неизвѣданныхъ «ревизоровъ». Щедринъ въ своихъ «очеркахъ» пытается какъ-бы подвести окончательные итоги нашей провинціальной жизни, всего, что̀ она приготовила или, лучше сказать— что̀ въ ней безсознательно накопилось къ началу этой знаменательной эпохи преобразованій.

Увы, оказалось, что итоги, подведенные Щедринымъ, не очень-то далеко ушли отъ Гоголевскихъ. Въ провинціальномъ мірѣ все еще не оказывается никакого понятія о человѣкѣ, *какъ человѣкѣ*; самъ по себѣ, какъ *личность*, онъ ничего не значитъ. Онъ получаетъ значеніе, и часто весьма большое, только смотря по тому, на какомъ онъ мѣстѣ сидитъ, или въ какомъ состояніи его карманъ;— вотъ единственныя два мѣрила достоинства человѣка. Ловкость въ пролѣзаніи впередъ и въ составленіи себѣ фортуны, не зависящая ни отъ ума, ни отъ трудолюбія, а главнымъ образомъ отъ такъ-называемаго «усердія», вотъ единственно нужная добродѣтель. Во всѣхъ этихъ Фейерахъ, Живоглотахъ, Порфиріяхъ Петровичахъ и т. д. мы видимъ лишь нѣсколько подновленныхъ Сквозниковъ-Дмухановскихъ, Держиморднъ и Чичиковыхъ. Только одинъ изъ Гоголевскихъ типовъ является въ значительной степени подновленнымъ въ «Губернскихъ Очеркахъ». Типъ этотъ тутъ принимаетъ уже совершенно другой отпечатокъ,—его уже коснулось то вѣяніе, которое предвѣщало такъ много новаго, — а именно оно коснулось Хлестаковскаго типа. Щедринъ понялъ въ широкомъ смыслѣ, что̀ вносится въ провинціальную жизнь заѣзжимъ столичнымъ чиновничествомъ. Его представители у Щедрина не оказываются уже такими пустыми, какъ Хлестаковъ, только со страху и принятый за ревизора; у Щедринскихъ *заѣзжихъ* чиновниковъ уже есть содержаніе или, лучше сказать, начинка. Они плотно набиты разными взглядами, разными болѣе или менѣе благими намѣреніями, но они оказываются по большей части людьми неумѣлыми: Щедринъ такъ ихъ и называетъ въ особой главѣ. Одинъ че-

ловѣкъ стараго покроя, далеко не лишенный смысла, говоритъ у него объ одномъ изъ такихъ чиновниковъ:

«Живого матеріалу они, сударь, не понимаютъ; имъ-бы все вотъ за книжкой, али еще пуще за разговорцемъ,— это ихнее поле; а какъ дойдетъ дѣло до того, чтобы пеньки считать,—у него вишь и ноженьки заболѣли!»

Кромѣ того, оказывается, что столичные просвѣтители провинціи, какъ замѣчаютъ люди стараго покроя, черезчуръ чистоплотны и брезгливы: «вишь ручки у тебя больно бѣлы, въ перчаткахъ ходишь, да носъ-отъ высоко задираешь, — ну и ходи въ перчаткахъ». Но это-бы еще ничего; а то нѣкоторые изъ этихъ людей въ своихъ бѣлыхъ перчаткахъ гнутъ преисправно другихъ въ дугу, перестраивая окружающее по своимъ кабинетнымъ соображеніямъ. «Совсѣмъ не съ того конца начинаете, взываетъ къ нимъ тотъ-же старый провинціальный дѣлецъ. По верхамъ-то не лазій, а держись больше около земли, около земства-то. А то пріѣдетъ это весь какъ пушка заряженный, да и стрѣляетъ въ насъ своею честностью и благонамѣренностью. Ты благодѣтельствуй намъ—слова нѣтъ!— да въ мѣру, сударь, въ мѣру, а не то вѣдь намъ и тошно, пожалуй, будетъ. Ты вотъ лучше поотпусти маленько, дай дохнуть-то,—можетъ она и пошла-бы, машина-то!»..

Эта сторона новаго типа особенно развита въ главѣ «*Озорники*»,—т. е. сторона «ломающая». — Но представители ея связаны со старымъ провинціальнымъ поколѣніемъ нѣкоторыми практическими стремленіями, напримѣръ, стремленіемъ къ удовольствіямъ жизни; на практикѣ эти люди — эпикурейцы. При такой практикѣ въ соединеніи съ такою теоріей трудно обойтись безъ нѣкоторыхъ постороннихъ пособій, — взятокъ однако они не берутъ! «Моя обязанность», говоритъ одинъ изъ нихъ — «только исчислить статьи: гоньба тамъ что-ли, дорожная повинность, рекрутство... Tout cela doit rapporter»... Онъ только держится основного правила, что «достоинъ дѣлатель мзды своея»,— а они-ли еще не дѣлатели?!

«Оглянитесь кругомъ себя», говоритъ одинъ изъ нихъ,

«все, что вы ни видите, все это плоды администраціи: областныя учрежденія — плодъ администраціи, община — плодъ администраціи, торговля — плодъ администраціи, фабричная промышленность—плодъ администраціи»...

И какую борьбу приходится выносить этой общей благодѣтельницѣ съ тупой массой, съ грубымъ мужичьемъ: ils sont encore bien loin de pouvoir jouir des bienfaits de la civilisation»—говоритъ о народѣ одинъ изъ такихъ провинціальныхъ администраторовъ.

Но надворный совѣтникъ Щедринъ отъ этихъ просвѣтителей въ бѣлыхъ перчаткахъ обращается прямо къ этимъ простымъ людямъ, не дозрѣвшимъ до цивилизаціи. Онъ рѣшается даже прямо изъ губернскаго салона перевести насъ въ губернскій острогъ. Тутъ мы у него видимъ въ сущности тѣ-же черты, которыя развиты у Достоевскаго въ «Запискахъ изъ Мертваго Дома». Оба они судили на основаніи опыта, только Достоевскій, конечно, могъ еще глубже судить, потому что дольше и ближе могъ наблюдать. Но у Щедрина эти сцены въ острогѣ имѣютъ особенное значеніе именно потому, что онъ переводитъ туда читателя прямо изъ губернскихъ салоновъ. Оказывается, что многіе попадаютъ въ острогъ просто по недоразумѣнію; другіе — вслѣдствіе преступленій, объясняемыхъ тою нравственною и умственною неразвитостью, при которой человѣкъ, долго забиваемый, можетъ вдругъ, въ одну минуту, потерять терпѣніе и дать просторъ своей силѣ уже безъ всякаго удержу. Возможность такого быстраго перехода человѣка неразвитого и неблагопріятно-поставленнаго въ жизни къ величайшимъ преступленіямъ одинаково ясно показана у Достоевскаго и у Щедрина; но у послѣдняго особенно поражаетъ то, что усматриваемые имъ, какъ и Достоевскимъ, остатки человѣческихъ чувствъ въ этихъ людяхъ самымъ выгоднымъ для нихъ образомъ могутъ быть сопоставлены съ нравственными качествами Живоглотовъ, Фейеровъ и Порфиріевъ Петровичей... Въ этихъ послѣднихъ, которые такъ благополучно преуспѣваютъ на служебно-пріобрѣтательскомъ и просто пріобрѣтательскомъ

*

поприщѣ (и всѣ пожимаютъ имъ руки, потому что они отличаются такою степенною благовидностью) — въ нихъ человѣческаго сохранилось гораздо менѣе. Подъ эгидою порядка, подъ красивой личиной благонамѣренности, люди эти систематически совершали такіе поступки, которые своею сплошною безнравственностью едва-ли не оставляли далеко за собою многихъ острожниковъ съ ихъ часто только случайными преступленіями. Итакъ, вотъ какое значеніе получаетъ у Щедрина этотъ переходъ съ читателемъ изъ салона въ острогъ.

Въ числѣ острожнаго населенія попадаются у него и люди «стараго благочестія»; Щедринъ посвящаетъ имъ даже особыя главы. Въ этихъ главахъ много интереснаго, но время не позволяетъ на нихъ останавливаться. Замѣчу только мимоходомъ, что, по отношенію къ этому предмету, наши писатели часто забываютъ о безотвѣтности тѣхъ людей, которыхъ они тутъ выводятъ на сцену. Людямъ «стараго благочестія» было-бы трудно открыто и всенародно имъ отвѣчать. Изъ ряда другихъ писателей о расколѣ выдѣляется Печерскій, который смотритъ на дѣло— не съ одной только стороны *). Что̀ касается Щедрина, то онъ выставляетъ множество безнравственныхъ явленій, внѣдрившихся въ жизнь людей «стараго благочестія»,— но тутъ мы находимъ у него одинъ реализмъ, не обнаруживающій причинъ, не объясняющій — откуда все это взялось; къ тому-же упускаются изъ виду сочувственныя *бытовыя* черты, которыя несомнѣнно встрѣчаются въ той-же раскольничьей средѣ.

Щедринъ затѣмъ переходитъ прямо къ народной массѣ и выдѣляетъ изъ нея цѣлый рядъ своеобразныхъ личностей—въ главѣ: «Богомольцы и Странники». Особенно ярко обрисована у него личность отставного солдата Пименова, который заканчиваетъ свою жизнь, совершая не первое уже путешествіе ко святымъ мѣстамъ. Какъ сочувственно отличается эта личность, напримѣръ, отъ того

*) Выше говорено объ этомъ по поводу его разсказа: „Въ Лѣсахъ“.

шисаря, который такъ пошло смѣется надъ невѣжествомъ Пименова! Но отставной солдатъ Щедрина не менѣе рѣзко отличается и ото всѣхъ вообще представителей провинціальнаго «образованнаго» класса — тѣмъ, что у него мы видимъ цѣлое, вполнѣ сложившееся, хотя и простодушное, міросозерцаніе, тогда какъ у нихъ, по вѣрному замѣчанію Добролюбова, мы въ сущности не находимъ никакихъ основныхъ воззрѣній. Своеобразное міросозерцаніе Пименова сложилось изъ особыхъ условій народной жизни,— составляя какъ-бы ея особаго рода идеализацію *). Въ томъ, что̀ составляетъ на самомъ дѣлѣ тяготу этой жизни, народъ готовъ видѣть ея преимущество. Мы знаемъ, что народъ бѣденъ, но эта-то самая бѣдность и является съ извѣстной точки зрѣнія большимъ преимуществомъ, — заслугою передъ Богомъ. Народъ и въ другомъ смыслѣ бѣденъ—онъ нищъ духомъ, — но это опять только новое преимущество: именно нищихъ духомъ и возвеличиваетъ Господь, имъ-то и открываетъ онъ то, что̀ скрыто Имъ отъ мудрыхъ. Народъ сознаетъ и то, какъ легко онъ доходитъ до преступленія; но даже и въ этомъ готовъ онъ найти едвали опять не существенное преимущество. Люди, впадающіе въ преступленія, — они вѣдь «несчастные», а такихъ несчастныхъ особенно взыскиваетъ Божіе милосердіе: стоитъ только покаяться — и изъ преступниковъ они могутъ съ тою-же быстротой, съ какою дошли они до этого состоянія, обратиться въ подвижниковъ. «Извѣстно, что наказаніе разбойнику слѣдуетъ, — говоритъ Пименовъ,—однако, если человѣкъ самъ свое прежнее непотребство восчувствовалъ, такъ наврядъ и палачъ его столько наказать можетъ, сколько онъ самъ себя изнуритъ и накажетъ. Наказаніе, ваше благородіе, не спасаетъ, а собственная своя воля спасаетъ».

Едвали-бы что нибудь подобное была въ состояніи вы-

---

*) Само по себѣ *странничество* было у насъ явленіемъ прививнымъ, заноснымъ (см. выше стр. 132), но, по особымъ бытовымъ обстоятельствамъ, оно крѣпко къ намъ привилось и *обнародилось*.

сказать провинціальная важная дама, Дарья Михайловна, для прохода которой расталкиваютъ толпу въ церкви, — или-же тотъ, весь ушедшій въ свой туго набитый карманъ, откупщикъ Хрептюгинъ, для серебрянаго самовара котораго отнимаютъ воду у бѣдныхъ странницъ, раздѣляющихъ воззрѣніе Пименова. Если у г. Хрептюгина и есть какое-нибудь міровоззрѣніе, то оно состоитъ развѣ въ томъ, что онъ, со своими милліонами, могъ-бы взять на откупъ и царство небесное; такъ точно какъ если у генеральши Дарьи Михайловны и есть какая-нибудь религіозность, то она состоитъ развѣ въ томъ, чтобы по праздникамъ, въ модномъ своемъ нарядѣ, дѣлать форменные визиты и самому Господу! На такого рода различіе въ понятіяхъ губернскихъ тузовъ съ одной, и простыхъ богомольцевъ съ другой стороны первый обратилъ вниманіе Добролюбовъ въ своей статьѣ о «Губернскихъ Очеркахъ». Вспомнимъ, что онъ говоритъ вообще объ отношеніяхъ Щедрина къ народу:

«Сочувствіе къ неиспорченному простому классу народа, какъ и ко всему свѣжему, здоровому въ Россіи, выражается у Щедрина чрезвычайно живо... Мы думаемъ, что самый эстетическій, самый восторженный человѣкъ можетъ отдохнуть на общей картинѣ богомольцевъ и странниковъ, ожидающихъ на соборной площади появленія святыхъ иконъ. Тутъ нѣтъ сентиментальничанья и ложной идеализаціи: народъ является, какъ есть, со своими недостатками, грубостью, неразвитостью..... Какъ ровно, безпорывисто, но зато какъ беззавѣтно, просто и открыто выражается глубокое чувство, глубокая вѣра этого народа, и выражается не въ восклицаніяхъ, а на дѣлѣ..... Масса.... не любитъ много говорить, не щеголяетъ своими страданіями и печалями и часто даже сама ихъ не понимаетъ хорошенько. Но ужъ зато если пойметъ что-нибудь этотъ «міръ» толковый и дѣльный, если скажетъ свое простое, изъ жизни вышедшее слово, то крѣпко будетъ его слово, и сдѣлаетъ онъ, что обѣщалъ».

Говоря это, Добролюбовъ противополагалъ людей изъ

народа,—не мастеровъ на *слова*, — тѣмъ людямъ, у которыхъ все состоитъ въ одномъ говореніи, въ одномъ сплетеніи красивыхъ фразъ — съ цѣлью порисоваться. Такіе люди *слова*, а не *дѣла* являются у Щедрина въ особой главѣ, озаглавленной «*Талантливыя Натуры*»; но всѣ эти Лузгины, Корепановы, Горехвастовы,—все это только видоизмѣненіе уже не разъ намъ встрѣчавшагося типа *лишнихъ людей;* это тѣ-же Гамлеты Щигровскаго уѣзда, Рудины и Обломовы,—Обломовы въ томъ широкомъ смыслѣ, въ какомъ понималъ этотъ типъ тотъ-же критикъ. Щедринъ называетъ ихъ людьми *талантливыми*, но вся ихъ талантливость состоитъ въ томъ, что они стремятся къ широкимъ задачамъ,—эта талантливость главнымъ образомъ существуетъ въ ихъ воображеніи. Они рвутся къ чему-то высокому, но въ результатѣ оказывается, что, не будучи въ силахъ достигнуть его и гнушаясь близкимъ и малымъ, они въ концѣ концовъ ничего не дѣлаютъ или впадаютъ въ безобразный разгулъ. Эти талантливыя натуры, выведенныя Щедринымъ, подробно разобраны Добролюбовымъ, а потому мнѣ и не зачѣмъ на нихъ останавливаться; но почему этотъ типъ такъ часто появляется у нашихъ писателей? Многіе объясняли его (а вмѣстѣ съ другими и я) той — *барской средой*, въ которой выросли эти господа и которая, не пріучивъ ихъ къ работѣ, заставляетъ ихъ отлынивать отъ *прямого* дѣла ради *воображаемаго*. Но однимъ этимъ нельзя всего объяснить, тѣмъ болѣе, что такъ-называемыя *талантливыя натуры*—онѣ-же и *лишніе люди*, — выходятъ и не изъ барской среды. Не объясняются-ли онѣ отчасти и той широтой нашей натуры, о которой такъ много было говорено, но которая остается чѣмъ-то неопредѣленнымъ? Можетъ быть нѣкоторые изъ этихъ людей дѣйствительно потому облѣниваются или прокучиваются, что имъ-бы хотѣлось дѣйствовать на широкомъ просторѣ, а жизнь ихъ связываетъ по рукамъ и по ногамъ?

Въ упомянутомъ мною выше произведеніи Печерскаго—«Въ Лѣсахъ», мы видѣли удовлетворительное объяс-

неніе стараго историческаго явленія — перехода въ казачество столькихъ людей изъ народа: не свыкаясь со стѣсненіями позднѣйшей поры, они видѣли въ казацкомъ житьѣ-бытьѣ вѣрное убѣжище для своихъ свободныхъ привычекъ. Не уходятъ-ли и наши новѣйшія *талантливыя натуры*, за неимѣніемъ уже на лицо готовой свободной среды, въ воображаемую, подъ вліяньемъ присущаго, можетъ быть, нашей природѣ желанія развернуться пошире; но, усматривая наконецъ безплодность своей мечтательной дѣятельности, впадаютъ въ разгулъ или въ праздность—съ отчаянія?

Но у насъ однакоже наступила пора, приближеніе которой только чувствуется въ «Губернскихъ Очеркахъ», а уже осязательно проявляется въ дальнѣйшихъ произведеніяхъ Щедрина,—пора преобразованій, и вотъ тутъ-то, казалось-бы, этимъ широкимъ натурамъ представлялась возможность проявить свои силы. Но что-же мы видимъ у Щедрина? Выставляетъ-ли онъ свои *талантливыя натуры* принимающимися за ту болѣе или менѣе широкую дѣятельность, которая стала въ эту эпоху возможною до извѣстной степени? Нѣтъ, онъ не перенесъ этого типа изъ «Губернскихъ Очерковъ» въ свои позднѣйшія произведенія, стало быть не нашелъ возможности выставить его въ обновленномъ видѣ. Мало того, въ своихъ «Сатирахъ въ Прозѣ» онъ даже прямо говоритъ: «мнѣ всегда казалось, что истиннымъ насадителемъ конфуза былъ почтенный нашъ писатель И. С. Тургеневъ, который еще въ сороковыхъ годахъ предрекалъ его господство своими Рудиными и Гамлетами Щигровскаго уѣзда». Подъ «конфузомъ», какъ извѣстно, у Щедрина разумѣется извѣстная сторона нашей эпохи возрожденія: она *сконфузила* многихъ рѣшительно неготовыхъ къ ней, застигнутыхъ ею въ расплохъ. И эта-то эпоха конфуза, по мнѣнію Щедрина, была предсказана Тургеневымъ, предвѣстниками конфуза являлись Рудины и Гамлеты Щигровскаго уѣзда, т. е. Щедринъ находитъ, что и подобнымъ талант-

ливымъ натурамъ пришлось бы *сконфузиться*, на настоящее дѣло ихъ-бы никакъ не хватило.

Но мы должны вообще обратить вниманіе на дальнѣйшія отношенія Щедрина къ эпохѣ нашего возрожденія, въ которой Щедринъ главнымъ образомъ видитъ именно только *конфузъ*. Конечно, какъ сатирикъ, онъ имѣетъ право налегать преимущественно на уродливыя стороны современныхъ явленій. Но едвали и сатирику позволительно почти вовсе не видѣть другой стороны,—не замѣчать того, что многое однако же у насъ принялось,—стало быть, не было-же у насъ окончательнаго безлюдья. Между тѣмъ Щедринъ исключительно занятъ тѣмъ, что «глуповцамъ» вдругъ пришлось превращаться въ «умновцевъ»,—а это, разумѣется, трудно. Зато *эта* именно сторона эпохи нашего возрожденія выставлена имъ мастерски. Какъ смѣшонъ у него конфузъ, сказавшійся въ помѣщичьемъ классѣ. Озабоченные крѣпостники вывѣдывали, узнавали, дѣйствительно-ли вѣренъ слухъ,—скоро-ли это будетъ? «Ну, да не скоро,—Улита ѣдетъ, когда-то будетъ», утѣшали они себя. Улита однако-же пріѣхала и конфузъ сдѣлался окончательнымъ. Госпожѣ Падейковой (Сатиры въ Прозѣ) съ одной стороны, Кондратію Трифоновичу (Невинные Разсказы) съ другой—представляется, что окружающіе ихъ слуги и служанки уже чуютъ пріѣздъ Улиты и потому на каждомъ шагу дѣлаютъ имъ непріятныя демонстраціи. Но Кондратій Трифоновичъ находитъ въ этомъ нѣкоторое препровожденіе времени, это нѣсколько наполняетъ обычную пустоту его барскаго житья сложа руки.

Съ тѣхъ поръ, какъ онъ прочиталъ въ газетѣ, что есть на свѣтѣ какой-то «сословный антагонизмъ», эта мысль не даетъ ему покоя. «Онъ вообразилъ себѣ, что онъ одна сторона, а слуга его—другая, и что они должны бороться». «Съ тѣхъ поръ, какъ завелось превосходство вольнонаемнаго труда надъ обязательнымъ, съ тѣхъ поръ, какъ съ другой стороны опекунскій совѣтъ заперъ свои гостепріимныя двери,—глуповскія вести уныли и запустѣли». Идея антагонизма ихъ нѣсколько подняла, разбудила.

Вскорѣ затѣмъ они нашли и другой, болѣе широкій жизненный интересъ,—пошли толки объ Англійскомъ «Selfgovernment», а затѣмъ — о возможности соединить его съ «libre initiative des poméschiks». «Въ этомъ видѣли вознагражденіе за свои утраты. Вотъ какимъ благопріятнымъ образомъ наконецъ разрѣшился конфузъ въ помѣщичьей сферѣ. Но не менѣе ясно сказался онъ и въ другой,—въ сферѣ городничихъ и другихъ имъ подобныхъ служебныхъ лицъ. Долгъ службы, разсчетъ на награды заставилъ всѣхъ этихъ людей, почуявшихъ въ воздухѣ новое вѣяніе, выставить себя съ либерально-преобразовательской стороны; этимъ можно было выслужиться, за это можно было получить награду. И вотъ различные глуповскіе городничіе и исправники начинаютъ прикидываться передовыми людьми. Вслѣдствіе этого совершается въ самыхъ широкихъ размѣрахъ возрожденіе Гоголевскаго Хлестакова. «Россіяне», говоритъ Щедринъ, такъ изолгались въ какіе-нибудь пять лѣтъ времени, что рѣшительно ничего нельзя было понять въ этой всеобщей Хлестаковщинѣ». Но новымъ Хлестаковымъ по-временамъ однакоже становилось жутко,—трудно было выдерживать непривычную для нихъ роль. «Ma chére», не разъ говаривалъ генералъ Зубатовъ своей супругѣ, «это возрожденіе—чортъ его знаетъ, что̀ это такое!—«Pourvu que tu conserves ta place, mon ami»,—благодушно и успокоительно отвѣтствовала ему Анна Ивановна. Но для сбереженія себѣ мѣста нужно было продолжать такимъ образомъ хлестаковствовать! Щедринъ разсказываетъ объ этомъ подробно въ особомъ разсказѣ: «Генералъ Зубатовъ» (Невинные Разсказы). Этотъ почтенный администраторъ, строя различные проэкты для благоденствія своего города, сходитъ на нихъ съ ума. Другіе напротивъ выходятъ изъ конфуза такъ-же благополучно, какъ и помѣщики. Они догадываются, что прежде всего «нужно поспѣшить заявленіемъ своей готовности, а потомъ... а потомъ можно будетъ оставить все попрежнему». И вотъ, слѣдя за «Губернскими Очерками», за «Сатирами въ Прозѣ» и за «Невинными Разсказами», мы все болѣе и болѣе убѣж-

даемся въ томъ, что глуповскіе заправщики окончательно успокаиваются и торжественно поютъ хоромъ—«возродимся! возродимся!» Но рѣчи либеральнаго свойства говорятся ими попрежнему, только въ хвостикѣ появляются слова въ родѣ: постепенность, осторожность (ими же оканчиваются и нѣкоторые куплеты Некрасовскихъ «Пѣсень о Свободномъ Словѣ»), такъ-что кончикъ рѣчи уничтожаетъ ея начало, а говорить продолжаютъ, и говорятъ долго. Говорятъ смѣло и либерально даже Ноздревы! «Ты-ли это, mon cher,—спрашиваетъ надворный совѣтникъ Щедринъ одного изъ нихъ; если это ты, то почему ты смотришь такимъ Лафайэтомъ?.. Или, по мѣстнымъ обстоятельствамъ, тебѣ выгоднѣе быть Лафайэтомъ, нежели прежнимъ сорви-головой Ноздревымъ?» Но далѣе является и объясненіе: «всѣ эти рекламы либерализма не больше, какъ прыщи, которыми разрѣшилось долго сдерживаемое умственное глуповское худосочіе». Итакъ, заведенная разъ либеральная *говорильня* продолжаетъ дѣйствовать. «Нѣтъ возможности», замѣчаетъ Щедринъ, «предпринять самое простое дѣйствіе—сшить себѣ новое платье, купить фунтъ икры и т. п., чтобы дѣйствія этого не подсмотрѣлъ мѣстный бардъ и тутъ-же безцеремонно не выразилъ, что «чѣмъ икру-то пожирать, лучше-бы эти деньги на воскресную школу пожертвовать».

Но не замѣчаете-ли вы, что тутъ уже тонъ Щедрина начинаетъ переходить въ тотъ тонъ, который мы слышали во «Взбаломученномъ Морѣ», или даже въ «Некуда»? Однакоже далѣе нашъ сатирикъ обнаруживаетъ отличіе своего взгляда, успокоивая, кого слѣдуетъ, тѣмъ, что эти либеральныя говорильни совершенно благонамѣренны. Говорить разрѣшено,—отсюда умозаключеніе: говорить велѣно. Сущность взгляда, выраженнаго въ «Сатирахъ въ Прозѣ» и въ «Невинныхъ Разсказахъ», та, что преобразованія вдругъ какъ-будто упали къ намъ съ неба, что общество было застигнуто ими въ расплохъ, а отсюда и либеральная ложь.—Гр. Л. Н. Толстой въ своей хроникѣ «Война и Миръ» выставляетъ насъ неготовыми къ великимъ собы-

тіямъ 12-го года. Щедринъ обнаруживаетъ такую-же нашу неподготовленность въ другую замѣчательную эпоху,—въ ту эпоху, когда мы, послѣ несчастной Восточной войны, почувствовали, что многое должно быть у насъ перестроено. Но Толстой въ своей хроникѣ,—можно принимать его объясненіе или нѣтъ,—по-своему умѣлъ показать, что̀ однакоже вывезло насъ въ 12-мъ году. Щедринъ въ тѣхъ произведеніяхъ, о которыхъ я теперь говорю, какъ-бы вовсе не обращаетъ вниманія на то, что великія преобразованія: крестьянское, земское и судебное однакоже совершились, что многое принялось,—такъ-ли прочно, какъ надо, другой вопросъ!—но все-таки принялось: значитъ могло приняться, значитъ—были-же у насъ кое-какіе дѣятели. Эту дѣльную сторону нашего возрожденія онъ оставляетъ почти безъ вниманія, опредѣляя эту эпоху однимъ «конфузомъ». Но въ такомъ случаѣ нельзя не сознаться, что сатира у него получаетъ характеръ просто трагическій. Если въ самомъ дѣлѣ у насъ оказалась такая окончательная несостоятельность, то есть чего ужаснуться! Послѣ этого странною представляется статья Писарева о Щедринѣ, носящая названіе: «Цвѣты Невиннаго Юмора». Въ этой статьѣ, какъ видно уже по заглавію, сатира Щедрина характеризуется какъ *смѣхъ ради смѣха*. Критикъ въ пылу увлеченія доходитъ до того, что совѣтуетъ Щедрину совершенно бросить сатиру и сдѣлаться популяризаторомъ естествознанія. Но какъ это ни странно, въ той-же самой статьѣ Писарева встрѣчается одно чрезвычайно вѣрное и глубокое замѣчаніе по поводу одного мѣста въ Щедринскихъ «Сатирахъ въ Прозѣ», а именно того эпизода изъ политической исторіи Глупова, когда его осчастливливаетъ посѣщеніе благодѣтельной богини Минервы.

«Созвала Минерва вѣрныхъ своихъ глуповцевъ: «скажите дескать мнѣ, какая это крѣпкая дума въ васъ засѣла?» Но глуповцы кланялись и потѣли; самый, что̀ называется, горланъ ихній хотѣлъ было сказать, что глуповцы головой скорбны, но не осмѣлился, а только взопрѣлъ пуще прочихъ. «Скажите, что̀-жъ вы желали-бы?»

настаивала Минерва, но глуповцы продолжали кланяться и потѣть. Тогда, Богъ вѣсть откуда, раздался голосъ, который во всеуслышаніе произнесъ: «лихо-бы теперь соснуть было!» Минерва милостиво улыбнулась; даже глуповцы не выдержали и засмѣялись тѣмъ нутрянымъ смѣхомъ, которымъ долженъ смѣяться Иванушка-дурачекъ, когда ему кукишъ показываютъ. Съ тѣхъ поръ и не тревожили глуповцевъ вопросами».

Критикъ совершенно вѣрно, какъ я понимаю, выводитъ изъ этой сказочки Щедрина особую философію исторіи, популярно имъ изложенную. Эта Щедринская философія исторіи, по мнѣнію критика, приводится къ слѣдующимъ двумъ пунктамъ: «1) вся мудрость заключалась въ головѣ Минервы, а глуповцы всегда умѣли только потѣть, кланяться и смѣяться нутрянымъ смѣхомъ... 2) Минерва отличалась безконечною благостью и отъ души готова была даровать глуповцамъ рѣшительно все, чего-бы они ни попросили, и, слѣдовательно, глуповцы сами во всемъ виноваты».

Съ такой философіей исторіи, нельзя не сознаться, можно зайти въ препорядочную глушь. По другой философіи исторіи дѣло можетъ представиться совершенно иначе. Она можетъ быть иносказательно выражена слѣдующей сказочкой.

Минерва обратилась къ глуповцамъ, разсчитывая на то, что они окончательно *глуповцы;* но глуповцы могли оказаться болѣе *умновцами*, чѣмъ она предполагала, они могли найтись сказать, что̀ имъ нужно; потому что въ самомъ дѣлѣ нужно быть уже очень глупыми, чтобы вовсе не понимать этого. Минерва увидѣла, что она ошиблась въ глуповцахъ, и, руководимая своей миѳологической завистью къ людскому благополучію (извѣстно, что боги древнихъ отличались подобнаго рода завистью, не охотно что̀-либо удѣляли людямъ), могла отказать имъ въ удовлетвореніи ихъ желанія: «слишкомъ, молъ, многаго захотѣли!» Я не настаиваю на такой философіи исторіи, но думаю, что слишкомъ много говоритъ о сплошной глупости

того идеальнаго города, который рисуетъ Щедринъ, едвали полезно. Вѣдь это можетъ, пожалуй, привести къ выводу: «да не махнуть-ли рукой на Глуповъ?» А при такомъ выводѣ, всякаго, кто бы захотѣлъ что-нибудь сочинить въ пользу Глупова, пришлось бы остановить: «полно тебѣ попусту хлопотать—поставь поскорѣе точку!»

Съ огульнымъ осужденіемъ цѣлаго Глупова трудно какъ-то помирить у Щедрина нѣкоторыя теплыя страницы, попадающіяся въ «Невинныхъ Разсказахъ». Тутъ онъ, между прочимъ, обращается къ глуповскимъ Иванушкамъ (понимая подъ ними личности изъ *народа*). Надо замѣтить, что эти теплые разсказы вовсе не оцѣнены Писаревымъ; напротивъ, они имъ осмѣяны. Этой участи не избѣгъ и прелестный разсказъ «Миша и Ваня», въ которомъ съ такою глубокою психологическою правдою выставлены два мальчика, доведенные до отчаянія обращеніемъ съ ними помѣщицы. Писаревъ находилъ излишнимъ нападать на то, что уже было упразднено (разсказъ написанъ всего два года спустя послѣ 19 февраля 1861 г.); но онъ забылъ, что слѣды крѣпостного права еще оставались, да и теперь еще остаются, въ нашихъ *нравахъ*. На всякаго, приступающаго къ чтенію этого разсказа безъ заранѣе составившагося взгляда, самое сильное дѣйствіе производитъ мастерское описаніе психическаго состоянія этихъ двухъ мальчиковъ, которые одни, далеко за-полночь, ждутъ возвращенія съ балу своей злой барыни: воображеніе все болѣе и болѣе разыгрывается у нихъ, особливо у одного, одареннаго артистическимъ темпераментомъ, и мало-по-малу приводитъ *дѣтей* къ вопросу о томъ, какую смерть выбрать? Впрочемъ, какую ни выбирай, а исходъ одинъ: «бить не будутъ! Возьмутъ твою душу ангелы и понесутъ къ престолу Божьему!—А Богъ—ничего?—А Богъ спроситъ: зачѣмъ вы, рабы Божіи, предѣла не дождались? Зачѣмъ, скажетъ, вы смертную муку безо времени приняли? А мы ему все и скажемъ!..» Странное дѣло! Писаревъ находитъ эту тему устарѣлою. А развѣ газеты не приносятъ намъ и теперь извѣстій о самоубійствѣ дѣтей? Такъ

не значитъ-ли это, что и безъ крѣпостного права возможно даже для нихъ положеніе,—ну, какое же? Да ужъ, разумѣется, не хорошее, если и теперешнимъ дѣтямъ, какъ Мишѣ и Ванѣ у Щедрина, приходитъ охота рѣзаться или топиться. Крѣпостного права уже нѣтъ, но есть *нужда*, есть... мало ли что̀ еще, дѣлающее человѣка чуть-чуть что не крѣпостнымъ. Писаревъ, можетъ быть, правъ только относительно двухъ заключительныхъ обращеній Щедрина—къ барынѣ Миши и Вани и къ «землѣ-матери»: въ этихъ обращеніяхъ, особливо въ послѣднемъ, дѣйствительно нѣсколько проглядываетъ риторика. Въ цѣломъ же, разсказъ проникнутъ самою неподдѣльною теплотой. Тѣмъ же отличается въ той же книгѣ и другой разсказъ—«Святочный», въ которомъ выводится только-что попавшій въ рекруты Петруня (онъ напоминаетъ Матюшу въ Губернскихъ Очеркахъ), въ послѣдній разъ справляющій праздничный рождественскій пиръ въ своей семьѣ. Здѣсь рѣшительно не узнаешь сатирика,—онъ исчезаетъ въ разсказѣ, исполненномъ такого нѣжнаго участія къ семейному горю этихъ простыхъ людей. Сатиризмъ, повидимому, снова сказывается при появленіи на сцену, въ видѣ контраста, шутника Абессаломова, но и тутъ самъ авторъ намъ говоритъ: «Несмотря на грубо-комическій колоритъ разсказа (т. е. разсказа Абессаломова), видно было, что весь тонъ его фальшивый и что за нимъ слышится нѣчто до того похожее на страданіе, что невозможно и непозволительно было увлечься этою мнимою веселостью... День мой былъ окончательно испорченъ.»

Въ «Развеселомъ Житьѣ» Щедринъ съ участіемъ рисуетъ картину жизни бѣглыхъ людей (въ кругъ которыхъ долженъ попасть и Петруня) и рисуетъ такъ, что изъ этого мы можемъ вывести заключеніе противъ самого Щедрина, заключеніе такого рода, что не всѣ глуповцы—«Иванушки», что не всѣ они «смирные»,—есть между ними и «хищные» (я опять употребляю терминологію Ап. Григорьева). Съ такими разсказами трудно примирить то, что̀ говоритъ Щедринъ о какомъ-то сплошномъ отупѣніи,

сплошномъ молчаніи всего Глупова. А какое сочувствіе народу слышится въ слѣдующихъ словахъ Щедрина въ концѣ разсказа о рекрутѣ Петрунѣ: «Казалось бы, что̀ общаго между мной и этой случайно встрѣченной мною семьей; какое тайное звено можетъ соединить насъ другъ съ другомъ? И между тѣмъ я несомнѣнно сознавалъ присутствіе этой связи, я несомнѣнно ощущалъ, что въ сердцѣ моемъ таится невидимая, но горячая струя, которая, безъ вѣдома для меня самого, пріобщаетъ меня къ первоначальнымъ и вѣчно бьющимъ источникамъ народной жизни.» Какъ примирить подобное мѣсто съ тѣми мѣстами въ «Сатирахъ въ Прозѣ», гдѣ *меньшіе* глуповцы являются «Иванушками», т. е. очевидно «Иванушками-*дурачками*»,— гдѣ говорится съ такой жолчью объ этой «грубой *толпѣ*, которая изъ-за куска насущнаго хлѣба потѣла и выбивалась изъ силъ, вскидывая вилами навозъ на телѣги и потомъ раскидывая его по полямъ?» Или, можетъ быть, слово «Глуповъ» не слѣдуетъ принимать въ такомъ значеніи, какъ его принимаютъ многіе? Можетъ быть, это просто какая-нибудь провинціальная глушь, или просто нѣсколько провинціальныхъ мѣстъ, сведенныхъ въ одно? А «Исторія одного Города»? Ее, къ сожалѣнію, никакъ уже нельзя отнести къ одному какому-нибудь глухому мѣсту; она, очевидно, претендуетъ на значенье весьма широкое. Но «Исторія одного Города» у насъ еще впереди; она принадлежитъ ко второму періоду Щедринской сатиры. Въ этомъ второмъ періодѣ, къ которому перейду я въ слѣдующій разъ, мы увидимъ у него сатирическое воспроизведеніе той поры, когда различнаго рода Зубатовы и имъ подобные стали употреблять удесятеренныя усилія, чтобы возродить въ новомъ видѣ прежнія времена. Этотъ второй періодъ, безъ сомнѣнія, самый важный у Щедрина, какъ сатирика. Въ первомъ періодѣ у него особенно хороши очерки изъ народнаго быта, имѣя же въ виду собственно сатирическую сторону, нельзя окончательно не сказать, что тутъ слишкомъ большое значеніе придается «конфузу»,

если сатирикъ дѣйствительно думаетъ обнять этимъ терминомъ главныя явленія эпохи нашего *возрожденія*.

Некрасовъ, въ одномъ изъ своихъ произведеній послѣдней поры, отнесся къ этой эпохѣ глубже, многостороннѣе. Я разумѣю стихотвореніе «Недавнее Время», относящееся къ 1871 году. Вспомните, какъ онъ обращается тутъ къ этому недавнему прошлому:

„Благодатное время надеждъ!
Да, прошедшимъ и ты уже стало!
Къ удовольствію дикихъ невѣждъ
Ты обѣтовъ своихъ не сдержало".

Подъ вліяніемъ скорби о томъ, что не всѣ обѣты сдержаны, тутъ и Некрасовъ какъ-бы готовъ впасть въ безнадежный тонъ Щедрина, какъ-будто позабывая, что многаго изъ *прежней*, давнишней поры назадъ уже все-таки не вернуть никакими усиліями невѣждъ. Зато далѣе поэтъ возвращается къ сочувственной сторонѣ той недавней поры:

„Но шумя и куда-то спѣша
И какъ-будто оковы сбивая,
Русь! была ты тогда хороша!
. . . . . .
Какъ невольникъ, покинувъ тюрьму,
Разгибается, вольно вздыхаетъ
И, не вѣря себѣ самому,
Богатырскую мощь ощущаетъ,—
Ты казалась сильна, молода,
Къ правдѣ, къ свѣту, къ свободѣ стремилась,
Въ прегрѣшеніяхъ тяжкихъ тогда,
Какъ блудница, ты громко винилась,
И, казалось намъ въ первые дни,—
Повториться не могутъ они...
Приводя наше прошлое въ ясность,
Проклиная безправье, безгласность,
Произволъ и господство бича,
Далеко мы зашли сгоряча".

Да, намъ казалось, что со всѣмъ этимъ будетъ такъ легко расправиться, что расправа пойдетъ какъ по маслу!— А вотъ и образчики того, какъ мы себя обличали:

„Посмотрите на насъ: мы обжоры,
Мы ходячіе трупы, гробы,
Казнокрады, народные воры,
Угнетатели, трусы, рабы?"
Походя на толпу сумасшедшихъ,
На самихъ себя вьющихъ бичи,
Сознаваться въ недугахъ прошедшихъ
Были мы дотого горячи,
Что превысили всякую мѣру...
Крылось что-то неладное тутъ,
Но не вдругъ потеряли мы вѣру...

Далѣе Некрасовъ начинаетъ опять вторить Щедрину,—указывая на мишурную сторону той поры; и они оба конечно правы—эта сторона была, и не могла не быть. Но сколько-бы ни было пустыхъ фразъ въ нашемъ тогдашнемъ движеніи, сколько-бы ни было тутъ людей, которые, всласть обличая себя, продолжали дѣлать тоже, что́ и прежде;—сколько было съ другой стороны и искренности въ добрыхъ стремленіяхъ (эта искренность и оцѣнена Некрасовымъ въ только-что приведенныхъ мною стихахъ)! А были и дѣйствительно увлеченные *дѣломъ* люди! И не одною-же аффектаціей объясняется тотъ негодующій взрывъ, который былъ вызванъ въ то время неосторожно произнесенными словами: «мы еще не созрѣли». Огульно принижать эту пору мы не имѣемъ никакого права. Одной сатирой, относящейся къ явленіямъ «конфуза», который дѣйствительно былъ, потому что вино новое приходилось вливать и въ старые мѣхи,—одной сатирой, обличающей собственно этотъ *конфузъ*, нельзя исчерпать значенія той поры. Въ ней было и другое, и наша лирическая поэзія могла бы, пожалуй, еще и съ бо́льшимъ жаромъ, чѣмъ у Некрасова, отзываться на тѣ благодатныя ея стороны, послѣдствія которыхъ мы еще и теперь ощущаемъ. Но окончательную оцѣнку этой поры произнесетъ не сатирикъ, не лирикъ, а всеобщій великій судья—исторія.

ЛЕКЦІЯ X.

Щедринъ. „Признаки Времени". — „Письма о Провинціи". — „Дневникъ Провинціала въ Петербургѣ".—„Ташкентцы".—„Исторія одного Города".— Общіе выводы.

Въ послѣдній разъ я разсмотрѣлъ первый періодъ дѣятельности Щедрина, — тотъ періодъ, который обнимаетъ явленія нашей общественной жизни, относящіяся ко времени, непосредственно предшествовавшему эпохѣ нашего «возрожденія», и къ самому началу этой послѣдней. Щедринъ, какъ мы знаемъ, называетъ это время «эпохою конфуза», разумѣя подъ этимъ то, что огромное число личностей, которымъ пришлось дѣйствовать въ это время, вовсе не были къ тому подготовлены, что имъ пришлось по заказу, противъ воли, принимать такой тонъ, который внутренно былъ имъ противенъ, принимать его потому, что посредствомъ этого можно было выслужиться. Но самый важный періодъ сатирической дѣятельности Щедрина, — это, конечно, періодъ второй, относящійся къ тому времени, когда наша общественная жизнь перешла опять въ новый фазисъ: тѣ же самые глуповскіе городничіе, квартальные и становые, которые сначала считали нужнымъ принимать новый, непривычный для нихъ тонъ, потомъ окончательно догадались, что все дѣйствительно можетъ оставаться по-старому. Пока и они считали нужнымъ прикидываться либералами, это было болѣе смѣшно, чѣмъ печально: дѣятели честные могли дѣйствовать прямо и открыто. Но мало по малу у глуповскихъ городничихъ, квартальныхъ и становыхъ развивается рѣшимость сдерживать стремленія новыхъ людей, честно преданныхъ новымъ идеямъ; вотъ тутъ-то и наступаетъ пора уже болѣе печальная, чѣмъ смѣшная. Выработалось стремленіе къ тому, что̀ на языкѣ этихъ провинціальныхъ... въ своемъ родѣ агитаторовъ называется «подтягиваніемъ».—«Трудно себѣ представить — говоритъ Щедринъ въ своихъ «Признакахъ Времени», что̀ нибудь болѣе уродливое, нежели

жизнь, составленную изъ однихъ *подтягиваній*. Трудно выдумать нигилизмъ болѣе безсодержательный, нежели этотъ диковинный, подтягивательный нигилизмъ!» И такъ, обвиненіе въ *нигилизмѣ* сваливается обратно на голову тѣмъ, кто такъ любитъ корить имъ молодое поколѣніе. Нигилистическіе подтягиватели вовсе не имѣютъ опредѣленнаго понятія о томъ, во имя чего имъ надо подтягивать. Правда, они говорятъ о принципахъ и даже «великихъ принципахъ», но когда у нихъ спросятъ: «что же это за принципы?» они отвѣчаютъ: «это принципы!— Что за великіе принципы?—Это великіе принципы!» Вотъ все толкованіе, котораго вы добьетесь въ отвѣтъ на ваши запросы *). Указаніе на то, что настоящіе нигилисты вовсе не тамъ, гдѣ ихъ обыкновенно ищутъ, что они скорѣе оказываются въ собственной средѣ *ищущихъ*, можно найти и въ одномъ изъ произведеній И. С. Тургенева, а именно въ «Дымѣ», гдѣ буквально «нигилистическою» оказывается наша Баденъ-Баденская фрондерствующая знать **). Въ сущности эти люди — такіе-же точно, только въ бѣлыхъ перчаткахъ, «подтягиватели», какъ и Щедринскіе провинціальные администраторы-нигилисты. Это въ свое время не помѣшало появленію «Дыма» въ «Русскомъ Вѣстникѣ», хотя редакція этого журнала съ нѣкоторыхъ поръ особенно озлобленно относится къ *отыскиваемымъ*, къ такъ называемымъ нигилистамъ молодого поколѣнія, вовсе не замѣчая нигилизма въ *ищущихъ*, въ поколѣніи старомъ, котораго такъ не-называемыхъ нигилистовъ прекрасно понималъ еще Гоголь.

Щедринъ не даромъ замѣчаетъ въ одной изъ статей тѣхъ-же самыхъ «Признаковъ Времени», что и литература въ нѣкоторыхъ своихъ углахъ мало-по-малу начала «подтягивать», т. е. въ свою очередь вторить глуповскимъ городничимъ, квартальнымъ и становымъ. «Мальчишки»! стонетъ на всѣ лады одинъ; «нигилисты!», подвизгиваетъ

*) „Признаки Времени". Статья: Легковѣсные.

**) См. выше 3-ю лекцію о Тургеневѣ. стр. 79.

ему другой. И хотя это обвиненіе есть единственное, которое успѣло ясно сформулировать кающаяся Русская литература, но, вѣроятно, оно признается достаточно капитальнымъ, если журналы серьезные и, повидимому, благонамѣренные рѣшаются настаивать на немъ». Надо однако замѣтить, что слово *благонамѣренный* на языкѣ Щедрина вообще принимается въ такомъ-же не прямомъ смыслѣ, въ какомъ принималось оно еще Гоголемъ (извѣстно, что Чичиковъ, по мнѣнію губернатора, былъ вполнѣ благонамѣренный человѣкъ). Нашъ современный сатирикъ спрашиваетъ: «что̀ такое человѣкъ благонамѣренный? — Онъ долженъ имѣть хорошій образъ мыслей. Отличительный признакъ хорошаго образа мыслей есть невинность. Невинность-же съ своей стороны есть отсутствіе всякаго образа мыслей. Не размышляйте и читайте романы Польде-Кока—вотъ кодексъ... которымъ руководствуется современный благонамѣренный человѣкъ»... («Сеничкинъ Ядъ»).

Но какимъ же это образомъ вышло, что «изъ загнанной и трепещущей, по словамъ Щедрина, литература (т. е. извѣстная ея часть) вдругъ превратилась въ торжествующую и ликующую... изъ заподозрѣнной—въ благонамѣренную и достойную довѣрія?» — Къ несчастью, по мнѣнію нашего сатирика, дѣло объясняется очень просто: «всему причиной *четвертакъ*» говоритъ онъ.

Тоже самое было замѣчено и Некрасовымъ въ одной изъ его сатиръ: «Газетная» (1865 г.). Вотъ какіе тутъ раздаются отзывы:

„До того расходилась печать,
Что явилась потребность *субсидіи*.
Экъ, хватила куда, исполать!

Да это вѣдь служитъ къ чести литературы, — значитъ она «сила», — значитъ на нее обращаютъ вниманіе! Но вотъ что̀ слѣдуетъ далѣе:

„Таксы нѣтъ на гражданскія слезы,
Но и такъ онѣ льются рѣкой.
Образцы изумительной прозы
Замѣчаются въ прессѣ родной:

Тотъ добился успѣха во многомъ
И удачно враговъ обуздалъ,
Кто идею свободы съ поджогомъ,
Съ грабежомъ и убійствомъ мѣшалъ"...

Очень ясный намекъ на нѣкоторыя беллетристическія произведенія, о которыхъ я въ своемъ мѣстѣ упомянулъ, а также и на многія публицистическія статьи...

„Тотъ прославился другомъ народа
И мечтаетъ, что пользу принесъ,
Кто на тему: „вино" и „свобода"
На народъ напечаталъ доносъ".

И на подобнаго рода литературу большой запросъ; она имѣетъ свою благоговѣйно внимающую ей публику, отъ лица которой и говоритъ Некрасовъ въ одной изъ своихъ «Пѣсенъ о Свободномъ Словѣ» (1865 г.).

„Боже, пошли намъ терпѣнье,
Или цензура воспрянь!
Всюду одно осужденье,
Всюду пахальная брань!
Въ цивилизованномъ классѣ
Будто растлѣнье одно,
Бѣдность безмѣрная въ массѣ
(Гдѣ-же берутъ на вино?)
Въ каждомъ нажиться старанье,
Въ каждомъ продажная честь,
Только подъ шубой бараньей
Сердце хорошее есть"...

Чѣмъ-же объясняется вся эта, долго копившаяся и вдругъ прорвавшаяся наружу злоба? Она объясняется тѣмъ рядомъ преобразованій, которыя обновили нашу жизнь, время которыхъ и называется временемъ нашего возрожденія. Въ «Дневникѣ Провинціала въ Петербургѣ» Щедринъ указываетъ на слѣдующее, сдѣланное провинціалу приглашеніе:

— Не хотите-ли я васъ сегодня вечеромъ представлю? Сегодня въ одномъ мѣстѣ проэктъ объ уничтоженіи читать будутъ. — «Объ уничтоженіи чего-же?». — Ну... чего... разумѣется всего. И мировые суды чтобъ уничтожить, и

окружные суды по боку, и земство по шапкѣ. Словомъ сказать, чтобъ ширь да высь—и больше ничего». — «Что̀ вы, да вѣдь это цѣлая революція!» — «А вы какъ объ насъ полагали? Мы вѣдь не Нѣмцы, по маленьку не любимъ!»

Въ томъ-же «Дневникѣ» приводится и нѣсколько другихъ, болѣе опредѣленныхъ проэктовъ. Проэктъ «объ уничтоженіи всего» черезчуръ уже далеко хватилъ, а потому и не особенно опасенъ. Но вотъ другой проэктецъ «о необходимости децентрализаціи», составленный отставнымъ корнетомъ Петромъ Толстолобовымъ. Децентрализація! — Какъ видите, терминъ очень широкій, либеральный; составитель какъ будто-бы еще чувствуетъ то, что̀ чувствовали во время «конфуза», чувствуетъ необходимость прикинуться либераломъ; — на самомъ-же дѣлѣ мы сейчасъ увидимъ, что̀ онъ понимаетъ подъ словомъ «децентрализація». Централизація, какъ оно выходитъ въ силу его толкованій, это такой порядокъ вещей, при которомъ все сводится къ одному центру, къ тому спасительному центру, который признается во всѣхъ благоустроенныхъ обществахъ — къ закону. Децентрализація — это напротивъ такой порядокъ вещей, при которомъ каждому городничему, квартальному и становому предоставляется распоряжаться по своему усмотрѣнію. Извѣстно, что провинціалу, по прочтеніи этого проэкта, представилась великолѣпная картина того, что̀ могло-бы быть, еслибы проэктъ этотъ осуществился. Ему какъ-бы въ видѣніи представилось, что уже «не было ни судовъ, ни палатъ, ни присутствій, словомъ сказать, ничего, чѣмъ красна современная Русская жизнь. Была пустыня, въ которой рѣяли децентрализованные квартальные надзиратели изъ знающихъ обстоятельства помѣщиковъ. Бьютъ, испытываютъ и ссылаютъ, потомъ на-скоро подкрѣпляютъ силы холодными закусками и водкой, и опять бьютъ, испытываютъ и ссылаютъ».

Другой проэктъ — свойства подготовительнаго: надо вѣдь заранѣе дѣйствовать на подростающее поколѣніе.

Это проэктъ «о необходимости оглушенія въ смыслѣ временнаго усыпленія чувствъ», составленный бывшимъ штатнымъ смотрителемъ Чухломскихъ училищъ, титулярнымъ совѣтникомъ Филоверитовымъ. Въ этомъ проэктѣ проводится такой взглядъ, что «если пріучить молодыхъ людей къ чтенію сонниковъ или къ ежедневному разсмотрѣнію дѣвицы Гандонъ, или-же занять ихъ исключительно вытверживаніемъ азбуки въ томъ первоначальномъ видѣ, въ какомъ оную изобрѣлъ Таутъ, то... получится поколѣніе дремотствующее, но бодрое, и нетолько не препятствующее знакамъ препинанія, но дѣятельно на постановку ихъ согласное»; т. е., главнымъ образомъ согласное на постановку *точекъ*, этого выразительнѣйшаго изъ знаковъ препинанія. Наконецъ третій проэктъ, съ которымъ долженъ познакомиться провинціалъ, относится до высшихъ ученыхъ учрежденій; они, конечно, нужны, но надо придать имъ особое значеніе, и вотъ съ этою-же цѣлью и составленъ проэктъ «о переформированіи де-сіянсъ академіи». «Пунктъ 1-й, чтобы науки наши противъ всѣхъ прочихъ были превосходнѣе, 2-й — чтобы оныя подлинно распространяли свѣтъ, а не тьму. Но здѣсь представляется весьма щекотливый вопросъ: какъ сего достигнуть? На сіе отвѣчаю кратко: посредствомъ заведенія такихъ учрежденій, которыя имѣли-бы въ предметѣ не распространеніе наукъ, но тщательное оныхъ разсмотрѣніе», т. е. такое разсмотрѣніе наукъ, которое-бы почти равнялось ихъ упраздненію. Щедринъ, разумѣется, считаетъ совершенно лишнимъ указывать на то, что всѣ эти проэкты остались безъ осуществленія; знаменательна уже самая возможность появленія ихъ, хотя-бы только въ головѣ какихъ-нибудь Толстолобовыхъ и Филоверитовыхъ.

Я уже упомянулъ о томъ, что̀ оказывается основною причиной той злобы, которою вызвана на свѣтъ Божій вся эта гасительская дѣятельность. Настоящій-же корень всего, какъ совершенно вѣрно понимаетъ Щедринъ, заключается въ величайшемъ изъ преобразованій нашей эпохи—въ освобожденіи крестьянъ. Объ этомъ особенно

подробно говоритъ нашъ сатирикъ въ своихъ «Письмахъ о Провинціи», относящихся къ числу самыхъ сильныхъ его произведеній. Тутъ авторъ изъ обычнаго сатирическаго тона переходитъ мѣстами въ негодующій пафосъ: «Цѣлые легіоны ничтожнѣйшихъ шалопаевъ, говоритъ онъ, рыскаютъ по градамъ и весямъ любезнаго отечества—со спеціальною цѣлью явно и тайно уничтожать и подрывать дѣйствіе 19 февраля!»... Рыскаютъ себѣ да рыскаютъ эти, въ наибуквальнѣйшемъ смыслѣ нигилисты, и нахально сваливаютъ обвиненіе въ нигилизмѣ на головы тѣхъ людей, которые приводили въ исполненіе великую реформу!

«Нельзя себѣ представить – продолжалъ Щедринъ—того наслажденія, съ которымъ ненавистникъ хватается за всякую поруху, за всякую фальшивую ноту, которою случайно зазвучитъ ненавистное ему дѣло. Прослышитъ-ли онъ, что народъ бѣднѣетъ—онъ ликуетъ; вычитаетъ-ли, что въ дѣлахъ застой — онъ торжествуетъ всею утробой; дойдетъ-ли до него, что города и села опустошаются пожарами—нѣтъ предѣла, нѣтъ границъ его поганымъ восторгамъ. Онъ всякую народную бѣду готовъ пріурочить къ 19 февраля, потому что въ дурацкой его головѣ нѣтъ ни одной мысли, кромѣ мысли объ обидѣ, нанесенной ему этимъ ужаснымъ числомъ».

Но ненавистникъ на этомъ не останавливается, — онъ не только радуется бѣдствіямъ, посылаемымъ природою, не только пользуется ими въ видѣ доказательствъ противъ 19 февраля, онъ готовъ самъ создавать для народа бѣдствія, чтобы потомъ приписать ихъ—опять тому-же непереваріваемому для него числу. «Вы доказываете ненавистнику, что недозволительно доводить крестьянъ до разоренія подъ благовиднымъ предлогомъ казеннаго интереса, съ дѣйствительною-же цѣлью—пускай дескать знаютъ поганцы, каково сладка хваленая ихъ свобода! И вотъ, вмѣсто отвѣта, въ васъ стрѣляютъ обвиненіемъ въ коммунизмѣ!» Да, дѣятели 19 февраля съ точки зрѣнія этихъ людей—коммунисты и соціалисты, т. е., по ихнему тоже, что нигилисты. А все дѣло въ томъ, что «намѣренія этого

великаго дня», какъ вѣрно объясняетъ Щедринъ, «нали на такую благодарную почву и укоренились въ ней такъ просто и естественно, что тутъ не можетъ быть мѣста ни для опасеній, ни тѣмъ болѣе для нелѣпыхъ разсказовъ» (т. е. разсказовъ о какихъ-то «отставныхъ солдатахъ и разнощикахъ», будто-бы дѣйствительно могущихъ посѣять сѣмена революціи по деревнямъ и селамъ). «Какъ-бы мы ни были взыскательны—продолжаетъ Щедринъ,—мы не можемъ не удивляться великости этого подвига. Разомъ освободить изъ плѣна Египетскаго цѣлыя массы людей... разомъ заставить умолкнуть тѣ скорбные стоны, которые раздавались изъ края въ край по всему лицу Россіи, — такое дѣло способно вдохнуть энтузіазмъ самый безпредѣльный. Но за работой освобожденія слѣдуетъ работа организаціи, и тутъ приходится намъ бороться съ препятствіями еще болѣе дѣйствительными, нежели даже тѣ, съ которыми мы боролись во время трудной работы освобожденія». И вотъ этой-то работѣ организаціи, которая должна окончательно водворить реформу, — этой работѣ ненавистники-шелопаи не хотятъ дать совершиться въ спокойной послѣдовательности, вотъ ей-то и хотятъ они помѣшать. Такимъ образомъ въ этихъ «Письмахъ о Провинціи» Щедринъ вполнѣ признаетъ и дѣльную, доводящую его до восторга, сторону нашего «возрожденія»,—ту сторону, которая не могла-же отзываться «конфузомъ», если пала на такую благодарную почву, если представляется нашему автору *настоящимъ подвигомъ*. Но въ такомъ случаѣ, признавая благодарною почву, мы должны также признать и то, что Русская земля была готова къ великому дню. И дѣйствительно, она ожидала его давно. Въ дѣлѣ подготовленія принимала живое участіе и наша литература,— въ немъ принималъ въ свое время участіе самъ Щедринъ, принимали Тургеневъ, Некрасовъ и другіе, обличавшіе крѣпостное право. Но всѣ они вѣдь только поддерживали литературныя преданія прежней поры, въ сущности вовсе не прерывавшіяся въ нашей литературѣ. Некрасовъ въ своемъ «Дѣдушкѣ» выводитъ человѣка, который въ пер-

вой четверти нашего вѣка былъ уже полонъ сочувствія дѣлу освобожденія, но этому *дѣду*, предшествовали нѣкоторые *прадѣды*, стоявшіе за освобожденіе крестьянъ еще при Екатеринѣ II. И этимъ «прадѣдамъ» тѣмъ болѣе чести, что они могли-бы даже у самого Ж. Ж. Руссо вычитывать (нѣкоторые и вычитывали) цѣлыя рацеи о томъ, что не надобно торопиться, что надо прежде освободить *души* (т. е. просвѣтить народъ), а потомъ уже освободить *тѣла* (т. е. уничтожить крѣпостное право). Если на литературномъ поприщѣ были люди, которые, между прочимъ ссылаясь и на Руссо, задерживали великое дѣло освобожденія, то были и другіе, всѣми мѣрами старавшіеся подвинуть его впередъ, всегда вѣрившіе въ возможность свободы для родного народа. А Екатерининская комисія, труды которой печатаются Историческимъ Обществомъ? Хотя въ томъ, что̀ до сихъ поръ напечатано, еще непосредственно не затронуты нужды крестьянъ, онѣ однакоже упоминаются по различнымъ поводамъ въ различныхъ рѣчахъ. Если со стороны большинства дворянъ и слышатся при этомъ хриплые голоса въ пользу того, чтобы все оставалось постарому, то порою раздаются и изъ этой среды такіе, которые благопріятны улучшенію участи народа. Наконецъ тутъ-же, по нѣкоторымъ поводамъ, мы уже слышимъ и рѣчи представителей самого крестьянства, или-же людей, очень близко стоящихъ къ нему, рѣчи, обнаруживающія полнѣйшее пониманіе народомъ своихъ вопіющихъ нуждъ. Словомъ, по прекраснымъ матеріаламъ Историческаго Общества мы окончательно убѣждаемся въ томъ, что императрица, созвавшая эту коммиссію, нашла въ представителяхъ своего народа и настоящихъ «умновцевъ», а вовсе не сплошь и къ ряду тѣхъ «глуповцевъ», которыхъ такъ любитъ рисовать Щедринъ. Да, Екатерининская комисія вполнѣ подтвердила вѣрность того, что̀ еще Посошковъ, въ своей знаменитой книгѣ, говорилъ Петру Великому о «*народосовѣтіи*»; и если эта комисія была распущена, то вовсе не потому, чтобы дѣятели оказались тогда неспособными,—какъ это полагалъ когда-то

даже Сперанскій, а нѣкоторые полагаютъ и до сихъ поръ,— а на то нашлись другія причины — война, тогда у насъ начавшаяся, и т. п. Послѣ всего этого «великій подвигъ» 19 февраля, какъ выражается Щедринъ, уже представляется намъ не какимъ-то необъяснимымъ чудомъ, а естественнымъ слѣдствіемъ того, что почва давно была подготовлена. Но если крѣпостное право отмѣнено и никакимъ усиліямъ «дикихъ невѣжъ» никогда не удастся возстановить его, то слѣды крѣпостного права остались. Некрасовъ, какъ мы уже знаемъ, по преимуществу указываетъ на тѣ слѣды его, которые сохранились въ народномъ быту,—Щедринъ на слѣды, сохранившіеся въ нашихъ нравахъ. «Тѣ, которые говорятъ: «зачѣмъ напоминать о крѣпостномъ правѣ, котораго уже нѣтъ? зачѣмъ нападать на лежачаго?»—говорятъ это единственно по легкомыслію», замѣчаетъ Щедринъ (имѣя можетъ быть въ виду и извѣстную статью Писарева). «Оно, т. е. крѣпостное право) живетъ въ нашемъ темпераментѣ, въ нашемъ образѣ мыслей, въ нашихъ обычаяхъ, въ нашихъ поступкахъ... Хищничество — вотъ наслѣдіе, завѣщанное намъ крѣпостнымъ правомъ» *). И Щедринъ цѣлымъ рядомъ сатиръ рисуетъ намъ различныя видоизмѣненія этого сквернаго наслѣдія. Хищничество—это принадлежность «ветхаго человѣка», но тотъ *старый* ветхій человѣкъ, котораго рисовалъ Гоголь, возродился въ *новомъ* ветхомъ человѣкѣ, являющемся во множествѣ различныхъ видоизмѣненій въ числѣ которыхъ оказывается и то, что̀ называется у нашего сатирика «Ташкентствомъ».

Типъ «Ташкентца» постепенно развивается у Щедрина; онъ намекаетъ на него цѣлымъ рядомъ типовъ, изъ которыхъ наконецъ вырабатывается типъ, выведенный въ книгѣ: «Господа Ташкентцы». Первый набросокъ этого типа находимъ мы въ «Легковѣсныхъ». («Признаки

*) Это наслѣдіе, впрочемъ, оказывается не только у насъ: *Хищничество* въ разнообразно-широкомъ смыслѣ есть и на Западѣ, хотя крѣпостное право отмѣнено тамъ ранѣе, чѣмъ у насъ.

Времени»). Объ этихъ «легковѣсныхъ» можно сказать то, что̀ одинъ изъ нихъ разсказываетъ про знакомаго ему Нѣмца: когда у него спросили, при встрѣчѣ, о его мысляхъ—«мой мизль? нѣтъ мизль» отвѣчалъ онъ; а Щедринъ замѣчаетъ, что про всѣхъ легковѣсныхъ можно сказать, что у нихъ «нѣтъ мизль». Единственный ихъ руководитель — это виднѣющійся гдѣ-то вдали сытный кусокъ *). Въ сущности тотъ-же типъ, только съ нѣсколько другимъ оттѣнкомъ, рисуетъ намъ Щедринъ въ сатирѣ: «Нашъ Savoir-Vivre». Экономическая наука людей этого рода — нахальство, нестѣсняемость, развязность, и.... и опять постоянно неуклонное стремленіе къ куску». Къ тому-же разряду авторъ совершенно справедливо относитъ и «гулящихъ Русскихъ людей за границей», про которыхъ можно сказать, что у нихъ тоже «нѣтъ мизль» и которые, будучи одарены способностью «самооплеванія», предаются ей всласть заграницей, гдѣ просвѣщаются исключительно въ баль-мабиляхъ. Чтобы удержать этихъ людей въ Россіи, надо, по замѣчанію Щедрина, «какую-нибудь новую реформу сочинить, или какую-нибудь старую уничтожить... самое лучшее выдумать-бы ѣду какую-нибудь необыкновенную, или вотъ еслибы всю Россію можно было превратить въ сплошной танцклассъ».

Но наша жизнь наконецъ выработала нѣчто такое, въ чемъ эти люди дѣйствительно могутъ найти для себя исходъ, и затѣмъ уже не странствовать за моремъ, а оставаться у себя дома: этотъ исходъ они обрѣли въ «Ташкентствѣ». Нашъ сатирикъ понимаетъ слово Ташкентъ, разумѣется, не въ буквальномъ смыслѣ. «Тѣ, которые думаютъ, — говоритъ онъ, — что это только люди, желающіе воспользоваться прогонными деньгами въ Ташкентъ, ошибаются самымъ грубымъ образомъ». Онъ понимаетъ дѣло гораздо шире,—это люди, которые и вообще способны воспользоваться прогонами—куда-бы-то ни было, т. е.

---

*) *Кусокъ*, очевидно, значитъ тоже, что̀ въ другомъ мѣстѣ у Щедрина *четвертакъ*.

взяться за все, что́ случится, только была-бы при этомъ нажива, только-бы виднѣлся вдали *кусокъ* и возможность прикрасить добываніе его высокими современными задачами. «Ташкентецъ—это просвѣтитель,..... просвѣтитель, свободный отъ наукъ, но не смущающійся этимъ, ибо наука, по мнѣнію его, создана не для распространенія, а для стѣсненія просвѣщенія». Онъ просвѣтитель—въ легковѣсномъ смыслѣ водворителя такъ называемаго «*порядка*». Опредѣливъ такъ широко *ташкентцевъ*, авторъ не менѣе широко опредѣляетъ и самый *Ташкентъ*. «Ташкентъ, говоритъ онъ, это классическая страна барановъ, которые замѣчательны тѣмъ, что къ стрижкѣ и послѣ оголенія вновь обростаютъ съ изумительной быстротой»... «Ташкентъ есть страна, лежащая всюду, гдѣ бьютъ по зубамъ и гдѣ имѣетъ право гражданственности преданіе о Макарѣ телятъ не гоняющемъ». Такая страна, разумѣется, — чистый кладъ для того, кто хочетъ только *жрать* (незатѣйливое и широко понимаемое выраженіе нашего сатирика). Отправляясь въ эту страну, достаточно знать, что «есть штука, называемая безазбучнымъ просвѣщеніемъ, которая ничего не требуетъ, кромѣ цѣпкихъ рукъ и хорошо развитыхъ инстинктовъ плотоядности, — вотъ въ эту-то штуку они и вгрызаются всею силою своихъ здоровыхъ зубовъ».

У Ташкентцевъ нетолько нѣтъ *мысли*; у нихъ даже вовсе нѣтъ *головы*; вмѣсто нея у нихъ—«порожняя бутылка... ея обязанность — наполняться той жидкостью, которая наиболѣе подходитъ ко вкусамъ минуты» — потому что только подходящее ко вкусамъ минуты сулитъ впереди — кусокъ. Подходятъ-ли ко вкусу минуты либеральныя фразы—они и ими себя начинятъ, — подходитъ-ли то что́ называется у извѣстныхъ людей «порядкомъ»,— они и этимъ набьютъ себя; войдетъ ли, наконецъ, въ моду такъ-называемое *подтягиванье*,—они станутъ бредить только имъ однимъ. Впослѣдствіи изъ типа Ташкентцевъ выработался у Щедрина тотъ типъ, который получилъ у него названіе «Помпадура борьбы».

Разсадникомъ Ташкентства оказываются наши привилегированныя заведенія; не именно одно изъ нихъ, какъ это понимаютъ иные, но всѣ вообще привилегированныя заведенія и подготовляющее къ нимъ домашнее привилегированное воспитаніе. «Судебная реформа произвела необыкновенное, почти отуманивающее дѣйствіе» въ одномъ изъ этихъ заведеній, куда былъ отданъ одинъ изъ Щедринскихъ кандидатовъ Ташкентства, особливо съ той минуты, когда «на дѣлѣ послѣдовало открытіе новыхъ судовъ и ученики увидѣли ихъ лицомъ къ лицу... Въ публикѣ ходили слухи о какихъ-то баснословныхъ кушахъ, о какихъ-то компаніяхъ, составляющихся съ цѣлью наиспѣшнѣйшаго ободранія кліентовъ», и Ташкентцы заранѣе облизывались при этихъ слухахъ. А вотъ какой разговоръ между ними, т. е. уже между Ташкентцами взрослыми, окончившими курсъ, переданъ нашимъ сатирикомъ далѣе:

— Ты что̀ получилъ за такое-то дѣло?

— Да что̀! всего пять тысячъ,—не стоило рукъ марать!

— А я черезъ годъ думаю лавочку закрыть. Наработаю тысячъ двѣсти-триста,—и на боковую»!

Но ихъ манитъ не одна только большая нажива,—даже «рубль, выглядывающій изъ кармана ближняго-простеца, мѣшаетъ спать».—«Зачѣмъ тебѣ, простофиля, рубль! разожми! я возьму этотъ рубль, зажгу его на свѣчкѣ и закурю имъ сигару». «Дальше рубля, поясняетъ Щедринъ, взоръ ничего не видитъ: все сосредоточилось, замкнулось, заклепалось въ одномъ словѣ—*жрать!*»

Въ сторонѣ отъ домашняго и общественнаго *привилегированнаго* воспитанія понятнымъ образомъ остается у нашего сатирика воспитаніе университетское,—онъ его не затрогиваетъ. По мнѣнію Ташкентцевъ, этихъ нигилистовъ въ буквальномъ смыслѣ слова, университетское образованіе является разсадникомъ тѣхъ людей, которыхъ называютъ одни «нигилистами», другіе же «новыми людьми». Въ утѣшеніе Ташкентцамъ можно бы было напомнить тѣ, попадавшіеся намъ въ прежнихъ лекціяхъ, литературные

типы, которые наглядно доказываютъ, что и университетское образованіе, къ несчастію, не служитъ вполнѣ вѣрнымъ оберегомъ отъ пріобрѣтательскихъ поползновеній. Но Ташкентцы отвѣтили бы на это, что, конечно, изъ университетовъ выходятъ *дѣльныя* личности, но зато вѣдь выходитъ не мало и этихъ пропащихъ «новыхъ людей». Гнѣвъ Ташкентцевъ и всего ташкентствующаго лагеря въ нашей литературѣ противъ этихъ людей и забавенъ, и печаленъ въ одно и тоже время. Щедринъ и самъ говоритъ объ нихъ, о тѣхъ, которыхъ называютъ «нигилистами», и которые сами называютъ себя «новыми людьми»; ему достовѣрно извѣстно, по его словамъ, что это «не манекены съ наклеенными этикетами, а живые люди, которые въ этомъ качествѣ имѣютъ свои недостатки и свои достоинства, свои пороки и свои добродѣтели».—«Я могъ бы, конечно, продолжаетъ онъ, не хуже любого изъ современныхъ беллетристовъ, лавреатовъ и не лавреатовъ, указать на темныя стороны, которыя встрѣчаются въ этой немноголюдной и во всякомъ случаѣ не пользующейся матеріальною силою корпораціи. Эти темныя стороны настолько уже изучены и распубликованы, что мнѣ ничего но стоило бы возбудить въ читателѣ, по поводу «новыхъ людей», то смѣхъ, то ненависть, то спасительный страхъ...» «Но ежели я захочу—поясняетъ онъ—смѣяться и пугать вплотную, то не найдусь-ли я вынужденнымъ прежде всего подвергнуть осмѣянію самыя причины, породившія тѣ факты, которые возбуждаютъ во мнѣ смѣхъ или ужасъ?» *). О добрыхъ сторонахъ типа Щедринъ находитъ также неудобнымъ распространяться... Но, по мнѣнію представителей хищничества, добрыхъ сторонъ въ этомъ типѣ и вовсе нѣтъ. «Ташкентство», этотъ самоновѣйшій видъ хищничества, вовсе не пугаетъ ветерановъ въ родѣ Петра Ивановича Дракина; напротивъ,

*) Къ сожалѣнію, вынужденными на это не почувствовали себя многіе изъ нашихъ беллетристовъ.

этотъ типъ ему по душѣ, его пугаютъ тѣ «новые люди», которые какія-то утопіи тамъ выдумываютъ.

На счетъ этихъ утопій нашъ сатирикъ дѣлаетъ чрезвычайно вѣрное и въ психологическомъ, и въ педагогическомъ смыслѣ замѣчаніе: «Кто въ двадцать лѣтъ не желалъ и не стремился къ общему возрожденію, про того трудно даже сказать, что у него было когда-нибудь сердце, способное сочувствовать и сострадать».

Да, утопіи принадлежатъ къ неотъемлемымъ свойствамъ молодости: молодость безъ утопій не есть молодость, и воспитаніе, которое совершенно уничтожаетъ способность вдаваться въ утопіи, есть воспитаніе, преждевременно обезцвѣчивающее. Не утопій надо бояться;—безсмертный, постоянно, какъ фениксъ изъ пепла, возрождающійся Павелъ Ивановичъ Чичиковъ — вотъ что̀ ужасно! Молодежь, способная не гнушаться этимъ типомъ, какъ бы не узнавая его въ новѣйшихъ утонченныхъ его видоизмѣненіяхъ, была бы дѣйствительно совершенно растлѣнною молодежью; а пока ее увлекаютъ утопіи, она еще здоровая молодежь! Но вѣчное возрожденіе Чичикова, этого *стараго* ветхаго человѣка, возрожденіе его въ видѣ *новыхъ* ветхихъ людей, страшно особенно потому, что отъ этого-то всего болѣе и терпитъ «человѣкъ, питающійся лебедой», подъ которымъ, очевидно, Щедринъ разумѣетъ народъ.

Но тутъ мы опять натыкаемся у нашего сатирика на странное противорѣчіе: любя и жалѣя этого «человѣка, питающагося лебедой», онъ часто становится къ нему несправедливымъ, представляя его себѣ слишкомъ уже отупѣлымъ, приведеннымъ въ состояніе полуживотной обезсмысленности. Въ этихъ же самыхъ «Письмахъ о Провинціи», принадлежащихъ къ числу его лучшихъ произведеній, онъ рисуетъ намъ, напримѣръ, бѣдную вдову, лишенную своего участка, по опредѣленію міра, причемъ въ ея пользу не раздается ни одного голоса. «Вотъ, говоритъ Щедринъ, истинная истина изъ жизни полудикой толпы: есть ли поводъ плакаться надъ чужою бѣдой, когда

завтра та же бѣда можетъ стрястись надъ нами самими?» Но, во-первыхъ, мы видимъ въ народѣ и примѣры другого рода, когда именно сознаніе того, что бѣда можетъ завтра стрястись и надъ нами, заставляетъ протянуть руку бѣдствующему, а во-вторыхъ, *развѣ примѣры такого безсердечія при видѣ чужого горя и чужой бѣды не встрѣчаются сплошь и къ ряду и въ жизни образованнаго класса?* Далѣе сатирикъ нашъ говоритъ: «Имѣемъ-ли мы поводъ удивляться тому, что толпа до сихъ поръ съумѣла выработать изъ себя только слѣпое орудіе, при помощи котораго могутъ свободно проявлять себя въ мірѣ всевозможныя темныя силы? Несмотря на вѣковѣчное существованіе, масса успѣла выработать въ себѣ только раболѣпное тяготѣніе къ силѣ, да еще безсознательно-равнодушное отношеніе не только къ общимъ интересамъ; но даже и къ тѣмъ, которые ближайшимъ образомъ затрогиваютъ ея собственную жизнь...». «Мы не можемъ, продолжаетъ онъ въ тонѣ того же барствующаго либерализма, считать себя водворенными въ мірѣ законности, пока представленіе о законности не имѣетъ въ понятіяхъ массъ никакого опредѣленнаго смысла... Что можемъ мы сдѣлать съ нашимъ бѣднымъ, одиночнымъ сознаніемъ, когда вокругъ насъ кишитъ ликующая безсознательность?» Народъ, видите-ли, даже *ликуетъ* въ своемъ состояніи «изъятаго изъ міра законности»... Но не значитъ-ли это невольно попасть въ тонъ одного изъ тѣхъ столичныхъ благодѣтелей провинціи, которыхъ, какъ мы видѣли, тотъ же Щедринъ заставляетъ жаловаться на массу: «ils sont encore bien loin de jouir des bienfaits de la civilisation?».

Некрасовъ смотрѣлъ на это иначе, смотрѣлъ не либеральнымъ чиновникомъ, а человѣкомъ, когда желалъ доброй ночи тому,

> Чьи работаютъ грубыя руки,
> Предоставивъ почтительно намъ
> Погружаться въ искусства, въ науки,
> Предаваться мечтамъ и страстямъ.

Но особенно замѣчательно у Щедрина мнѣніе, что народъ нашъ даже не чувствуетъ своей бѣдности: «невозможно ни на минуту усомниться, говоритъ онъ — и говоритъ совершенно справедливо, — что Русскій мужикъ бѣденъ, бѣденъ всѣми видами бѣдности, какіе только возможно себѣ представить, и, что̀ всего хуже, бѣденъ сознаніемъ своей бѣдности»; — вотъ съ этимъ уже мудрено согласиться. Что народъ не имѣетъ понятія о многихъ удобствахъ, а потому и не чувствуетъ потребности во многихъ вещахъ, безъ которыхъ мы жить не можемъ,—это совершенно вѣрно; но чтобы онъ вовсе не сознавалъ своей бѣдности, *не желалъ лучшаго*, и чтобы это служило однимъ изъ существенныхъ объясненій его незавиднаго состоянія,—это уже выдумка кабинетныхъ людей. Эта выдумка не нова, она такъ и пахнетъ XVIII вѣкомъ, которому, при всемъ его стремленіи къ свободѣ, было такъ трудно перестать быть *баричемъ*. Вспомните относящійся къ началу царствованія Императрицы Екатерины II проектецъ освобожденія крестьянъ, составленный Французомъ Беарде де l'Abbaye! Какихъ только либеральныхъ фразъ не нагромождено тамъ въ началѣ — и какой скудный, ничего не дающій выводъ! Народъ, видите-ли, до такой степени тупъ, что въ немъ еще надобно пробудить и самую потребность свободы, а дѣло этого пробужденія должно быть возложено на помѣщиковъ, какъ на людей образованныхъ, которымъ совѣтовалось съ этою цѣлью — освобождая постепенно, по нѣскольку человѣкъ за-разъ (Руссо, какъ извѣстно, совѣтовалъ Польскимъ помѣщикамъ дѣлать тоже въ видѣ награды за хорошее поведеніе), *давать освобожденнымъ особую одежду, чтобы этой ея особенностью пробуждать желанье свободы и въ остальныхъ!* Подобный взглядъ совершенно понятенъ въ XVIII в. (недаромъ отъ него не могъ совершенно освободиться и такой радикальный умъ, какъ Ж. Ж. Руссо), но возвращаться къ нему въ наше время уже нѣсколько странно! Между тѣмъ утверждать, что народъ *ликуетъ* въ своей безсознательности, что онъ не чувствуетъ своей бѣдности, не стремится

*

къ лучшему—не значитъ-ли это невольно впадать въ тонъ какого-нибудь Беарде де л'Аббея?!

А вѣдь тонъ этотъ очень сродни и той *ветхой деньми* философіи исторіи, которая такъ остроумно была вычитана у нашего сатирика Писаревымъ (изъ анекдота о Минервѣ и глуповцахъ). Впрочемъ, нашъ сатирикъ и самъ себя опровергаетъ. Вспомните у него хотя бы это міросозерданіе отстовного солдата Пименова, ходящаго по святымъ мѣстамъ... А сколько въ народѣ такого рода *туристовъ*, ищущихъ въ своихъ странствованіяхъ исхода изъ тяжелыхъ условій своей будничной жизни, благо эти странствованія, съ другой стороны, по ихъ религіозному міросозерцанію, прямѣе ведутъ ихъ къ вѣчному празднику въ той странѣ, гдѣ послѣдніе будутъ первыми, и куда такъ трудно будетъ попасть богатымъ! А Щедринскій разсказъ о «Ванѣ и Мишѣ», объ этихъ дѣтяхъ, ищущихъ исхода въ самоубійствѣ и вполнѣ увѣренныхъ въ томъ, что ангелы отнесутъ ихъ прямехонько къ Богу, и что они ему все, все разскажутъ?.. Или самая эта илюминація, которую они зажигаютъ незадолго до пріѣзда барыни; — не выказываетъ-ли и она желанія выйти изъ подъ гнетущаго вліянія темноты, — создать себѣ, хотя бы на одну минуту, веселую обстановку — передъ тѣмъ переходомъ въ страну вѣчнаго веселья и вѣчнаго свѣта, на который рѣшились они?

А Щедринскіе кандидаты въ рекруты—этотъ Матюша, которому его незавидная доля мила единственно потому, что ожидающая его впереди солдатская представляется ему еще менѣе завидною; или этотъ Петруня, не выносящій условій солдатской жизни и рѣшающійся бѣжать! Значитъ-ли все это, что народъ отупѣлъ до несознаванія своего положенія, что онъ «ликуетъ въ своей безсознательности»? А та характеристика быта бѣглыхъ, которую представляетъ Щедринъ въ своемъ «Развеселомъ Житьѣ»? Наконецъ, всѣ эти побѣги сами по себѣ *), — что же это

*) Включая сюда и странничество по святымъ мѣстамъ, названное у меня выше *хроническимъ бѣгствомъ*.

какъ не слѣдствіе недовольства своей долей, какъ не желаніе лучшаго? Или выставляемое Некрасовымъ народное любопытство узнать: «Кому на Руси жить хорошо»? А романъ Рѣшетникова изъ народнаго же вѣдь быта: «Гдѣ лучше» — съ этимъ многозначущимъ его заглавіемъ? Но мы видѣли, что даже Подлиповцы, эти совершенно забитые люди, идутъ на Волгу, чтобы попытаться: не лучше-ли будетъ тамъ? А то, что̀ рисуетъ намъ Мельниковъ въ своихъ «Лѣсахъ», эти живучія воспоминанія о вольномъ житьѣ, это сочувственное свидѣтельство о постоянномъ уходѣ въ казацкую вольницу, не доказываетъ-ли все это, что народъ не уживался со своей долей, что онъ такъ и рвался на широкій просторъ? А цѣлый рядъ историческихъ народныхъ протестовъ противъ угнетенія, которые можно, вслѣдъ за Пушкинымъ, называть «безсмысленными», но которые, во всякомъ случаѣ, свидѣтельствуютъ не о томъ, чтобы народъ не искалъ исхода изъ своего положенія.

Другой вопросъ — почему все это ни къ чему не приводило, почему народъ, остававшійся такъ долго свободнымъ, становится крѣпостнымъ, почему положеніе его все болѣе и болѣе ухудшается, пока, наконецъ, не наступаетъ поворотная точка въ его судьбѣ—великое 19-е февраля 1861 г.? Но это вопросъ историческій—сатира его не рѣшитъ. Щедринъ выходитъ за предѣлы, предписанные ему спеціальностью его таланта, когда выступаетъ на историческое поприще въ «Исторіи одного Города». Относительно этого произведенія всѣмъ памятна та теплая, и вмѣстѣ съ тѣмъ дѣльная статья, которая появилась въ апрѣльской книгѣ «Вѣстника Европы» 1871 г., подписанная не полнымъ псевдонимомъ и озаглавленная: «Историческая Сатира». Выводъ статьи, какъ извѣстно, тотъ, что историческая сатира не можетъ быть признана хорошимъ литературнымъ родомъ. Впрочемъ, сатирику тутъ указываютъ и на историческія черты, которыя гораздо болѣе заслуживали бы сатирическаго бича, чѣмъ черты, имъ подхваченныя. Главная же сила статьи въ томъ, что въ

ней указываются такія черты въ «Иванушкахъ», надъ которыми никакъ уже не слѣдовало глумиться.

Критикъ совершенно вѣрно замѣчаетъ, что въ «Исторіи одного Города» сатирика не отличить отъ того архиваріуса, отъ имени котораго онъ ведетъ свою лѣтопись, ведетъ тономъ, какъ выражается критикъ,—«бюрократическаго презрѣнія къ народу». Къ тому, что̀ сказано въ этой прекрасной статьѣ, мнѣ остается только прибавить указаніе еще на два мѣста въ «Исторіи одного Города». Въ одномъ изъ нихъ надворный совѣтникъ Щедринъ разсказываетъ, что послѣ разныхъ безчинствъ, такъ долго производившихся въ Глуповѣ разными бабами-поганками, присвоившими себѣ надъ нимъ власть и нарисованными у сатирика такими грязными красками,—чувство какого-то негодованія какъ будто-бы пробудилось въ глуповцахъ.

«Рѣшили дѣйствовать единодушно и прежде всего списаться съ пригородами... Пригороды одинъ за другимъ слали въ Глуповъ самыя утѣшительныя отписки. Всѣ единодушно соглашались, что крамолу слѣдуетъ вырвать съ корнемъ, и для начала прежде всего очистить самихъ себя: «точію, братіе, себя прилежно испытуйте»... Когда читалась эта отписка, въ толпѣ раздавались рыданія, а посадская женка Аксинья-гунявая, воспалившись ревностью великою, тутъ же высыпала изъ кошеля два двугривенныхъ, и положила основаніе капиталу для поимки Дуньки предназначенному». Неужели это пародія на «смутное время», на грамоты, которыя тогда разсылались земствомъ, на жертвы для общаго дѣла, которыя приносилъ народъ?!

Въ другомъ мѣстѣ сатирикъ-архиваріусъ приписываетъ глуповцамъ слѣдующее откровенное заявленіе своего смиренномудрія: «ежели насъ теперича всѣхъ въ кучу сложить и съ четырехъ концовъ запалить—мы и тогда противнаго слова не молвимъ». Далѣе однакоже онъ заставляетъ ихъ выбрать ходока Евсеича, который долженъ отправиться къ градоначальнику Ѳердыщенкѣ и высказать

ему, что глуповцамъ не втерпежъ. Попытка не удается,—Евсеича схватываютъ, и онъ, передъ ожидающимъ его наказаніемъ, обращается къ народу со слѣдующими словами:

— «Простите, атаманы-молодцы! ежели кого обидѣлъ, и ежели передъ кѣмъ согрѣшилъ, и ежели кому неправду сказалъ... всѣ простите»!

— «Богъ проститъ»! слышалось въ отвѣтъ; и Евсеичъ исчезъ безъ остатка, какъ умѣютъ исчезать только «старатели» Русской земли»...

Но если ея *ходоки* такъ мало имѣютъ успѣха,—можно объяснять это какъ угодно, но развѣ можно надъ этимъ глумиться? Если неудачный радѣтель родной земли, по обычаю народному, считаетъ нужнымъ просить у нея прощенія, ясно сознавая, что послѣ каждой неудачной попытки въ пользу народа участь его можетъ только ухудшиться,—то и надъ подобной чертой развѣ можно глумиться?

По прочтеніи «Исторіи одного Города», въ которой, съ другой стороны, есть и великолѣпныя страницы (о переходѣ Грустилова отъ прегрѣшеній къ покаянію, объ ужасающей цѣльности взглядовъ и права Угрюмъ-Бурчеева и т. п.),—выносится общее впечатлѣніе такого рода, что невольно вспоминаешь въ «Медвѣжьей Охотѣ» Некрасова извѣстный разговоръ князя съ барономъ:

Кн. Воѣхотскій.

Теперь, баронъ, вы видѣли природу,
Вы видѣли народъ нашъ?

Баронъ.

И не могъ
Не заключить, что этому народу
Пути къ развитью заградилъ самъ Богъ.

Кн. Воѣхотскій.

Да, да, непобѣдимыя условья!
Но къ счастію, народъ не выше ихъ:
Невѣжество, безчувственность воловья
Понятны при условіяхъ такихъ...

Его удѣлъ—безграмотство, безпутство,
Убожество и чувствомъ и умомъ,
Его узда—налоги, трудъ, рекрутство,
Его утѣха—водка съ дурманомъ.

Баронъ.

So, so...

Но что̀ у Некрасова является ѣдкой сатирой на баронско-княжескія воззрѣнія, то въ «Исторіи одного Города» получаетъ характеръ серьезнаго мнѣнія самого сатирика-архиваріуса, совмѣщающаго въ себѣ и барона, и князя.

А глуповскіе градоначальники, еслибы они прочли эту лѣтопись своего града, могли-бы по праву сказать: «ну, значитъ, мы распоряжались, какъ слѣдуетъ—по Сенькѣ и шапка»; а затѣмъ поощрительно обратиться къ архиваріусу со словами: «побольше, побольше такихъ произведеній, мой милый». Можно, конечно, до извѣстной степени психологически объяснить появленіе «Исторіи одного Города». Любя кого-нибудь сильно, мы часто бываемъ способны и ненавидѣть его въ тоже время. Желая человѣку добра, сожалѣя о томъ, что оно ему не дается, что онъ позволяетъ дурно обращаться съ собою другимъ, мы накидываемся на него съ ожесточенною бранью. Тоже самое до нѣкоторой степени можетъ происходить и въ нашихъ отношеніяхъ къ родной странѣ—только этимъ и можно хотя сколько-нибудь объяснить то желчное глумленіе надъ глуповцами, которое позволяетъ себѣ Щедринъ въ «Исторіи одного Города». Не надо возвращаться къ Маниловщинѣ, не надо сладко лгать, пошло льстить своему народу, но не надобно и доводить его до «самооплеванія». Предоставимъ это милое занятіе тѣмъ «гулящимъ Русскимъ людямъ за границей», которыхъ такъ удачно и такъ справедливо выставилъ на позоръ тотъ же самый сатирикъ.

Но какое же *общее впечатлѣніе* производитъ наша послѣ-Гоголевская литература? Она не льстила намъ, не лгала; не лгала въ хорошую сторону, т. е. не преувеличивала нашихъ добрыхъ качествъ, но по большей части не лгала и въ дурную сторону, т. е. не преувеличивала

и нашихъ недостатковъ. Немногія преувеличенія послѣд няго рода составляютъ въ ней исключеніе.

Наша литература показала намъ быструю смѣну типовъ,—быстрое нарожденіе новыхъ на мѣсто старыхъ, а такая быстрота показываетъ, что мы безостановочно развиваемся. Нѣкоторые типы, еще такъ недавно воспроизведенные нашей литературой, представляются уже совершенно отжившими, напримѣръ тотъ, съ которымъ мы имѣли дѣло въ самомъ началѣ—типъ Александра Адуева, пустого идеалиста, прикрывающаго напускною восторженностью самое узенькое стремленіе къ эгоистическимъ наслажденіямъ. Гораздо выше стоятъ Рудины, Берсеневы, Лаврецкіе и даже Обломовы, несмотря на то, что и у нихъ еще очень замѣтенъ разладъ между словомъ и дѣломъ, между тѣмъ, что они проповѣдуютъ, и тѣмъ, какъ они поступаютъ. Но они уже любятъ свои идеи, имъ бы не шутя хотѣлось, чтобы все то, о чемъ они говорятъ, въ самомъ дѣлѣ осуществилось; они стремятся уже не къ карьерѣ, стремятся не просто къ комфорту, не только къ нему одному, но они все-еще баричи, а потому и лѣнивые люди, имъ лѣнь путнымъ образомъ потрудиться для своей идеи,—отсюда и весь разладъ между ихъ словами и ихъ поступками. Типы совершенно другого рода, типы людей озлобленныхъ, въ родѣ Раскольникова съ одной стороны, Базарова—съ другой, появившіеся у насъ вслѣдъ затѣмъ—конечно все-таки не такіе типы, которые могли бы насъ удовлетворить; это типы переходной поры, но они стоятъ уже значительно выше прежнихъ, потому что мысль у этихъ людей не въ разладѣ съ поступками, потому что это люди, въ своемъ родѣ, цѣльные *). Своего Русскаго Инсарова наша литература намъ еще не выставила: пока она воплотила только въ Болгарѣ этотъ типъ человѣка, который имѣетъ право сказать, что каждый мужикъ, каж-

*) Тургеневская „Новь“, показала (какъ замѣчено выше), что и Базаровскій типъ у насъ устарѣлъ.

дый нищій въ его отечествѣ хочетъ того же, чего и онъ. Но сочувствіе къ Инсарову, которое высказывается въ Русской дѣвушкѣ, свидѣтельствуетъ о томъ, что запросъ на этого рода типъ уже сказывается въ нашей жизни.

Нашимъ писателямъ, какъ мы замѣчали, болѣе удавались женскіе идеальные типы; женщина стоитъ у нихъ значительно выше мужчины, какъ общественнаго дѣятеля. Но вѣдь это служитъ добрымъ предзнаменованіемъ въ будущемъ и относительно мужской половины нашего общества. То воспитательное значеніе, которое принадлежало, принадлежитъ и всегда будетъ принадлежать женщинѣ, даетъ надежду, что подъ вліяніемъ ея и въ нашемъ мужскомъ подростающемъ поколѣніи разовьется наконецъ совершенно здоровый типъ *общественнаго дѣятеля*. Пора, пора ему наконецъ явиться на смѣну П. И. Чичикову, новѣйшія видоизмѣненія котораго видѣли мы сперва въ Калиновичѣ Писемскаго, потомъ—во всякаго рода «Ташкентцахъ» Щедрина.

Но наша литература подаетъ намъ также добрыя жизненныя надежды, когда обращается къ быту простого народа. Вовсе не идеализируя его вообще, рисуя, напротивъ того, съ величайшимъ реализмомъ его нужду и его невѣжество, она умѣла намъ показать въ народѣ привлекательный типъ людей, живущихъ не только для личной наживы, но связанныхъ съ другими людьми крѣпкою мірскою связью, сознающихъ себя живой частью цѣлаго. Типъ этотъ является у Тургенева, у гр. Л. Н. Толстого, даже у Рѣшетникова—въ его «Подлиповцахъ». Общее настроеніе нашей литературы относительно народа таково, что мы имѣемъ полное право указать на ея сочувствіе ему и его нуждамъ, на поэтически выраженное Некрасовымъ ея заключеніе, что

...бѣлый свѣтъ кончается не нами...

что...

...Можно *личнымъ* горемъ не страдать
И плакать честными слезами...

Можно указать на это, какъ на самую благородную надпись на знамени, осѣняющемъ нашихъ писателей.

Если мы обратимъ вниманіе на то, велика-ли въ нашей литературѣ талантливость,—то можемъ, я полагаю, прійти къ заключенію, что мы вовсе не обѣднѣли талантами послѣ Гоголя. Большинство изъ нихъ еще живы, нѣкоторые, правда, пишутъ уже мало. Послѣднія произведенія нѣкоторыхъ (наприм. Гончарова, отчасти Тургенева) уже не то, что̀ первыя; нѣкоторые изъ нашихъ писателей, наприм. Достоевскій, выступали на дорогу, не совсѣмъ свойственую особенностямъ ихъ таланта. Хроника гр. Л. Н. Толстого «Война и Миръ» вызвала подражателей, къ числу которыхъ принадлежитъ, между прочимъ, и даровитый авторъ романа «Пугачевцы». Некрасовъ сталъ-было обнаруживать нѣкоторое утомленіе, повторяя одни и тѣ же мотивы, но въ «Русскихъ Женщинахъ» и въ «Дѣдушкѣ» онъ выказалъ опять прежнюю силу, выйдя на новую дорогу.

Нельзя не пожелать Щедрину, чтобы онъ отказался отъ исторической сатиры, и остался сатирикомъ въ настоящемъ смыслѣ, сатирикомъ современнымъ. На этой почвѣ, смѣло можно сказать, онъ можетъ еще долго блистательно дѣйствовать: въ матеріалѣ недостатка не будетъ, а что силы его до сихъ поръ не ослабѣли, лучшимъ доказательствомъ служатъ его «Благонамѣренныя Рѣчи». Нельзя, наконецъ, не замѣтить, что у насъ появляются и таланты новые, о которыхъ я не говорилъ только потому, что времени было мало, съ другой же стороны—время еще не ушло, къ нимъ вѣдь можно вернуться... когда-нибудь впослѣдствіи. Все, что̀ я могу замѣтить теперь—это стремленіе нашихъ новѣйшихъ писателей (насколько удачно оно—это особый вопросъ) къ воспроизведенію новыхъ типовъ.

Но что̀ же сказать о критикѣ? По временамъ я обращался къ отзывамъ главнѣйшихъ ея представителей послѣ Бѣлинскаго, и при-этомъ намъ часто приходилось замѣчать, что объ одномъ и томъ же критика представляла совершенно противоположныя мнѣнія. Мѣсто, покинутое такъ преждевременно Бѣлинскимъ, было вполнѣ достойнымъ

образомъ занято Добролюбовымъ, но его еще болѣе ранняя смерть оставила это мѣсто опять не занятымъ. Писаревъ, при всемъ своемъ дарованіи, не доразвился, вслѣдствіе разныхъ обстоятельствъ, и опять вслѣдствіе ранней смерти. У насъ появлялись и съ другой стороны замѣчательные таланты, въ родѣ Ап. Григорьева или Н. И. Соловьева, таланты, стремившіеся проложить особые пути въ критикѣ,—но имъ опять многія обстоятельства мѣшали вполнѣ развиться, несмотря на то, что они умерли не столь уже молодыми, хотя все-таки преждевременно, не успѣвъ оставить по себѣ болѣе глубокаго слѣда. Въ настоящее время, нельзя не сознаться, у насъ встрѣчаются даровитые люди и на поприщѣ критики, но критика по большей части является у насъ потерявшею всякую руководящую нить; привычка говорить очень много *по поводу* литературныхъ произведеній, чрезвычайно мало вникая въ *собственную ихъ сущность*, дошла до крайнихъ предѣловъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ въ ней развилась нетерпимость, и нетерпимость нерѣдко такого свойства, что на нее бы самымъ неблагосклоннымъ образомъ посмотрѣли Бѣлинскій и Добролюбовъ.

Дѣло въ томъ, что нетерпимость эта вытекаетъ очень часто вовсе не изъ *идеи*—въ этомъ смыслѣ она была-бы совершенно понятна, пожалуй, даже почтенна,—а просто изъ взглядовъ кружка, изъ узкихъ интересовъ литературнаго прихода. Щедринъ совершенно правъ, говоря: «ежели литература, даже по вопросамъ самосохраненія, неспособна прійти къ единомыслію, а способна только предаваться взаимнымъ заушеніямъ по поводу выѣденнаго яйца, то ея вынужденное измельчаніе равняется измельчанію самопроизвольному». А между тѣмъ, въ виду тѣхъ различнаго рода «Ташкентцевъ» на литературномъ и не литературномъ поприщѣ, о которыхъ говоритъ Щедринъ, особенно нужно бы было сойтись всѣмъ вообще честнымъ людямъ. Несмотря на разницу въ отвлеченныхъ воззрѣніяхъ, можно бы было найти извѣстныя точки соприкосновенія, заговорить языкомъ, понятнымъ для людей всѣхъ возрастовъ,

разныхъ степеней развитія, разныхъ метафизическихъ точекъ зрѣнія. Долженъ же, наконецъ, быть положенъ предѣлъ той печальной розни, которая такъ давно обезсиливаетъ общественныя наши средства. Вмѣсто того, чтобы ее поддерживать, литературная критика должна содѣйствовать, по мѣрѣ своихъ средствъ, ея искорененію. Только въ такомъ случаѣ она достигнетъ своей лучшей цѣли—будетъ содѣйствовать развитію у насъ того, что̀ намъ особенно нужно—здоровой общественной силы.

ПРИЛОЖЕНІЕ.

Послѣднія пѣсни Некрасова.

Страданій чаша предо мной стояла,
Налитая цѣлебнымъ питіемъ.
Жуковскій («Камоэнсъ»).

Изданная недавно книжка стихотвореній любимаго нашего поэта полна такой свѣжей силы, что пѣсни эти не должны бы быть *послѣдними*. Поэтъ не напрасно взывалъ къ своей музѣ:

Могучей силой вдохновенья
Страданья тѣла побѣди,
Любви, негодованья, мщенья
Зажги огонь въ моей груди!

Муза дѣйствительно откликнулась на его зовъ, раздавшійся съ одра болѣзни, и зажгла въ немъ такой огонь, который совсѣмъ не походитъ на огонь догарающій. Это настоящій огонь его лучшей поры, огонь не только негодованья и мщенья, но и *любви*. Но потому-то поэтъ и не правъ, говоря, будто бы онъ и былъ и остался «чуждымъ народу». Съ народомъ его окончательно сблизила эта полнота любви среди самыхъ страданій. Его теплыя пѣсни на одрѣ болѣзни невольно напоминаютъ любвеобильныя думы больной крестьянки въ «Живыхъ Мощахъ» Тургенева.

Многое въ книгѣ относится еще къ порѣ предшествовавшей болѣзни,—напримѣръ отдѣлъ сатирическій, заключающій въ себѣ «юбиляровъ и тріумфаторовъ» и «героевъ времени», невольно наводящихъ и читателя, вслѣдъ за поэтомъ, на выводъ:

Бывали хуже времена,
Но не было подлѣй.

Тутъ звучитъ та струна негодующей музы Некрасова, которая сближаетъ его со Щедринымъ. Если послѣдній сводитъ современные идеалы къ *куску*, къ усовершенствованной способности *жрать*, то поэтъ нашъ иронически взываетъ къ художнику:

Будешь въ славѣ равенъ Фидію,
Антокольскій! изваяй
Гарантію и *Субсидію*,
Идеаламъ форму дай!

Поэтъ рисуетъ намъ съ разныхъ сторонъ оргію культа этихъ самоновѣйшихъ боговъ, оказывающихся въ сущности очень старыми. Оргію эту на время нарушили было событія лѣтнихъ мѣсяцевъ 1876 г. *). Но, поспѣшивъ схоронить ихъ, мы стали опять такъ любовно возвращаться къ нарушенному священнодѣйствію передъ дорогими намъ идолами,—какъ вдругъ возстаютъ изъ гроба тѣ же событія, раздается опять запросъ не на однѣ юбилейныя жертвы, не на одни кармано-набивательные проекты или подарки madame Жюдикъ. Не готовыми къ историческому призыву оказываются недаромъ и раздосадованные имъ «герои» и «тріумфаторы» времени, а готовыми тѣ, что поютъ:

Хлѣбушка нѣтъ,
Валится домъ...

Послѣдніе оказываются готовыми потому, что въ пѣснѣ ихъ слышится не одна «истома» съ «терпѣніемъ», но также и то, что заставило поэта воскликнуть:

Ты и убогая,
Ты и обильная,
Ты и забитая,
Ты и всесильная
Матушка Русь!

*) Время послѣдовавшей за Герцеговинскимъ возстаніемъ Сербской войны.

Напрасно у «героевъ» и «тріумфаторовъ» является вдругъ такая сердобольная жалость къ раскошеливающемуся народу. Тотъ трудовой грошъ, которымъ онъ всегда такъ охотно дѣлится съ «несчастными» всякаго рода, — его собственный, кровный грошъ, а никто не въ правѣ не только быть щедрымъ, но и быть скупымъ на чужое добро! Потрясающее дѣйствіе производитъ у нашего поэта бурлацкая пѣсня о народномъ бездольѣ, исполняемая послѣ тоста за «братьевъ мужиковъ», и исполняемая съ какимъ-то особеннымъ упоеніемъ «разбойничьимъ» хоромъ ихъ разорителей—жрецовъ Гарантіи и Субсидіи. Не менѣе поражаетъ у него и «покаянный пафосъ» одного изъ этихъ жрецовъ, дающій поэту поводъ замѣтить, что это явленіе

Не ново съ Русскими великими умами:
Съ Ивана Грознаго царя
До переписки Гоголя съ друзьями,
Самобичующій протестъ—
Россійскихъ гражданъ достоянье!

Да, насъ вообще, подобно Зацѣпину,

... какъ ржа желѣзо, ѣстъ
Душевной немощи сознанье...

Оно съ какимъ-то особеннымъ сладострастіемъ было пущено у насъ въ ходъ еще такъ недавно, и послужило намъ отговоркою отъ скоро насъ утомившаго подвига. Эта охотная исповѣдь въ слухъ — совсѣмъ не задатокъ нравственнаго возрожденія, а признакъ малодушнаго отлыниванья отъ тѣхъ высшихъ задачъ, съ которыми, по выраженію Шиллера, невольно растетъ усмотрѣвшій ихъ человѣкъ *).

Фальшь—въ сочувствіи народному горю, фальшь—въ самобичеваніи раскрывается намъ, вмѣстѣ со многимъ другимъ, сатирою нашего поэта, этою безпощадною сатирою на вѣкъ, которымъ, по его словамъ, «банкиръ посаженъ на

*) Я разумѣю наше такъ называемое „протрезвленіе“, быстро смѣнившее предшествовавшій ему порывъ лѣтнихъ мѣсяцевъ 1876 г.

тронъ земли». Настоящее сочувствіе съ народомъ въ его горѣ и въ томъ, что̀ даетъ ему утѣшенье и силу, настоящее, вполнѣ искреннее сознанье своей душевной немощи— вотъ что̀ сказывается въ лирикѣ этихъ, какъ ихъ назвалъ поэтъ, *послѣднихъ* пѣсенъ, служащихъ живымъ отголоскомъ его самыхъ лучшихъ, всѣми нами давно перечувствованныхъ мотивовъ. Въ предшествующіе годы не только придирчивой, но и добросовѣстной критикѣ приходилось указывать на немногія, не совсѣмъ вѣрно взятыя ноты въ нѣкоторыхъ произведеньяхъ нашего поэта. Ихъ объясняли тѣмъ, что, при измѣнившейся жизненной обстановкѣ, темы его какъ бы по привычкѣ остались тѣ же, но исполненіе уже не могло отличаться прежнею непосредственною свѣжестью. Теперь она снова всецѣло сказалась—на одрѣ болѣзни. Поэтъ нашелъ на немъ *самъ себя*.

А это все, что̀ было нужно поэту. Муза предстала ему опять въ томъ же строгомъ, безукоризненно чистомъ видѣ, въ какомъ она напутствовала его въ ту многотрудную пору, о которой онъ теперь вспоминаетъ:

Я отрокомъ покинулъ отчій домъ
(За славой я въ столицу торопился).
Въ шестнадцать лѣтъ я жилъ своимъ трудомъ
И между тѣмъ урывками учился.
Лѣтъ двадцати, съ усталой головой,
Ни живъ, ни мертвъ (я голодалъ по долгу)
Но горделивъ—пріѣхалъ я домой...

Поэтъ вспоминаетъ объ этой порѣ тепло и грустно; — въ немъ нестало той «горделивости» юныхъ лѣтъ, онъ недоволенъ тѣмъ, какъ разыгралась его дальнѣйшая жизнь, онъ говоритъ:

„Оглянемся назадъ,
Поищемъ дѣлъ, достойныхъ человѣка...
Увы! ихъ нѣтъ! одинъхъ ошибокъ рядъ!“

Но если не гордость, то и не «смиреніе паче гордости» слышится въ его словахъ о славѣ:

...ей долгимъ яркимъ свѣтомъ
Не горѣть на имени моемъ:

Мнѣ борьба мѣшала быть поэтомъ,
Пѣсни мнѣ мѣшали быть бойцомъ.
Кто, служа великимъ цѣлямъ вѣка,
Жизнь свою всецѣло отдаетъ
На борьбу за брата человѣка,
Только тотъ себя переживетъ...

Между тѣмъ онъ неоднократно обращается къ «поэту», возлагая на него какъ бы единственную надежду въ такую пору, когда

Въ мірѣ нѣтъ святыхъ и кроткихъ звуковъ,
Нѣтъ любви, свободы, тишины.

Подобно Пушкину, онъ называетъ *толпою* тѣхъ, кто не признаетъ поэзіи, но онъ не видитъ въ поэтѣ—аскета.

Толпа гласитъ: „пѣвцы не нужны вѣку!"
И нѣтъ пѣвцовъ... замолкло божество...
О, кто-жъ теперь напомнитъ человѣку
Высокое призваніе его?

И вотъ — онъ зоветъ назадъ удалившееся божество; онъ страстно вызываетъ его къ борьбѣ...

Казни корысть, убійство, святотатство!
Сорви вѣнцы съ предательскихъ головъ...

Но тяжкій выпадаетъ жребій тому, кого божество избираетъ своимъ сосудомъ... Все труднѣе и труднѣе дѣлается борьба:

Дни идутъ... все также воздухъ душенъ,
Дряхлый міръ—на роковомъ пути...
Человѣкъ до ужаса бездушенъ,
Слабому спасенья не найти!
Но... молчи во гнѣвѣ справедливомъ!
Ни людей, ни вѣка не клянн:
Волю давъ лирическимъ порывамъ,
Изойдешь слезами въ наши дни...

Однако же такое воздержаніе отъ борьбы, такая готовность, ради самосохраненія, опустить свое знамя передъ силами тьмы, которыхъ не одолѣешь, такое малодушное настроеніе—только краткосрочный припадокъ. Существуетъ надежный изъ него выходъ:

Жить для себя возможно только въ мірѣ,
Но умереть возможно для другихъ...

Но поэтъ нашъ увѣряетъ себя, что онъ никогда не владѣлъ этою способностью, и потому-то портреты преждевременно сгибшихъ друзей и теперь, не смотря на испытанье тяжелымъ недугомъ, всетаки укоризненно смотрятъ на него со стѣнъ. Поэтъ нашъ увѣренъ, что не только они, но и другой судья — гражданинъ-читатель — хорошо знаетъ, что въ немъ «нѣтъ силъ героя»:

Тотъ не герой, кто лавромъ не увитъ
Иль на щитѣ не вынесенъ изъ боя..

Такое самосознаніе и съ тою же самою искренностью и простотой, съ тѣмъ же отсутствіемъ всякаго щегольства въ раскаяніи, сказывалось у него нерѣдко и прежде. И стихи, въ которыхъ оно у него нерѣдко сказывалось, всегда принадлежали къ лучшимъ, самымъ задушевнымъ его стихамъ. И всегда, когда они нами читались, мы вкладывали въ нихъ нашу собственную, нашу общую исповѣдь; читая: *я*, мы внутренно понимали: *мы*. Самоосужденье поэта, всегда говорили мы, *наше*, только въ немъ оно глубже, живѣе, потому что поэтическая душа одарена большею чуткостью и что высокое призваніе поэта побуждаетъ его къ большей требовательности отъ самого себя. И въ прежнее время, почти всякій разъ, когда поэтъ нашъ выражалъ глубокое недовольство самимъ собою, предъ нимъ носился образъ существа, благословлявшаго его на иную, высшую долю. Этому свѣтлому существу посвящена имъ теперь поэма, остававшаяся съ давнихъ поръ за нимъ... Онъ говоритъ:

... Мечусь въ безпамятствѣ, въ бреду!
Хаосъ! Едва мерцаетъ умъ поэта,
Но юности священнаго обѣта
Не совершивъ, въ могилу не сойду!
Поймутъ, иль нѣтъ, но будетъ пѣсня спѣта.

Поэтъ не увѣренъ въ томъ, поймутъ ли его, потому что

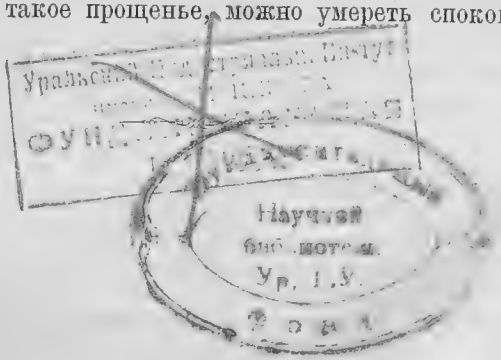
*

Въ насмѣшливомъ и дерзкомъ нашемъ вѣкѣ
Великое, святое слово: мать
Не пробуждаетъ чувства въ человѣкѣ...

Но онъ—не боится «насмѣшливости модной» и, посвящая стихи своей «родимой», опять сливается въ чувствѣ, въ предметѣ любви и уваженья — съ народомъ. И стихи эти должны быть отнесены къ лучшимъ, когда либо имъ написаннымъ. Сложивъ ихъ, переспливая болѣзнь, въ честь той, которая, по словамъ его, «спасла въ немъ живую душу», онъ влагаетъ ей въ уста колыбельную пѣсню, которая должна убаюкать его на одрѣ болѣзни.

Усни, страдалецъ терпѣливый!
Свободной, гордой и счастливой
Увидишь родину свою,
Баю баю—баю—баю!

Вмѣстѣ съ образомъ матери и въ прежнее время возникалъ передъ нашимъ поэтомъ другой—образъ «родины-матери», какъ онъ ее называетъ. И прежде нерѣдко винился онъ одновременно предъ обѣими. Теперь покойная мать, въ той же загробной колыбельной пѣснѣ, успокоительно обращается къ нему отъ имени живой, не умирающей матери—родины:

Не бойся горькаго забвенья:
Ужь я держу въ рукѣ моей
Вѣнецъ любви, вѣнецъ прощенья,
Даръ кроткой родины твоей...

Получивъ такое прощенье, можно умереть спокойно...